

НОВАЯ  
МИР

НОВАЯ  
МИР

1968

7



1968

# ИЗВЕСТИЯ И МИР

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLIV

№ 7

Июль, 1968 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е И С С С Р

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
КАИСЫН КУЛИЕВ — Колосья и звезды, стихи. Перевел с балкарского С. Липкин	3
В. БЕЛОВ — Плотничьи рассказы	7
ВАДИМ ШЕФНЕР — Три стихотворения	57
ВАСИЛИЙ ГЛОТОВ — Два стихотворения	59
ВЕСЕЛИН ХАНЧЕВ — Баллада о Хозе Санчо. Перевел с болгарского А. Опульский	60
ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР — Дедушка, рассказ	62
РОБЕРТ ПЕНН УОРРЕН — Вся королевская рать, роман. Перевел с английского В. Голышев	80
Дважды Герой Советского Союза, Маршал Советского Союза Н. И. КРЫЛОВ — В боях за Одессу	152

### ПУБЛИЦИСТИКА

Н. ВЕРХОВСКИЙ — В одном целинном районе	205
---	-----

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

М. ТУРОВСКАЯ — «Преступления века» и «массовая цивилизация»	217
---	-----

### КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

<i>Литература и искусство</i>	242
-------------------------------	-----

Л. Антопольский. Борозда Онакия Карабуша.— И. Виноградов. Чужая беда.— И. Травкина. Конфликт или склока? — А. Дементьев. Книга о советской эстетике.— О. Аладьин. Плодотворный результат.— Б. Рифтин. Путешествие в страну китайской поэзии.

<i>Политика и наука</i>	262
-------------------------	-----

Н. Жданов. Мужество Ленинграда.— А. Стреляный. Непоследовательность.— А. Каждан. Из истории северного соседа.— В. Война. Анатомия американского характера.— В. Френкель. «...наука самая занимательная».

(См. на обороте)

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
КОРОТКО О КНИГАХ — Е. Лаговская. Ради тебя, человек.— Николай Фомичев. Годы — не птица.— Леонид Лиходеев. Цена умиления.— В. Л. Исраэлян, Л. Н. Кутаков. Дипломатия агрессоров.— В. С. Нечаева. В. Г. Белинский.— И. И. Бенедиктов, В. И. Плотников. Философия и медицина.— Поэты революционного народничества.— Е. Герасимов. В родном лесу.— Владимир Огнев. Легенда о Монтвиле, или Памятник Неизвестному поэту.— И. Д. Воронин. Достопримечательности Мордовии.— Д. Мак-Дональд. Фарадей, Максвелл и Кельвин.— Майя Данини. Живые деньги	279
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

---



---

КАИСЫН КУЛИЕВ

★

## КОЛОСЬЯ И ЗВЕЗДЫ

*С балкарского*

### ПОГОНЩИКИ МУЛОВ

Там, впереди, — очертанья аулов.  
В сумерках смутно дорога видна.  
Пляшут крестьяне, погонщики мулов,  
Пляшут, слегка захмелев от вина.

Пляшут, заботы забыв на мгновенье,  
Тяготы сбросив с натруженных плеч.  
Мулы и люди, восторг и забвенье,  
Стройное пенье, нестройная речь.

Разве у жизни — одни лишь посулы?  
Сбудется все, чего жаждет душа!  
С робкой веселостью движутся мулы,  
Пляшут погонщики: жизнь хороша!

Вечер как путник бредет запоздалый.  
Будто внезапно очнувшись от снов,  
Травы и речки, деревья и скалы  
С завистью смотрят на двух плясунов.

Выпили горцы-крестьяне немного,  
Пляшут — за мулами — навеселе.  
Кажется им, что ровнее дорога,  
Мягче, нежней вечера на земле.

Кажется им, что ни дома, ни в поле  
Не было смерти и тяжких потерь,  
Не было голода, горечи, боли —  
Было всегда хорошо, как теперь!

Кажется им, будто хмелем удачи  
Их с головы окатило до ног.  
Нет их счастливей и нет их богаче —  
Пуля не тронет, сробеет клинок.

Все им доступно, подвластно их силе,  
Не обманула надежды судьба.



Ближих и милых года не скосили,  
Как никогда, уродились хлеба.

К ним и болезни дорогу забыли,  
Дети растут, словно в райском саду.  
Как никогда, разлилось изобилье  
В горских селениях в этом году.

Будто их жены красивей всех женщин,  
Будто их овцы жирней всех овец,  
Будто все знания — у них, деревенщин,  
Что ни старик, то знаток и мудрец.

Будто старухи, и жены, и вдовы  
Разом утратили злость языка,  
Будто у каждого стали коровы  
В три раза больше давать молока.

Будто в них новые силы вдохнуло  
Счастье, которому имени нет.  
Выпили горцы, погонщики мулов,  
Пляшут, как будто не ведали бед.

Сумерки в травы ложатся у моста.  
Речка ведет свой рассказ дотемна.  
Что же погонщики счастливы? Просто  
Выпили горцы немного вина.

### КОЛОСЬЯ И ЗВЕЗДЫ

Колосьям на земле и звездам неба  
Я поклоняюсь, я молюсь на них.  
Нет ничего священной счастья хлеба,  
Нет ничего счастливей звезд ночных.

Ищи людского счастья проявление  
Не только в хлебе. Вспыхнет ли звезда,  
Пройдет ли дождь — начнется обновление  
Всего, что жило и живет всегда.

Колосья мирно спеют с домом рядом,  
Над домом мирно льется звездный свет,  
И радуемся мы таким отрадам,  
Таким дарам, цены которым нет.

И счастлив даже вол, уставший за день,  
Что блеск звезды приносит на спине,  
И окнам дома этот свет отраден,  
И он в речной трепешет быстрине.

И видит пахарь, трудно засыпая,  
Как хорошо идут колосья в рост,  
Он слышит гул рабочий урожая  
Сквозь шум дождя и созреванье звезд.

Среди всемирного многоголосья,  
Едва взойдет над полем тишина,  
Он думает, что звезды и колосья  
Взрастил он сам, посеяв семена.

Он рад, когда и поле колосится,  
И звезды ясно смотрят с вышины.  
Без них ему вселенная — темница,  
Без них ни дни, ни ночи не нужны.

Я, раненный, лежал в пшенице. С болью  
До колоса дотронулся рукой,  
Но свет звезды увидев над собою,  
Я понял: жизнь жива в семье людской!

Забыл я все ненастья, все метели,  
И встал я, благодарность к вам храня —  
Земля, где для меня хлеба созрели,  
И высь, где звезды светят для меня!

## ДВА ЧЕТВЕРОСТИШИЯ

### 1

Зима без спросу, грозно, тяжело  
Вступает в сердце в трудный час, и мнится,  
Что вражеское войско перешло  
Незащищенную границу.

### 2

Живи, пока весенним веришь силам, —  
Одним живущим жизнь любить дано.  
Лети, пока есть крылья, а бескрылым  
Лишь грезить о полете суждено.

## ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

Кто понял жизнь и смерть? Кто до конца постиг,  
О чем беседует скала с чинарой строгой,  
И камень с листьями, и с берегом — родник,  
И мгла и снегопад — с безмолвной дорогой?

Какими думами охвачена сосна,  
Когда кругом — пурги холодное гуденье?  
Падучая звезда печалиться ль должна,  
И вправду ли ее погибельно паденье?

Что умирающий в последний видел миг?  
Напрасно спрашивать: молчит земля сырая.  
Кто понял жизнь и смерть? Кто до конца постиг,  
Что видит человек, что слышит, умирая?

Наверно, хлебороб, свой напрягая слух,  
Услышит шум дождя над спелыми хлебами,  
Мычание коров поймет в горах пастух  
И отдаленный гром над вешними лугами.

Наверно, слышит мать ребенка смех и плач  
И помнит дровосек, как звонко пела птица.  
Дрожание струны хранит в себе скрипач,  
И крик убитого глушит в себе убийца.

А что услышу я в последний час, пред тем  
Как в землю я сойду? Твой чудный голос, мама!  
Ты встанешь надо мной, а рядом наш Чегем  
По-горски будет петь — свободно и упрямо.

Но будет ли ко мне добра моя судьба,  
Увижу ли, когда наступит час кончины,  
В сиянии луны — высокие вершины,  
В сиянии зари — высокие хлеба?

*Перевел С. Липкин.*





---

---

В. БЕЛОВ

★

## ПЛОТНИЦКИЕ РАССКАЗЫ

I

**Д**ом стоит на земле больше ста лет, и время совсем его скособочило. Ночью, смакуя отрадное одиночество, я слушаю, как по древним бокам сосновой хоромины бьют полотнища влажного мартовского ветра. Соседский кот-полуночник таинственно ходит в темноте чердака, и я не знаю, чего ему там надо.

Дом будто тихо сопит от тяжелых котовых шагов. Изредка громко, вдоль по слоям, лопаются кремневые пересохшие матицы, скрипят усталые связи. Тяжко бухают сползающие с крыши снежные глыбы. И с каждой глыбой в напряженных под многотонной тяжестью стропилах рождается облегчение от снежного бремени.

Я почти физически ощущаю это облегчение. Здесь, так же как снежные глыбы с ветхой кровли, сползают с души многослойные глыбы прошлого... Ходит и ходит по чердаку бессонный кот, по-сверчиному тикают ходики. Память гасует мою биографию, словно партнер по преферансу карточную колоду. Какая-то длинная получилась пулька... Длинная и путаная. Совсем не то, что на листке по учету кадров. Там-то все намного проще...

За тридцать четыре прожитых года я писал свою биографию раз тридцать и оттого знал ее назубок. Помню, как нравилось ее писать первое время. Было приятно думать, что бумага, где описаны все твои жизненные этапы, кому-то просто необходима и будет вечно храниться в несгораемом сейфе.

Мне было четырнадцать лет, когда я написал автобиографию впервые. Для поступления в техникум требовалось свидетельство о рождении. И вот я двинулся выправлять метрики. Дело было сразу после войны. Есть хотелось беспрерывно, даже во время сна, но все равно — жизнь казалась хорошей и радостной. Еще более удивительной и радостной представлялась она в будущем.

С таким настроением я топал семьдесят километров по майскому, начинающему просыхать проселку. На мне были почти новые обсоюженные сапоги, брезентовые штаны, пиджачок и простреленная дробью кепка. В котомку мать положила три соломенных колоба и луковицу, а в кармане имелось десять рублей деньгами.

Я был счастлив и шел до райцентра весь день и всю ночь, мечтая о своем радостном будущем. Эту радость, как перец хорошую уху, приправляло ощущение воинственности: я мужественно сжимал в кармане складничок. В ту пору то и дело ходили слухи о лагерных беженцах. Опасность мерещилась за каждым поворотом проселка, и я сравнивал

себя с Павликом Морозовым. Разложенный складничок был мокрым от пота ладони.

Однако за всю дорогу ни один беженец не вышел из леса, ни один не покусился на мои колоба. Я пришел в поселок часа в четыре утра, нашел милицию с загсом и уснул на ихнем крылечке. В девять часов явилась непроницаемая заведующая с бородавкой на жирной щеке. Набравшись мужества, я обратился к ней со своей просьбой. Было странно, что на мои слова она не обратила ни малейшего внимания. Она даже не взглянула. Я стоял у барьера, замерев от почтения, тревоги и страха, считал черные волосинки на теткиной бородавке. Сердце как бы ушло в пятку...

Теперь, спустя много лет, я покраснел от унижения, осознанного задним числом, вспомнив, как тетка, опять же не глядя на меня, с презрением буркнула:

— Пиши автобиографию.

Бумаги она дала. И вот я впервые в жизни написал автобиографию:

«Я, Зорин Константин Платонович, родился в деревне Н...ха С...го района А...ской области в 1932 году. Отец — Зорин Платон Михайлович, 1905 года рождения, мать — Зорина Анна Ивановна с 1907 года рождения. До революции родители мои были крестьяне-середняки, занимались сельским хозяйством. После революции вступили в колхоз. Отец погиб на войне, мать — колхозница. Окончив четыре класса, я поступил в Н-скую семилетнюю школу. Окончил ее в 1946 году».

Дальше я не знал, что писать: тогда все мои жизненные события на этом исчерпывались. С жуткой тревогой подал бумаги за барьер. Заведующая долго не глядела на автобиографию. Потом как бы случайно взглянула и подала обратно:

— Ты что, не знаешь, как автобиографию пишут?

...Я переписывал автобиографию трижды, а она, почесав бородавку, ушла куда-то. Начался обед. После обеда она все же прочитала документы и строго спросила:

— А выписка из похозяйственной книги у тебя есть?

Сердце снова опустилось в пятку: выписки у меня не было...

И вот я иду обратно, иду семьдесят километров, чтобы взять в сельсовете эту выписку. Я одолел дорогу за сутки с небольшим и уже не боясь беженцев. Дорогой ел пестики и нежный зеленый шавель. Не дойдя до дому километров семь, я потерял ощущение реальности, лег на большой придорожный камень и не помнил, сколько лежал на нем, набираясь новых сил, преодолевая какие-то нелепые видения.

Дома я с неделю возил навоз, потом опять отпросился у бригадира в райцентр.

Теперь заведующая взглянула на меня даже со злобой. Я стоял у барьера часа полтора, пока она не взяла бумаги. Потом долго и не спеша рылась в них и вдруг сказала, что надо запросить областной архив, так как записи о рождении в районных гражданских актах нет.

Я вновь напрасно огрел почти сто пятьдесят километров...

В третий раз, уже осенью, после сенокоса, я пришел в райцентр за один день: ноги окрепли, да и еда была уже лучше, поспела первая картошка.

Заведующая, казалось, уже просто меня ненавидела.

— Я тебе выдать свидетельство не могу! — закричала она словно глухому. — Никаких записей на тебя нет! Нет! Ясно тебе?

Я вышел в коридор, сел в углу у печки и... разревелся. Сидел на грязном полу у печки и плакал, плакал от своего бессилия, от обиды, от голода, от усталости, от одиночества и еще от чего-то.

Теперь, вспоминая тот год, я стыжусь тех полудетских слез, но они

и до сих пор кипят в горле. Обиды отрочества — словно зарубки на березах: заплывают от времени, но никогда не зарастают совсем.

Я слушаю ход часов и медленно успокаиваюсь. Все-таки хорошо, что поехал домой. Завтра буду ремонтировать баню... насажу на топоры топор, и наплевать, что мне дали зимний отпуск.

## II

Утром я хожу по дому и слушаю, как шумит ветер в громадных стропилах. Родной дом словно жалуется на старость и просит ремонта. Но я знаю, что ремонт был бы гибелью для дома: нельзя тормошить старые, задубелые кости. Все здесь срослось и скипелось в одно целое, лучше не трогать этих сроднившихся бревен, не испытывать их испытанную временем верность друг другу.

В таких вовсе не редких случаях лучше строить новый дом бок о бок со старым, что и делали мои предки испокон веку. И никому не приходила в голову нелепая мысль до основания разломать старый дом, прежде чем начать рубить новый.

Когда-то дом был главой целого семейства построек. Стояло поблизости большое с овином гумно, ядреный амбар, два односкатных сеновала, картофельный погреб, рассадник, баня и рубленный на студеное ключе колодец. Тот колодец давно зарыт, и вся остальная постройка давно уничтожена. У дома осталась одна-разъединственная родственница — полувековая, насквозь прокопченная баня.

Я готов топить эту баню чуть ли не через день. Я дома, у себя на родине, и теперь мне кажется, что только здесь такие светлые речки, такие прозрачные бывают озера. Такие ясные и всегда разные зори. Так спокойны и умиротворенно-задумчивы леса зимою и летом. И сейчас так странно, радостно быть обладателем старой бани, а также молодой проруби на такой чистой, занесенной снегами речке...

Когда-то я всей душой, возненавидел все это. Поклялся никогда не возвращаться сюда. Второй раз я писал свою автобиографию, когда поступал в школу ФЗО учиться на плотника. Жизнь и толстая тетка из районного загса внесли свои коррективы в планы насчет техникума. Та самая заведующая хоть и со злостью, но направила-таки меня на медицинскую комиссию. Чтобы установить сомнительный факт и время моего рождения.

В районной поликлинике добродушный, с красным носом доктор лишь спросил, в каком году я имел честь родиться. И выписал бумажку. Свидетельство о рождении я даже не видел: его забрали представители трудрезервов; и опять же без меня был выписан шестимесячный паспорт.

Тогда я ликовал: наконец-то навек распрощался с этими дымными банями.

Почему же теперь мне так хорошо здесь, на родине, в безлюдной деревне? Почему я через день топлю свою баню?..

Странно, так все странно и неожиданно...

Однако баня до того стара, что одним углом на целую треть ушла в землю. Когда я топлю ее, то дым идет сперва не в деревянную трубу, а как бы из-под земли, в щели от сгнившего нижнего ряда. Этот нижний ряд сгнил начисто, чуть прихватило гнилью и второй ряд, но весь остальной сруб непроницаем и крепок. Прокаленный банной жарой, тысячи раз наполнявшей его, сруб этот хранит в себе горечь десятилетий...

Я решил отремонтировать баню, заменить два нижних венца, сместить и перестлать полки, переукладать каменку. Зимой затея эта выглядела нелепо, но я был счастлив и потому безрассуден. К тому же баня не дом.



Ее можно вывесить, не разбирая крыши и сруба: плотницкая закваска, испитанная когда-то в школе ФЗО, забродила во мне. Ночью, лежа под овчинным одеялом, я представлял себе, как буду делать ремонт, и это казалось весьма простым и доступным. Но утром все обернулось по-другому. Стало ясно, что своими силами, без помощи хотя бы какого-нибудь старичка, с ремонтом не справиться. Ко всему, у меня даже не было приличного топора. Пораздумав, я пошел к соседу-старика, к Олеше Смолину, чтобы попросить помощи.

У смолинского дома на жердочке одиноко сушились постиранные кальсоны. Дорожка к открытым воротам была разметена, новые дровни, перевернутые на бок, виднелись неподалеку. Я прошел по лесенке вверх, взял за скобу, и в избе звонко залилась собачка. Она кинулась на меня весьма рьяно. Старуха, жена Олеши — Настасья, выпроводила ее за двери:

— Иди, иди к водяному! Ишь, фулиганка, налетела на человека.

Я поздоровался и спросил:

— Дома сам-то?

— Здорово, батюшко.

Настасья, видать, была совсем глухая. Она обмахнула лавку передником, приглашая садиться.

— Старик-то, спрашиваю, дома или ушел куда? — снова спросил я.

— А куды ему, гнилому, идти: вон на печь утянулся. Говорит, что насмока в носу завелась.

— Сама ты насмока,— слышался голос Олеши.— Да и завелась не тепере.

После некоторой возни хозяин слез на пол, надел валенки.

— Самовар-то поставила? Не чует ни шиша. Константин Платонович, доброго здоровьица!

Олеша — сухожильный, не поймешь какого возраста колхозник, — сразу узнал меня. Старик похож был на средневекового пирата с рисунка из детской книжки. Горбатый его нос еще во времена моего детства пугал и всегда наводил на нас, ребятишек, панику. Может быть, поэтому, чувствуя свою вину, Олеша Смолин, когда мы начинали бегать по улице на своих двоих, очень охотно делал нам свистульки из тальника и частенько подкатывал на телеге. Теперь, глядя на этот нос, я чувствовал, как возвращаются многие давно забытые ощущения раннего детства...

Нос торчал у Смолина не прямо, а в правую сторону, без всякой симметрии разделял два синих, словно апрельская капля, глаза. Седая и черная щетина густо утыкала подбородок. Так и хотелось увидеть в Олешинном ухе гяжелую серьгу, а на голове бандитскую шляпу либо платок, повязанный по-флибустьерски.

Сначала Смолин выпросил, когда я приехал, где живу и сколько годов. Потом поинтересовался, какая зарплата и сколько дают отпуск. Я сказал, что отпуск у меня двадцать четыре дня.

Мне было неясно, много это или мало с точки зрения Олеши Смолина, а Олеша хотел узнать то же самое, только с моей точки зрения, и, чтобы переменить разговор, я намекнул старику насчет бани. Олеша ничуть не удивился, словно считал, что баню можно ремонтировать и зимой:

— Баня, говоришь? Баня, Констенкин Платонович, дело нужное. Вон и баба у меня. Глухая вся, как чурка, а баню любит. Готова каждый день париться.

Не допытываясь, какая связь между глухотой и пристрастием к бане, я предложил самые выгодные условия для работы. Но Смолин не торопился точить топоры. Сперва он вынудил меня сесть за стол, по-

сколько самовар уже булькал у шестка, словно разгулявшийся весенний тетерев.

— Двери! Двери беги закрой! — вдруг засуетился Олеша. — Да плотней!

Не зная еще, в чем дело, я поневоле сделал движение к дверям.

— А то убежит, — одобрительно заключил Олеша.

— Кто?

— Да самовар-то...

Я слегка покраснел: приходилось привыкать к деревенскому юмору. Кипяток в самоваре, готовый хлынуть через край, то есть «убежать», тут же успокоился: Настасья сняла трубу и остановила тягу. А Олеша как бы случайно достал из-под лавки облегченную на одну треть чекушку. Делать было нечего: после краткого колебания я как-то забыл первый пункт своих отпускных правил, снял фуфайку и повесил ее у дверей на гвоздик. Мы выпили «в чаю», иными словами — горячий пунш, который с непривычки кидает человека в приятный пот, а после потихоньку поворачивает вселенную другой, удивительно доброй и перспективной стороной. Уже через полчаса Олеша не очень сильно уговаривал меня не ходить, но я не слушал и, как бывало в детстве, ощущая в ногах какой-то восторг, торопился в сельповскую лавку.

Везде белели первородно чистые снега. Топились в деревнях дневные печки, и золотые дымы не растворялись в воздухе, а жили как бы отдельно от него, исчезая потом бесследно. Рябые после вчерашнего снегопада леса виднелись ясно и близко, была везде густая светлая тишина.

Пока я ходил в лавку, Настасья убралась судачить к соседям, а Олеша принес в алюминиевом блюде крохотных, с голубым отливом соленых рыжиков. После обоюдного потчевания выпили снова, логика сразу стала другая, и я ныром, словно в летний омут после жаркого дня, незаметно ушел в бездну Олешиних разговоров.

### III

— ...Ты, Констенкин Платонович, про мою жизнь лучше не спрашивай. Она у меня вся как расхожая библия: каждому на свой лад. Кому для чего слоюсь, тот и дерьгает. Одному от Олеша то, другому это понадобилось. А третьему до первых двух и дела нет, обоих отменил. Установил свою атмосферу. Да. Ну, а Олеша чего? Да ничего. Олеша и сам... как пьяная баба: не знает, в какую сторону комлем лежит. Всю жизнь в своих полах путаюсь и выпутаюсь не могу. То ли полы длинные, то ли ноги кривые, уж и не знаю. А может, меня люди запутали?

Вот, по правде сказать, ведь не все время был такой запутанный. Помню, родила меня моя matka, а я первым делом от радости заверещал, с белым светом здороваюсь. Ей-богу, помню, как родился. Многим говаривал, только не верят, дурачки. А я помню. То есть ничего этого не помню, один теплый туман, дрема одна, а все же таки помню. Будто из казематки я вышел. Я это был или не я, уж не знаю, может, и не я, а другой кто. Только было мне до того занятно... ну, не то чтобы занятно, а так, это... благородно было.

Ну, родился-то я, значит, как Христос, в телячьем хлеву и как раз на самое рождество. Все дело у меня сперва шло хорошо, а потом и почал запутываться. Одно по-за одному...

Конечно, семья большая, бедная. Отец-мать нас, дристунов, не больно и нянчили. Зимой на печке сидим да гаракашков за усы имаем. Иного и слопаешь. Ну, зато летом весь простор наш. Убежишь в траву, в крапиву... Оно дело ясное, мерло нашего брата много, счету не было.

Только родилось-то еще больше, вот оно никто и не замечал, что мерли. Меня, бывало, бабка по голове стукнет либо там тычка даст в бок: «Хоть бы тебя, Олешка, скорее бог прибрал, чтобы тебе, дураку, потом здря не маяться!» Мне все старухи верную гибель сулили. Темя пошупаю, да и говорят: «Нет, девушка, этот нет, не жилец». Есть, вишь, примет, что ежели у ребенка ложбиня на темени, так этот умрет в малолетстве, жить не будет. А я им всем шиш показал. Взял, да и выжил. Конечно, каяться не каюсь после этого, а особого восторгу тоже во мне не было...

Помню, великим постом привели меня первый раз к попу. На исповедь. Я о ту пору уже в портчонках бегал. Ох, Платонович, эта религия! Она, друг мой, еще с того разу нервы мне начала портить. А сколько было других разов. Правда, поп у нас в приходе был хороший, красивый. Матка мне до этого объяснение сделала: «Ты, говорит, Олешка, слушай, что тебя будут спрашивать, слушай и говори: «Грешен, батюшка!» Я, значит, и предстал в своем детском виде перед попом. Он меня спрашивает: «А что, отрок, как зовут-то тебя?» — «Олешка», говорю. «Раб, говорит, божий, кто тебя так непристойно глаголеть выучил? Не Олешка, бесовского звука слово, а говори: наречен Алексеем». — «Наречен Алексеем». — «Теперь скажи, отрок Алексей, какие ты молитвы знаешь?» Я и ляпнул: «Сину да небесину!» — «Вижу, — поп говорит, — глуп ты, сын мой, яко лесной пень. Хорошо, коли по младости возраста». Я, конечно, молчу, только носом швыркаю. А он мне: «Скажи, чадо, грешил ты перед богом? Морковку в чужом огороде не дергал ли? Горошку не воровывал ли?» — «Нет, говорю, батюшка, не дергал». — «И камнями в птичек небесных не палил?» — «Не палил, батюшка».

Что мне было говорить, ежели я и правда по воробьям не палил и в чужих загородах шастать у меня моды не было.

Ну, а батюшка взял меня за ухо, славил, как клещами, да и давай вывинчивать, ухо-то. А сам ласково эдак, тихо приговаривает: «Не ври, чадо, перед господом-богом, бо не прстит господь неправды и тайности, не ври, не ври, не ври...»

Я из церкви-то с ревом: ухо как в огне горит, да всего обиднее, что здря. А тут еще матка мне добавила: схватила ивовый прут, спустила с меня портки и давай стегать. Прямиком на морозе. Стегает да приговаривает: «Говорено было, говори: грешен! Говорено было, говори: грешен!»

Я эту деру и сейчас детально помню. Ну, хорошо. Ладно бы одна такая дера, я бы сидел, не крякал. Во второй раз пришел на исповедь, а меня и вдругорядь этот же момент настиг. Одну правду попу говорил, а он хоть бы слову моему поверил. Да еще и отцу внушенье сделал, поп-то, а отец меня и взял в оборот. После этого я и думаю своим умом: «Господи! Что мне делать-то! Правду говорю — не верят мне, а ежели обманывать — греха боюсь». Вот опять надо скоро на исповедь. Опять мне дера налажена... Что делать? Нет, думаю, в этот раз я вам не дамся. Вот что, думаю, сделаю: возьму да нарочно и нагрешу. Другого выхода нет. Взял я, Платонович, у отца с полавашника осьминку табаку, отсыпал в горсть, спички с печного кожуха упер, бумажки нашел. Раз — с Винькой Козонковым в ихний овин, да и давай учиться курить. Устроили практику... Запалили, голова кругом, тошнит, а курю... Белый свет ходуном идет. «Я, — это Винька говорит, — я уже давно курю, а ты?» — «Я, говорю, грешу. Мне греха надо побольше, а то опять попадет после исповеди». Из овина вылезли, меня по сторонам шатает, опьянел совсем. Первый раз в жизни опьянел. А на исповеди взял, да и покаялся. Поп отцу не сказал ни словечка. Уж до того он довольный был, что меня воспитал... С того разу я и начал грешить, стегать меня враз перестали.



Жизнь другая пошла. Я, друг мой, так думаю. Мне хоть после этого и легче стало жить, а только с этого места и пошла в моей жизни всякая путанка. Ты-то как думаешь?..

## IV

На второй день я просыпаюсь от яркого, бьющего прямо в глаза солнышка. Вылезаю из-под одеяла и удивляюсь: только легкий туман в голове да несильная жажда остались от вчерашнего.

Иду вниз и вместо зарядки раскалываю с полдюжины крепких еловых чурок. Они разваливались от двух ударов, если топор попадал прямо в середину. Морозные поленья звенели, как звенел за двором наг и ядреный свежий утренник. Было приятно влечь топор в середину чурки, вскинуть через плечо и, крикнув, сильно, резко опустить обух на толстую плаху. Чурка от собственной тяжести покорно разваливалась, ее половинки разлетались в стороны с коротким звенящим стоном.

С десятка поленьев я принес в дом, открыл печную задвижку, вьюшки и заслонку. Нащепал лучины и на пирожной лопате сунул в чело печи первое поперечное полено. Зажег лучину и на лопате же положил ее на полено. Тем же путем склал на лучину поленья. Запах огня был чист и резок. Дым белым потоком, огибая кирпичное устье, пошел в трубу, и я долго смотрел на этот поток. В окна лилось зимнее, однако очень яркое солнце. Печь уже трещала. Я взял две бадьи и скользкий, отшлифованный водонос, пошел за водой. Высоко натоптанная тропка звенела под валенками фарфоровым звоном. Снег на солнце был до того ярок и светел, что глаза непроизвольно щурились, а в тени от домов четко ощущалась глубинная снежная синева. Под горой на речке я долго колотил водоносом. За ночь прорубь затянуло прозрачным и, видимо, очень толстым стеклом; я сходил на соседнюю, Олешину прорубь, взял там обледенелый топор и проделал канавку по окружности проруби. Прозрачный ледяной круг было жалко галкать под лед. Но течение уже утянуло его. Я слушал, как он уплывал, стучаясь, исчезал в речной темноте. А здесь на дне проруби виднелись ясные, крохотные, увеличенные водой песчинки.

Вихляющая тяжесть в ведрах делала устойчивее и тверже шаги в гору. Эта тяжесть прижимала меня к тропке. Чтобы нарушить резонанс и погасить раскачивание ведер, я изредка менял длину шагов. Дышалось легко, глубоко, я не слышал своего сердца.

Дома я налил воды в самовар, набрал в железный совок румяных, уже успевших нагореть углей и опустил их в нутро самовара. Самовар зашумел почти тотчас же. Когда я поставил его на столешницу, от него веяло знойным духом золы, вода домовито булькала в медном чреве. Пар бил из дырки султаном.

Я раскрыл банку консервированной говядины, банку сгущенки, заварил чай и нарезал хлеб. С минуту глядел на еду. Ощущая первобытную, какую-то ни от чего не зависящую основательность мяса и хлеба, налил стакан янтарно-бурого чаю. У меня был тот аппетит, когда вкус еды ощущают даже десны и зубы. Насыщаясь, я все время чувствовал силу плечевых мышц, чувствовал потребность двигаться и делать что-то тяжелое. А солнце било в окна, в доме и на улице было удивительно спокойно и тихо, и этот покой оттенялся добрым, умиротворенно ворчливым шумом затухающего самовара...

Р-р-ых! Я ни с того ни с сего выскочил из-за стола, присел и, давая волю своей радости, прыгнул, стараясь хлопнуть ладонями по потолку. Засмеялся, потому что понял вдруг выражение «телячий восторг», прыгнул еще, и посуда зазвенела в шкафу. В таком виде и застал меня Олеша.

— Ну и обряжуха,— сказал старик,— печь, гляжу, истопил, за водой сбегал. Тебе жениться надо.

— Я бы не прочь, кабы не разводиться сперва.

— У тебя женка-то ничего.— Олеша взял со стола портрет и почтительно поразглядывал.

— Ничего? — спросил я.

— Ничего. Востроглазая. Не загуляет там, в городе-то?

— Кто ее знает...

— Нынче живут прохладно,— сказал Олеша и завернул сигарку.— Может, оно и лучше эдак.

...Мы взяли топоры, лопату, ножовку. Не запирая дом, двинулись ремонтировать баню. Пока я раскидывал снег вокруг сруба, Олеша разобрал каменку, опрятно сложил в предбаннике кирпичи и прокопченные валуны. Выкидали покосившиеся полки и разобрали прогнившие половицы. Я пнул валенком нижнее бревно, и в бане стало светло: гнилое совсем, оно вылетело наружу. Олеша простучивал обухом другие бревна. Начиная с третьего ряда, бревна были звонкие, значит ядреные.

Старик полез наверх проверять крышу и потолок.

— Гляди на свались,— посоветовал я, но Олеша кряхтел, стучал обухом.

— Полечу, так ведь не вверх, а вниз. Невелика беда.

Теперь было ясно, что крышу и стропила можно не трогать. Мы присели на пороге, решив передохнуть. Олеша вдруг легонько толкнул меня в бок:

— Ты погляди на него...

— На кого?

— Да вон Козонков-то дорогу батоном щупает.

Авинер Козонков, другой мой сосед, проваливаясь в снег, при помощи березовой палки правился в нашу сторону. Ступая по нашим следам, он наконец выбрался к бане.

— Ночевали здорово.

— Авинеру Павловичу, товарищу Козонкову,— сказал Олеша.— Наше почтение.

Козонков был сухожильный старик с бойкими глазами; волосы тоже какие-то бойкие, торчали из-под бойкой же шапки, руки у него были белые и с тонкими, совсем не крестьянскими пальчиками.

— Что, не отелилась корова-то? — спросил Олеша, а Козонков отрицательно помотал ушами своей веселой шапки. Он объяснил, что корова у него отелится только после масленой недели.

— Нестельная она у тебя,— сказал Олеша и прищурился.— Ей-богу, нестельная.

— Это как так нестельная? Ежели брюхо у нее. И подхвостика, старуха говорит, большая стала.

— Мало ли что старуха наговорит,— не унимался Олеша.— Она, старуха-то, может, и не разглядела по-настоящему.

— Стельная корова.

— Какая же стельная? Ты ее до Октябрьской к быку-то гонял? Ты посчитай, не поленись, сколько месяцев-то прошло. Нет, парень, нестельная она у тебя, останешься ты без молока.

Я видел, что Олеша Смолин просто разыгрывает Авинера. А тот сердился всерьез и изо всей мочи доказывал, что корова обгулялась, что без молока он, Козонков, век не останется. Олеша же нарочно заводил его все больше и больше:

— Стельная! Ты когда ее к быку-то гонял?

— Гонял.

— Да знаю, что гонял. А когда гонял-то? До Октябрьской? Ну, вот. Теперь давай считать...

— Мне считать нечего, у меня все сосчитано!

Козонков окончательно разозлился. Вскоре он посоветовал Олеше думать лучше о своей корове. Потом как бы случайно намекнул на какое-то ворованное сено, а Олеша сказал, что сена он сроду не воровал и воровать не будет, а вот он, Козонков, без молока насидится, поскольку корова у него нестельная, а если и стельная, так все равно не отелится.

Я сидел молча, старался не улыбаться, чтобы не обидеть Авинера, а он совсем разошелся и пригрозил Олеше, что все одно напишет куда следует и сено у него, у Олеша, отберут, поскольку оно, это сено, даровое, без разрешения накошено.

— Ты, Козонков, меня этим сеном не утыкай,— говорил Олеша.— Не утыкай, я те говорю! Ты сам вон косишь на кладбище, тебе, вишь, сельсовет разрешил могильники обкашивать. А ежели нет такого закона по санитарному правилу — косить на кладбище? Ведь это что выходит? Ты на кладбище трын-трава у косишь, покойников грабишь.

— А я тебе говорю: напишу!

— Да пиши хоть в Москву, тебе это дело знакомо! Ты вон всю бумагу перевел, все в газетку статьи пишешь. За каждую статью тебе горлонару на чекушку дают, а ты по соседскому делу хоть разок пригласил на эту чекушку? Да ни в жизнь! Всю дорогу один дуешь.

— И пью! — отрезал Авинер.— И пить буду, меня в районе ценят. Не то что тебя.

Тут Олеша и сам заметно разозлился.

— А иди ты, Козонков, в свою коровью подхвосту,— сказал он.

Козонков и в самом деле встал. Пошел от бани, ругая Олешу, потом оглянулся и погрозил батоном:

— За оскорбление личности. По мелкому Указу!

— Указчик... — Олеша взялся за топор.— Такому указчику хрен за щеку.

Я тоже взялся за пилу, спросил:

— Чего это вы?

— А чего? — обернулся плотник.

— Да так, ничего...

— Ничего оно и есть ничего.— Олеша поплевал на задубевшие ладони.— Вся жизнь у нас с ним споры идут, а жить друг без дружки не можем. Каждый день проведывает, чуть что — и шумит батоном. С малолетства так дело шло. Помню, весной дело было...

Олеша не торопясь выворотил гнилое бревно.

Теперь отступать было некуда, баню распечатали, и волей-неволей придется ремонтировать. Слушая неторопливый разговор Олеша Смолина, я прикинул, сколько дней мы провозимся с баней и хватит ли денег, чтобы расплатиться с плотником.

Олеша говорил не спеша, обстоятельно, ему не надо было ни подкивать, ни кивать головой. Можно было даже не слушать его, он все равно не обиделся бы, и от этого слушать было еще приятнее. И я слушал, стараясь не перебивать и радуясь, когда старик произносил занятные, но забытые слова либо выражения.



— Весной дело было. Мы с Козонковым точные одногодки, всю дорогу варзали вместе. В деревне было нашего брата-малолетка что комарья, ну и Козонковы-братаны тоже крутились в этой компании. Как



сейчас помню, оба в холщовых портках. Портки эти выкрашены кубовой краской, а рубахи некрашеные. Ну, конечно дело, оба босиком. Черные, как арапы, так их соплюнами и звали. У старшего, Петьки, бывало, сопля выедет до нижней губы. Ему лень вытереть, возьмет, да и слизнет. Как век не бывало. Вот помню, кажись, на третий день пасхи вся наша орда высыпала на Федуленкову горушку. У нас такая забава была — глиной фуркать. Прут ивовый вырежешь, слепишь птичку из глины и фуркаешь, у кого дальше. Далеко летело, у иного и за реку. Чем меньше птичка да чем ловчее фуркнешь, тем лучше летит. А наш Виня взял да насадил на прут целую гогырю с полфунта весом, все надо было, чтобы лучше других, размахнулся да как даст. Прямохонько в Федуленково окно и угодило. Стекло так и брызнуло, обе рамы прошиб. Мы все так и обмерли. А после очнулись да бежать.

В это время Федуленок сам не свой из избы выскочил, того и гляди убьет кого. Мы в поле, врассыпную, босиком по вешним-то лужам. Бегу я, бегу, да и оглянусь — вижу, Федуленок за нами бежит. В сапожищах бежит, в одной рубахе, чую, что сейчас мне крышка, вот-вот раздавит. «Стой, кричит, рывост, я тебе все одно настиг!» Ну и настиг. Взгреб он меня лапшицами, да и давай меня корезить, ну чисто медведь-шатун. Ничего не помню, помню только, что ревел, как недорезанный. Федуленок меня прикончил бы, как пить дать прикончил, не прибеги мой отец на выручку. Отец-то, видать, соху оставил в борозде, да и прибежал мою жизнь от смерти спасать.

Федуленок от меня и отступился, а мне, думаешь, легче? От отца мне еще больше попало. Кабы я стекло разбил — не обидно. А ведь как все получилось? Как Винька от Федуленка выкрутился? Соплюн соплюном, а когда припекло, так соображенье и появилось. Да еще и хвастает перед нами-то: я, мол, когда Федуленок на улицу выскочил, я, мол, никуда не побежал, на месте стою да приговариваю: «Вон оне побежали-то! Вон оне в поле побежали!» Ну, Федуленок и ринулся за нами всей своей массой да меня и настиг.

А Виня — хоть бы ему что — остался целым и невредимым. Оне оба с Петькой лёжни были, ничего им не далось. Умели только дрова пилить, за ручки пилу дергать. Отец к делу их особо не приневоливал, да и сам, бывало, не переломится на работе. Все больше рассуждал да на печке зимой грелся, а летом не столько сено косил, сколько рыбу удил. Они с моим отцом пришли с японской войны в один день. Мой тятка хромой пришел и весь в дырках, как решето, а Винькин отец целехонек. У нас и избы рядом стояли, и земли было поровну — у обоих кот наплакал. Помню, мой тятка и давай Козонкова уговаривать, чтобы, значит, на паях подсеку в лесу рубить. Козонков ему говорит: «А на кой фур мне эта подсека? На мой век и прежних полос хватит. А ежели сыновья вырастут, так пусть сами и смекают. Я им не мальчик, об ихней доле заботиться». Так и не согласился Козонков. Отец у нас ту подсеку один вырубил. Ночей, грешник, не спал, с глухим лесом сражался. Сучье жег, пеньки корчевал по два лета. Посеял льну. Лен вырос — пуп скрывает, помню, и в престольный праздник велел теребить, на гулянку не отпустил. С этого льну он и лошадь — Карюху — завел новую, хорошую. Бывало, берег ее, как невесту, даже и с пустого воза слезал, ежели в гору. Только на ровном месте да под гору и садился на дровни. Ну, конечно, и нас учил этому, бывало, в галоп в поскотину век не прокатишься.

Ну, а Козонковы-братаны? Они, бывало, свою Рыжуху, как собаку, батоном дразнили. Хорошая была тоже лошадь, да довели, напоили один раз с пылу в проруби, Рыжуха и стала худеть; помню, жалко ее, стоит она, бедная, стоит и целыми часами плачет. Отец Козонков ее

цыганам и променял. Те ему дали в придачу поросенка-пудовичка. А выменял такого одра, что не то что пахать, так и навоз-то возить на нем нельзя. Скоро этот цыганский мерин и сдох от старости. Козонкову это хоть бы что, только насвистывает. Бывало, доживет до тюки: кусать совсем нечего. Ну, и пошел денег занимать. У одного займет, у другого. Срок придет первому отдавать — займет у третьего да отдаст. Потом у четвертого займет да второму отдаст, так и шло дело.

Один раз подкатило такое время, что у всех назанимал. Чисто место, некуда больше идти. Остался один Федуленок. Пришел Козонков к Федуленку денег взаймы просить. Маленькая печка в избе топится, сели они у печки, сигарки свернули. Козонков денег попросил, достал из кармана спички. Чиркнул спичку, прикурил. «Нет, Козонков, не дам я тебе денег взаймы!» — Федуленок говорит. «Почему? — Козонков спрашивает. — Вроде я свой, деревенский, и за море не убегу». — «За море не убежишь, сам знаю, только не дам, и все». Сказал так Федуленок, уголек выгреб из печки, положил на ладонь да от уголька и прикурил. «Вот, говорит, когда ты, Козонков, научишься по-людски прикуривать, тогда и приходи. Тогда я слова не скажу, из последних запасов выложу».

На что был справный мужик, иной год и трех коров держал, а прикурил от уголька, спичку сберег. Так и не дал денег, а с Козонкова все как с гуся вода. Пошел из избы. «Мне, говорит, и денег-то не надо было, это, говорит, я твою натуру испытывал». Уж какое не надо!

Помню, нам с Винькой уж по двенадцать годов, приходскую школу окончили. Винька на своем гумне все ворота матюгами исписал, почерк у него с малолетства, как у земского начальника. Отец меня только под озимое пахать выучил. Карюху запряг, меня к сохе поставил и говорит: «Вот тебе, Олеша, земля, вот соха. Ежели к обеду не спашешь полосу, приду — уши все до одного оборву». И сам в деревню ушел, он тогда этот, нынешний, дом рубил. Я — велик ли еще — за кичиги-то снизу, сверху-то мал ростом. Но, милая, пошли-поехали! Карюха была умница, меня пахать учила. Где неладно ворочу, дак там она меня сама и выправит. Вот иду и дрожу, не дай бог соха на камень наедет да из земли выскочит. Ну, пока бороздой прискакиваешь, вроде и ничего, а как до конца дойдешь, когда надо заворачиваться да соху-то заносить, так сердце и обомрет. Мало было силенок-то, аж из тебя росток выходит, до того тяжело. Комары меня кушают, на разорке так и прет в сторону. Ору я это землю родимую, ору, новомодный оратай, уж и в глазах у меня потемнело. Карюха на меня оглядывается: видать, и ей жаль меня, малолетка. Полосу-то вспахал, да и чую, что весь выдохся, руки-ноги трясушка обуяла, язык к небу присох. Лошадь остановилась сама. А я сел на землю, да и пышкаю, как утопленник, воздух глоткой ловлю, а слезы из меня горохом катятся. Сижу да плачу. Не слышал, как отец подошел, сел он рядом да тоже и заплакал. Голову руками жажал: «Ох, говорит, Олешка, Олешка»...

Ты, Костя, сам посуди, семья сам-восьмой, а работник один, да и то японским штыком проткнут. «Паши, говорит, Олеша, паши, уж сколько попашется». Ну, делать нечего, надо пахать. Ушел отец, а я и давай пахать вторую полосу... У Козонковых полосы рядом с нашими. Козонков-отец пашет, а Винька за ним ходит да батожком навоз в борозду спехивает. Вижу, ушел Козонков в кусты, а Винька ко мне: «Олешка, говорит, до того мне напостыло навоз спехивать. Оводы, говорит, заели, так бы и убежал на реку». Я говорю. что тебе полдела навоз спехивать, я бы на твоём месте не нявгал. «А хощь, говорит, сейчас на слободе буду?» Пока отец в кустах был, наш Виня взял с полосы камень, да и подколотил у сохи какой-то клинышек. Отец пришел, а соха не идет, да

и только. Все время из борозды прет. Козонков соху направлять не умел. Пошел Федуленка просить, чтобы тот соху направил. Пока то да се, глядишь — и обед, надо лошадей кормить. Винька и рад. Так он этому делу наострился, что, бывало, отец у него только немного замешкается, Винька раз — и клинышек подколонул. Соха не идет, и Виньке свобода полная. На сенокосе все на солнышко глядел, когда оно к лесу опустится. А то пойдут с маткой дрова рубить. Виньке надоест, возьмет, да и спрячет маткин топор. Мохом его обкладет, топор-то...

Олеша замолчал, чтобы сделать передышку. Он вытесывал очередную лагу для вывешивания бани. Мне же подумалось, что разговоры отнюдь не во всех случаях мешают работе. В этом случае даже наоборот: разговор у Олеси Смолина как бы помогал работе плотницких рук, а работа в свою очередь оживляла разговор, наполняя его все новыми сопоставлениями. Так, к примеру, когда выставляли раму и разбили стекло, Олеша тут же и вспомнил, как попало ему за то разбитое Винькой стекло. С того стекла и пошло у него шире, дальше... Это была какая-то цепная реакция. Олеша говорил не останавливаясь. И я почувствовал, что теперь было бы уже неприлично не слушать старого плотника.

## VI

— Ну, вот я Виньке то Федуленково стекло никак не мог забыть и не один раз ему пенял, а потом мы с ним и разодрались в первый раз. «Я, говорю, тебе стукну за это стекло». — «Вали!» — «И вальну!» — «А вот вальни!» Сцепились мы на ихнем гумне. Дома узнали — мне опять дера. Почто, дескать, дерешься. Все деры из-за него, сопленосого. Один раз слышу, отец с маткой разговаривают: мол, Козонкова пороть собираются. Так, думаю, этому Вине и надо, не все меня одного пороть. Только слышу, что пороть-то будут не Виньку, а евовного отца: подати не платил, вот ему и присудили. А мне жалко стало. Ну, ладно, малолетка порют — нам это дело по штату положено. А слыхано ли дело, Платонович, больших мужиков да вицами по голому телу? Борода-тых-то?

Волостной старшина у нас был, звали Кирило Кузмич. Маленький мужичонка, много годов бессменно в управе сидел. И расписываться не умел, крестики на бумагах ставил, а имел от царя треугольную шапку и кафтан за выслугу лет. Писарь, да урядник, да этот Кирило Кузмич — вот и все начальство. На целую волость — три. А в волости народу было пятьсот хозяйств.

Вот этот Кирило Кузмич все время Козонкова и выгораживал, пока из уезда не приехал казацкий контроль. У кого корову описали за подати, у кого телушку, у Козонкова описывать нечего — назначили ему дери. Меня на эту картину отец не отпустил, говорит: нечего и глядеть на этот позор, а Винька бегал. Бегал глядеть, да еще и хвастался перед нами: мол, видел, как тятку порют, как он на бревнах привязанный дергался... Эх, Русь-матушка! Ну, выпороли Козонкова-отца, а он у писаря денег занял, косушку купил. Идет домой да поет песни с картинками. Волосья на одну драку осталось, а он песни похабные шпарит... Да.

Помню, начали, значит, и мы с Винькой на девок поглядывать. По тринадцать годов обоим, зашебаршилось у нас, иное место тверже котачига. Помню одно событие осенью, ближе к покрову. Ночи темные, вся деревня как в деготь опущена. Я дрова у гумна складывал, приходит ко мне Винька. «Иди-ко, говорит, сюда, чего-то скажу». — «Чего, говорю?» — «А вот иди-ко...» Я гумно на замок запер, а дело в субботу было, и на улице уже темно стало. Воздух этот такой парной от тумана, слыш-

но, как дымом пахнет, бани только что протопились. Виня и говорит шепотком: «Пойдем, Олешка, со мной». — «Куда?» — «А вот сейчас увидишь куда».

Ну, я иду за ним. Огород перелезли, а темно, ткни в глаз — ничего не видно. Еще один огород перелезаем, вдруг как треснет подо мной жердина. Виня на меня: «Тише, говорит, дурак, иди, чтобы не слышно было!» Подхожу ближе, как вор, вижу строение какое-то, вроде баня Федуленкова. В окошечке свет, лучина горит, слышно, как от воды каменка шипит. Федуленковы девки парятся, разговаривают.

Винька пригнулся да из-за угла, как кот, — к окошку-то. Шапку нахлобучил и в баню глядит. Я стою сам не свой. Винька поглядел, отодринулся, да и шепчет: «Гляди теперь ты, Олешка, только недолго, а я еще потом погляжу!» Ну, я ничего не помню. К окошку меня, как магнитом, так само и волокет, дрожу весь, как глянул в баню-то, будто в кипятком меня окунули. Чувствую сам, что нехорошо делаю, а и оторваться нет никакой силы-возможности. Девки Федуленковы с лучиной моются, одна Раиска, другая Танька — помоложе. Танька — наша ровесница, румяные обе, розовые. Вижу, Раиска новую лучину от старой зажигает, стоит на самом свету, ноги что кряжи. У Таньки, у той титочки, как белые репки. Меня всего так и трясет, а сзади Винька вот за полу дергает, вот дергает. «Дай, говорит, теперь мне». А ведь оконышко-то еле во ставу стоит, стекла на лучинках чуть держатся, и весь наш хитрый шорох слышно. Девки-то присели да как завизжат! Мать честная, бросился я от окошка-то, да на Виньку, да через него перелетел, носом в холодную грядку. Кинулись мы от бани, как наскипидаренные, по капусте, через изгородь да в темное поле! Крюк с версту обогнули да в деревню с другой стороны. Утром отец будит: «Олешка, говорит, где у тебя ключ-то от гумна?» — «Как, говорю, где, в пинжаке». — «Где в пинжаке, ничего нет в пинжаке». Весь сон с меня так и слетел. Искали, искали — нет ключа, хоть стой, хоть падай. «Потерял, говорю, где-то».

Пришлось отцу из ворот пробой вытаскивать, а вечером приходит к нам Федуленок. Отец ушел на ночь, овин сушить. Дома была одна матка. Федуленок и говорит: «Возьми, Олешка, свой ключ да больше не теряй. В бане-то мылся вчера?» — «Нет, — матка моя говорит, — баню-то мы вчера не топили, каменку надо перекладывать». Федуленок говорит: «Оно и видно, что не топили». А сам вот усмехается. Я на скамье как на гвоздях сижу, готов сквозь землю провалиться, и уши у меня так и горят. Федуленок ушел, ничего не сказал, только головой покачал. Век ему этого не забуду, что не сказал никому про баню. Только иногда после, бывало, увидит, усмехнется, да и скажет: «Баню-то не топил?» Потом он от меня отступился и больше не вспоминал это дело. Вот, брат Костя, какая баня со мной была...

Олеша по-молодецки воткнул топор. Синие стариковские глаза глядели спокойно и мудро, в то время как нос и рот изображали нескрываемое озорство.

— В молодости все мы люди только до пояса.

Олеша закурил. Постигнув наконец смысл его пословицы, я спросил:

— Покаялся после?

— Попу-то?

— Да.

— Нет, брат, я к тому времю и на исповедь не ходил. Уж ежели каяться, так перед самим собой надо каяться. Противу своей совести не устоять никакому попу.

— Ну, допустим, совесть не у каждого.

— Оно, правда, не у каждого. Только без совести жить — не жить. Друг дружку переколотим. Вот тятка мой, покойная головушка, был хоть и не больно строг, а любил в людях сурьезность. И деткам потачки не делал, ни своим, ни чужим. В словах у него гоже разницы не было, и что с большими говорил, то и от маленьких не скрывал. Да и скрывать-то, чего скрывать? Вся евонная жизнь была как на блюдечке, дело ясное. Работал всю жизнь до смертного часу, а кто работает, тому скрывать нечего.

Помню, на масленицу пекла matka овсяные блины. Сперва отец наелся, после я за стол. По семейному чину и старшинству. Отец сидит, хомут вяжет да на меня поглядывает. Я блинов с рыжиками да с маслом наелся, хочу из-за стола встать. «Стой, Олешка, — тятка говорит. — Сколько блинов штук съел?» — «Пятнадцать, говорю». — «А ну, садись, ешь еще». — «Не хочу, тятя». — «Ешь!» Я, значит, опять ем, а matka пекет, только сковорода шипит. «Сколько съел?» — отец спрашивает. «Двадцать пять, говорю». — «Ешь!» Я сажу, ем. «Сколько?» — «Тридцать два стало». — «Ешь!» Я ем, а отец хомут отодвинул и говорит: «Ну как, Олешка, не перевалил еще на пятый десяток?» — «Нет, тятя, до сорока два с половиной осталось». Сидим. «Дотянул?» — «Дотянул, говорю, тятя». А сам еле пышкаю. «Ну, коли д о т я н у л, так давай, matka, собирай ему котомку, пусть в Питер с мужиками идет!» Matka в слезы. Куда, дескать, малолетка плотничать, тринадцать годков еле сбилось. Отец встал, да и говорит: «Ты, matka, свои звуки и слезы прикрой, а Олешке носи новые катанки». Тут я, голубчик, и нагулялся, натешился. Только одну ночьку дома и ночевал.

До Питера ехали двенадцать ден. Ехали и по ночам, лошадей покормим — и опять в путь. Иду за отпусками да сам себя ругаю: почто, думаю, мне, дураку, было те два с половиной блина лопать? Сидел бы сейчас на теплой беседе да куделю у девок из прялок дергал. Про Таньку как вспомню, так у меня сердчишко-то и лягнет под шубой. А полоз вот скрипит, лошади фыркают, кругом темный лес. По елкам красный месяц колобом катится, волчица перекликается со своим серым хахалем. Мне и жаль самого себя, и плакать противно, слезы перерос, до крепости не дорос.

Приехали мы в Питер. Две фатеры испробовали, на третьей остановились. Первый сезон за одни харчи работал — век не забыть этот первый сезон, рубили какую-то хитрую каланчу. Шестиугольная, помню, вроде колокольни, купцу, вишь, взбрело в голову. Ярыка мужик, да Коля Самохин из нашей деревни, да Ондрюшонок Миша — всех девять человек, я десятый, довесочек. Топор у меня был свой. Помню, выточили топоры, Ондрюшонок мне и шумит: «Олешка! А ну, вставай к бревну. Окантуй сперва да горб стещи». Я, значит, топорик взял, приноровился. ноги расстановил пошире. Раз тюкнул, другой. А бью-то все с боку, не по слою тещу, а поперек, по-бабьи. С боку, одно слово, и ничего у меня не подается. Гляжу, Самохин уж второе бревно начал, а я и первое до половины не доехал. Весь вспотел. Вот Ондрюшонок, вижу, топор воткнул, подходит ко мне. «Олешка! — говорит. — Сбегай-ко вон к Ярыке, попроси у его бокового правылка. А то больно уж ты, парень, неровно тещешь-то». Я прибежал к Ярыке: «Дядя Иван, меня Ондрюшонок к тебе послал, дай на время боковое правилко». — «Ладно, говорит, батюшко, сейчас дам. Вон посиди пока, подожди». Вижу, взял обрезок, ровный такой, в сажень длиной. Повертел, повертел, да и спрашивает у десятника: «Как думаешь, Миколай Евграфович, этот подойдет на правилко?» Десятник говорит: «Нет, Иван Капитонович, этот, пожалуй, тонок будет». Я стою, жду. Ярыка другой обрезок взял, потолще. «Иди, говорит, Олешка, поближе». Я подошел, а он как начал меня этим пра-

вилком по бокам охаживать! Одной рукой меня за шкуру держит, другой правилком работает, я кручусь, верчусь, а боковое правилко по мне ходуном ходит... Выправили. После этого я с боку уж бревно не тесал, а тесал вдоль. Считай пятьдесят годов плотничаю.

...Олеша смачно откашлялся.

— Как думаешь, не хватит для первого разу? Давай-ко, брат Платонович, шабашить.

Я был от души рад этому предложению, и вскоре мы разошлись по домам.

Впервые за много лет я заснул как убитый, и во сне помню сознания всю ночь в сладкой усталости ныли обновленные мускулы.

## VII

После стремительной стычки с Олешей Авинер к бане не показывался. Однажды Олеша сказал мне, что в гости к Козонкову приехала дочь Анфея, да еще и с ребенком. Олешу на чай не пригласили... Баня продвигалась медленно, и вот я твердо решил сходить к Авинеру, чтобы позвать плотничать, а заодно и примирить его с Олешей, погасить стариковскую свару.

Как-то утром я тщательно выбрился и с чувством третьей сроду судьи обул валенки. Накануне жажда добра долго копилась во мне, и к Авинеру я направился бодро и решительно. Правда, эта бодрость вскоре сменилась некоторой растерянностью: на тропке к Авинерову дому сидел громадный волкодав. Он сонливо, молча шурился, и я на всякий случай сунул руки в карманы. Черт знает, что на уме у этого пса. Но как раз этого-то и не надо было делать. Мое движение пес воспринял как подготовку к нападению и встал с жутким рычанием. Тогда я вытащил руки и, сознавая свое унижение, потряс в воздухе кистями, убеждая, что в них ничего опасного нет и что я — существо доброй воли...

В избе у Авинера пахло новорожденными ягнятами. Сам Авинер Павлович Козонков сидел в шапке на углу стола и читал «Родную речь» для третьего класса. На печи, стараясь не остановиться, ненатуральным голосом, равнодушно и упрямо ревел внук Авинера Славко. Здешний внук, не приезжий, как выяснилось позднее.

— Авинер Павлович! Привет! — сказал я с несколько излишней веселостью и тут же слегка покраснел от этих излишков.

Козонков сперва важно подал мне свою ладонь и давнул мои пальцы. Мне тоже пришлось легонько давнуть руку Авинера. Но Козонков давнул еще раз, а я этого не ожидал и с ощущением должника сел на лавку.

Помолчали. Славко на печи настырно ревел, хотя в интонации голоса чувался интерес к моему приходу.

— Метет, — сказал я и подумал, что вряд ли нынче брошу курить.

— Метет, — сказал Козонков.

— Метет. Не холодно в избе-то?

— У меня гепло. — Козонков положил книгу.

— Вот зашел... — Я уже чувствовал, что начинаю теряться.

— Дело хорошее.

— ...посидеть.

— Хорошее дело.

Славко ревел. Пауза оказалась такой мучительно длинной, что я вспомнил анекдотический диалог двух старух, которые встретились в областном центре на главной площади. Одна остановила другую и спро-



сила, обрадованная: «Это, Матрена, ты?» — «Да я-то Матрена, а ты-то кто?» — «Да я-то Евгенья, из Гридина бывала». — «Ну так ведь и я из Гридина, узнала меня-то?» — «Нет, милая, не узнала», — сказала Евгенья и пошла дальше. Я сделал попытку завязать разговор.

- Не бывал, Авинер Павлович, на озере?
- Нет, брат, на озере не бывал, на все время надо.
- Да, на все время надо, само собой.
- Время, да и времечко. — Авинер кашлянул.
- Оно, конечно...
- То-то и оно-то.
- Да-да...

Я с тоской оглядел избу. Славко продолжал свой рев упрямо и планомерно, словно дал подписку реветь до самой весны. С потолка, оклеенного газетами времен волонтаризма, глядели аншлаги и шапки, набранные чрезвычайным шрифтом, пол был не метен. На стенке ехидно тикали часы, приводимые в движение не столько гирей в виде еловой шишки, сколько привязанным к ней старинным амбарным замком. Рядом с часами висела фанерка — самодельное объявление «не курить, не сорить», причем крупно нарисованная частица «не» была общей для обоих глаголов и стояла впереди них.

Положение было глупым до крайности, но меня неожиданно выручила Евдокия — пожилая Авинерова соседка. Она специально, говоря ее языком — а то делъно, пришла глядеть Авинеру дочь Анфею, приехавшую с ребенком в отпуск. Однако Анфея, как выяснилось, вместе с мальчишкой и матерью ушла к родственникам в другую деревню, и заход у Евдокии вышел пустой. По этой причине Евдокия долго охала и сказала, что придет еще. Уходя, она подошла к печи, где сидел и ревел внук Авинера. Оказывается, ревел он еще со вчерашнего из-за того, что его не взяли в гости.

— Славко, ты все плачешь? — Евдокия всплеснула руками. — Утром была — ревил, и сейчас пришла — ревишь. Разве ладно? Отдохни, батюшко.

На печке затихло. Славко словно рад был, что его остановили. Он нерешительно вздохнул:

- Я, бауска, отдохну.
- Вот-вот, батюшко, отдохни, — ласково сказала Евдокия.
- А потом иссо буду.

— Потом еще поревишь, а сейчас отдохни. — Евдокия постояла, собираясь уйти.

— Ты, Евдокия, не в лавку пошла-то? — спросил Козонков. — Купила бы мне чекушку к чаю.

- Да как не куплю, знамо, куплю. Купить недолго.

Авинер Павлович открыл шкаф и поскреб в сахарнице. Достал рубль с мелочью. Тут я догадался, что пришло время действовать, сунул в задний карман два пальца и быстро вытянул трешницу...

Лед был сломан. Евдокия ушла, а мы с Козонковым закурили «шипку», мне стало как-то легче дышать, хотя Славко вновь захныкал на печке.

Козонков спросил, где я живу и сколько отпуск. В ответ на мои «двадцать четыре без выходных» Авинер выпустил дым и сказал, что раньше у подрядчика плотничали без всякого отпуска. Потом похвалил сигарету.

- Не думаешь, Авинер Павлович, курить бросать?

— А почто? — Козонков закашлялся. — Не для того я привыкал, чтобы отставать. Бывало, ежели не куришь да в работу уйдешь плотничать, дак прямо беда. Мужики сядут курить, а ты работай. Уж не

посидишь. Мне вон дочка говорит: ты ведь умрешь от курева-то! А я говорю: умру, так меньше вру. Чего любишь, да от того и отстать, какое дело? Помню, пошли бурлачить, подрядились втроем, я да Степка.— (Я долго не мог догадаться, что третий был Олеша Смолин.) — По девяносто рублей с благовещенья до Кузьмы. Подрядчик свой, местный, холера. Работать велит и после солнышка. А я один раз сел и говорю, что после солнышка только на выблядков работают. Топор за ремень — и пошел в избу. Руки вымыл, нет Степки. Чую, топоры стучают. Ну, думаю, я тебя проучу, работника, ишь, выслуживается. У меня был товариш из местных, такой долбило, все, бывало, кур воровал. Подлезет в сумерки, схватит да как даст, из иной и яйцо выскочит. Вот, был пивной праздник, надо гулять идти. А в части харчей худо было, хозяйка скупая, все ножик под стол совала, чтобы мы, значит, меньше ели. Я, помню, еще до праздника, слышу — ходит она на повети. Вот и говорю: «А что, ребята, стоит только топору влестись — и скотина в доме не будет копиться!» Знаю, что слышала, только все равно кормит худо. Был, значит, у нее поросенок. Ушла один раз на работу и попросила меня, чтобы этого поросенка накормить. Я пошел на землю вылил, а в хлев-то зашел с хорошим колом. До того я довозил этого поросенка, он от меня на стены и начал кидаться. Приходит хозяйка. «Покормил, Авинер, животинку-то?» — «Добро, говорю, поел». Вечером пошла она в хлев, а поросенок-то от нее на стены. Я говорю: это, наверно, у него бешенство, надо колоть. Поохала, да пришлось резать. До того были шти хорошие...

Вскоре пришла Евдокия с поклажей. Козонков выставил на стол свои «шти», которым было весьма далеко до тех, хозяйкиных. Евдокия ушла из скромности, а Козонков позвал Славка обедать. Славко слез, но реветь не перестал. Тогда Авинер налил в чашку сколько-то водки и подал мальчишке. Славко перестал реветь и потянулся ручонкой, чтобы чокнуться. В другой ручонке была зажата конфета...

Козонков строго пригрозил внуку:

— Не все сразу!

Я пытался протестовать: мальчишке было всего шесть или семь. Но Козонков даже не повел ухом и принял протест как шутку. Я чокнулся с обоими... Славко глотнул, судорожно дернулся, лицо его исказилось, но водку он все же удержал внутри и с радостным испугом поглядел сперва на деда, потом на меня. Слезы ручьем текли из глаз мальчишки, но он улыбался с восторгом победителя. Я, плохо соображая, продолжал слушать Авинера...

## VIII

— Вот, значит, пивной праздник. Похлебали мы моих шей, а я взял, да и сунул в карман точильный брусок. Олеха гулять не пошел, а мы со Степкой. Пошли, вышли в поле. Я брусок-то вынул да как дал в затылок Степке-то, сбил с ног, да и давай молотить. Дак он, чудак, еле из-под меня вывернулся, соскочил да бежать. На другой день прихожу на работу, мне подрядчик говорит: иди куда хошь, мне таких боевых не надо. Куда деваться?

Ладно. Подрядились мы со Смолиным к купцу, церкву он ладил. Неделью-полторы пожили, бревна на церкву тешем. Один раз пошли гулять к девкам. А денег нету, только полтинник. Я говорю: «Дай, Олеха, полтинник-то, я хоть вон конфет куплю». Он пошел, а я говорю: «Иди, я догоню», сам захожу в лавочку. Уж темно стало. В лавочке лампа горит, никого нету. Я, чудак, что делаю? Постоял, постоял да — раз с прилавка штуку ситцу. Под полу этот ситец запехал. Потом взял гиру, да и давай колотить о прилавок-то. «Есть, кричу, тут кто?» Выбежал хозяин-то, я ему и говорю: «Вот зашел, а в лавке нет никого». — «Ох,

говорит, спасибо, приказчик в гости ушел, лавку не запер. Ведь меня бы, говорит, обчистили, хоть ты; парень, меня выручил. Чего, говорит, тебе за это, спрашивай сам». Я говорю: «Мне бы маленькую да папирос, ну еще конфет каких, для праздника». Он мне две маленьких, папирос три пачки да еще полтора фунта конфет наворотил. «Ой, говорит, тебе спасибо, ведь меня бы могли обчистить!»

...Козонков успевал наливать в стопки и беспрестанно курил. Тем временем зажегся свет, включили электростанцию.

— Не сделал лампочку Ильича-то? — спросил Авинер. — Вон у нас так шесть лампочек, и на сарае горит, и в хлеву.

Козонков выпил и продолжал рассказывать:

— Ну, я из лавочки вышел да бегом. Олешу догоняю, гляди, говорю, какая депутация. Он и глазам не верит. Сели на канаву — пей, говорю. Он не пьет, верни, говорит, все обратно. А для чего дано, чтобы обратно нести? Ну, выпил. А я ему из-под полы еще и штуку показываю. Он перепугался, я ему еще налил. Тут шла телеграфная линия. Я говорю, давай смеряем, хватит или не хватит от столба до столба. Давай мерить. Скрутили. Я и говорю: «Придем в деревню, я пьяным прикинусь, а ты меня ругай, вот, мол, дурак, все деньги ухлопал, для чего штуку купил? Недоглядели мы, что, когда штуку меряли, ехал кто-то на тарантасе. На другой день — раз, урядник! И пошло следствие. Олеху моего таскают, а я ночевал тайно в сеновале. Ему, дураку, нет бы инструментик собрать да уйти потихоньку. А я думаю: нет, голубчики. Ночевал в сеновале, что делать? Денег нету. А церкву как раз только заложили. Я ночью колышком бревна-то поворотил, да все деньги, какие под углы-то были наклады, и собрал. И по рублю было, и по полтиннику, посчитал — семь рублей с копейками, а билет на паровоз стоил шесть рублей. На другой день приехал купец. Углы-то у заклада проверили — нет денег. Вижу, опять кладут. Ну, думаю, хорошо как, это мне на харчи. Только стемнялось — я к церкви. Хотел колышком бревно-то отворотить, а мне как хрястнут по спине, так у меня и в глазах круги. Сторожей, вишь, поставили. Еле успел отскочить, да через канаву, да за гумно в неизвестном направлении. Свист, крик сзади, а я бегом да на станцию, ночи были темные. И гопор с котомкой на квартире оставил, уехал домой.

...Козонков кинул окурок на пол и налил еще. Выпил уверенно, словно в награду за тот удачный ночной побег.

— Спина, правда, долго болела, стукнули чем-то березовым.

— Березовым?

— То ли коромысло, то ли еще что. Приехал домой, денег ни копейки не привез, сказал матке, что обокрали в дороге.

...Я взглянул на старика: говорить об Олеше уже не было смысла. Козонков был пьяный и рассказывал про свою молодость. Я молча слушал, дивясь его памяти, а он выпил опять и вдруг надтреснутым, старчески-тоскливым голосом затянул песню. Он пел печально про то, как по винтику, по кирпичику растащили целый завод, как товариш Семен встречался с невестой, «где кирпич образует проход», и как потом снова собирали завод по винтику. Как раз в это время и вернулись из гостей Авинерова старуха и дочь Анфея с ребенком. Козонков не обратил на их приход никакого внимания. «Стал директором, управляющим на заводе товарищ Семен», — пел он, клоня сухую седую голову.

— Сам-то ты Семен, вишь, нахлебался опять и лыка не вяжет, — сказала Авинерова старуха.

— А кто хозяин в доме — я или курицы?! — Козонков сделал попытку стукнуть по столу кулаком.

...Анфея была чуть постарше меня. Помню, как она приезжала с лесозаготовок и ходила на игрища вместе с Олешиней дочкой

Густей. Сейчас она жеманно поздоровалась и ушла за перегородку. Мальчишка, ее сын, с ходу, не раздеваясь, начал сосредоточенно возиться с каким-то колесом. Он не глядел ни на кого. Подошел к столу и, никого не спросив, взял две конфеты. Анфея вышла из-за перегородки уже не в валенках, а в туфлях и в капроне. Мальчишка фамильярно дернул ее за руку, басом спросил:

— Мам, а клопы летают?

— А ну, атступишь! — отмахнулась Анфея, но мальчишка и сам уже забыл про свой вопрос. Она — видно было — усиленно стремилась говорить по-московски, на «а», однако изредка из нее прорывалась родная стихия. Один раз она назвала стакан *с т о к а н о м*.

Времени было уже много, и Козонков спал, уткнувшись головой в стол. Потухший окурок торчал меж тонких, не по-крестьянски белых пальцев. Я попрощался и пошел домой.

## IX

Наутро Олеша на баню не явился.

Вот черт, старый колдун! Обиделся за то, что я сделал визит к Авинеру. Конечно, эта Евдокия постаралась еще вчера, и вся деревня узнала о моей встрече с Авинером. Олеше доложили все подробности. Сельская, так сказать, принципиальность...

Почему-то мне стало весело.

Теперь, после недельного затворничества в холостяцкой своей юдоли, я знал, что посуду лучше мыть сразу после еды, а выметать сор из избы удобнее, когда пылает русская печь. Потому что пыль вытягивается в трубу. Правда, как раз когда топишь печь, хлопоча со всяким хозяйством, как раз тогда и набирается в избу еще больше всякого сору, который снаружи пристаёт к ногам, а в избе обязательно отваливается. Все же посуду мыть лучше сразу... Поэтому, чтобы не затягивать конфликт, я двинулся устанавливать отношения с Олешей.

Смолин же поздоровался как ни в чем не бывало. Старик вслух читал вчерашнюю газету. Он отложил чтение и положил очки в допотопный футляр.

— Бог ты мой, иной раз задумаешься, даже дух заходится...

— ?

— ...а сколько на земле должностей всяких. Начальники, счетоводы, заместители, заведующие. Плотники. Где государство и денег берет?

— А толку нет, так в няньки иди, — смачно сказала Настасья. Она сидела довольно близко и сбивала мутовкой сметану. — Люди вон учатся по пятнадцати годов, читают все заподряд. Думаешь, легко голове-то?

— Читака... — Олеша даже отодвинулся. — Разве я про то говорю?

— А про чего?

Но Олеша не удостоил жену ответом. Словно сожалая, что дал себя втянуть в пустой разговор, он обратился ко мне:

— Вот, друг мой, на баню я больше не ходок.

— Почему?

— А вишь, приказ из конторы вышел, надо ветошный корм идти рубить. Сегодня бригадир зашел, вот хохочет. Все, говорит, дедко, хватит тебе халтуру шшибать, иди в лес. «Что, говорю, уж донеслось?» — «Донеслось», говорит. А сам вот хохочет. «Во, говорит, какая депеша поступила».

— Какая депеша? — Я ничего не понимал.

— Депеша и депеша. На гербовой бумаге. Есть писаря в нашей деревне.

— Козонков, что ли?

Тут только я начал соображать, а Олеша беззвучно грясся на лавке. Не поймешь, то ли кашлял, то ли смеялся.

— Все, друг мой, по пунктам расписано.

Я не знал, что делать, и только моргал.

— А где бригадир?

— Да он на конюшню ушел только что. Беги, беги. Я схожу в лес часа на два. После обеда приду плотничать.

Олеша, кряхтя и охая, начал обуваться. Я же побежал искать бригадира.

С бригадиром мы вместе учились до третьего класса. Вместе зорили галочки гнезда и гоняли по деревне «попа», вместе прожигали штаны у осенних костров, когда пекли картошку. Потом он отстал от школы, а я кончил семилетку и подался из деревни, наши пути разошлись в разные стороны.

Еще издали я услышал звуки добродушного мата:

— Но, но, стой, как велено!

Бригадир широкой Олешинной стамеской обрубал коню копыта. Лошадь вздрагивала, испуганно кося большим, по цвету радужно-фиолетовым, словно хороший фотообъектив, глазом. Бригадир поздоровался так, что будто только вчера потух наш последний костер. Я хоть и был немного этим разочарован, но тоже не стал делать из встречи события.

— Дай помогу.

— Да не! Уже все. Отрастил копыта, будто галоши. Что, Крыско, легче стало?

— Это что, Крыско?

— Ну!

Крыска я хорошо запомнил. По тому случаю, когда однажды мерин хитрым движением легко освободился от моей, тогда еще вовсе незначительной тяжести и не горюясь удалился, а я, корчась от боли, катался на прибрежных камнях. Я улыбнулся тому, что сейчас во мне на секунду шевельнулось чувство неотмщенной обиды. Положил руку на горбатую лошадиную морду. Конь с благодарной доверчивостью глубоко и покойно всхрапнул, прислонился к плечу широкой длинной косицей нижней челюсти.

— Ну, что, как живешь-то? — Веселый бригадир взял сигарету. — Ребятишек-то много накопил?

В голосе бригадира чуялись те же интонации, с которыми он обращался к лошади, спрашивая Крыска, легче ли ему стало, когда обрубали копыта.

— Да как сказать... Дочка есть.

— Бракодел. Долго ли у нас поживешь?

— Двадцать четыре. Без выходных.

Бригадир слушал почтительно и искренне-заинтересованно, и на меня вдруг напала отрадная словоохотливость. Я не заметил даже, как выложил все, что знал сам про себя. Собеседник, начав с количества и качества наследников, спросил, где и кем я работаю, какая квартира и есть ли теща, торгуют ли в городе резиновыми броднями и будет ли в ближайшее время война. На последний вопрос я не мог ответить. Что касается всех остальных, то рассказал все подробно. Сверстник не оставался в долгу. Он говорил, что сегодня будет бригадное собрание, что в бригадирь его поставили насильно, что работать у них в колхозе некому, все разъехались, осгалось одно старье; потом рассказал о том, как ловил с осени рыбу и простудился и как заболел двусторонним воспалением легких. Почему-то бригадир с особым удовольствием несколько лишних раз произнес слово «двусторонним».

Крыско терпеливо дремал, дожидаясь, когда кончится разговор и когда понадобится что-то делать. Наконец я спросил насчет ремонта бани и той депеши, что пришла в контору по поводу Олеси. Бригадир засмеялся и махнул рукой, имея в виду Козонкова.

— А ну его! Он вон про магазин каждую неделю строчит жалобу. Привык писать с малолетства. Тут вот другое — конюха не могу найти. Иди ко мне в конюхи.

— Евдокия ж конюх.

— Да у ей грыжа.

— Ну, а старики? Олеша как, Козонков?

— К старикам теперь не подступишься, все на пенсии. Каждый месяц огребают по двенадцати рублей. Нет, Козонков не пойдет, а Олеша — сторож на ферме.

— Так ты чего, сам и за конюха?

— Сам. — Бригадир завел Крыска в стойло. — Знаешь чего, давай объездим вон Шатуна? Я уж его разок запрягал.

Сегодня в мои планы не входило объезжать лошадей. И все же я почему-то обрадовался предложению.

Шатун оказался здоровенной звериной трех лет от роду. Он обитал в крайнем стойле и, видимо, сразу почувствовал недоброе, потому что уж очень нервно вздрагивали его ноздри. Яблоки диких глаз неподвижно белели за ограждением.

Бригадир увел Крыска на место. Приготовил сбрую, пропустил в кольца удил здоровенный аркан. Потом подволок новые дровни оглоблями к стене конюшни, снял брючный ремень и припас еловую палочку. Положил в карман.

— А это зачем?

— Губу крутить.

У меня слегка захолонуло под ложечкой, но отступить было некуда. Бригадир осторожно начал открывать дверцу, держа наготове обрать, начал подбираться к жеребцу и вкрадчиво, тихо уговаривать его:

— Шатун, ну что ты, Шатун, Шатунчик... у, б..., Шатунице!

Бригадир с матюгом выскочил из стойла, так как жеребец повернулся к нему задом. Дальше все началось сначала и кончилось тем же. Я с волнением следил за ними. В третий раз бригадир начал подкрадываться к жеребцу. Стойло было тесное, конь не успел увернуться, и бригадир накинул на него обрать, молниеносно окинул ремнем жеребячьи косицы. Лошадь встрепенулась, задрала могучую голову, но было уже поздно: кляцнуло о зубы железо. Бригадир вывел коня в коридор конюшни. Жеребец вздрагивал мышцами, тревожно всхрапывал и прятал ушами, готовый в одну минуту сокрушить все на свете. Бригадир ласково, словно ребенка, уговаривал жеребца, трепал его по плечу, пока тот не перестал мерцать кровавым глазом.

— Теперь наш!

Однако «наш» не торопился добровольно идти в оглобли. С великим грудом, припрыгивая и изворачиваясь, мы надели на жеребца хомут, а когда я заправлял под хвост шлею, то почувствовал, что от страха на лбу выступила испарина. Мне показалось странным, что жеребец ни разу почему-то не дал леща копытом, не отпихнул мощным задом и даже не мотнул по лицу хвостом! Надели седелку, застегнули подпругу. Жеребец дрожал всем телом, но я не мог поверить, что боялся он именно нас с бригадиром.

Наконец завели зверя в оглобли. Шатун стоял грудью в стену, и теперь стал понятен бригадирский маневр: просто жеребцу некуда было податься и дровни бы пятились вместе с лошадью. Но вот когда надо было

стягивать клещевины хомута супонью, Шатун вдруг попятился, захрапел и так вскинул голову, что бригадир на секунду повис в воздухе. Бригадир тихо заматерился, закусил губу, и я вдруг заметил у него в глазах то же, что у коня, госкливо-дикое выражение, но рассуждать было некогда. Он подскочил и схватился за узду, что было сил потянул морду жеребца, выбрал момент и вновь накиннул гуж на оконечность дуги, приладилсЯ стянуть хомут. И опять Шатун мощно рванулсЯ, но мы, как снопы, отлетели в сторону. Я, однако, не выпустил повод, и жеребца опять водворили в оглобли.

— Ну, сука! — просипел бригадир и вытащил из кармана свой брючный ремень. — Держи!

Я изо всех сил ухватилсЯ за подузды. Бригадир сделал из ремня петлю, просунул в нее нижнюю, мягкую, большую губу коня. Вынул из кармана палочку и начал ею закручивать ремень с зажатой в нем лошадиной губой. Жеребец весь, как бы самым своим нутром, задрожал и осел, храп его осексЯ, и глаза закатились, выворачиваясь наизнанку. Я всеми зубами и корнями волос словно и сам ощутил дикую лошадиную боль. В какой-то момент шевельнуласЯ ненависть к маленькому существу — бригадиру, который медленно, с искаженным лицом делал уже второй поворот закрутки.

— Крути! — просипел бригадир. — Крути же, безмозглый черт, ну?

Я взял закрутку и сделал четверть оборота... Жеребец, оседаЯ назад, ронял розовую кровавую пену, и я сделал еще четверть, ощущая всесветную боль, отчаяние и печальную дрожь животного. Бригадир быстро стянул хомут, молниеносно привязал к удилам вожжи и заорал, чтобы я быстрее прыгал на дровни. Я бросилсЯ на дровни, оглобля затрещала, жеребец метнулсЯ вправо и понес, а бригадир не успел прыгнуть, и его на вожжах поволокло по снегу. На секунду жеребец, словно в недоумении от всего случившегося, замер в глубоком снегу. Этой короткой паузы бригадиру хватило, чтобы подскочить к дровням. Он плюхнулсЯ прямо на меня, и мы понеслись вцелок, по снегам, ломая изгороди, давая свободу всей подстегнутой ужасом и болью энергии могучего бедного Шатуна. Теперь у меня было какое-то странное первобытное чувство безрассудства и самоуверенности — след от только что посетившей жестокости. Лишь потом, задним числом, накатилосЬ недоуменное в чем-то разочарование, похожее на то, что испытываешь, поднимаясь по темной лестнице, когда заносишь ногу на очередную ступень, а ступени нет и нога на мгновение замирает в мертвом пространстве...

Уже через полчаса до предела измученный Шатун ткнулсЯ окровавленной мордой в жесткий мартовский снег. От жеребца валил пар, он неподвижно лежал в глубоком снегу.

— Ну, теперь на большую дорогу, — сказал бригадир весело и продернул ремень в свои полосатые штаны. — Побегит как миленький. Не поедешь со мной в контору?

— Нет, не поеду.

Я не стал дожидатьсЯ выезда на большую дорогу и через огороды, по пояс проваливаясь в снег, вышел к деревне.

## Х

Олеша сдержал слово: после обеда он пришел ремонтировать баню. Мы не спеша стучали топорами. Погода за полдень потеплела. Солнце было огромным и ярким, снега искрились вокруг.

— Не клин бы да не мох, так и плотник бы сдох, — сказал старик, вытесывая клин.

Из новых Олешиних бревен мы уже вырубili один ряд. И вдруг старик между делом спросил, не рассказывал ли вчера Авинер про свою женитьбу.

Козонков про женитьбу не рассказывал.

— А что?

— Да ничего. Он, бывало, поехал со мной свататься. Я ему говорю: давай запряжем мои сани. Нет, запрямился, запряг свои розвальни. Приехали, бутылку на стол, так и так, дело сурьезное. Деревня за десять верст. Невеста за перегородку ушла, а отец у нее и говорит: «Подождите, ребята, я вашей лошади овса сыпну, а потом уж и будем о деле судить-рядить». Винька в избе остался, а я тоже вышел на улицу, думаю, как там лошадь-то. Гляжу, невестин отец несет нашей лошади лукошко овса. Высыпал, да и глядит на завертки. Одну поглядел, другую. «Чи, говорит, розвальни-то, твои, парень, аль жениховы?» Я не знаю, чего и сказать. Сказать, что мои, подумает, что жених в чужих розвальнях приехал, да и врать вроде нехорошо. «Жениховы», говорю. Зашли в избу, невестин отец и говорит Козонкову: «Нет, парень, пожалуй, нам не говорить. Не огдам я тебе дочку». — «Что же, почему?» — Козонков спрашивает. «А вот, — это невестин отец, — вот повезешь мою девку к венцу, у тебя на первой горушке завертка и лопнет. Девка-то, говорит, у меня ядреная, а у тебя завертки веревочные...»

— Так и уехали?

— Так и уехали. До того, друг мой, стыдно было, что хоть давись.

Я осмелел и спросил у Олеша, как женился он сам и вообще была ли у него в жизни любовь. Олеша, поворачивая бревно, отозвался:

— Любовь-та?

— Да.

— А как же. Была у меня и любовь, и корешковые сани были. Чтобы о масленице ее катать. Только она, моя любовь-то, за Печору от меня укатила.

— Что, сама уехала?

— Как тебе сказать... Пожалуй, не больно сама. И насчет масленицы — дело десятое оказалось.

И вдруг Олеша оживился, воткнул топор.

— Ты Ярыку-то помнишь? Здоровый был мужик, изо всего лесу. Он мне, бывало, говаривал: «Ты, Олешка, девок только не бойся. Будешь девок бояться — ничего путного из тебя не получится. Наступай, говорит, с первого разу. Она пищать будет, заверещит, а ты вниманья не обращай. Пожалеешь — пропало все дело, эта уж не твоя. Омманывать, говорит, не омманывай — это дело худое, любой девке уваженье требуется. А и на завтра не оставляй». Я, бывало, слушаю, а сам краснею, и стыдно, и послушать охота. Только слушать одно, а на практике другое, практика эта мне не давалась... Помню, ходил в бурлаки. Зимогорить не остался, пришел из работы через девять недель. Деньжонок отцу принес да себе кумачу на рубаху. Иду домой, сердчишко воробьем скачет: скоро на гулянку явлюсь. Таньку увижу. А какая Танька у Федуленька была! Уж я тебе скажу... Помню, еще маленькие ходили в мох по ягоды. И Танька с нами. Мы, значит, с Винькой брусницы не собирали. Только гнездо нашли да по клюшке выломали. А Танька той порой знай собирает, набрусил корзинку будто шуткой. Домой пошли, Винька меня и подговаривает: давай ягоды у нее отыдем да съедем. Ежели мы пустые домой идем, так пусть и она не хвастает. Танька в рев. Винька хочет филином, ягоды отнимает, а мне хоть и жалко Таньку, все равно — в грабеже участвую. Съели мы эти Танькины ягоды, не съели, больше в траве рассыпали, и до того мне ее жалко стало... Таньку-то. Она, помню, идет за нами, дистанция порядочная,



идет да ручонкой слезы размазывает. А Винька дразнит ее. И вот, друг мой, до того мне жаль ее, что охота этому Вине в ухо треснуть. А как треснешь, ежели и сам в евонной компании? С этой поры Танька мне больше всего и запомнилась, а когда у бани подглядывал, это уж дело новое.

Ну, к той поре, когда мы бурлачить начали, Танька стала сама, как ягода. Выросла за одно лето, откуда что и взялось. Коса густая, ниже пояса. Уши белые. Глаза у нее были, я тебе скажу,— не глаза, а два омутка, то синие, то черные, глядят куда-то сквозь тебя — и не поймешь, что думают, будто забыли чего, а вспомнить не могут. Ростиком была чуть пониже меня, походкой легонькая, глядишь и не знаешь: то ли Танька идет, то ли бегом бежит. До травки-муравки будто из милости ногами дотрагивается. И никогда назад не оглядывалась. Все у нее выходило само собой, неизвестно, когда петь-плясать научилась, когда ткать-вышивать, плести кружева. На белый свет будто вытаяла. Косить, бывало, пойдет либо суслоны жать, не идет — птахой летит, что с поля, что в поле. А песни эти дак у нее сами так и сыпались, ее будто не спрашивались, и каждая на своем месте. Бывало, на беседе нитку прядет... Да, это... Значит, пришел я из работы. На гулянку не иду, жду, когда матка рубаху сошьет. На второй день рубаха сметана, на третий пуговицы осталось пришить. Округ матки, как поп округ аналою... Вот, помню, успеньев день, пошел в гости к божату<sup>1</sup> в Огарково. Иду, ног под собою не чувю, только цветки тросткой сшибаю, до деревни не дошел, встал, прислушался. А как ветер-то дунет, так меня весельем-то деревенским и обдаст, чувю: в Огаркове уже гуляют всюю, гармонья играет, девки за гармоньей по улице ходят, поют. Федуленок тоже с моим божатом гостился, знаю, что Танька уж тут, боюсь в гости идти. В деревню зашел задами, подошел к божатову въезду. Руки-ноги будто отнялись, а сердце в груди не готово ребро выломать, вот стучает на весь белый свет.

Ну, смелости насобираю, захожу в избу. Там уж пляска идет, смотрю — Танька тоже на кругу, как глянул... Мать честная, умирать буду, тот момент вспомню! Плечи у нее в красной фате, сарафан ласковый. Идет по кругу, ноги в полусапожках, меня будто и не заметила. А божатушка уж ко мне бежит, за стол усаживать, божат пиво из енды выливает, застолье роем гудит, гармонья играет, бабы пляшут. Поздоровался, взял стакан с пивом. «С праздником, говорю, гости хозяйские». Пью, а сам чувю, как Танька поет: «Веселее бы попела, кабы дроля поиграл. Терпеливый ягодиночка, завлек и не бывал». Эх!.. А играл-то Федуленок, еённый отец, худенько играл, мне до того охота гармонью в руки, что не могу, а надо посидеть, гостей с хозяевами уважить. Ну, налили первую рюмку, дождался второй рядовой, а бабы пляшут кружком, все вместе. Танька...

Весь вечер я как в огне, сам себя не помню, не помню, как на улицу с гармоньей ходили, как плясал — не помню. Она меня нет-нет да и обожжет глазами. Провалиться на этом месте, один этот момент и был за всю жизнь, больше такого и не бывало. Как погляжу на нее, будто меня ошпарит чем, ноги плясать просятся, а горло будто... хм.

Олеша вдруг замолк. Сивые брови нависли и потушили апрельскую синеву стариковских глаз, он сосредоточенно шаркал наждаком о топор. Я терпеливо ждал продолжения рассказа. Но старый плотник молчал, словно споткнувшись на чем-то, и лицо его было совершенно непрозрачно. Я кашлянул, шумно полез в карман за куревом. Но Олеша молчал. Вдруг он резко и озорно воткнул топор в бревно.

<sup>1</sup> Б о ж а т , б о ж а т к а — крестный, крестная, вообще родственники.

— Вот ты — парень грамотный.

Я пожал плечами.

— Скажи мне вот что...

— Что?

— Как делу быть? Иной раз думаешь — ладно сделал. Добром к человеку.

— Ну?

— А потом ты же и виноват. Как тут пословицу не вспомнишь: не делай людям добра — ругать не будут.

Я выразил недоверие к этой пословице. Но Олеша не слушал. Он глядел куда-то за горизонт, и я опять осторожно спросил:

— Ну так как...

— Что?

— Да тогда, в успеньев-то день...

— А-а, что... Дело-то, вишь, давнее. Ну, это... Божатка моя мне на сено постелила, а Винька Козонков пьяным приговорился. Он тоже в этом доме объявился, вон гроза поднимается, он и давай куражиться. Сунулся на повети — чую, спит. А девки под пологом вот форскают. Я лежу, думаю, идти к ним под полог али нет? И боюсь и смелости не хватает. «Девки, кричу, а что, я ежели к вам?» Оне мне шумят, вот, мол, у нас тут коромысло рябиновое. Я говорю: «Что мне коромысло, можете и огреть разок, только под полог пустите». Откуда что взялось. Я — к ним. Моя двоюродная была догадливая. Шмырнула с повети... «Забыла, говорит, самовар закрыть, вон гроза поднимается». Шасть двоюродная в избу. И не идет. А весь дом спит, божат с божаткой в зимней избе, гости все кто где — кто в летней избе на лавках, кто на полати уволокся, а на повети одни мы с Танькой. Да еще Винька на сене храпит в обе ноздри. Я к Таньке, понимаешь, подсел, коленки от страху трясутся. «Тань, а Тань?» — говорю, а сам рукой поверх одеяла-то. Молчит. «Вишь, говорю, мне без тебя не жизнь. Давай будем гулять по-хорошему, на руках буду носить...» Да. Взял ее за локоть, молчит, а сам весь от страху дрожу, хуже всякой войны. Обнять только приноровился, а она мне: «Что ты, говорит, Олешка, не надо. Чуешь, говорит, не трогай меня. Уходи, говорит, стыд-то какой, вон двери скрипнули, чуешь, уходи...» Ох, дурак я, дурак, встал да ушел на улицу, там еще чья-то гармонья играла. Проплясался уж под утро, захожу на поветь-то, а там слышу — Винька под пологом мою Таньку жамкает, чую, вот целуются... Я в избу, схватил графин, гляжу — графин-то пустой. А двоюродная моя корову собралась доить. «Чего, говорит, Олеша, прозевал-то? Эх ты, недопека!» Захохотала, дойник на руку — да на двор. Оглянулась в дверях-то, да и говорит: «А мне Танька тебя велела найти. Только где тебя искать? Убежал на улицу, будто век не плясывал. Так и надо тебе, дураку!» Еще и язык показала двоюродная-то, дверями хлопнула. Тут гости запросыпались, зашевелились, а я как неумный с праздника убежал домой.

...Вскоре вырубил еще один ряд. Солнце, скатываясь на горизонт, светило спокойно и ярко; я снял шапку и впервые в этом году ощутил его слабое, но такое отрадное тепло.

— Что, припекает красавка-то? — улыбнулся Олеша.

Он тоже снял шапку, и его младенчески непорочная лысина заблела на солнце. Как раз в эту минуту издалека долетел до бани рокоток автомобиля. Мы подождали машину, не сговариваясь: дорога проходила метрах в пятнадцать от бани. Олеша с любопытством глядел на приближающийся грузовик, стараясь узнать, кто, зачем и куда едут. Машина затормозила. Разбойная курносая харя, увенчанная ушастой шапкой, выглянула из кабины.

— Дедушко, а дедушко? — окликнул шофер.

-- Что, милоч? — охотно отозвался Олеша.

— А долго живешь! — Шофер оголил зубы, дверца хлопнула.

Машина, по-звериному рыкнув, покатила дальше. Я был взбешен таким юмором. Схватил голыш от каменки и запустил шоферу вдогон, но машина была уже далеко. А старик еще больше удивил меня. Он восхищенно глядел вослед машине и приговаривал, улыбаясь:

— Ну, пес, от молодец, сразу видно — нездешний.

Я ушел домой, не попрощавшись со стариком. А, наплевать мне на вас. Черт знает что творится. Мне нет до вас дела! Весь остаток дня ходил злой, словно оставленный в деревне козел, когда все стадо до самой последней старой козы на пастбище, а он, этот козел, один на один с пустой и жаркой деревенькой.

— Наплевать!.. — вслух, по слогам повторял я и злился, сам не зная на что и на кого.

## XI

Впервые за это время настроение по-настоящему свихнулось. Я не стал даже ужинать. Залез на печь и, лежа в темноте, слушал кондовую тишину своего старого дома. Вскоре я разобрался в том, что злился на Олешу, злился за то, что тот ни капли не разозлился на остолопа-шофера. А когда я понял это, то разозлился еще больше, уже неизвестно на кого, и было как-то неловко, противно на душе. И когда Олеша пришел меня навестить, я вдруг ощутил, что давно когда-то испытывал такое же чувство неловкости, противной сердечной тошноты от самого себя, от всего окружающего.

Да, конечно. Со мной уже было что-то подобное. Давно-давно, когда я только что пошел в школу. Помнится, бабка налупила меня за то, что я катался по первому, тонкому речному льду и провалился в воду. Она отвозила меня и турнула на печь, а я плакал не столько от боли, сколько от оскорбления, лежал на печи без штанов и плакал. Позднее меня на печке пригрело, я разомлел и начал задремывать, но сопротивлялся, и не хотел забывать обиду, и, чтобы злость не исчезла, все вспоминал бабкины шлепки, оживляя затихавшую горечь.

Вечером меня позвали ужинать, и я не слез, мысленно объявил голодовку, но меня не стали особо уговаривать, и от этого обида на весь мир стала еще острее. Я лежал и думал, что никто меня не жалеет, представлял, как убегу из дома и как заблужусь где-нибудь в лесу, как меня будут искать всей деревней и как не найдут три дня и три ночи. Бабка же безжалостно разоблачала меня внизу: «Вишь, дьяволенок, лежит. Лежит и думает: я вас выучу, ни пить, ни есть не буду». Мне втайне от самого себя хотелось, чтобы еще раз позвали ужинать, но никто не звал, и я плакал, жалея себя и представляя, как меня будут искать в лесу. Помнится, я так и не слез с печки, пока не пришла с работы мать и не приласкала; я слез, разревелся еще раз и медленно, долго успокаивался. Мир и все окружающее снова встали на свое обычное место, но бабку я так и не смог простить до самой ее смерти.

Сейчас, вспомнив тот случай, я снова повеселел. Надел валенки, спрыгнул с печки. Оделся, сунул коромысло в скобу ворот и пошел на бригадное собрание, о котором еще днем проговорился бригадир.

Собрание бригадир проводил у себя на дому, а дом его маячил на другом конце поредевшей деревни, напоминая собою хутор и картинно дымая трубою. Я не торопясь, с каким-то холодком под левой лопаткой вышагивал по деревне, было тихо, светло, и чуть приморазивало. В небе стояла круглолицая луна, от ее света ничто не могло спрятаться. Мерцали над деревней синие, будто обсосанные леденцы, звезды. Тишина стояла полнейшая.

Вдруг Авинеров пес, который сидел на дороге и жмурился, спокойно и мощно облаял меня. У поленницы, уже не интересуюсь мною, он задержался на полсекунды, задумчиво поднял заднюю ногу. И удалился с чувством исполненного долга. Я знал, что пес отступился только благодаря моему внешнему равнодушию: среагирую я как-либо на его возглас, он бы показал кузькину мать. Но его сиплого и жуткого «вув-вув!» было достаточно, чтобы сразу во всех домах и поветях, из-под всех крылечек и рундуков сказалась добрая дюжина самых разнообразных голосов. Одни заливались вдохновенно и отовсюду, некоторые с искренним пафосом. Другие лаяли из чувства подражания, а третьи — сами не зная зачем, вероятно, просто от скуки жизни. Первым появился на пути колоритный субъект, получившийся от смешения легавой и какой-то собачки декоративной, имеющей чисто прикладное значение породы. Это был Олешин Сутрапьян, он взлаял разок и тут же притих. Сутрапьян убежал, но явилась маленькая, тонконогая, принадлежавшая Евдокии Минутка. Я не был знаком с нею нафторотке, и она так смело приступалась ко мне, что я поневоле пятился задом, а она, видя мою слабость, быстро нагнала и вскоре цапнула за валенок. Агрессивность ее никак не соответствовала размерам тшедушного туловища. Дальше, благоразумно соблюдая безопасное расстояние, всю разорялся кривоногий бригадиров Каштан, у которого чувства менялись быстро и независимо от него. Вслед за Каштаном беспрерывно, с провизгом лаяла чья-то почти карманных размеров собачка, причем передняя ее часть извергала самую натуральную хулу, а задняя при помощи виляющего хвоста изображала преданную услужливость. Просто удивительно, как могло одно туловище одной собачки совмещать такие полярные чувства: перед изрыгал ярость, а зад юлил от умиления, подбострастия и искренней готовности броситься за тебя в огонь и воду. «Ну, прохиндеи!» — Я совсем растерялся, стоя посередине улицы.

— Что вы, лешие! Что вы, рогатые сотоны! — Евдокия, шедшая на собрание, выпустила меня из собачьего плена. — Вишь, вас развелось, как бисеру. Хоть бы волки разок прошли да поубавили вашего брата! Как собаки, ей-богу, как собаки, м у ж и к у и проходу нет!

По простоте душевной, а может, от привычки к животным Евдокия забыла даже, что речь идет действительно о собаках, и, обзывая собак собаками, окончательно наладила настроение. То, что она так по-братски назвала меня «мужиком», даже как-то ободрило, опять чувствуя себя здешним, я с волнением обил снег с валенок и вслед за Евдокией вошел в бригадирский дом.

В избе было человек пятнадцать, не считая двух-трех младенцев, самых свежих моих земляков. Периодами они давали о себе знать громким криком либо не менее громким ревом, который, впрочем, общими бабьими усилиями тотчас же пресекался.

Я не стал проходить вперед, а уселся на пороге в прихожей части бригадирской избы. В этой части скопились ходячие ребятишки, а рядом, на пороге, сидел кузнец Петя и курил. Изредка он шевелил кочергой в печке, потом снова садился на порог. Сюда же одна за другой собрались и собачки, но здесь они вели себя совсем не по-уличному. Минутка, к примеру, в помещении оказалась ласковым, безобидным существом.

Теперь можно было послушать, что говорят, но Петя-кузнец спросил, велик ли у меня отпуск. Я сказал и в свою очередь спросил, о чем собрание.

— Одне фразы! — Петя махнул рукой и спросил, ловлю ли я рыбу. Тем же громким шепотом я сказал, что рыбу не ловлю, и слегка огляделся.

Пивной котел, наполненный скотинной водой, чернел рядом, дальше лежал свернутый соломенный матрац, а вправо на топящейся лежанке сидела бригадирова бабка. Она то и дело гладила по белой головке свою маленькую правнучку и приговаривала:

— Танюшка-то у меня дак. Танюшка одна такая на свете.

Посидев и послушав, но, вероятно, ничего не поняв из-за глухоты, бабка опять гладила девочку по голове и приговаривала, какая у нее пригожая Танюшка.

Между тем там, на свету, выбирали президиум.

— Так кого? — в третий раз спрашивал бригадир собравшихся.

Но никто не внес ни одного предложения. Вдруг кузнец Петя прокричал прямо с порога:

— Козонкова в секлетари, а председатель сам будь!

Минутка заурчала от этого громкого возгласа, а в избе послышались голоса женщин:

— И ладно!

— Чего время тянуть?

— Добро и будет, чего еще.

— Все согласны? — спросил бригадир. Он стоял за своим столом, с которого еще не убран был самовар. — Давай, Авинер Павлович, занимай трибуну, вот тебе карандаш, записывай все реплики. Да, товарищи, вопросов у нас три. Это мой отчет как депутата, второе — выборы конюха. И разное.

Я слегка выглянул за косяк. Бабы сидели около хозяйки дома, у которой тоже был младенец, и по очереди брали на руки то одного ребенка, то другого. Обстоятельно хвалили каждого и качали на руках, а ребятишки сучили ногами и розовыми губами пускали веселые пузыри. Тут же была и Анфея со своим приезжим сыном, когорый так заинтересовался рыжим котом, что почувствовал себя, видимо, в зоопарке и просил у матери булку, чтобы покормить животное. Сама Анфея пришла на собрание в туфлях и опять же в капроне. Ее новая черная юбка напрасно пыталась прикрыть толстое, похожее на Олешину лысину колено.

— Товарищи, за отчетный период... — Дальше пошли выражения вроде: «в силу необходимости», «на данное число», «в разрезе графика». После этого бригадир начал зачитывать цифры, но вдруг один из младенцев, а точнее, наследник докладчика, пустил такой зычный непонятный вопль восторга, что заглушил отца, и все с улыбками обернулись назад. Виновник заминки тарасил ясные глазенки и, улыбаясь всем лицом, маршировал узловатыми ножонками на материнских коленях.

— Что, Митенька, ух ты, Митенька! — Бригадир, ожив, погудел сыну вытянутыми губами. Однако тут же выпрямился: — На данный период, товарищи, неувязка у нас с продукцией молока, а именно: худая и низкая жирность.

— Я тебя остановлю на этом месте, — послышался голос кузнеца Пети. — У тебя чего, собранье-то от колхоза иль от сельпа?

— От парткома, — объяснил Авинер.

— Нет, Авинер Павлович, от сельсовета! — громко поправил бригадир, а бабы, воспользовавшись новой заминкой, заговорили про какую-то ржаную муку.

Бабка, сидя на лежанке, то и дело засыпала, но сразу же просыпалась от звука собственного храпа. Она вновь гладила по голове молчаливую правнучку:

— Танюшка-то у меня дак. Танюшка, золотой ребенок.

У дверей упало ведро.

— А ну вас! — Бригадир прихлопнул рукой свои тезисы. — Раз не слушаете, дак сами и проводите.

Но тут Авинер Козонков сделал короткое внушение насчет дисциплины:

— Ежели пришли, дак слушайте, процедуру не нарушайте! — И примирительно добавил: — Сами свое же время портим.

Петя-кузнец выставил за двери часть скопившихся в избе собачонок, говоря, что они «непошто и пришли и делать тут им нечего». Опять установился порядок, лишь Митя — сын бригадира — все еще ворковал что-то на своем одному ему понятном языке.

— Митрей! Ой, Митрей! — тихо, в последний раз, как бы подводя итог перерыву, сказала Евдокия и пощекотала мальчишке пуп. — Вишь, кортик-то выставил. Скажи, Митя: кортик. Кортик девок портичь.

И Евдокия снова стала серьезная.

— Переходим, товарищи, ко второму вопросу. — Бригадир стриженую под полубокс голову расчесал адамовым гребнем. — Слово по ему имею тоже я, как бригадир. Как вы, товарищи, члены второй бригады, знаете, что на данный момент наши кони и лошади остались без конюха. Вот и решайте сами. Потому что у прежнего конюха, у Евдокии, болезнь грыжи и работать запретила медицина.

Бригадир сел, и все притихли.

— Некого ставить-то, — глубоко вздохнул кто-то.

Бригадир же подмигнул в мою сторону и с лукавой бодростью произнес:

— Я так думаю: давайте... Митя, Митенька... Давайте попросим Авинера Павловича. Человек толковый, семьей не обременен.

— Нет, Авинер Павлович не работник, — твердо сказал Козонков.

— Почему? — спросил бригадир.

— А потому, что здоровья не позволит. На базе нервной системы.

Евдокия сидела молча и опустив голову. Она теребила бахрому своего передника и то и дело вздыхала, стеснялась, что своей грыжей всем наделала канители, и искренне мучилась от этого.

— Ой, Авинер Павлович, — вкрадчиво и несмело заговорила одна из доярок, — вставай на должность-то. Вон Олеша — тоже худой здоровьем, а всю зиму на ферму выходил.

— Ты, Кузнецова, с Олешей меня не ровняй! Не ровняй! Олеша ядренее меня во много раз! — От волнения Авинер потрогал даже бумажки и переложил карандаш на другое место.

Кузнецова не сказала больше ни слова. Но тут вдруг очнулась Настасья и вступилась за своего старика, закричала неожиданно звонко:

— Да это где Олеша ядренее? Вишь, нашел какого ядреного! Старик вон еле бродит, вишь, какого Олешу ядреного выискал!

Поднялся шум и гвалт, все заговорили, каждый свое и не слушая соседа. Ребятишки заревели. Минутка залаяла, кузнец Петя восторженно крякнул мне на ухо:

— Ну, теперь пошли пазгаты! Бабы вышли на арену борьбы, укороту не найти!

Шум и правда стоял такой, что ничего нельзя было понять. Бригадир кричал, что поставит Козонкова в конюхи «в бесспорном порядке», то есть насильно; Козонков же требовал конторских представителей и кричал, что бригадир не имеет права в бесспорном порядке; Настасья все шумела о том, что Олеша у нее худой и что у Авинера здоровье-то будет почище прежнего: он вон дрова пилит, так чурки ворочает не хуже любого медведя; Евдокия тоже говорила, только говорила про какой-то пропавший череседельник; доярка Кузнецова шумела, что вторую неделю сама возит корма и что пусть хоть в тюрьму ее садят, а больше за сеном не поедет, мол, это она русским и советским языком говорит, что не поедет. Жена бригадира успевала говорить про какую-то сельповскую

шерсть и утешать плачущего ребенка, радио почему-то вдруг запело женским нелепым басом. Оно пело о том, что «за окном то дождь, то снег, и спать пора-а-а!». Минутка лаяла, сама не зная на кого. Во всем этом самым нелепым был, конечно, бас, которым женщина пела по радио девичью песенку; слушая эту песенку, нельзя было не подумать про исполнительницу: «А наверно, девушка, у тебя и усы растут!»

## ХИ

Я вышел на улицу. Луна стала еще круглее и ярче, звезды же чуть посинели, и всюду мерцали снежные полотнища. Все окружающее казалось каким-то нездешним царством. Я был в совершенно непонятном состоянии, в голове образовалась путаница. Словно в женской шкатулке, которую потрясли, отчего все в ней перемешалось: тряпочки, кусочки воска, наперстки, мелки монетки, иголки, марки, ножницы, квитанции и всякие баночки из-под вазелина.

Я долго стоял посреди улицы и разглядывал родные, но такие таинственные силуэты домов. Скрип шагов вывел меня из задумчивости. Оглянувшись, я увидел Анфею.

— Что, на природу лобуетесь? — сказала она и слегка хохогнула, как бы одобряя это занятие.

— Да вот... На свежем воздухе... — Я не знал, что говорят в таких случаях.

Анфея послала мальчишку домой.

— Беги, беги, вон видишь дом-то? Ворота открыты, там тебя бабушка разует, киселя даст.

Мальчишка побежал, подпрыгивая. Она обернулась и опять хохотнула:

— А ты, Костя, один-то не боишься ночевать?

— Да нет, не боюсь.

— А вот мне дак одной ни за что бы не ночевать. В эком-то большом дому.

Я кашлянул, принимая к сведению это заявление.

— Взял бы да хозяйку нашел, — как бы шутливо сказала она. — Хоть временную.

— Да нет уж... устарел.

— Ой-ой, старик! — Она чуть замешкалась. — Ну пока, до свидания. Заходи нас проводить.

Она ушла, скрипя по снегу высокими каблуками и с каждым шагом игриво откидывая в сторону руку с зажатой варежкой. Я же вошел в свой дом и закрыл ворота на засов. Улегшись ночевать, подумал, что обычно все гениальные мысли приходят с некоторым запозданием: «Какого же черта ты не пригласил ее п о х о з я й н и ч а т ь? Устарел! Один не боюсь! Тоже мне...» Я ворочался, кряхтел и вздыхал, пытаюсь уснуть, и луна пекла прямо в голову. Фантазия все сильнее раскручивала свои жернова. «О, черт! Гнусно все-таки. А ты, братец, дипломат. И притом натуральный. Да, но кому от этого вред, если она сама...» И вдруг я с ужасом поставил жену на место этой женщины. «Ну разве она, Тонька-то, не такая же? Все они одинаковы, — мысленно кричал я, — дело лишь в подходящих условиях». Я бесился все больше и уже ненавидел, презирал свою жену.

— Евины дочери! Вертихвостки! — вслух ругался я и думал, как нелепо и горько устроено все в жизни.

Дремотная пелена не глушила этой горечи. Я засыпал, но во сне боль и ревность были еще острее, опять просыпался, оказываясь лоб в лоб с желтой громадной луной.

Нет, все в мире выходит не так, как ждешь, все по-другому... Мне казалось, что мой старый дом тоже не спит, переменяя длинную лунную ночь, вспоминает события столетней давности и всем своим деревянным естеством сочувствует мне.

Смешно и нелепо... Так уж, видно, устроена жизнь, что чем глупее человек, тем он меньше страдает. И чем больше стремишься к ясности, тем больше разочарований. И, может быть, лучше ни до чего не докапываться? Жить счастливо обманутым? Да, но притворяться, что ли? Делать вид, что ничего не знаешь?

Мне вспомнилось, как в раннем детстве я любовался работой лагочек под карнизом. Они так весело, так ловко строили свои домики над окнами, гнезда лепились одно к другому, как соты. Я много дней подряд недоумевал, из чего сделаны гнезда. Я хотел потрогать домик руками, узнать, как он сделан: уж очень загадочным, интересным казалось все снизу. Я спросил у бабки, из чего сделаны гнезда. «Из грязи», — сказала бабка. Это было до того грубо и непозитично, что я был обижен и не поверил и до вечера ходил за бабкой следом, чтобы она помогла достать гнездо. И вот мы взяли из хмельника тонкий длинный шест, бабка, ругаясь, достала шестом крайнее пустое гнездо и отколупнула его. Я бросился глядеть, схватил ласточкино строение и... чуть не запустил им в бабку. Гнездо действительно было слеплено из комочков грязи, скрепленных соломинками и птичьим пометом. И мне казалось тогда, что во всем виновата бабка...

### XIII

В доме все еще тепло, даже утром, хотя мороз кое-где подрисовал колючих узорчиков на стеклах наружных рам. У меня понемногу проходит ночное смятение. С удовольствием щеплю лучину, запрыгиваю на печь, чтобы открыть задвижку. Насвистывая, чищу картошку, просто так или натухить с консервами, и мне приятно, что можно решить это, пока чистишь. Приятно и оттого, что после завтрака я пойду ремонтировать баню, а то можно и не ходить на баню, а пойти в лес по узкому зимнику и там наломать сосновых лапок на помело, либо просто поглядеть заячьих следы, либо послушать синиц, жуя холодную льдинку наста... Я истопил печь, поставил подальше от загнеты картофель с консервами. Закурил.

Хлопок ворот вывел меня из счастливой созерцательности. По стуку батога я догадался, что сейчас меня навестит Авинер Козонков.

Старик вошел без предупреждения, как принято заходить в деревнях. Поздоровался и сел, не снимая бесцветной своей шапки, завернул сигарочку. От чаю он не отказался, и я налил ему прямо из термоса.

— От электричества греется? — Козонков постучал пальцем по термосу.

— Нет, просто так.

— А этот от электричества? — Козонков показал на говорящий транзистор.

— Этот от электричества.

— До чего наука дошла.

Козонков покрутил колесико. Послышался позывной «Маяка». Мы помолчали, слушая. В избе слегка пахло угаром, и я полез открыть трубу.

— А вот меня так никакой угар не берет. С малолетства, — сказал Авинер. — Иной только нюхнет — и угорел. А я этого угару не признаю. Голова у меня крепкая.



— Крепкая?

— Это точно, голова у меня крепкая. Не худая голова, жаловаться не могу. Мне, бывало, еще Табаков говаривал...

— Какой Табаков?

— А уполномоченный финотдела, из РИКа. Мы с ним с восемнадцатого году во всем заодно, а я у него, можно сказать, был правая рука, как придет в деревню, так меня сразу требовал. Бывало, против религии наступление вели—кого на колокольню колокола спехивать? Меня. Никто, помню, не осмеливался колокол спихнуть, а я полез. Полез и залез. Да встал на самый край, да еще и маленькую нужду оттудова справил, с колокольни-то.

— Нет, серьезно?

— Ну! Или еще собрание было, помню, в бывшей просвирной, встал Табаков. Так и так, говорит, надо нам, граждане, создать в вашей деревне группку бедноты. Дело не шуточное. Кого в группку? Предлагаю, говорит, граждане, товарища Козонкова. А еще кого? Я встаю и зачитываю список: надо Сеньку Пичугина — у него, кроме горба за плечами, ничего нету. Надо Катюшку Бляхину, чтобы в женсовет: Катюшка на язык востра и сроду в няньках жила. Выбрали еще Полю—тихонького, этот был весь бедный. С этого дня я с товарищем Табаковым был друг и помощник, он меня всегда выручал, а потом его в область перевели, теперь вот слышу, на персональной живет.

Козонков помолчал.

— Как думаешь, а мне ежели документы послать? Дадут персональную? У меня вот и документы все собраны.

Я сказал, что не знаю, надо посмотреть документы. Козонков достал из-за пазухи какую-то тетрадь или блокнот, сложенный и перевязанный льняной бечевкой. Тетрадь была когда-то предназначена под девичий альбом, на ней было так и написано: «Альбом». Ниже был нарисован какой-то нездешний цветок, с лепестками, раскрашенными в разные цвета, и две птички носом к носу, с лапками, похожими на крестики. На первой странице опять был нарисован розан. Стихи со словами: «Бери от жизни все, что можешь» — помещались на второй странице, на третьей же было написано: «Песня». И дальше слова про какого-то красавца Андрея, который сперва водил почему-то овечьи стада, а под конец оказался укротителем:

...И понравился ей укротитель зверей  
Чернобровый красавец Андруша.

Пять или шесть «Песен» я насчитал в «Альбоме» Анфеи. После них пошли частушки, впрочем очень душевные и яркие, и наконец появились какие-то записи, сделанные рукой Козонкова: «Слушали о присвоении колхозных дровней и о плате за случку единоличных коров с племенным колхозным быком по кличке Микстур» («Почему, собственно, Микстур?» — подумалось мне, но размышлять было некогда), «Ряд несознательных личностей...», «К возке навоза приступлено...»

Записи мелькали одна за другой: «Постановили ходатайствовать перед вышестоящими о наложении дополнительных санкций на дезертиров лесного фронта. Поручить бригадирам взыскать с них по пятьдесят рублей безвозвратным авансом и отнять выданные колхозом кожаные сапоги. Послать на сплав вторично».

Я вынул из «Альбома» пачку пожухлых, на разномастной бумаге документов. Была здесь бумага с типографским заголовком: «Служебная записка». Запись на ней, сделанная наспех, карандашом, предлага-

ла «активисту гов. Козонкову немедленно выявить несдатчиков сырых кож». В конце стояла красивая витиеватая подпись.

К этой записке были пришиты нитками удостоверение на члена бригады содействия милиции, справка об освобождении от сельхозналога и культсбора, датированная тридцать вторым годом, а также вызов на военные сборы. Кроме всего этого, имелась бумажка со штампом «районной амбулатории», где говорилось, что «гр-н Козонков А. П. 1895 года рождения действительно прошел амбулаторское обследование и нуждается в освобождении от тяжелых работ в связи с вывихом левой ноги».

Я внимательно прочитал все документы, а Козонков достал из кармана собранные отдельно вырезки из газет. Их оказалось очень много. Некоторые были помечены еще тридцать шестым годом, подписанные то «селькор», то псевдонимом «Сергей Зоркий», а то и просто «А. Козонков».

— Нет, Авинер Павлович, по этим документам вряд ли дадут персональную.

— А почему? Я, понимаешь, считай с восемнадцатого года на руководящих работах. В группке бедноты был, секретарем в сельсовете был. Бригадиром сколько раз выбирали, два года зав Мэтээф работал. Потом в сельпе всю войну и займы, понимаешь, распространял не хуже других.

— Ну, не знаю... Пошли заявление в район.

— Да я уже писал в район-то.

— Ну и что?

— Затерли. Кругом, понимаешь, одна плутня.

Мы опять помолчали. Авинер Павлович осторожно собрал бумаги, уложил в «Альбом» и перевязал веревочкой.

— Все, понимаешь, бюрократство одно,— продолжал он.— А ведь ежели по правде рассудить, мне разве двенадцать рублей положено? Ведь, бывало, и на рыск жизни идешь, в части руководства ни с чем не считался. Спроси и сейчас, подтвердит любая душа населения, которая пожилая.

— Что, Авинер Павлович, у тебя и наган был?— Я налил еще чаю и обул валенки.

#### XIV

— И наган у меня был. Семизарядный, огнестрельный. Системы «английский бульдог». Лично Табаков под расписку выдал. Говорит, ежели в лесу аль ночью да трезвый, езд с заряженным. А когда на праздник едешь, так патроны-то вынимай, оставляй дома. А ведь что, дружочек? Иной раз выпьешь, контроль над собой потеряешь. Так я, бывало, ежели в гости еду, патроны-то вынимал да клал матке за божницу.

Один раз — на зимнего Николу дело — по всей волости пивной праздник, пришел в гости в Огарково к Акиму. У его самогонка была нагонена, две четверти, пива шесть ведер наварил. А наш Федуленок в Огаркове гостил в трех домах, ну и в том числе у Акима. Сел я за стол, Аким стопку наливает мне п е р в о м у. Федуленок и гозорит: «Что это ты, Аким Остафьевич, вроде у тебя за столом есть и постарше Козонкова, что это рядовую-то нонче с малолетков подаешь? Раньше ты вроде бы не так подавал. Ежели, говорит, я у тебя гость не любой, так могу и уйти, освободить избу». Ну, Аким промолчал, ничего не сказал, а когда до второй рядовой дошло дело, вижу, наливает п е р в о м у Федуленку. Меня, братец ты мой, так и подкинуло. На лавке-то. «Ну, говорю, Аким, не

гостил я у тебя и гостить не буду!» Сам встал да к порогу. Аким с табуретки скочил, держит меня, обратно за стол садит, а Федуленок и говорит: «Чего это ты, Аким Остафьевич, стелешься перед ним? Аль ты ему за дол жал да не отдал вовремя? Пусть идет, коли не сидится ему». Я тут, конечно, не стерпел, на взводе уж был. До этого в двух домах гостил, в голове-то уже пошумливало. Схватил этого Федуленка за жилетку через стол да как дерну, пуговицы так и посыпались. Бабы с девками завизжали, шум, крик, а я Федуленка из-за стола волоку. Тут Аким рассердился, оттащил меня, отцепил от жилетки-то, да и говорит: «Вот что, Винька, ежели пришел ко мне в гости, так гости по-хорошему, панику не наводи, в моем дому с роду никто не бузил. А ежели будешь варзять, так вот тебе бог, вот порог!» Федуленкова родня тоже из-за стола на меня встает. Я вижу, что попал в непромокаемую, раз — наган из кармана. «А ну, говорю, подходи, кому жить надоело, пришибу, не сходя с этого места!» Только так крикнул, а мне Сенька — Федуленков племянник — как даст ногой по руке, наган-то полетел, а я думаю: ладно, я сейчас временно убегу, а потом посчитаемся.

Кинули мне наган с крылечка-то, воротами хлоп — и на запор. Я встал на ноги-то, ну, думаю, я вам покажу! Поплачете вы у меня кровавой слезой, и Федуленок и Сенька! Акиму тоже припомню, за мной не пропадет. А что ж ты, братец, думаешь, все после в ногах катались, до единого. «Авинер Павлович, прости, пожалуйста!», «Авинер Павлович, войди в положение!» Вишь, думаю, тут так и Авинер Павлович, а тогда Винька был да еще и вот бог, вот порог. И говорю Федуленку: «Надо еще подумать, принимать ли тебя в колхоз». На совещание ушли, говорю Табакову, что Федуленка принимать нельзя: у него две коровы, два самовара. Дом двоежильной. Остался в единоличных этот Федуленок. И положили ему одного лесу вывезти сто двадцать кубометров, да хлеба сколько сдать, да деньгами, да молока, да сена. Тут Федуленок и заверещал.

Козонков отказался от «шипки», закурил махорки.

— А ежели в область написать?

— Что?— Я очнулся и долго не мог понять, о чем идет речь.

— Да насчет пенсии-то.

— Можно и в область.

— Все хочу сам съездить да похлопотать, только собраться никак не могу. Да и ноги стали худые, совсем отказали, ноги-то. А соберусь. Ты-то там на какой улице живешь? Не у вокзала? Дал бы мне адрес-то, может, приеду, дак у тебя и ночую.

— Пожалуйста, в любое время.

Взял у него «Альбом» и записал свой городской адрес, записал около того места, где говорилось, что «слушали о плате за случку единоличных коров с колхозным быком и постановили платить за каждую случку по шесть рублей деньгами либо по десять трудодней трудоднями».

Козонков снова тщательно завязал «Альбом» веревочкой и ушел. Стук его батога становился все тише, ворота хлопнули. А я еще долго сидел у окна и глядел на тихую снежную улицу, на тихие редкие дома.

Уже смеркалось.

Дом Федуленка, где была когда-то контора колхоза, глядел пустыни, без рам, окошками. Изрешеченная ружейной дробью воротница подвального с замочной скважиной в виде бубнового туза висела и до сих пор на одной петле. На князьке сидела и мерзла нахохленная ворона, видимо, не зная, что теперь делать и куда лететь. По всему было видно, что ей ничего не хотелось делать.

## XV

Дни были все еще не очень долги, хотя подходил к концу сиреневый март. Но солнышко уже вытапливало золотую капель, которая еще с вечера капля за каплей напаивала на застрехах ледяные сосули.

Каплю воды не успевало сорвать ветром, и она замерзала, потом катились новые снеговые слезинки и, не успевая упасть, тоже замерзали, и сосуля росла сама по себе, теперь уже от собственного холода.

Баня все еще не была готова. Олеша работал на совесть и потому медленно. Где-то на дальних подступах ко мне подкрадывалась тоска холостяцкой жизни. Однажды после самовара я по-турецки сидел на лавке и никак не мог решиться вымыть посуду. Глядел, как вырастает за окном сосуля.

Странно: чем больше я убеждался, что посуду все равно мыть придется, причем чем скорее, тем лучше, тем больше не хотелось ее мыть. Все-таки надо было что-то предпринимать. Я встал, оделся и настроился идти к Олеше, а когда принял это решение, то сразу стало как-то легче...

У самых ворот Олешина дома стояли и торчали оглоблями персональные Олешины дровни. Два воробья, видимо, осмысливши, что зиму они почти одолели и что дело идет к теплу, весело подпрыгивали у крылечка. Они с недовольным чириканьем слетели на изгородь и начали дрыгать не очень опрятными хвостиками. Мол, согнал с места, да еще и не уходит. Но мы-то знаем, что сейчас уберешься. Мне подумалось, что, живи воробьи в воде, они были бы ершами, и наоборот, ерши, называемые в последнее время в рыбацкой среде на китайский манер, — это и есть те же воробьи, только рыбы, а больше ничем от воробьев и не отличаются.

До чего не додумаешься от безделья!

Я почувствовал себя ротогеем и ступил в Олешины сени.

— Здравствуйте!

— Проходите да хвастайте.— Настасья обмахнула лавку домотканым передником.

Сутрапьян, видимо, забыв прежнюю дружбу, встрѣтил меня весьма не гостеприимно. Настасья тем же передником загнала его под лавку.

— Сиди и не крикай! Вишь, какой крикун, весь в Козонкова.

Такое утверждение меня несколько озадачило. Я спросил, почему в Козонкова.

— Да ведь как, от ихнего кобеля-то,— сказала Настасья.

Затопляя маленькую печку, она подробно объяснила происхождение Сутрапьяна. С Настасьиных слов я узнал, что свою Минутку Евдокия и конфетой кормила, и в сундук запирала, уходя на конюшню. Но все равно не могла углядеть, и тонконогая шельма изловчилась таки, и вот двоих щенят унесли в Огарково, а третьего обещал взять кузнец Петя. Однако Петя, увидев щененка, отказался в последний момент, говоря, что такого занюханного ему и за так не надо, что он его не только не возьмет, но и сам жаст придачи, чтобы не брать. Евдокия же, не зная, что делать, предложила щенка ей, Настасье, а Настасья взяла из жалости и теперь как только увидит козонковского кобеля, так и плюется и ругает его прохвостом.

— И здря,— сказал Олеша, сучивший в это время дратву.

— Чего здря? — обернулась к нему жена.

— А то и здря, что Авинеров кобель тут сбоку припека, он совсем ни при чем. Ты человека не вводи в заблуждение. Эта Минутка с бригадировым псом путалась, Авинеров кобель только поприлаживался. Будет он заниматься с такой пуговицей.

— Не ври, ради Христа, не ври! Бригадирова кобеля и так все избивают.

Тут начался спор: Олеша доказывал свое, а Настасья свое, и очень громко, поскольку была глуховата. Виновник конфликта лишь преданно моргал и глядел то на одного, то на другого. Вероятно, Олеше вскоре надоело или жинины аргументы оказались более основательными, но он миролюбиво отмахнулся:

— А ну тебя. Бес их разберет. Их целая эскадрилья за ёй бегала.

— Чего?

— Ладно, ничего. Проехало,— буркнул Олеша и добавил громко:— Свари рыбы-то!

— Да рыба-то, старик, вся.

— Вари в сю.

Настасья, прихрамывая, ушла в кухню, сняла с гвоздика гирлянду сушеных маслят, по-здешнему — обабков. Я спросил, что у нее с ногой.

— Ох, я полоротая! — засмеялась бабка. — Лазала, милый, за картошкой, да в подполье и хрястнула. Другой день хромая хожу. В малолетстве сколько раз с печи шмякалась и хоть бы чего. А теперь, вишь, косточки-то стали старые, ушибливые.

— Ой, старбень,— добродушно заметил Олеша, воткнул шило в паз и пошел за печь к умывальнику.

Грибной суп уже закипал в чугушке. Я разглядывал многочисленные фотокарточки в деревянных рамках, украшенных фольгой от чайной упаковки.

Почти все снимки так или иначе связаны были с Густей — единственной дочерью Олеша и Настасьи. Я ее хорошо помнил, помнил с тех пор, когда, будучи еще мокроносым, ходил на гулянки. Густя, приезжая с лесозаготовок, все время плясала с Козонковой Анфеей, они очень стройно и слаженно пели частушки на каждый житейский случай. Сразу после войны дороги подружек разошлись: Анфея уехала в Архангельск, а Густя тоже куда-то исчезла.

Разглядывая снимки, я увидел относительно нестарую фотографию Анфеи, воткнутую поверх стекла. Анфея сфотографировалась с серьгами и вся барашковая от свежих кудрей, словно каракуль. Левая ее рука (с часами) держала букет. На другой стороне снимка я прочитал автограф Анфеи: «Смотри на мертвые черты лица и вспоминай живую. Густе от Нели. Снимок сделан в возрасте 30-ти лет».

Вот тебе раз! Оказывается, Анфея давно никакая и не Анфея, а Неля! А я-то, дурак, сколько раз называл ее Анфеей. Правда, к ее чести, она не обижалась и не поправляла, а может, дома, в деревне, прежнее имя и для нее самой звучало нормально.

В следующей рамке красовались открытки с не очень известной киноактрисой и с байкальским пейзажем, а между ними помешался пожелтевший дагерротип, изображавший молодую чету. Он, в хромовых сапогах и в косоворотке с поясом, в картузе и с красивыми черными усами, стоял, трогательно положив руку на ее плечо, глядя серьезно, ласково и как-то застенчиво-грустно. Она же, красивая и пышногрудая, в фате-кашемировке, в длинном платье с буфами, в высоких, со множеством пуговиц полусапожках сидела на ампирном стуле с платочком в руках и глядела бесхитростно, но в то же время с кроткой суровостью.

Поистине было трудно узнать в этой чете Олешу с Настасьей. В той же рамке помешалась фотография Густа и густобрового, явно кавказского молодца: парень был достойный, но сидели они до того неестественно, что так и хотелось поморщиться. Видно было, что перед тем, как снимать молодых, фотограф силой, бесцеремонно пригнул их головы

друг к дружке, сказал «спокойно» и уж только тогда шелкнул затвором. Ничего себе спокойно! Они сидели головами впрытык, с изогнутыми шеями, а им еще приказано было улыбаться. На другом снимке тот же парень был один и выглядел куда симпатичнее, в солдатской блинчатой пилотке, в одной майке, из-под которой даже на фотографии курчавилась богатая смоляная флора (или фауна? — я вечно путаю два этих термина). Дальше как я ни глядел, но кавказского парня не увидел, а увидел другого, тоже солдата, вернее сержанта, сперва в мундире, а потом без, рядом с Густей и врозь.

— А этот кто?

— Этот тоже варяга, — хмуро сказал Олеша. — Из-под Мурманского.

Я вздохнул, но меня несколько развлекло то обстоятельство, что Олеша делил зятьев на «своих» и «варягов» не столько по национальному признаку, сколько по признаку дальности расстояний.

Тем временем суп у Настасьи сварился, она постелила на стол скатерть. Олеша нарезал сельповского хлеба. Я не стал выкамариваться и, не дожидаясь второго приглашения, сел за стол. Уж больно вкусно пахло грибным наваром, да и время было как раз обеденное. К тому же, питаемое сухомятку, все мое нутро давно жаждало супа.

— Ну-ко, солите, ежели, сами, — сказала Настасья и, перекрестясь, взяла ложку.

Вдруг Сутрапьян с лаем вылетел из-под лавки, потому что ворота скрипнули. В дверях показалась Евдокия, левой рукой она то и дело терла глаз, а в правой держала письмо.

— Вот, девушка, почтальонка-то подала, говорит: отдай.

— Да чего с глазом-то?

— Ой, не говори, солтому трясла да мусорина с ветром и залетела. Ради Христа, вынь, не знаю, чего и делать!

Настасья считалась в деревне не то чтобы полной ворожеей, но специалистом. Она останавливала кровь, заговаривала зубную боль — причем зачастую успешно, — знала толк в болезнях животных, чирьи же сводила с любого места, и все это бесплатно, за одно спасибо. Вот только грыжи были ей не под силу. Мастерница была она и доставать мусорины из глаз — языком: даже ячменная ость — вещь самая опасная для глаз — не могла устоять перед Настасьиным мастерством.

— Ну-ко, садись!

Настасья усадила Евдокию на пол, сама села рядом, ногами в противоположную сторону. Потом взяла руками голову Евдокии и, зажмурившись, приступила к операции.

Олеша без остановки хлебал суп. Сутрапьян, как, впрочем, и я, с любопытством и сочувствием глядел на старух.

— Ты не вертись, не вертись, ведь я элак не нащулаю! — сказала Настасья, прежде чем сделать вторую попытку.

— Да ведь как, девушка, не вертись. Экой-то толстущий под веко заворотила, — смеялась Евдокия.

Олеша недовольно покосился на старух:

— Открыли поликлинику. Не дадут пообедать толком.

С третьей попытки Настасья обнаружила мусорину, с четвертой вытащила ее на кончике языка. Евдокия, мигая, облегченно села на лавку. Настасья взяла ложку.

После грибного супа на столе появилась пшенная каша, потом протокваша.

— Ну, тепер, п р а в и к до вечера, — сказал Олеша, распечатывая письмо. — Ну-ко, почитай, ты пограмотнее.

Я взял письмо и прочитал вслух, расставляя мысленно запятые по своему усмотрению:

— «Добрый день, здравствуйте, тятя и мама. Пишу вам свой поклон за себя и за своего мужа Николая, а также кланяются внучата Толик и Шурик. Как вам и сообщаю, что Шурик родился у нас здоровый, уже делает ладушки, обличьем больше в отца, только нос бабушкин. Тятя, что это от вас нету никакого письма, ждем второй месяц, послали мы вам посылку, напишите, дошла ли посылка. Тятя, у нас все благополучно, Николай на старой должности, а я с работы ушла, Шурика оставить не с кем. И прошу убедительно, не приедешь ли ты, мама, хоть бы на пока, а то работу бросать неохота, а Шурика не с кем оставить. Комнату нам дали хорошую, есть сарайка и огород, весной посадим. так что пусть бы мама приехала, я бы пошла и работать на прежнее место, в столовую. В остальном все мы живы и здоровы, передайте привет всей нашей деревне, а именно: Козонковым, Евдокии, бригадиру Ивану, Пете-кузнецу и всем, всем. Вчера ночью привиделось, что кошу сено на Прониной пустоши. Жду письма с нетерпеньем, дайте ответ сразу. Остаюсь ваша дочь с семейством, Густя».

Олеша сидел, облокотясь на колени и глядя вниз, Настасья слушала, положив костистые руки на колени, и Евдокия утирала глаза концом платка.

— Ехать-то уж больно далеко,— сочувственно заметила Евдокия и вздохнула, собираясь уходить.

Я вышел вместе с нею, предоставляя старикам самим решать судьбу Шурика, который делает уже ладушки и похож больше на отца, чем на мать.

## XVI

На улице Евдокия взяла меня за локоть:

— Иди-ко, чего скажу-то...— И с видом человека, знающего то, что никому, кроме нас двоих, знать не положено, добавила: — Надо бы, батюшко, радио наладить, у меня в избе радио заглохло. Приди-ко вечером-то, приди.

В радиотехнике я не был специалистом. Но я знал, что, по понятиям Евдокии, инженер есть инженер и потому должен уметь все. Я пообещал прийти, и Евдокия довольная, но с тем же конспиративным видом пошла в конюшню. «Почему же вечером? — мелькнуло у меня в голове.— Днем же лучше отремонтировать проводку».

Не зная, что делать до вечера, я пошел к своей бане. Надо же! Баня, оказывается, была почти готова. Два нижних ряда заменены, полки сложены вновь и окошечко вставлено. Олеша тюкался здесь ежедневно, и потихоньку дело двигалось. Все было сделано на совесть, даже задвижка вытяжной трубы вытесана из новой дощечки. Оставалось только сложить каменку.

Я решил тут же начать складывать каменку. Отсортировал кирпичи и камни, очистил от золы кирпичный и еще крепкий под, выпрямил железяки, на которых держался свод каменки. Однако пришедший через полчаса Олеша вежливо забраковал мою работу:

— Поперечины новые надс, под гоже лучше перекласть.

Олеша был так предусмотрителен, что принес из дому новые железяки для поперечин и ведро глины. Видя взывающую вдруг мою трудовую активность, он ни словом не обмолвился о ее некотором запоздании, и мы принялись за работу. Разломали старый под и в три кирпича выложили новый, без перекура сложили кирпичные стенки, и только тут я спросил, что решили они с Настасьей насчет поездки.

— Да что решили, все без нас решено.— Олеша чихнул.— Придется ехать. Хоть временно.

— Ну, а ты-то как будешь один? С коровой, с хозяйством?

— А чего. Хозяйство невелико. Я-то что, старуху мне жалко. Разве дело — на старости лет ехать невесть куда. Нигде не бывала дальше сельсовета.

— Вот и пусть поглядит.

Старик как бы не слышал этого «пусть поглядит». Выбирая кирпич получше, прищурился:

— Чужая сторона, она и есть чужая. Меня, бывало, направили на трудгужповинность...

— Что это?

— Все это же,— сказал Олеша.— Дороги строить. Лесозаготовка — колхозник иди, сплав — колхозник, пожар в лесном госфонде — тоже колхозник. Это теперь везде кадра стала, а тогда одни колхозники. Бывало, на лесопункте на бараках плакаты висят: «Товарищи колхозники, ладим больше леса, обеспечим промышленность!» Полколхоза новые рукавицы шьет. Я, конечно, понимаю, без лесу нельзя. Копейка тоже государству нужна, за граница за каждую елку платила золотом. Только ежели лес так лес, а земля так земля. Уж чего-нибудь одно бы. Мы и нарубим, и по воде сплавим — шут с ним. Хоть и за так работали, денег платили — на те же рукавицы не хватит. А ведь после сплава надо еще в колхозе хлеб посеять, иначе для чего мы и колхозники. Вот сплав сделаешь, а посеешь только на Николу, на четыре недели позже нужного. Что толку? Посеем кое-как, измолотим того хуже, а год отчетный в лоб чекнет. Первая заповедь — государству сдай, вторая — засыпь семена, третья — обеспечить всякие фонды. Колхознику-то уж что достанется. Помню, когда первый раз в колхоз вступали. Куриц и тех собрали в одно место, овец, одне коты по домам остались. Вдруг — опять все по-прежнему, после статьи-то, колхоз, значит, распустили. Помню, гумно-то с овцами открыли, все овцы в разные стороны разбежались по своим домам. Федуленок и говорит: «Это оне от головокруженья». Ну, и пошел, сердечный, в сельсовет, а там ему индивидуальные листы вручили, недолго и думали. «Ты, говорят, кулацкую агитацию производишь». — «Ребята, говорит, простите, ради Христа, сам не знаю, как с языка сорвалось». Что ты! А эти листы и за шесть годов не выплатить, не то что за год. Уж он и писал и жаловался... Помню, пришли Федуленка описывать. Меня Табаков понятым назначил. Винька Козонков по дому ходит, глядит, чтобы чего не спрятали либо соседям не перетасили. Козырем ходит. В дому рев стоит, бабы с девками причитают. Вижу, одна Танька не плачет, стоит у шкапа белее бумаги, стоит она, голубушка, а у меня и в глазах туман. Тут я вспомнил опять, как мы с Винькой у ее ягоды отняли. Я сидел-сидел, а потом меня и начало трясти. Не буду, говорю, акт подписывать. Встал, да за скобу, да домой, да... Потом и это мне Козонков с Табаковым припомнили. На другой день Федуленок поехал со всем семейством, в чем были — в том и поехали. Вижу, Федуленок с народом прощается, бабы плачут все поголовно. Принесли им кто пирог, кто горбушку хлеба, кто пяток яиц. Милиционер торопит, прощаться не дает. А Танька ко мне подошла при всем народе. Да как заплачет. Танька-то... С того дня ни слуху ни духу.

— Что, и письма не бывало?

— Было два или три, первое время. Федуленок у моего отца про дом спрашивал да про народ, кто где. А после шабаш. Да мне уж после и не до Федуленка стало: отец умер, пришлось жениться... Из лесозаготовок не вылезал. Помню, matka у меня все корову жалела, ходила во двор,



в поскотину. Придет, да и ревит; Пеструху гладит. Я уж ей и запрещал, все без толку. Как праздник, так и пойдет корову проведывать. Один раз Козонков увидел ее у коровы и говорит, чтобы рев прекратила, страшает. Я и не стерпел в тот раз: «Ты, говорю, вон пьешь, по семь календарных дней не просыхаешь, а зябь у тебя в бригаде не пахана; ведь тебе надо рогожное знамя вручить, до чего ты бригаду довел». После этого и началось, раз — на меня двойной налог. Чего только не напримазывали: и что жена колдунья, и что живу в опушёном доме. Призвали один раз в контору, мне Табаков и говорит: «Вот, гражданин Смолин, поезжай в лес. Вывезешь сто пятьдесят кубометров, снимем с тебя культналог и повышенное задание. Даем тебе возможность исправиться перед пролетарским государством». Я говорю: «Вроде бы, ребята, исправляться-то мне не в чем, ни в чем я не виноват перед вами. Работаю не хуже других, сами же премию за весенний сев дали, вот, говорю, и пинжак выданный на плечах. Про Козонкова чего сказал, так правда. А ежели баба моя вереда у людей лечит, так я в этом не виноват». — «Нет, говорят, виноват». Что делать? Насушил сухарей, да и поехал хлысты возить. А лошадь дали жеребую. Недоглядел один раз, дровни за пенек задела. Натужились мы оба с кобылой, воз-то сдвинули. Только я с пупа сорвал, а кобыла того же дня сделала выкидыш. Мне за это пятьдесят трудодней штрафа, да еще и говорят, что это я с цели сделал, на вред колхозу. Не жаль трудодней, обидно сердцу.

Уж за меня и начальник лесопункта заступался, план-то я выполнял хорошо, ничего не берут в толк. Приехал домой. А меня опять — теперь уж дорогу строить, на трудгужповинность. Поскотиной ходил, березки считал. В поле на каждом камне посидишь, хуже любой бабы. Думаю, хоть бы недельку дома пожить, укроти, господи, командерское сердце! Ночь ночевал — Козонков в ворота. «Ну?» Все ну да ну, тпрукнуть некому. Поехал по трудгужповинности, работал весь сезон, все время переходящий красный кисет за мной был. Красный кисет с табаком выдавали, кто хорошо работал. Я и думаю, на производстве хоть знают сорт людей. видят: ежели ты работаешь, так и ценят тебя. Не буду, думаю умом-то, дома жить, уеду на производство. Пошел, помню, в сельсовет за справкой на предмет личности, меня уж звали плотником в одно место, договор заключили. Так и так, хочу из колхоза на производство, вот договор. Мне Табаков и говорит: «Зачем тебе документы, ехать куда-то. Ведь только там хорошо, где нас нет». Вот-вот, думаю, я и хочу туда, где вас нет...

— Дали?

Олеша промолчал, ничего не сказал. Он подбирал валун половчее, перебирал камни, но не находил подходящего.

— Вот, парень, этот камень в каменку не годится. Это с и н и й камень. Один положишь в каменку и все дело испортишь. Синий камень — угарный, в каменку не годится.

Он выкинул закопченный валун на улицу, определив его по каким-то неизвестным приметам. Я опять повторил вопрос, но Олеша опять не ответил.

— Ладно, что вчерне говорено, то можно похерить, — сказал он. — Забудь, что я тебе тут наплел.

— Бойшься, что ли?

— Бояться особо не боюсь. Только и пословица есть: свой язык хуже любого врага.

— Ну, теперь времена другие.

— Другие-то другие... — И вдруг Олеша, хитровато сложив губы, звучно чмокнул языком. — А ты не партийный?

Я замаялся:

— Как тебе сказать... Партийный, в общем-то.

— Так скажи мне, правильно ли это, ежели ограда-то выше колокольни?

— Как это... какая ограда?

— А такая. Я помню, хоть и не все были такие герои, вроде нашего Табакова... Герой. Этот герой кверху дырой. Полдела было руками на собраньях махать, громить столешницы. Помню, поехал на Судострой, вон Петькин отец приписал. По договору бараки для рабочих рубить. Только в вагон сел, дремать потянуло, время ночное, позднее. Ночь такая светлая, люди все спят. Вдруг по вагону идет человек. Ястребом по всем сторонам, глаза — в молоко поглядит, молоко скиснет. И прямо ко мне привязался: «Откуда? Куда?» Документам не верит. Сперва стоя допрашивал, а потом и пошло у него: «Проводник! Никого из вагона не выпускать! Отойдите, товарищи, не загораживайте!» Люди-то запробуждались. «А вы, гражданочка, уберите свои дамские ноги!» Я сижу, гляжу, что из него дальше будет. А что будет — слепой курице все пшеница. «Так. Гражданин, дайте вашу сумку». Это мне-то. Я сумку подал, там смена белья была да два пирога, черные, как чугуны. Ячмень-то был с гусинцем<sup>1</sup> намолот, да и мука лежалая, подмоченная. Он пирог-то разломил, что это, говорит, такое? Я говорю, что и так видно, что такое. «Хлеб?» — «Нет, говорю, не хлеб, а пирог». Он мне и тут не верит: «Ты, говорит, может, по чьему наущенью пропаганду развозишь, таких пирогов не бывает». — «Как, говорю, не бывает, бывает». А сам думаю: ты бы, думаю, тех ловил, которые карманной выгрузкой занимаются, а простых-то людей почто за гребень? Молчу. Чего станешь говорить? Поглядел, поглядел, отступился. Дальше пошел, в другом вагоне искать. После этого ни одна душа в вагоне со мной не разговаривала, до самой Исакогорки. Как на зверя глядят, страму не оберешься. Вот, думаю, чего наделал, вихлюй!

Олеша очень живо, в лицах изображал то себя с пирогами, то вагонного проверяльщика.

— А я, друг мой Константин, еще скажу, что сроду так не делал, чтобы осердясь на вошей да шубу в печь. — Старик снова стал серьезным. — Бог с ними. Была вина, да вся прощена...

Баня оказалась готовой, можно было затоплять и париться.

## XVII

Назавтра мне надо было уезжать. Мы с Олешей топили на дорогу баню. Олеша привез на санках еловых дров, пучок березовой лучины, а я взял у него ведро и наносил полные шайки речной воды.

— Истопишь? — Олеша прищурился.

— Истоплю — оближешь пальчики.

— Ну, давай, а я пойду обряжу корову.

Сначала я начисто мокрым веником подмел в бане. Открыл трубу, положил полено и поджег лучину. Она занялась весело и бесшумно, дрова тоже были сухие и взялись дружно.

Дров Олеша привез с избытком. В бане уже стоял горьковатый зной, каменка полыхала могучим жаром, закипела вода в железной ванне, поставленной на каменку. Угли золотились, краснели, потухая, и оконный косяк слезился вытопленной смолой. Сколько я ни помнил,

<sup>1</sup> Гусный горох, местное название вики.

косяк всегда, еще двадцать лет назад, слезился, когда жар в бане опускался до пола.

Угли медленно потухали. Я закрыл дверцу, сходил домой, взял транзистор и под полой принес его в баню. Утром я слышал программу передач. Где-то около этого времени должны передавать песни Шуберта из цикла «Прекрасная мельничиха». Я хотел устроить Олеше сюрприз на прощание. Поставил приемник в уголок под лавочку и замаскировал старым веником. Закрыл трубу. Угли, подернутые пепельной сединой, еще слабо мерцали, но угару уже не было. Можно мыться. Я пошел домой, достал из чемодана пахнущее свежестью белье, полотенце и двинулся к Олеше. Я думал о том, что, наверное, в старину вот так же, с такой же отрадной, возвышенной и покойной торжественностью ходили мои предки к пасхальной заутрене. Мне было и грустно и радостно. Синее небо, расширенное и впервые по-настоящему вешнее, было необъятно, снег отмякал на дороге. С крыш катилась настоящая весенняя капель. В березах и черемухах таилось предчувствие новизны, последний, легкий зимний покой, последний сон. Леса вокруг словно подвинулись ближе к деревне, на конюшне сдержанно ржал конь.

Олеша не спеша слезил на чердак за веником.

Вероятно, нет ничего лучше в мире прохладного предбанника, где пахнет каленой сосной и горьковатым застенным зноем. Летним, зеленым, еще не распаренным, сухим, но таящим запахи июня березовым веником. Землей, оттаявшей под подом каменки. Какой-то родимой древностью. Тающим снежным холодом... Своим же потом и собственной кожей...

Так. Первым делом надо повесить фуфайку. Покурить. Разуться, слегка замерзнуть...

Олеша еще ходил около бани, разглядывал свою работу. Но я уже сидел на полке в сухом, легком и ровном жару и вздрагивал от подкожного холода.

— Добро, парень, добро протопил.— Олеша сел на порог и, не торопясь, истово снял валенок, поглядел на запяток.— Ишь, мать честная, вроде и подшивал-то недавно. Париться-то будешь?

Этот вопрос был, пожалуй, излишним. Я спрыгнул вниз и медным котшиком сделал пробу. Валуны отозвались коротким и мощным шумом.

— Ну, давай...

Каменка зашумела, сухой нестерпимый жар ласково опалил кожу. Я ошпарил веник, отчаянно взобрался на верхний полок и вмиг превратился в язычника: все в мире перекувырнулось и все приобрело другое, более широкое значение.

— Ну-ко, теперь посидим...

Однако Олеша, предложив посидеть, будто повинуюсь какой-то силе, сам себе противореча, вновь поддал на каменку и без остановки полез наверх снова. Я сидел на полу без всяких мыслей. Вспомнил про транзистор, незаметно покрутил колесико, и в бане, в моей старой бане произошло какое-то новое чудо. Голос певца народился неизвестно откуда. В этих естественных, удивительно отрадных звуках не было ничего лишнего, непонятного, как в хлебе или воде: они так просто, без натуги, не чувствуя сопротивления, сливались с окружающей, казалось бы, совсем неподходящей обстановкой. И Олеша вовсе не удивился, только перестал шуметь, затих и все клонил, клонил лысую голову, потом вдруг встрепенулся, хотел что-то сказать и не сказал.

— Ах ты, едрена корень .

Я, торжествуя и радуясь, выволок из-под лавочки транзистор и подал ему.

— На. Будешь теперь под музыку париться.

— Ну, ежели, это... Не жалко ежели...

— Не жалко. Какое там жалко!

— Хм. Вот ведь как. А я думаю, это во мне чего-то поет. Из нутра.

— Из нутра и есть.

— Ну и жизнь пошла! Занятная. Умирать неохота.— Олеша намылил мочалку.— Я тебе, Костя, прямо скажу, что особо в его не верю, в этого бога. Какой тут, к бесу, бог, не видал я его и врать не буду. Только иной раз и задумаешься. Вот живет человек, живет, а потом шашть — и умер. Как это, спрашиваю, понимать? Ведь ежели вникнуть, так вроде чего-то и нехорошо выходит: был человек, а вдруг тебя нету. Куда девался? Ну, ладно, это самое тело иструхнет в земле, земля родила, земля и обратно взяла. С телом дело ясное. Ну, а душа-то? Ум-то этот, ну то есть который я-то сам и есть, это-то куда девается? Был у меня этот самый ум, душа, что ли, ну то есть я сам. Не тело, а вот я сам, ум-то. Был и нет. Как так?

— Никуда ты не денешься. Останешься. Ну, вот сделал ты мне баню... Умрешь, а я приеду в отпуск, приду париться. Так же вот думать буду, как ты сейчас, и тебя буду вспоминать. Выходит, что ты во мне будешь сидеть, хоть тебя и нет давно.

— Сумнительно что-то...

— Ничего не сумнительно.— Я и сам поверил в то, что на ходу рассказал для Олеша.— Баня? А наши с тобой разговоры все? Ну, вот возьми твою Настасью, она вон у тебя кружева плетет. И не будет ее, а красота эта и после нее останется, это разве не душа?

— Душа...

— Ну, а вот мы сейчас песню с тобой слушали. Ведь этого человека, может, двести годов нету, а душа-то в песне осталась, ты вот только что ее чуял. И никуда этот человек не девался, разве не правильно говорю?

— Оно, пожалуй, так...

— Вот и ты так же, баню сделал, про жизнь рассказал. И никуда ты не денешься без следа, так в ней и останешься.

— Баня-то — ведь это не я...

— Как же это не ты? — Я даже подпрыгнул.— Как это не ты?

— Да ведь умру вот я, а ты возьмешь да баню мою раскатишь! И все мои слова-разговоры забудешь. Вот и вся душа и весь мой ум, весь я кончился. Ну, ты, может, и не забудешь, а другой забудет, люди-то разные.

— Другой тоже не забудет!

Олеша ничего не сказал в ответ.

## XVIII

После бани я предложил Олеше рассчитаться за работу, но старик то ли не расслышал, то ли притворился, что не слышит. Лишь после я сообразил, как не к месту было сразу после работы предлагать деньги старому плотнику. Но к предложению «замочить» баню, отметить конец ремонта Олеша отнесся не то чтобы с большим восторгом, но как-то помягче:

— Чайку можно попить. Зайду.

— Старуху бери с собой.

— Спасибо, Костя! Эта-то уж не пойдет.

— Ну так я жду часика через два.

Я прикинул, что у меня есть, чтобы принять гостя, хотел сразу же собрать на стол, но вспомнил, что пообещал прийти к Евдокии, наладить радио.

Минутка встретила меня с чисто формальным лаем: твякнув для порядка, она шмыгнула в сени. В доме ярко горело электричество, ворота были открыты, но на пороге я чуть не свернул себе шею. Стлань в сенях напоминала черт знает что, только не пол: двух половиц не было совсем, какие-то плахи и дощечки торчали поперек и были веселые, как говорят плотники. А одна дырка закрывалась фанеркой от посылки. Лампочка ярко и с озорством освещала все эти свидетельства плотницкого искусства самой Евдокии.

Я вошел в избу и слегка опешил: радио орало на полную мощь и очень чисто. Передавали что-то про африканскую независимость. За столом сидела Анфея и разговаривала с хозяйкой, шумел самовар, бутылка красного вина была освобождена на одну треть. Тарелка сушек стояла на столе, другая с рыжиками.

Я поздоровался.

— Чего неладно с радио-то? Вроде хорошо говорит.

— Да теперь-то говорит.— Евдокия пошла к шкафу.— Утром-то не говорило. Ну-ко, за стол-то садись, садись!

Анфея, стараясь перекричать репродуктор, плела что-то про свой телевизор, как его покупали и что по нему передают, а Евдокия, к моему удивлению, выставила бутылку «московской».

— Ой, отстань, отстань, — затараторила она. — Садись да выпей-ко, дак теплей будет-то. Садись, не побрезгуй. Ну-ко вот, распечатывать-то я не мастерица.

Что было делать? Я сел за стол. Евдокия тотчас налила чайный стакан водки, а себе и Анфее по стопке красного. Что-то неуловимое, какая-то зацепка помешала мне спросить, по какому случаю Евдокия празднует.

— Ну-ко, Неля, давай. Со свиданьем. — Евдокия, подавая пример, взяла стопку.

Неля покуражилась для виду, напевно сказала:

— Да вот Константин-то у нас отстает.

И вот, не прислушиваясь к шевелению совести, я чокнулся с обеими и выпил полстакана. Но женщины заговорили как по команде, обе сразу: «Ой, Платонович, ты зло-то не оставляй!» И я допил вторую половину... Водка была до того противна, что в желудке что-то камнем остановилось и нудно заныло.

Я с трудом заглушил тошноту соленым рыжиком. А Евдокия уже наливала в стакан снова...

Уже минут через десять я понемногу начал проникаться уверенностью, а главное — добротой к Евдокии, к Неле, к этому симпатичному самовару, к этой клеенной газетами избе с кроватью и беленой печью, с этим котом и с увеличенным портретом сына Евдокии, погибшего на последней войне «в семнадцать годков». Моя доброта росла с каждой минутой, хотелось сделать что-то хорошее для Евдокии, ну, хотя бы испилить дрова либо перестлать пол в сенях, а Анфею, то бишь Нелю, расспросить и утешить.

В чем же утешить? Неля совсем не давала повода ее утешать. Она давно уже спорила о том, где лучше проводить отпуск, в деревне или в городе.

— Ой, нет! Нет и нет, Костя, ты меня не агитируй. В деревне разве это жизнь, ежели и выйти некуда, и поговорить не с кем.

— Приехала же вот...

— Приехала, давно не бывала, вот и приехала. Нет и нет.

— Все равно тянет на родину...

— Ничего и не тянет, выпей-ко лучше! Да не из этой, из той-то, из светлой-то налей...

— Постой, а где Евдокия?

Евдокии на стуле не было, не было ее и на кухне, и только теперь сквозь хмельной туман я начал ориентироваться и соображать что к чему... Часы показывали восемь вечера. Олеша мог с минуты на минуту прийти ко мне домой, а я и сам оказался почему-то в гостях.

В это время Анфея, не стыдясь, пристегивала отцепившийся чулок.

— Ты садись, Константин, садись. Евдокия на конюшню ушла, она там и ночует в теплушке.

— В теплушке?

Анфея, не отвечая, встала у зеркала. Вся моя доброта разом исчезла.

Я потоптался посреди избы и решительно произнес:

— Ну, мне надо идти.

Разрумянившаяся Анфея не повернулась от зеркала. Она устраивала свою прическу.

— Пока! — Я не совсем уверенно выскочил в сени. Дернул за скобу, но ворота были заперты... с улицы. Озlobившись, я сильно начал дергать за скобу. Палка, вставленная в наружную скобу, загремела, и ворота открылись. Вдовьи приспособления для запираания ворот не выдержали, я как чумной вылетел на улицу: ну, деятели!

## XIX

Дома я зажег лампу и лег на лавку. Луна светила в окна, часы тикали успокаивающе-философски. Размышляя, я постепенно входил в нормальное состояние. Собственно, что случилось? Ничего особенного. Жить надо проще, жить надо веселее, сказал кто-то. Кто? А, не важно. Нет, мерзко все-таки. Может, у меня комплекс какой-нибудь? Разумеется. Кто нынче без комплексов, разве только один Авинер Павлович. Ну, а у Олеша какой комплекс? У него всю жизнь комплекс.

Я нащепал лучины и поставил самовар. Вскоре, побритый и принаряженный, пришел Олеша. Вешая на гвоздь его шапку и полупальто, я неожиданно для себя спросил:

— А что, может, за Козонковым сходить?

— Дело хозяйское, — сказал Олеша.

...Жажда творить добро опять зазудела во мне. Я поручил Олеше глядеть за самоваром, побежал за Козонковым. Словно избавляя от опасности еще раз встретить Анфею, Авинер встретился мне на улице, он направился к бригадиру играть в карты.

— Зайди, Авинер Павлович, на часик.

Козонков замешкался, но я был красноречив, древесное зелье умело вызывать не только тошноту. В сенях я осветил Авинеру фонариком.

— Здравствуйте! — громко сказал Козонков.

— Авинеру Павловичу, Авинеру Павловичу! — В голосе Олеша было смешливое добродушие.

...Бутылка армянского коньяка, припрятанная на всякий случай, не давала мне покоя: старики, вероятно, сроду не пивали такого. Пospel самовар. Я открыл консервы, нарезал хлеба и налил по полстакана.

— Ну, Авинер Павлович, Алексей Дмитриевич!

Старики по очереди разглядывали красивую этикетку.

— Правда, говорят, что его на клопах иногда настаивают?

— Врут!

— Выдержка, вишь, пять лет.

— Ты смотри...

— Я так в чаю только.

— Ну, в чаю коньяк не годится. — Я заварил и чай. — Коньяк пьют по глоточку.

Вот дурак, разве можно так говорить? По глоточку... Но Олеша неожиданно меня выручил:

— И ладно, что по глоточку. Вот раньше пили, рюмочки-то были: палец сунешь — в ней сухо будет. Теперь вон стаканами глушат, а что толку?

— Значит, лучше жить стали, — заметил Авинер.

— Лучше — ничего не скажу. А вино пьют, как лошади. Напьются да давай друг дружку возить. А бабы-то что делают! Иная... Иная, как вод... — Олеша закашлялся.

Мне пришлось вспомнить забытые приемы деревенского потчевания. Олеша крикнул, неторопливо взял кусочек консервов, то же сделал и Авинер.

— Что, баню-то доделали? — спросил Авинер.

— Баня, Авинер Павлович, у мужика будет добра, простоит еще двадцать годов, — сказал Олеша.

— Баню не похаеть, как колокол.

— Добра баня. А у тебя, Павлович, разве худая баня? У тебя баня тоже хорошая.

— Не скажу, что худая. Вот хочу котел вмазать, на белую переделывать.

Они мирно беседовали, я слушал их добродушные голоса, и мне вспоминались плотничьи рассказы. Какой-то чертик, вертлявый и хитрый, подзуживал меня все время. И вот я налил еще и приготовился говорить речь, речь о их жизни: мне казалось, что надо наконец поставить точки над «и».

— Вот вы оба жизнь большую прожили, а нынче друг с другом неделю не здоровались. Вы бы сели, да и разобрались, кто прав, кто виноват. В открытую!

Это была явная провокация. Но я уже завелся и не мог остановиться, взывал к прогрессу и сыпал историческими примерами.

Авинер Козонков решительно отодвинул стакан с чаем:

— Я тебе, Костенкин, так скажу. Народ совсем осатанел, дисциплина худая, напряжение у нервов ослабло. Приказов не слушают, только пекут белые пироги.

— Полно, Авинер Павлович, отстань. Разве дело в этом? — Олеша поставил стакан вверх дном.

— Нет, не отстану! Я, бывало, повестки пошлю — так на собрание то летят пулями, дисциплинка была, не в пример теперешней роли. Все бегали!

— Бегали. И не хошь, да побежишь. Кто сусеки-то до зернышка выгребал, не ты, что ли? Колхоз колхозу, Козонков, большая разница. Тебя и район укорачивал. Хорошо, что не ты один был в ячейке-то, были и хорошие люди.

— А ты как был классовый враг, так и остался, — повысил голос Козонков. — Дело ясное.

— Нет, не ясное. У вас с Табаковым все было уж больно просто. Чего говорить. Сапожников и тех прижали, смолокуров. Мол, частная инициатива, свое дело.

— А что, разве не свое?

— Дело. Конечно, свое дело. А чье оно быть должно? Без этого дела вон вся волость без сапогов осенью набегалась, когда Мишу-то прищучили, сапожника-то. Теперь ежели рассудить с другого боку. Как это Кузя Перьев в кулаки угодил? Ведь у него не то что чего, дак и ко-ровы не было, в баню пойдет — рубаху сменить нечем. Потому что Табакова обматерил в праздник, вот и попал в кулаки. А Колюха Силантьев был справный до колхозов, он и в колхозе тоже был справный, все время ходил в ударниках.

— Ты, Смолин, мне зубы не морочь, туманом глаза не застилай. Вон возьми Лихорадова. Дача лесная, торговля на всю округу.

— Торговля — дело другое. Укоротили Лихорадова, ладно и сделали.

— А Федуленок чем лучше? Тоже частная собственность.

— Так ведь Федуленок сам сделает, на земле вырастит да продаст. Без этой торговли людям нельзя ни в городе, ни в деревне. За такую торговлю и Ленин стоял. А Лихорадов, тот продавал купленное. Есть разница?

— Нет разницы. Тот же сплоататор, тот же буржуй и Федуленок.

— Вот тебе раз! Да кого ж Федуленок сплоататничал? Разве свой горб за свою же шею.

— Людей панимал на жнитво и на сенокос.

— Ничего он не нанимал. Помочи делал, так помочи и вы с Горбунком делали.

— У Федуленка одних самоваров было два или три.

— А тебе кто мешал самовары-то заводить? Федуленок вон и по большим праздникам вставал с первыми петухами. Ты сам себя бедняком объявил, а пока досыта не выплещешься, тебя из избы калачом не выманишь.

— А что, я не двужильный.

— Ну, а Федуленок двужильный?

— Жадный.

— Работящий. Скуповат был, верно. Когда земля после революции стала по едокам, ты и свои полосы залужил. А он вон две подсеки вырубил, на карачках выползал.

— Жадность одна.

— Трудился мужик, землю обласкивал, а вы с Табаковым того понять не хотели.

— Ладно и сделали. Тебя бы надо с ним заодно, ты контра был, контра и есть.

— Ты сам контра-то, это вы с Табаковым власть только и похабили. Ты за ее палец о палец не колонул, а Федуленок за ее воевал с Колчаком. Чья она, выходит?

— Не твоя.

— Чья?

— А бедняков.

— Вот опять за рыбу деньги. Я против бедняков хоть слово сказал, которые работали? Ведь сие, бедняки-то, которые работали, сами при новой власти из нужды выходили. А вы с Табаковым дела себе искали.

— А что я? Что я? — Козонков встал. — Ты что, такая мать, меня при людях страмишь? Я тебе вот шарну сейчас...

## XX

Не успел я ввязаться, как Авинер обеими руками схватил Олешу за ворот и, зажимая в угол, начал стучать о стену лысой Олешинной головой. Стол с самоваром качнулись и чуть не полетели, армянский коньяк потек



по ногам. Козонков со звонким звуком стучал и стучал о стену Олешиной головой, я еле отцепил и оттащил его от Олеша. Ситцевая рубаха Олеша лопнула и затрещала. Я не ожидал, что Олеша петухом выскочит из-за стола и кинется на Авинера с другой стороны. Они сцепились опять и упали оба на пол, старательно норовя заехать друг дружке в зубы.

Я начал их растаскивать, еле погасив собственное бешенство. Мне вдруг тоже нестерпимо захотелось драться, все равно с кем и за что. Однако вспомнив, кто хозяин дома, я опять начал разнимать драчунов. Но что было делать? Если схватить за руки Олешу, Авинер тут же воспользуется перевесом и заедет ему кулаком в нос, если схватить за руки Авинера, то же самое делает Олеша. И получится, по выражению Олеша, «перенесение порток с вешалки на гвоздок». Я прискакивал около них, стараясь подступиться то с той стороны, то с этой и рискуя обратить против себя обоих. Тут-то, в самый разгар поединка, и появилась на пороге Олешина Настасья! Старуха пришла проведывать Олешу, увидела побоище и, ругая старика то дураком, то пентюшкой, вина одного его, оперативно погасила смуту. Она утатила Олешу домой, а я помог Авинеру встать, выждал момент и под ручку повел тоже домой.

— Я! Да я... — Авинер еле переставлял ноги. — Я за коллектив родному брату головы не пожалею. Отлетит на сторону!

У своего дома он несколько поостыл. Обнимая меня и приглашая к себе, сказал, что у него есть еще чекушка, что жалко, что у него часы на руке, а то бы он этому Олеше дал звону...

Я вернулся домой. Сел у окна и долго глядел на луну. Часы, сбитые с толку потасовкой, остановились. Олешина шапка, раскинув уши с завязками, валялась на полу, тишина в доме стояла абсолютная. Я равнодушно улез на печь, равнодушно, даже не противясь зеленой своей тоске, лег...

Я не помнил, сколько часов подряд не вставал, не топил печь. Сквозь дремоту я ощущал характерное пощипывание в горле — верный признак надвигающегося гриппа. Все тело ломило, появилась нудная головная боль и сухость во рту, поднялась температура. В избе совсем выдуло. Я лежал на остывающей печи и тупо глядел в потолок, потом забывался, и меня окружали кошмары. То мне снилось, что я совсем раздет, сижу голый, а кругом люди, то погружался в какие-то иные миры. Гудел в ушах, бил по темени неведомый колокол. Я пытался увидеть этот колокол, но в тумане маячила одна развороченная колокольня и почему-то Авинер Козонков кидался оттуда осколками кирпичей. Осколки летели градом, я старался убежать, а ноги не слушались. Вдруг колокольня стала не колокольня, а баня, и Петя-кузнец с загадочным видом ходил около, ища под углами полтинники. И баня и Петя-кузнец растаяли, исчезли, я услышал вопль необъезженного жеребца, а бригадир почему-то душил жеребца Олешинной шапкой. Жеребец вдруг превратился в Авинерова кобеля и начал фамильярно меня обнюхивать.

Стукнули ворота.

Я с усилием прояснил сознание, шевельнулся. Неожиданно вошла Настасья, подняла с пола Олешину шапку.

— Ой бес, ой он бес, до чего напился, шапку потерял! А я, Констанкин, за тобой пришла-то. Ежели, говорит, без него, дак домой не ходи.

— Не могу, Настасья, совсем заболел.

— Занемог?

— Занемог.

— Ну так я тебе малины сушеной принесу. Ты кряду и поправишься.

Настасья ушла, вплетаясь в кошмары. Колокол редкими ударами бил где-то далеко-далеко, в глазах расплывались радуги. Тоска душила

со всех сторон, потом, когда мысль прояснялась, меня охватывала брезгливость, физическое отвращение ко всему на свете, в том числе и к самому себе. Все рушилось, все распадалось.

Я вспоминал вчерашнюю драку со злым отчаянием, во мне копилась ненависть к обоим ее участникам. Душой я был на стороне Олеша, а ум подсказывал, что прав останется все равно Авионер. Прав, несмотря на всю его несправедливость к Олеше. Постой, а какого черта надо тебе? Что хочешь ты-то в этом споре? Я окончательно запутался...

Голова разламывалась от боли, и хотелось плакать, но я тут же хохотал над этим желанием: «Я, только я виноват в этой драке. Это я захотел определенности в их отношениях, я вызвал из прошлого притихших духов. А потом сам же испугался и вздумал мирить стариков. Потому что ты эгоист и тебе больше всего нужна гармония, определенность, счастливый миропорядок. Примирил, называется». Стук лысой Олешинной головы о стену так явственно звучал в ушах, что я покраснел от стыда и горечи: о черт, зачем было вмешиваться? Теперь они возненавидят меня оба. Они опять стали врагами, а враги не любят не только того, кто их ссорит, но и того, кто старается примирить. Это уже точно. Их вражда не помешает им блокироваться против тебя. И ты никогда не проведешь спокойно свои двадцать четыре здесь, на родине. Вот, оказывается, в чем дело! Сразу бы так... Ты и тут думаешь только о себе. Двадцать четыре без выходных... Да нет же, дело не в этом. Интересно, в чем же? А в том... В чем? В том, что...

Какая-то мысль комаром вертелась около уха, но я никак не мог ее изловить. Все перемешалось в моей голове: «Надо встать. Надо прежде всего встать. В гробу я видел этот дурацкий грипп! Сейчас пойду к Настасье, она заварит мне сушеной малины. И пусть Олеша ненавидит Козонкова, тот заслужил Олешину ненависть. Пусть Авионер ненавидит Олешу, этот тоже хорош. Видимо, так все и должно быть. Да! Да! Да!»

Я не помнил, как надел валенки. Слез с печки, пошатываясь, оделся и вышел на улицу.

Ворота Олешина дома захлопнулись, и я, качаясь от слабости, поднялся по лесенке. Взялся за скобу...

Боже мой, что это? Я не верил своим глазам. За столом сидели и мирно, как старые ветераны, беседовали Авионер и Олеша. Не было ни крику, ни шуму. Бутылка зеленела между чайных приборов, на столе остывал самовар.

— А мы тебя, Костенкин, давно ждем. Ну-ко, давай садись. Занемог, что ли? — сказал Олеша.

— Да нет, ничего вроде.

— Мы тебя враз вылечим.

Олеша налил полстакана бурого чая. Настасья заварила нового чаю, уже с малиной. Я растворил сахар, и Олеша прямо из бутылки дополнил стакан. Налил себе и Козонкову.

— Мы уж тебя давно, парень, ждем-то, вон и Настасью за тобой посылали, — сказал Авионер и поднял стопочку.

— Дай бог не последнюю, — сказал Олеша.

От пунша мне стало жарко. Озноб за плечами растаял, и в глазах у меня потеплело от чего-то непонятного. Или я старею? Может быть, я старею и становлюсь просто сентиментальным. Ах, черт побери, как все-таки хорошо жить.

— Ну, поехали!

Сквозь пелену уходящей болезни я смутно ощущал разговор Авионера с Олешей.

— Нет, Авионер Павлович, я тебя не переживу.

— Может, и ты, Олеша, меня топтать будешь.

— Оба, Авинер Павлович, в одну землю уйдем. Я уж подсчитал, на гроб надо сорок восемь гвоздей. Только ежели мне там не пондравится, так я обратно прибегу, возьму увольнительную. А вот чего, парень: сделай мне гроб на шипах! Ежели умру, сделай гроб на шипах, чтобы честь по чести! Да с гармоньей похороните, заиграют, дак я хоть ногой лягну! — Олеша даже притопнул.

— На шипах. На шипах домовина, конечно, не то что на гвоздях, оно поплотнее... — Козонков пожевал хлеба.

— Вот и давай уговор сделаем.

— Давай. Я не сунротив, — сказал Козонков.

— При свидетелях! — Олеша даже привстал.

— Ну!

— Дай руку, что на шипах сделаешь!

— Да, может, я раньше умру-то.

— Ну, тогда и я тебе на шипах.

Старики потискали друг другу ладони, и Олеша вдруг весело, с душой спел частушку:

Плясать-то учились  
Еще мальчиками,  
Дотыкались до земли  
Одними пальчиками!

Настасья со смехом замахала на него руками:

— Ой-ой, что с ним будет-то! Гли-ко, он распелся-то!

— А мне теперь что! Вот ты завтра с Костей уедешь, а я без тебя и женюсь на молоденькой. В больницу схожу, все анализы сдам. Пойду в Огарково свататься!

Потом они оба с Авинером, клоня сивые головы, тихо, стройно запели старинную протяжную песню. Я не мог им подтянуть — не знал ни слова из этой песни...



---

ВАДИМ ШЕФНЕР

★

## ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

\* \* \*

Душа — общежитье надежд и печалей.  
Когда твоё тело в ночи отдыхает,  
О детстве, о сказочно-давнем начале,  
Во сне потаенная память вздыхает.

И снятся мечте неземные открытия,  
И лень, чуть стемнеет, все лампочки гасит,  
И совесть — ночной комендант общежитья —  
Ворочается на железном матрасе.

И дремлет беспечность, и стонет тревога —  
Ей снятся поля, окропленные кровью,  
И доблесть легла отдохнуть у порога,  
Гранату себе положив к изголовью.

А там, у окна, под звездой вечерней,  
Прощальным лучом освещенная скудно,  
На праздничном ложе из лилий и терний  
Любовь твоя первая спит непробудно.

\* \* \*

Война не нужна, но возможна.  
Вдали — сквозь бензиновый чад,  
Сквозь ритмику джазов — тревожно  
Военные трубы звучат.

Средь лета с гнездовой обжитых,  
Рыдая, летят журавли,—  
И строгие тени убитых  
С оружием проходят вдали.

\* \* \*

Над собой умей смеяться  
В грохоте и в тишине,  
Без друзей и декораций,  
Сам с собой наедине.

Не над кем-то, не над чем-то,  
Не над чьей-нибудь судьбой,  
Не над глупой кинолентой —  
Смейся над самим собой.

Среди сутолоки модной  
И в походе боевом,  
На корме идущей ко дну  
Шлюпки в море штормовом —

Смейся, презирая беды,—  
То ли будет впереди!  
Не царя — шута в себе ты  
Над собою учреди.

И в одном лишь будь уверен:  
Ты ничуть не хуже всех.  
Если сам собой осмеян,  
То ничей не страшен смех.



---

---

ВАСИЛИЙ ГЛОТОВ

★

## ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

### ПАМЯТНИК

Здесь все: героев имена,  
Портреты в золотой оправе.  
И вспоминает старшина  
О героической заставе.  
И дату называет он,  
Когда в июне в час рассвета  
Фашистский мотобатальон  
Отбросила застава эта.  
Земля гудела. И тогда  
Казалось, воздуха не стало.  
И в Буге пенилась вода  
От раскаленного металла.  
Казалось, плавится гранит,  
Горели и сады и травы...  
И вот он, памятник, стоит —  
Бессмертье воинов заставы.

### ВЕЧЕР

За городом гремит аэродром.  
Видна заката розовая кромка.  
И катится звенящим серебром  
По кособогу буйная поземка.  
  
Все замело: ни стежки, ни дорог.  
А город залит половодьем света.  
Мне хочется зарыться в белый стог  
И вспоминать лазоревое лето.  
  
Не знаю, почему я нынче рад,  
Хотя совсем отказывают ноги...  
Я оглянуться не стыжусь назад —  
И не страшит меня конец дороги.

Львов.



---

ВЕСЕЛИН ХАНЧЕВ

★

## БАЛЛАДА О ХОЗЕ САНЧО

*С болгарского*

Хозе Санчо,  
Хозе Санчо,  
ищу я тебя,  
чтоб с тобой говорить,  
милый Хозе Санчо,  
мой друг и художник,  
с тобой,  
поседевшим в скитанья,  
постаревшим от новых встреч,  
скоро уж тридцать лет  
колящим по свету.  
Спрошу я тебя,  
почему ты не можешь  
мир рисовать, как он есть?  
Спрошу я тебя,  
почему ты рисуешь в домишках моих тракийских  
испанских танцоров  
и мадонн,  
Хозе Санчо?  
Спрошу я тебя,  
почему ты рисуешь море Севера  
красными, синими, зелеными красками,  
а мужчины твои  
с цыганской тоскою в глазах?  
Спрошу я тебя,  
почему ты рисуешь этих быков возле Сены,  
эти блестящие кастаньеты  
под небом Варшавы?  
Спрошу я тебя,  
почему ты рисуешь немок-блондинок брюнетками  
и в мантильях, как у Кармен,  
почему расцветают розы  
на холмах их груди?  
Спрошу я тебя,  
почему ты рисуешь кипарис и маслину  
рядом с русской березкой?  
Спрошу я тебя,  
почему ты рисуешь во взгляде дочки моей

две огромные ночи,  
Санчо,  
два толедских кинжала?

Хозе Санчо,  
Хозе Санчо,  
ты молчишь.  
Не отвечаешь.  
Поседевший по черным вокзалам,  
постаревший от новых встреч,  
скоро уж тридцать лет  
колесящий по свету.  
На любой чужестранной станции  
ты как будто в твоей Испании,  
и любая новая встреча —  
это встреча с твоей Испанией,  
ты рисуешь всегда и везде  
только свою Испанию.

Я целую твои глаза,  
Хозе Санчо,  
Хозе Санчо.

*Перевел А. Опульский.*





---

---

ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР

★

## ДЕДУШКА

*Рассказ*

**М**ы с дедушкой на лесистом гребне горы. Жаркий летний день, но здесь тенисто, прохладно. Земля покрыта толстым, слабо пружинящим слоем прошлогодней листвы. Тут и там разбросаны сморщенные ежики кожуры буковых орешков. Обычно они пустые, но иногда попадаются и с орешками. Вокруг, куда ни посмотришь, мощные серебряные стволы буков, редкие кряжистые каштаны.

В просвете между деревьями, в дальней глубине — голубой призрак колхидской долины, огражденной стеной моря, вернее куском стены, потому что все остальное прикрывает лес.

Дедушка стоит на обрывистом склоне и рубит цалдой (остроносым топориком) ореховый молодняк — то ли для плетня, то ли для новых виноградных корзин. Время от времени он забрасывает наверх подрубленные стволики, я их вытягиваю на тропу и собираю в кучу.

Воздух леса пронизан непрерывным щебетом птиц. Голоса их только сначала кажутся пеньем, а потом начинаешь чувствовать, что они переговариваются, перекликаются, переругиваются, пересмеиваются, а то и просто перемигиваются.

Иногда со стороны моря доносится какой-то случайный порыв ветра, и тогда тени на земле дробятся, расходятся, между ними пробегают солнечные пятна, а птичий щебет усиливается, словно порыв ветра стряхивает его с деревьев, как дождинки.

Но все это мне скучно, неинтересно. Я стою и жду дедушку. В руке у меня его палка, самодельный посох. Станный он какой-то, мой дедушка. Интерес к нему у меня время от времени вспыхивает, но тут же гаснет. Что-то в нем есть такое, что вынуждает окружающих уважать его, и это уважение мешает им жить так, как они хотят, и они за это его часто ругают.

Все это я вижу и улавливаю детским чутьем, хотя, конечно, объяснить и понять не могу.

Сейчас мы в лесу. Он рубит ореховые прутья, а я смотрю. Рубить ему неудобно, потому что он стоит на обрывистом склоне, а заросли лесного ореха, обвитые густыми плетями ежевики, пониже, до них трудно дотянуться. Иногда, чтобы дотянуть топорик, нужно перерубить целое проволочное заграждение ежевичных плетей. И он перерубает.

Каждый раз, когда он берется за новое препятствие, мне хочется, чтобы у него не получилось. Это потому, что мне скучно и мне хочется посмотреть, что дедушка будет делать, если у него не получится. Но не только это. Я чувствую, что окружающим нужны примеры дедушкиного посрамления, что у них таких примеров маловато, а то и вовсе нет.

Я чувствую, что, будь их побольше, многие, пожалуй, решились бы относиться к нему без всякого уважения, и уж тогда им ничего не мешало бы жить так, как они хотят. Я чувствую, что и мне было бы полезно иметь при себе такой примерчик, потому что дедушка и меня заставляет иногда делать что-нибудь такое, чего я не хочу делать, да и взрослым, я чувствую, если при случае бросить в копилочку такую находку, будет приятно.

Дедушка приканчивает ближайшие заросли и теперь дотягивается до новых, но дотянуться трудно, потому что склон крутой, сыпучий и ногу негде поставить.

Дедушка озирается. Не выпуская из руки топорика, утирает пот с покрасневшего лица, неожиданно пригибается и всей пятерней левой руки ухватывается за одинокий куст рододендрона. Обхватив клешнятыми пальцами все ветки, он натягивает их в кулаке, как натягивают поводья, и теперь уверенно свешивается в сторону свежих зарослей. Небольшого роста, гибкий, сейчас он похож на ладного подростка, решившего побаловаться над обрывом.

Прежде чем добраться до зарослей, ему нужно перерубить ежевичную плеть толщиной с веревку. Я всем телом чувствую, до чего ему неудобно стоять, свесившись на одной руке, и вытянутой другой, едва доставая, тюкать по упругой ежевичной плети. Топорик все время отскакивает, да и удар не тот.

— Дедушка, не перерубливается, — говорю я ему сверху, давая ему возможность почетного отступления. Дедушка молча продолжает бить по пружинящей плети, а потом говорит, сообразуя свой ответ с ударами топорика:

— Перерубится... Куда ей деться? Перерубится...

И снова тюкает топорик. Я смотрю и начинаю понимать, что в самом деле некуда ей деться. Если б она могла куда-нибудь деться, может быть, дедушка и не угнал бы за ней. А так ей некуда деться. А раз деться некуда, он так и будет ее рубить целый день, а то и два, а то и больше. Мне представляется, как я ему сюда ношу обед, ужин, завтрак, а он все рубит и рубит, потому что деться-то ей некуда.

И ежевичная плеть, кажется, тоже начинает понимать, что она напрасно сопротивлялась. С каждым ударом она все меньше и меньше пружинит, все безвольней падает под топориком, следы от лезвия все глубже входят в нее. Сейчас она распадется. А дедушка все рубит и рубит. Теперь я надеюсь, что дедушка, не рассчитав последнего удара, шлепнется сам или хотя бы врежет лезвие топорика в каменистую землю. Но плеть распадается, дедушка не падает сам и топорик успевает остановить.

Мне скучно, а тут еще комары заедают. Я босой и в коротких штанах, так что они мне все ноги обкусали. Время от времени я до крови расчесываю укусы или бью по ногам хлесткой веткой ореха. Ветка обжигает ноги. Я хлещу и хлещу их с каким-то остервенелым наслаждением.

Потом я начинаю выслеживать отдельных комаров. Вот один сел мне на руку. Слегка посрзал, прилаживаясь к местности, высунул хоботок и стал просовывать его между порами. Хоботок сначала даже слегка загнул, видно, не туда попал, но потом дошел до крови и тоненькой болью притронулся к ней.

И вот он сидит на моей руке и посасывает мою кровь, а я все терплю, сдерживаю раздражение и смотрю, как постепенно у него живот розовеет от моей крови, раздувается, раздувается и делается багровым. Но вот он с трудом вытаскивает свой хоботок, растопыривает крылья,

словно сытно потягивается, готовясь улететь, но тут я его — хлоп! На месте зудящей боли кровавое пятнышко. Вот он, сладостный бальзам мести! Я размазываю, я втираю труп врага в рану, нанесенную им.

Но иногда, стараясь сделать бальзам мести еще сладостней, я запаздываю с ударом, и комар преспокойно улетает. И тогда в ярости я хватаю ветку и из всех сил нахлестываю свои ноги — пропадите вы пропадом, паразиты!

Дедушка замечает, как я отбиваюсь от комаров, и я чувствую, что на губах у него промелькнула презрительная усмешка.

— Знаешь, как больно,— говорю я ему, уязвленный этой усмешкой,— тебе хорошо, ты в брюках...

Дедушка, усмехаясь, вытягивает из кустарника подрубленный стебель. Тот сопротивляется, гнется, путается ветками в колючках ежевики.

— Как-то приходит Аслан,— начинает дедушка без всякого предупреждения,— к своему другу. Видит — тот лежит в постели. «Ты что?» — спрашивает Аслан. «Да вот ногу мне прострелили,— отвечает друг,— придется полежать...» — «Тьфу ты! — рассердился Аслан.— Век не буду в твоём доме. Я думал, его лихорадка скрутила, а он улегся из-за какой-то пули». И ушел. Вот какие люди были,— говорит дедушка и перебрасывает мне длинный зелёный прут,— а ты — комары.

И снова загучал топориком. Ну что ты ему скажешь? Ну хорошо, думаю я, я знаю, что раньше в наших краях бывала такая лихорадка, что люди от нее часто умирали. Но почему человек, которому прострелили ногу, не может полежать в постели, пока у него рана не заживет? Этого я никак не могу понять. Может, этот самый Аслан — знаменитый абрек и ему что градина по голове, что пуля — один черт.

— Дедушка, он что, был великий абрек? — спрашиваю я.

— Ты про кого? — Дедушка оборачивает ко мне свое горбоносое, немного свирепое лицо.

— Да про Аслана, про кого еще,— говорю я.

— Какой он, к черту, абрек. Он был хороший хозяин, а не какой-то там абрек.

И снова затюкал топориком. Опять какая-то ерунда получается. По-дедушкиному выходит, что абрек хуже какого-то хозяйчика.

— Да ты сам видел когда-нибудь абреков? — кричу я ему.

С дедушкой я говорю почти как с равным, смутно догадываясь, что мы с ним на одинаковом расстоянии от середины жизни, хотя и по разные стороны от нее...

— Чтоб ты столько коз имел, сколько добра они у меня пережрали,— отвечает дедушка, не отрываясь от своего дела.

— Да на черта мне твои козы! — злюсь я.— Ты лучше скажи, за что ты не любишь абрека?

— А почему они у меня сарай сожгли?

— Какой такой сарай?

— Обыкновенный, табачный...

— Да ты расскажи по порядку...

— А что рассказывать? Нагрянуло шесть человек. Три дня кормили, поили. Прятались в табачном сарае. А на четвертую ночь ушли и сарай сожгли.

— А может, они от карателей следы замечали,— говорю я.

— Да они сами хуже всяких карателей,— отвечает дедушка и сплевывает,— из-за них нас чуть не выслали...

— Почему? — спешу я спросить, чтобы он не останавливался.

— Потому что старшина на сходке в Джгердах объявил, что мы

прячем абреков и нас надо выслать, чтобы абрекам негде было прятаться...

— А почему он сказал, что вы прячете абреков?

— Потому что мы их в самом деле прятали,— отвечает дедушка.

— Ну, а дальше, дедушка?

— На этой самой сходке была моя мама, но старшина ее не заметил, потому что она приехала попозже. Как только он сказал такое, моя мама, расталкивая сходку, подъехала к нему и давай давить его лошадью и лупцевать камчой, да еще приговаривая: «А ты видел, как мой сын прячет абреков? А ты видел?!» Трое мужчин еле-еле ее остановили, отчаянная была моя мама.

— Но, дедушка, ты ведь сам сказал, что вы прятали абреков?

— Мало что прятали... Все знали, что прячем. А почему? Потому что живем на самом отшибе. Вот они к нам и приходили. А по нашим обычаям нельзя не впустить человека, если он просится к тебе в дом. А непустишь, будет еще хуже: или тебя пристрелит, или скотину уведет. Так что выходит -- лучше абрека впускать в дом, чем не впускать.

— Дедушка,— прерываю я его,— а как старшина узнал, что у вас бывают абреки?

— Все знали. Да разве такое скроешь? Но одно дело знать, а другое дело об этом на сходке говорить. Это по-нашему считалось предательством. А в наши времена доносчик себе курдюк недолго отращивал. Будь ты хоть старшиной над всеми старшинами, но, если ты доносчик, рано или поздно язык вывалишь...

— Дедушка,— пытаюсь я понять ход его мысли,— но ведь старшина был самый главный в деревне, кому же он доносил?

— Вот самому себе и доносил...

— Дедушка, ты что-то напутал,— говорю я,— так не бывает.

— Ничего я не напутал,— отвечает дедушка,— если старшина знает и молчит или только говорит среди своих родственников, по закону считается, что он ничего не знал. Но если старшина говорит об этом на сходке, по закону считается, что он знает и должен наказать. Вот и выходит, что он доносчик и донес самому себе.

— А-а,— говорю я,— ну а что, старшина потом вам не отомстил?

— Наоборот,— говорит дедушка,— он стал нас уважать. Уж если у них женщины такие дикие, решил он, что же связываться с мужчинами.

Дедушка снова затюкал топориком, а мне вдруг становится тоскливо. Выходит, абреки не обязательно гордые мстители и герои, выходит, что они могут сжечь сарай или ни с того ни с сего убить человека? Мне почему-то горько и неприятно, что среди моих любимых героев встречаются мошенники и негодяи. Я чувствую, что это как-то заставляет меня присматриваться ко всем абрекам, что, конечно, оскорбительно для честных и благородных разбойников. Я горестно прохожу перед строем абреков и ищу среди них поджигателя дедушкиного сарая. Я верю в честность большинства из них, но ничего не поделаешь, приходится проверять вывернутые карманы рыцарей. И я чувствую, что рыцари с вывернутыми карманами, даже если они и оказались честными, уже не совсем рыцари, и сами они это чувствуют, и от этого мне нестерпимо горько.

Что-то похожее я испытал, когда однажды меня привели в театр. И вот после замечательного зрелища люди почему-то начали хлопать в ладоши, а те, что жили на сцене, теперь просто так вышли и стали раскланиваться. Среди них особенно противным был один человек, которого за несколько минут до этого убили, а теперь он не только бесстыд-

но восстал из мертвых и как дурак стоял среди живых — у него еще хватило бесстыдства держаться одной рукой за руку своего убийцы, а другой тихо отряхивать штаны.

И все они вместе улыбались и кланялись, а я себя чувствовал обманутым и оскорбленным. А глупые зрители почему-то тоже улыбались и хлопали в ладоши, словно приговаривая: «Хорошо вы нас обманывали, нам очень понравилось, как вы нас обманывали»...

И вдруг я замечаю, что в просвете между деревьями появляется корабль. А за ним и другие. Целая флотилия военных кораблей. Они медленно-медленно, оставляя жирный, как бы выдвинутый из труб дым, проползают по миражной стене моря. Застыв от радостного изумления, я слежу за ними. Особенно поражает один: низкий, непомерно длинный, он занимает почти весь просвет между деревьями.

— Дедушка, смотри! — кричу я, очнувшись, и показываю на него пальцем.

Дедушка смотрит некоторое время, а потом снова берется за топорик.

— Это что,— говорит он,— вот «Махмудья» был такой большой, что на нем можно было скачки устраивать...

— Это что еще за «Махмудья»? — спрашиваю я.

Но дедушка не отвечает. Он подхватывает охапку последних прутьев, поднимается с ними по склону и бросает в общую кучу. Дедушка усаживается у края гребня, удобно свесив ноги с обрывистого склона. Он достает из кармана платок, тщательно утирает потную бритую голову в коротких седых волосах, прячет платок и затихает, расстегнув на седой груди пуговицы. Я слежу за ним и чувствую, что мне нравится его гибкая, живая ладонь со сточенными пальцами, круглая седая голова и мне приятно само удовольствие, с которым он утирал от пота свою голову. Но я знаю, что он еще должен ответить на мой вопрос, и жду.

— Мы на нем в амхаджира уплывали,— говорит он, задумавшись.

Я уже знаю, что такое амхаджира — это насильный угон абхазцев в Турцию. Это было давно, давно. Может быть, сто, а то и больше лет прошло с тех пор.

— Дедушка,— говорю я,— расскажи, как вас угоняли?

— А нас и не угоняли, мы сами,— отвечает дедушка.

— Да как же не угоняли, когда и в книжках об этом написано,— говорю я.

— Обманывать обманывали, а угонять не угоняли,— упрямо отвечает дедушка и подымает на меня голову,— да и как ты абхазца угонишь? Абхазец в лес уйдет или в горы, потому что наш всегда в сторону свернуть норовит. Во времена первого переселения я был мальчишкой, меня и брать не хотели...

Я усаживаюсь рядом с дедушкой в знак того, что теперь намерен его долго слушать. Дедушка снимает с ног чукьяки из сыромятной кожи, вытряхивает из них мелкие камушки, землю, потом выволакивает оттуда пучки бархатистой особой альпийской травы, которую для мягкости закладывают в чукьяки. Сейчас он слегка копнит эти пучки в руках и осторожно, как птичьи гнезда, всовывает в чукьяки.

— Ну и как вы, дедушка, приплыли? — спрашиваю я и представляю огромный, но простой, как паром, пароход «Махмудья», на котором полно наших беженцев. Они почему-то нисколько не унывают, а наоборот, время от времени устраивают скачки, а турки, важно перебирая в пальцах четки, следят за скачками.

— Приплыли хорошо, прямо в Стамбул,— вспоминает дедушка,—

всю дорогу нас кормили белым хлебом и пловом. Очень нам понравилось это.

— Ну, а потом?

— Вышли мы в Стамбуле, но нас там не оставили. Только и увидели мусульманскую мечеть, которая Ай-Софья называется.

— А почему вас не оставили?

— Потому что, сказали нам, в Стамбуле и без того греков и армян много, а если еще абхазцев пустить, так туркам, говорят, некуда будет деться.

— Так куда же вас повезли?

— Повезли в другое место. Вышли на берег, смотрим — место голое, каменистое. А нам до этого говорили, что в Турции хлебоносные деревья и сахар из земли прямо, как соль, добывают. А тут не то что хлебоносных деревьев — простой чинары не видно. И вот наши спрашивают у турков: «А плов с белым хлебом вы нам будете пароходом подвозить?» — «Никакого плова с белым хлебом, — говорят турки, — мы вам не будем подвозить. Пашите землю, разводите себе коз и живите...» — «Да мы что, сюда пахать приехали?!» — рассердились наши. — «Пахать мы и у себя могли. У нас и земля лучше, и вода родниковая...» — «Придется пахать», — отвечают турки. «А что же нам говорили, что в Турции сахар из земли роют, как соль, и хлебные деревья растут?» — не унимаются наши. «Нет, — говорят турки, — в Турции сахар в земле не водится, потому что если бы сахар водился в земле, турки бы ее насквозь прокопали, а это бы султан никогда не позволил». — «Да что, султану от этого хуже, что ли?» — удивляются наши. «Конечно, хуже, — отвечают турки, — если землю прокопать насквозь, она будет дырявая, как сыр, изъеденный крысами, а кому интересно управлять дырявой страной?» — «Ничего тут страшного нет, — отвечают наши, — дырку можно огородить и объезжать». — «Не в этом дело, — говорят турки, — дырку, конечно, огородить можно, но другие султаны и даже русский царь будут смеяться над нашим султаном, что он управляет дырявой страной, а это для него большая обида». — «Выходит, у вас и хлебные деревья не растут?» — догадываются наши. «Хлебные деревья тоже не растут, — отвечают турки, — зато у нас растут инжировые деревья». — «Да вы что, турки, с ума посходили! — кричат наши. — Что вы нам голову мутите своими сахарными дырками да инжировыми деревьями?! Да абхазец из-за какого-то инжира не то что море переплыть — со двора не выйдет, потому что у каждого инжир растет во дворе». — «Ну, — говорят турки, — если вы такие гордые и у вас свой инжир, чего вы сюда приехали?» — «Да нам говорили, — объясняют наши, — что в Турции сахар прямо из земли роют, как соль, и хлебные деревья растут. Вот мы и решили — прокормимся, раз деревья хлебоносные и сахару каждый себе может накопать. Да мы и мусульманство, по правде сказать, из-за этого приняли. Нас царь предлагал охристьянить, да мы отказались. Смотрите, турки, мы еще к царю можем податься», — припугивают наши. «Так чего же вы раньше не подались?» — удивляются турки. «Оттого не подались, — отвечают наши, — что у царя Сибирь слишком далеко раскинулась и холодная слишком. А мы, абхазцы, любим, когда тепло, а когда холодно, мы не любим». — «Да вам-то что, что Сибирь далеко раскинулась?» — удивляются турки. «А то, что, — отвечают наши, — у нас обычай такой: арестованных родственников навещать, передачи им передавать, чтобы они духом не падали. А в Сибирь и на хорошей лошади за месяц не доедешь. Так что сколько ни вези передач, сам по дороге слопаешь. Мы и прошение писали через нашего писаря, чтобы для абхазцев Сибирь устроили в Абхазии. Мы даже котловину себе выбрали хорошую, безвыходную. И стражникам удобно — бежать некуда. И нам хорошо —

подъехал на лошади и катая себе вниз что вяленое мясо, что сыр, что чурек». — «Ну и что вам царь ответил?» — удивляются турки. «В том-то и дело, что не ответил, — говорят наши. — То ли писарю мало дали за прошение, то ли царь не захотел Сибирь передвигать...» Тут турки стали между собой переговариваться, а потом один из них спрашивает: «Скажите нам, только честно. Правда, что русские снег едят?» — «Спяну, может быть, — отвечают наши честно, — а так нет». — «Ну тогда селитесь, разводите коз и больше нас не заговаривайте», — решают турки. «Если вы нас здесь поселите, — все-таки приторговываются наши, — мы, пожалуй, сбросим мусульманство, нам оно ни к чему...» — «Ну и сбрасывайте, — обижаются турки, — мы и без вас обойдемся». — «А тогда почему на пароходе нас кормили белым хлебом и пловом? — допытываются наши. — Нам очень понравилась такая пища...» — «Это была политика», — отвечают турки. «Так куда ж она делась, если была? — удивляются наши. — Пусть она еще побудет». — «Теперь ее нет, — отвечают турки, — раз вы приехали, кончилась политика...» Но наши не поверили, что кончилась политика, они решили, что турецкие писари припрятали ее для себя. «Если так, мы будем жаловаться султану», — пригрозили наши. «Что вы! — закричали турки. — В Турции жаловаться нельзя, в Турции за это убивают». — «Ну, тогда, — говорят наши, — мы будем воровать, нам ничего не остается...» — «Что вы! — совсем испугались турки. — В Турции воровать тоже нельзя». — «Ну, если в Турции ничего нельзя, — отвечают наши, — везите нас обратно, только чтобы по дороге кормили пловом и белым хлебом, а про инжир даже не заикайтесь, потому что мы его все равно в море побросаем». Но турки нас обратно не повезли, а сами наши дорогу найти не могли, потому что море следов не оставляет. Тут приуныли наши и стали расселяться по всей Турции, а кто и дальше пошел, в Арабистан, а многие в турецкую полицию служить пошли. И хорошо служили, потому что нашим приятно было над турками власть держать, хотя бы через полицию. А я через год так затосковал по нашим местам, что нанялся на фелюгу к одному бандиту, и он меня привез в Батум, а оттуда я пешком дошел до нашего села.

Дедушка замолкает и, глядя куда-то далеко-далеко, что-то напевает, а у меня перед глазами проносятся странные видения дедушкиного рассказа...

— Вот так, — говорит дедушка и, взяв в руки чувяк, разминает его, перед тем как надеть на ногу, — обманывать обманывали, а насильно из нашего села не угоняли...

Я смотрю на крупные ступни дедушкиных ног, на их какое-то особое, отчетливое строение. На каждой ноге следующий за большим пальцем крупнее большого и как бы налезает на него. Я знаю, что такие ступни никогда не бывают у городских людей, только почему-то у деревенских. Гораздо позже точно такие же ноги я замечал на старинных картинах с библейским сюжетом — крестьянские ноги апостолов и пророков.

Надев чувяки, дедушка легко встает и раскладывает прутья в две кучи — одну, совсем маленькую, для меня и огромную для себя.

— Дедушка, я больше донесу, — говорю я, — давай еще...

— Хватит, — бормочет дед и, обломав гибкую вершину орехового прута, скручивает ее, перебирая сильными пальцами, как будто веревку сучит. Размочалив ее как следует в руках, он просовывает ее под свои прутья, стягивает узел, ногой прижимает к земле всю вязанку, снова стягивает освободившийся узел и замысловато просовывает концы в самую гущу прутьев, так, чтобы они не выскочили.

Покамест он этим занимается, я стою и жду, положив поперек шен дедушкин посох и перевалив через него руки. Получается — вроде вишишь на самом себе. Очень удобно.

— Однажды,— говорит дед, сопя над вязанкой,— когда строили кодорскую дорогу, пришли к русскому инженеру наниматься местные жители. Инженер выслушал их, оглядел и сказал: «Всех беру, кроме этого...» — Дед кивает, как бы показывая на отвергнутого работника.

— Дедушка, а почему он его не взял? — спрашиваю я.

— Потому что он стоял, как ты,— показывает дедушка глазами на палку.

— А разве так нельзя стоять? — спрашиваю я и на всякий случай все-таки убираю палку с шеи.

— Можно,— отвечает дед, не подымая головы,— да только кто так стоит, тот лентяй, а зачем ему нанимать лентяев?

— Да откуда же это известно! — раздражаюсь я.— Вот я снял палку с шеи — значит, я уже не лентяй, да?

— Э-э,— тянет дед,— это уже не считается, но раз ты держал палку поперек шеи да еще руки повесил на нее — значит, лентяй. Примета такая.

Ну что ты ему скажешь? А главное, я и сам чувствую, что, может быть, он и прав, потому что, когда я так палку держал, мне ничего, ничего неохота было делать. И даже не просто неохота было ничего делать, а было приятно ничего не делать. Может быть, думаю я, настоящие лентяи<sup>1</sup> — это те, кто с таким удовольствием ничего не делает, как будто делает что-то приятное. Все же на всякий случай я вонзаю дедушкин посох в землю рядом со своей вязанкой, над которой он сейчас возится.

Теперь две стройно стянутые вязанки ореховых прутьев с длинными зелеными хвостами готовы.

— Пойдем-ка,— неожиданно говорит дедушка и входит в кусты рододендрона по ту сторону гребня.

— Куда? — спрашиваю я и, чтобы не оставаться одному, бегу за ним.

Теперь я замечаю, что в зарослях рододендрона проходит еле заметная тропа. Полого опускаясь в котловину, она идет вдоль гребня.

Сразу чувствуется, что это северная сторона. Сумрачно. Кусты рододендрона здесь особенно жирные, мясистые. На кустах огромные, какие-то химические цветы. В воздухе пахнет первобытной гнилью, ноги по щиколотку уходят в рыхлую, прохладную землю.

И вдруг среди темной, сумрачной зелени, радуя глаза светлой, веселой зеленью, высовываются кусты черники. Высокие, легкие кусты щедро обсыпаны черными дождинками ягод. Так вот куда меня дедушка привел!

Дедушка нагибает ближайший куст, стряхивает на ладонь ягоды и сыплет их в рот. Я тоже стараюсь не отставать. Длинные легкие стебли только тронешь, как они податливо наклоняются, сверкая глазастыми ягодами. Они такие вкусные, что я начинаю жадничать. Мне кажется, что мне одному не хватит всего этого богатства, а тут еще дедушка, как маленький, ест да ест ягоды. Не успеет общипать одну ветку, как уже присматривается, ищет глазами другую и вдруг — цап! — схватился за ветку, полную ягод.

Но вот, наконец, я чувствую, что больше не могу, уже такую оскмину набил, что от воздуха больно холодит зубы, когда открываешь рот. Дедушка тоже, видно, наелся.

— Смотри,— говорит он и носком чувака толкает в мою сторону помет,— здесь, видно, медведь бывает... А вон и кусты обломаны.

Я слежу за его рукой и вижу, что и в самом деле кое-где обломаны черничные ветки. Я озираюсь. Место это сразу делается подозрительным, неприятным. Очень уж тут сумрачно, слишком глубоко уходят ноги



в вязкую, сырую землю, не особенно разбежишься в случае чего. А вон и в кустах рододендрона за тем каштаном что-то зашевелилось.

— Дедушка,— говорю я, чтобы не молчать,— а он нас не тронет?

— Нет,— отвечает дедушка и ломает ветки черники,— он сам не трогает, разве что с испугу.

— А чего ему нас пугаться,— говорю я на всякий случай громко и внятно,— у нас даже ружья нет. Чего нас бояться?

— Конечно,— отвечает дедушка, продолжая наламывать ветки черники.

Все-таки делается как-то неприятно, тревожно. Скорее бы домой. Но сейчас прямо сказать об этом стыдно.

— Хватит,— говорю я дедушке все так же громко и внятно,— мы наелись, надо же теперь и ему оставить.

— Сейчас,— отвечает дедушка,— хочу наших угостить.

Цепляясь за кусты, он быстро взбирается на крутой косогор, где много еще нетронутой черники. Я тоже наламываю для наших черничные ветки, но мне почему-то завидно, что дедушка первым вспомнил о них. Пожалуй, я бы совсем не вспомнил...

С букетами черники снова выбираемся на гребень. После сырого, охлаждающего ноги северного склона приятно снова ступать по сухим мягким листьям. Дедушка приторачивает наши букеты к вязанкам.

Он кладет свою огромную вязанку на плечо, встряхивается, чтобы почувствовать равновесие, и, поддерживая вязанку топориком, перекинутым через другое плечо, двигается вниз по гребню. Я проделываю то же самое, только у меня вместо топорика дедушкина палка поддерживает груз.

Мы спускаемся по гребню. Дедушку почти не видно, впереди меня шумит и колыхается зеленый холм ореховых листьев.

Сначала идти легко и даже весело. Груз почти не давит на плечо, ступать мягко, склон не слишком крутой, ноги свободно удерживают тело от разгона, а тут еще возле самого рта играют сверкающие бусинки черники. Можно языком слизнуть одну, другую, но пока не хочется.

Но вот мы выходим из лесу, и почти сразу делается жарко, а идти все трудней и трудней, потому что ступать босыми ногами по кремнистой тропе больно. А тут еще ветки впиваются в плечо, какая-то древесная труха летит за ворот, жжет и шекочет потное тело. Я все чаще встряхиваю вязанку, чтобы плечо не затекало и груз удобней лег. Но оно снова начинает болеть, вместо одних неудобных веток высываются другие и так же больно давят на плечо. Я нажимаю на дедушкину палку, как на рычаг, чтобы облегчить груз на плече, и он в самом деле делается легче, но тогда начинает болеть левое плечо, на котором лежит палка. А дедушка все идет и идет, и только трясется впереди меня огромный сноп зеленых листьев.

Наконец сноп медленно поворачивается, и я вижу свирепое дедушкино лицо. Может, он сейчас сбросит свою кладь и мы с ним отдохнем? Нет, что-то непохоже...

— Не устал? — спрашивает дедушка.

Вопрос этот вызывает во мне тихую ярость: да я не то что не устал, я просто раздавлен этой проклятой вязанкой!

— Нет,— выдавливаю я из себя для какой-то полноты ожесточения, только бы не показаться дедушке жалким, ни к чему не способным.

Дедушка отворачивается, и снова перед глазами волнуется и шумит огромный зеленый сноп. Я почему-то вспоминаю дедушкино лицо в то мгновение, когда он повернулся ко мне, и начинаю понимать, что свирепое выражение у него выработалось от постоянных физических усилий. Сейчас под грузом у него резче обозначились на лице те самые

складки, которые видны на нем и обычно. Я догадываюсь, что эта гримаса преодоления так и застыла у него на лице, потому что он всю жизнь что-то преодолевал.

Мы проходим мимо дома моего двоюродного брата. Собаки издали, не узнавая нас, заливаются лаем. Я думаю, может, дедушка остановится, чтобы хоть собаки успокоились, но дедушка не останавливается и с каким-то скрытым раздражением на собак — мне кажется, я это чувствую по тому, как трясется кладь на его спине, — проходит дальше.

Я вижу, как из кухни выходит мой двоюродный брат и смотрит в нашу сторону. Это могучий гигант, голубоглазый красавец. Сейчас он стоит на взгорье и видится на фоне неба и от этого кажется особенно огромным. Он с трудом узнает нас и кричит:

— Ты что, дед, совсем спятил — ребенка мучить!

— Бездельник, — кричит ему дедушка в ответ, — лучше б своих чумных псов придержал!

Мы еще некоторое время проходим под холмом, на котором стоит дом моего двоюродного брата, и он еще сверху следит за нами, и я, зная, что он сейчас жалеет меня, и чтоб угодить его сочувствию, стараюсь выглянуть еще согбенней.

А идти все трудней и трудней. Пот льет с меня рекой, ноги дрожат и, кажется, вот-вот согнутся и я растянусь прямо на земле.

Я выбираю глазами впереди какой-нибудь предмет и говорю себе: «Вот дойдем до этого белого камня, и я сброшу свою кладь, вот дойдем до этого поворота тропы, а там и отдых, вот дойдем...»

Не знаю почему, но это помогает.

Неожиданно дедушка останавливается у изгороди кукурузного поля. Он пригибается и прислоняет свою вязанку к изгороди. Только бы дойти до него, только бы дотянуть...

И вот он снимает с моего плеча вязанку и ставит рядом со своей.

Мы с дедушкой усаживаемся на траву, откинувшись спиной на изгородь. Блаженная, сладкая истома. Позади нас кукурузное поле, впереди на десятки километров огромная равнина с огромной стеной моря во весь горизонт. Широкий и ровный ветерок тянет с далекого моря, шелестит в кукурузной листве.

— В прошлом году с этого поля взяли сорок корзин кукурузы, — говорит дедушка, — а я здесь брал в самый плохой год шестьдесят...

«Господи, да мне-то что», — мелькает у меня в голове, и я забываюсь.

До того сладко сидеть, откинувшись спиной на изгородь и потной шеей чувствуя ровный прохладный ветерок, а то вдруг за пазуху пробьется струйка воздуха или за ворот рубашки и холодком протечет по ложбинке спины. И так странно и хорошо сидеть, вслушиваясь, как тело наполняется и наполняется свежестью и никак не может переполниться, и это наполнение как-то сливается с упругим ровным ветерком, с высоким могучим небом, откуда доносится дремотный, мерцающий звон жаворонков, с лениво перепархивающим от стебля к стеблю шелестом кукурузы за спиной.

Я знаю, что дедушка сейчас ждет моего вопроса, но мне неохота разговаривать, и я молчу.

— А почему? — не дождавшись вопроса, сам себе его задает дедушка и отвечает: — Да потому, что я трижды мотыжил, а они дважды, да и то видишь как?

Дедушка легко встает и быстро перелезает через изгородь. Я бы сейчас за миллион рублей не встал с места. Все же я поворачиваю голову и слежу за ним сквозь щели в изгороди.

— Этот надо было срезать, — говорит дед и вырывает из земли уже рослый стебель кукурузы, — и этот, и этот, и этот...

Даже я сейчас вижу, что мотыжили плохо, траву у корней кукурузы срезали небрежно, просто заваливали землей, и теперь она снова проросла. Через несколько минут дедушка перебрасывает через изгородь большую охапку кукурузных стеблей.

— Лентяи, лоботрясы, бездельники,— бормочет дед, приторачивая кукурузные стебли к своей вязанке.

Мне почему-то представляется, что вся деревня сидит в тени деревьев и с утра до вечера слушает всякие истории, и при этом все сидят, закинув свои палки поперек шеи, безвольно свесив кисти. Я смотрю вниз. Под нами котловина Сабида, справа от нее голый зеленый склон, на котором видны отсюда черные и рыжие пятна пасающихся коров. Густой лес темнеет во всю котловину. И только местами зелень светлее — это грецкие орехи. Они выше самых высоких каштанов, светло-зелеными холмами высятся их кроны над лесом.

— Дедушка,— спрашиваю я,— откуда эти грецкие орехи в лесу? Может, раньше там кто-нибудь жил?

— А-а,— кивает дедушка, словно довольный тем, что я наконец-то их заметил,— это я их повсюду рассадил и виноград пустил на каждый орех.

Мне странно, что дедушка, такой маленький, мог посадить такие гигантские деревья, самые большие в лесу. А раньше мне казалось, что когда-то в этих местах жили великаны, но потом они почему-то ушли в самые непроходимые дебри. Может быть, их обидели или еще что — неизвестно. И вот эти грецкие орехи да еще развалины каких-то крепостных стен, которые иногда встречаются в наших лесах,— все, что осталось от племени великанов.

— Когда я сюда перебрался жить, здесь не то что орехов — ни одного человека не было,— говорит дедушка.

— И ни одного дома? — спрашиваю я.

— Конечно,— говорит дедушка и вспоминает: — Я случайно набрел на это место, здесь вода оказалась хорошая. А раз вода хорошая — значит, жить можно. Когда я вернулся из Турции, мама женила меня на твоей бабушке, а то уж слишком я был легок на ногу. Бабка твоя тогда была совсем девочка. Года два она ложилась с моей мамой, а потом уже привыкла ко мне. А когда мы переехали сюда, у нас уже был ребенок, а из четвероногих у нас была только одна коза и то чужая. Одолжил, чтобы ребенка было чем кормить. А потом у нас все было, потому что я работы не пугался...

Но мне скучно слушать, как дедушка любил работать, и я его перебиваю.

— Дедушка,— говорю я,— ты когда-нибудь лошадей уводил?

— Нет,— отвечает дедушка,— а на что они мне?

— Ну, а что-нибудь уводил?

— Однажды по глупости телку увели с товарищем,— вспоминает дедушка, подумав.

— Расскажи,— говорю я,— все, как было.

— А что рассказывать? Шли мы из Атары в нашу деревню. Вечер в лесу нас застал. Смотрим — телка. Заблудилась, видно. Ну, мы ее сначала смехом погнали впереди себя, а потом и совсем угнали... Хорошая была, годовалая телка.

— И что вы с ней сделали? — спрашиваю я.

— Съели,— отвечает дедушка кротко.

— Вдвоем?

— Конечно.

— Да как же можно вдвоем целую телку? — удивляюсь я.

— Очень просто,— отвечает дедушка,— завели ее подальше от дороги. Развели костер, зарезали. Всю ночь жарили и ели. Ели и жарили.

— Не может быть! — кричу я.— Как же можно годовалую телку вдвоем съесть?!

— Так мы же были темные, вот и съели. Даже кусочка мяса не осталось. Помню, как сейчас, на рассвете чисто обглоданные кости вывалили в кусты, затоптали костер и пошли дальше.

— Дедушка,— говорю я,— расскажи такой случай, где ты проявил самую большую смелость.

— Не знаю,— говорит дедушка и некоторое время смотрит из-под руки в котловину Сабида. Похоже, что он не узнает какую-то корову или не может досчитаться. Но вот успокоился и продолжает: — Я такие вещи не любил, я работать любил...

— Ну все-таки, дедушка, вспомни,— прошу я и смотрю на него.

А он сидит рядом со мной, круглоголовый, широкоплечий и маленький, как подросток. И мне все еще трудно поверить, что это он насажал столько гигантских деревьев, что это у него дюжина детей, а было и больше, и каждый из них на голову выше дедушки ростом и все-таки в чем-то навсегда уступает ему, и я это чувствую давно, хотя, конечно, объяснить не в силах.

— Вот если хочешь,— неожиданно оживляется дедушка и спиной, прислоненной к изгороди, нащупывает более удобную позу,— слушай... Однажды поручили мне передать односельчанину одну весть. А он в это время уже был со своим скотом на альпийских лугах. Это в трех-четырех днях ходьбы от нашего села. И вот я пошел. Но как пошел? Сначала обогнал всех, кто со скотом проходил по этой дороге. Потом обогнал всех, кто пешком шел по этой дороге, потом обогнал тех, кто верхом шел по этой дороге. Потом обогнал тех, кто днем раньше вышел со скотом по этой дороге, и ночью обогнал тех, кто пешком днем раньше пустился в путь. А на следующий день утром, когда еще пастухи коров не успели подоить, я подошел к балагану.

— Дедушка, а тех, кто днем раньше выехал верхом? — спрашиваю я.

— Тех не успел,— отвечает дедушка.

— И ты ни разу не останавливался?

— Только чтобы выпить воды или кислого молока в пастушеском балагане. Клянусь нашим хлебом и солью — день и ночь шел, ни разу нигде не присев,— говорит дедушка важно и замолкает, положив на колени руки.

И опять я представляю, как дедушка топает по дороге и все, кто вышел перегонять скот, остаются позади, и те, что идут сами по себе, остаются позади, и те, что вышли со скотом днем раньше, остаются позади, и те, что днем раньше вышли сами по себе, остаются позади. Но тех, кто днем раньше выехал верхом, дедушка не достал, да и то мне кажется, что они все оглядывались и нахлестывали своих лошадей, чтобы дедушка их не догнал.

— Ну, ладно, пошли,— говорит дедушка и легко подымается.

И снова зеленый сноп качается впереди. Солнечные лучи сверкают на листьях, режут глаза, раздражают.

Наконец мы входим в ворота дедушкиного дома. Дедушка открывает ворота и, придерживая ногой, пропускает меня. Собаки с лаем несутся на нас и только вблизи, узнав, притормаживают и обегают. Мы прислоняем к забору свои вязанки.

На шум из кухни выходит моя тетушка. Она подходит к нам, еще издали придав лицу скорбное выражение, смотрит на меня.

— Умаял, убил,— говорит она, показывая бабке, которая высовывается из кухни, что она жалеет меня и осуждает дедушку.

Мой двоюродный братишка и сестренка валяются на бычьей шкуре в тени грецкого ореха. Сейчас, подняв головы, они смотрят на наши вязанки одинаковым телячьим взглядом. Это погодки, года на два, на три младше меня. Мальчик — крепыш с тяжелыми веками, а девочка хорошенькая, круглолицая, с длинными турецкими бровями. Почти одновременно догадываясь, вскакивают.

— Лавровишни! — кричит Ремзик.

— Черника, черника,— радостно поправляет Зина, и оба, топоча босыми ногами, подбегают к нам.

— Мне! Мне! Мне! — кричат они, протягивая руки к моему букету, который я уже вытащил из вязанки.

Разделив поровну, я раздаю им черничные ветки. Две собаки, Рапка и Рыжая, кружатся у ног, бьют по земле хвостами, заглядывают в лицо. Они чувствуют, что мы принесли что-то съедобное, но не понимают, что это для них не годится.

Дети жадно едят чернику, а я чувствую себя взрослым благодетелем.

Тетушка вынимает из вязанки дедушкин букет и, на всякий случай приподняв его повыше, чтобы Ремзик по дороге не цеплялся, проходит в кухню. Она несет букет с таким видом, словно он ей нужен для каких-то хозяйственных надобностей. Все же не выдерживает и, по дороге оципав несколько ягод, бросает в рот, словно из тех же хозяйских соображений: не дай бог, окажется кислятиной.

Дедушка выдергивает из вязанки кукурузные стебли и идет к загону, где заперты козлята. Они уже давно услышали шум листьев и сейчас нетерпеливо ждут, привстав на задние ноги и опираясь передними на плетень. Они заливаются тонким, детским блеяньем. Время от времени пофыркивают. Над плетнем торчат кончики ушей и восковые рожки. Дедушка забрасывает охапку кукурузных стеблей в загон, кончики ушей и рожки мгновенно исчезают.

Я чувствую удовольствие от каждого своего движения. Ноги мои чуть-чуть дрожат, плечи ноют, и все-таки я ощущаю во всем теле необыкновенную легкость, облегченность и даже счастье, какое бывает, когда после долгой болезни впервые ступаешь по земле.

Тетушка выносит из кухни кувшин с водой и полотенце. Мы с дедушкой умываемся, тетушка поливает.

Пока мы умываемся, Ремзик, прикончив свою чернику, выхватывает у сестренки последнюю ветку и убегает. Девочка заливается слезами, ревет, глядя на мать бессмысленными и в то же время ждущими возмездия глазами. Тетушка снова начинает ругать деда.

— Чтоб ты подавился своей черникой, на черта она была нужна,— приговаривает она и грозит в сторону сына.— А ты еще захочешь кушать, а ты еще вернешься.

Крепыш, насупившись, стоит за воротами. Видно, что он теперь и сам не рад, потому что чернику уже успел съесть, а время обеда приближается. Из кухни доносится вкусный запах чуть-чуть подгорелой мамалыги.

— Что же ты, обещал мне новую ручку приделать к мотыге, а все не делаешь,— бросает тетушка в сторону деда, заходя в кухню.

— Сейчас,— говорит дедушка и подходит к поленице, где свалены в кучу несколько мотыг и лопат. Он подымает тетушкину мотыгу и одним ударом обуха топорика отбивает лезвие от ручки. Дедушка наклоняется и берет лезвие в руки.

Я захожу в кухню и усаживаюсь у очага рядом с бабушкой. Высоко над огнем в большом чугуне висит готовая мамалыга. Я вытягиваю ноги. Золотистый запах поджаренной мамалыжной корочки нестерпимой сладостью шкочет ноздри. Скорее бы за стол, но тетушка ждет хозяйина, как она говорит про мужа. Покамест он не придет, мы за стол не сядем.

— А ну, сукин сын, поди сюда,— зовет дедушка моего братца.

— Чего тебе? — слышится после некоторой паузы.

— Иди, покрутишь мне точильный камень,— говорит дедушка.

— Мамка будет драться,— после некоторого раздумья отвечает мальчик, как бы и маме давая время высказаться по этому поводу.

Но тетушка не высказывается.

— Не бойся, иди,— говорит дед и, зайдя в кухню, наливает в кувшинчик воды, чтобы поливать точильный камень.

У огня ноги мои начинают чесаться, и бабушка обращает на это внимание. Увидев, в каком они состоянии, она всплескивает руками и начинает ругать дедушку. Тут и тетушка подходит ко мне, низко наклоняется над моими окровавленными ногами и тоже начинает ругать дедушку.

— Ничего,— говорю я,— это же комары...

— Господи, пронеси,— говорит бабушка,— да что же он наделал с тобой, проклятый непоседа!

— Мне не больно, бабушка,— говорю я.

— Вот это и плохо, что не больно,— причитает бабушка,— лучше бы болело.

— Что мы теперь скажем его маме? Здорово мы сберегли ее ребенка,— повторяет тетушка, напоминая, что скоро должна приехать из города моя мама.

Бабка ставит у огня чайник с водой.

— Запричитали, дуры, запричитали,— слышится из-за кухни голос деда.

Потом доносится сочный звук металла, трущегося о мокрый точильный камень. Бабка ставит возле меня тазик, наливает туда теплую воду из чайника и наклоняется мыть мне ноги. Мне стыдно, но я знаю, что теперь трудно с ней сладить, и соглашаюсь. Бабка и тетушка продолжают ворчать на деда и жалеть меня.

Мне приходится расстаться с ролью взрослого парня, каким я себя чувствовал, когда вошел во двор со своей поклажей. Мне навязывают состояние угнетенного безжалостным дедом сиротки. И я постепенно вхожу в него. Я чувствую, что состояние угнетенности не лишено своего рода приятности.

Хотя ноги мои и в самом деле в кровавых ссадинах и немного припухли, я никаких особых страданий не испытываю. Немного печет — вот и все. Но мне уже приятно соглашаться с ними, приятно чувствовать себя страдающим, когда признаки страдания очевидны, а на самом деле никакого страдания нет.

Я ощущаю, как тепловатая сладость лицемерия разливается у меня в груди. Ноги мои в крови — значит, я страдаю: таковы правила игры, которую предлагают мне взрослые, и я ее с удовольствием принимаю.

— Ровно крути,— слышится голос дедушки,— еще ровней...

— Что я, мельница, что ли,— ворчит Ремзик.

Снова сочный звук металла, трущегося о мокрый камень.

— Теперь в обратную сторону,— слышится голос дедушки.

— Мне неудобно, у меня рука болит,— ворчит Ремзик, но все же крутит.

— Лоботряс,— говорит дедушка,— я в твоём возрасте...

Бабка подает мне чистую тряпку и выносит тазик с водой. Слышится, как шлепнулась вода о траву. Я вытираю ноги.

Но тут тетке показалось, что кто-то ее кличет. Она замирает, прислушиваясь.

— Тише вы там! — кричит она деду и выбегает во двор.

Она подходит к самой изгороди и слушает. В самом деле—чей-то далекий голос.

— Чего тебе, у-й! — кричит она своим пронзительным голосом.

В открытую кухонную дверь видно, как она стоит, слегка наклонившись вперед, в позе, поглощающей звук.

— Так гоните ж, гоните! — кричит она, что-то выслушав.

Опять оттуда доносится неопределенный звук, а она замирает, прислушиваясь. Почувствовав, что воздушная связь прочно налажена, точильный камень снова заработал.

— У меня уже рука болит, я не могу,— сдавленным голосом жалуется Ремзик.

— А ты левой,— говорит дедушка.

—левой я не привык,— продолжает ворчать Ремзик.

Снова слышится звук металла, трущегося о мокрый точильный камень.

— Хорошо, передам, хорошо! — кричит тетка и возвращается на кухню.

— Что там случилось? — спрашивает бабушка испуганно.

С тех пор, как в прошлом году ее сын дядя Азис погиб на охоте, она так и не пришла в себя и все боится, что еще что-нибудь случится.

— Ничего, ничего, просто буйвол Датико опять залез в кукурузник,— отвечает тетушка и ставит у огня чугунок с утренним лобием.

Об этом буйволе я уже слышал сто раз. Как только его выпустят, он как сумасшедший бежит прямо на колхозную кукурузу, и никакая изгородь его не может удержать. Дядя мой работает бригадиром, поэтому нам и кричат.

— Вернули бы мне три дня молодости,— говорит дедушка из-за дома (оказывается, он все слышал),— я бы показал этому буйволу...

Я думаю над дедушкиными словами и никак не могу сообразить, что бы он показал этому буйволу и почему ему нужно для этого три дня молодости. Потом догадываюсь: дедушка его украл бы и съел. А так как буйвол большой, ему пришлось бы есть его целых три дня. Я представляю, как дедушка сидит в лесу над костром, жаривает куски буйволятины и ест. Жарит и ест, жарит и ест, и так целых три дня и три ночи. Потом собирает кости и забрасывает их в кусты, а когда поворачивается, то он уже снова старик, то есть у него волосы опять побелели, а все остальное осталось таким же.

Тетушка быстро и ловко продевает на вертел вяленое мясо, разгребает жар и, присев на низенький стульчик, покручивает вертел на огне, время от времени отворачиваясь от огня — слишком печет. Постепенно мясо жаривается, покрывается розовой коркой, влажнеет от жира, который начинает по каплям стекать на раскаленные угли. Там, где упадет капля, всплескивается голубой язычок пламени. От вяленого и теперь еще зажаренного мяса подымается такой дух, что просто нет никакого терпения.

— Пепе идет! — кричит Ремзик, первым заметив отца. Так они его почему-то называют.

Тетушка выгладывает в дверь и, прислонив вертел с мясом к стенке очага, ставит перед скамьей, на которой мы сидим, низенький деревянный столик.

Дядя Кязым вдруг останавливается посреди двора. А-а, это он подымает Зину. О ней как-то все забыли. Наревевшись, она не то забылась, не то уснула на зеленой лужайке двора. Сейчас она ковыляет рядом с отцом на кухню.

Сразу же после отца в кухню входят дедушка и Ремзик, чувствующий себя прощенным за свои труды с дедушкой.

Между делом тетушка все-таки успевает достать его таким быстрым, бреющим ударом по голове.

— Ты чего? — удивляется дядя. Обычно он суров, а все-таки не любит, чтобы детей били.

— Он знает чего, — говорит тетушка.

Ремзик обиженно опускает свои бычьи веки, но долго обижаться не приходится, еще без обеда останешься.

Тетушка поливает мужу воду. Дядя медленно моет огромные руки, потом мокрыми ладонями несколько раз проводит по лицу и коротко остриженной голове.

— Опять буйвол Датико залез в кукурузник, — говорит тетушка, поливая, — тебе кричали...

— Гори огнем, — отвечает дядя безразлично и молчит. Потом, вытирая руки, не выдерживает: — Заперли?

— Да, — говорит тетушка и накрывает на стол.

— Кого, буйвола или Датико? — спрашиваю я, потому что как-то не ясно, кого следует наказывать: буйвола или его хозяина.

Дядя усмехается, а все остальные смеются. Обидно, что и дети смеются.

— Стоило бы его самого запереть дня на три, — говорит дядя.

Мы все сидим в ряд возле очага. В головах дед, потом бабушка, потом дядя, потом остальные. Тетушка мамалыжной лопатой накладывает каждому его порцию прямо на тщательно выскобленную розовую доску стола. Мамалыга густо дымит. Потом она каждому в тарелочку разливает лобно, разбрасывает по столу снопы зеленого лука, а потом уже более расчетливо делит жареное мясо.

Я не могу удержаться, чтобы тайно, краем глаза не проследить, как она раздает мясо. Все мне кажется, что лучшие куски она раздает своим — мужу и детям. Я знаю, что стыдно за этим следить, но все же не удерживаюсь и подглядываю. Вон и Ремзику, хоть он и провинился, а все же не удержалась и дала ему самый большой кусок мяса и тут же словно спохватилась, что чаша весов явно перевесила в его сторону, шлепнула его по лбу ладонью, словно толкнула рукой другую чашу.

Я чувствую, что тетушка знает, что я слежу за ней, и это скупывает ее действия, и она старается скорей закончить раздачу.

— Дали бы мне три дня молодости, — повторяет дедушка с полным ртом, — я бы показал, что сделать с этим буйволом...

— Ну, ты у нас герой, — говорит дядя насмешливо.

Я знаю, на что он намекает.

На краю табачной плантации стоит огромное каштановое дерево. Часть веток его отбрасывает тень на плантацию, и на этом месте табак всегда хилый, недоразвитый. С самого начала лета я слышал разговоры о том, что надо бы подрубить ветки этому каштану, но почему-то никто не брался. Правда, влезть на него очень трудно, потому что метров на десять поднимается совсем голый ствол и не за что ухватиться.

Сначала все решили, что на дерево подымет заведующий фермой — охотник и скалолаз. Но в это время он был в горах, и решили послать за ним человека, потому что все равно пора было ехать в горы за сыром. Человека послали, заведующий фермой приехал, но когда ему показали на дерево, он отказался на него лезть, потому что, по его сло-



вам, за дичью он может лазить по скалам, как муха по стене, но на этот каштан влезать боится, потому что у него кружится голова от одного взгляда на такие большие деревья. Тогда ему сказали, зачем же он приехал, если у него кружится голова, даже когда он смотрит на такие большие деревья. На это он ответил, что на альпийских лугах он так соскучился по семье, что каштан этот ему показался не таким уж высоким и ветки вроде пониже расти начинают. Но теперь, когда он повидался с семьей, он чувствует, что ему не ожить этот каштан, что он, пожалуй, поедет назад, потому что пастухи без него там загубят весь скот.

Одним словом, заведующего фермой пришлось отпустить, а каштан так и остался со своей раскидистой тенью, и никому неохота было на него лезть, и все почему-то шутили по этому поводу, а то и ругались: пропади он пропадом, весь табак, чтобы еще из-за него на дерево влезть...

Дедушка долгое время все это терпел, и в конце концов с неделю тому назад, когда утром пришли мотыжить эту самую плантацию, дедушка уже был на дереве и, привалившись спиной к стволу, молча рубил ветви, обращенные к плантации. Никто не видел, как он залез, но судя по тому, что он слез при помощи двух остроносых топориков, попеременно вонзая в ствол то один, то другой, предполагали, что он таким же способом и залез на дерево. После этого дедушку не только не хвалили — его дня два просто поедом ели, потому что он мог свалиться с дерева и опозорить семью, люди могли подумать, что дедушку заставляли работать, да еще в колхозе. Об этом и напоминал сейчас дядя.

Все заняты едой. Редко-редко перекинутся словом. Дедушка с жадным удовольствием мнет в пальцах мамалыгу, сочно кусает зеленый лук, яростно рвет все еще крепкими зубами упругие куски вяленого мяса. Дядя ест вяло, словно печаль какой-то неразрешенной задачи навсегда испортила ему аппетит и он каждый раз заставляет себя есть.

Тетушка, я знаю, тоже ест с удовольствием, но ей приходится скрывать это от насмешливого мужа. И она все время сдерживается, просто почти не жует, а прямо-таки заглатывает непрожеванные ломти, чтобы не создавать суеты пережевывания. Временами мне делается страшно — до того огромные куски ей приходится заглатывать.

Но вот мы поели, вымыли руки. У дяди, как у всех людей, которые плохо едят, есть свое лакомство. Он любит сухую корочку, которая прижаривается к чугунку после мамалыги. Сейчас он ее не спеша соскребаывает, выколупывает ножом. Сам хрустит и нас угощает.

Тетушка укладывает в плетеную корзину обед для старшей дочки. Она осталась в табачном сарае, где вместе с другими девушками и женщинами нижет табак. Понесет его Зина. Она натягивает на себя зеленое праздничное платье, обувается в сандалии. Все-таки как-никак на люди выходит.

С корзиной в руке она переходит двор и, оглянувшись, сворачивает на тропу.

— Не бойся, я здесь стою, — говорит тетушка, следя за ней с веранды.

Зина исчезает за изгородью, а через несколько минут, когда она доходит до самого страшного места, где особенно густо обступают тропу заросли ежевики, папоротников, бузины, вдруг раздается ее голос. Отчаянно фальшивя, она поет неведомо как залетевшую в горы песенку, которая почему-то и тогда казалась устаревшей;

Нас побить, побить хотели,  
Нас побить пытались,  
Но мы тоже не сидели,  
Того дожидали-ся...

И вдруг не выдержала, побежала, побежала, встряхивая и рассыпая слова песенки:

У китайских ге-не-ра-лов  
Смелые воя-ки...

— Понесло,— говорит тетушка, улыбаясь голосом. Вздохнув и по-медлив, входит в кухню.

Слышно, как дедушка возится на веранде, обтачивая новую ручку для теткиной мотыги. Чувствуется, что после еды у него хорошее настроение, он что-то напевает себе и строгает ручку.

— Наелся мяса и поет,— говорит дядя насмешливо, кивая в сторону деда.

И вдруг дедушка замолкает. Может, услышал? Мне делается как-то неприятно.

Я люблю дядю. Я знаю, что он самый умный из всех знакомых мне людей, и я знаю, что ему не мяса жалко,— просто он завидует дедушкиной безмятежности. Сам он редко бывает таким, разве что во время пирушки какой-нибудь...

Но сейчас вдруг горячая жалость к дедушке пронизывает меня. Дедушка, деду, думаю я, за что они тебя все ругают, за что?..

В тишине слышно старательное сопение дедушки и сочный звук стали, режущей свежую древесину: хруст, хруст, хруст...



---

---

РОБЕРТ ПЕНН УОРРЕН

★

## ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ

Роман

Роберт Пенн Уоррен (родился в 1905 году) — один из крупнейших современных американских писателей, автор многих романов и стихотворных сборников, критических эссе и публицистических статей. Среди его книги: «Ночной всадник» (1939), «У врат небесных» (1943), «Вдоволь земли и времени» (1950), «Банда ангелов» (1955), «Пещера» (1959), стихотворный сборник «Обещания» (1957) и другие.

«Вся королевская рать» — третий по счету и самый известный роман Уоррена — долго возглавлял списки бестселлеров, двадцать девять раз переиздавался, получил высшую литературную награду в Америке — Пулитцеровскую премию, переведен на многие иностранные языки. Острая сатира на политические нравы Америки, роман «Вся королевская рать» и сегодня, двадцать лет спустя после первого его издания, не утерял своей злободневности. «Вся королевская рать» — первое произведение Уоррена, публикуемое в переводе на русский язык.

---

Пока хоть листик у надежды бьется.

Данте. «Божественная комедия».  
Чистилице<sup>1</sup>.

### ГЛАВА ПЕРВАЯ

#### Мейзон-Сити

**Ч**тобы попасть туда, вы едете из города на северо-восток по шоссе 58; шоссе это хорошее и новое. Вернее, было новым в тот день, когда мы ехали. Вы смотрите на шоссе, и оно бежит навстречу, прямое на много миль, бежит, с черной линией посередине, блестящей и черной, как вар на белом бетонном полотне, бежит и бежит навстречу под пень шин, а над бетоном струится марево, так что лишь черная полоса видна впереди, и, если вы не перестанете глядеть на нее, не вдохнете поглубже раз-другой, не хлопнете себя как следует по затылку, она усыпит вас, и вы очнетесь только тогда, когда правое переднее колесо сойдет с бетона на грунт обочины, — очнетесь и вывернете руль налево. Но машина не послушается, потому что полотно высокое, как тротуар, — и тут, уже летя в кювет, вы, наверно, протянете руку, чтобы выключить зажигание. Но, конечно, не успеете. А потом негр, который мотыжит хлопок в миле отсюда, — он поднимет голову, увидит столбик черного дыма над ядовитой зеленью хлопковых полей, в злой металлической синеве раскаленного неба, и он скажет: «Господи, спаси, еще один сковырнулся». И негр в соседнем ряду отзовется: «Гос-споди» — и первый захихикает, и снова поднимется мотыга, блеснув лезвием, как гелиограф. А через несколько дней ребята из дорожного отдела воткнули здесь в черный грунт обо-

---

<sup>1</sup> Перевод М. Лозинского.

чины железный столбик, и на нем будет белый жестяной квадрат с черным черепом и костями. Потом над травой поднимется плющ и обовьет этот столбик.

Но если вы очутились вовремя и не слетели в кювет, то будете мчаться сквозь марево, и навстречу будут пролетать автомобили с таким ревом, будто сам господь-бог срывает голыми руками железную крышу. Далеко впереди, на горизонте, где хлопковые поля тают в белом небе, бетон будет блестеть и сиять, словно затопленный водою. И вы будете мчаться туда, но оно всегда будет впереди, это светлое влажное пятно, недостижимое, как мираж. И будут проноситься мимо жестяные квадраты с черепами и скрещенными косточками. Потому что это — страна, где век двигателей внутреннего сгорания давно вступил в свои права. Где каждый мальчишка — Барни Олдфилд, а девушки с гладкими личиками, от которых холодеет сердце, ходят в органди, батисте и шитье, но без трусов — по причине климата, — и когда в машине встречный ветер поднимает у них волосы на висках, вы видите там светлые капельки пота; девушки глубоко сидят на сиденьях, согнув узкие спины и подтянув колени повыше к приборной доске, но не слишком сдвигая их, чтобы было прохладнее от вентилятора — если это можно назвать прохладой. Где запах бензина и горящих тормозных колодок и красный стоп-сигнал — слаще мирры. Где восьмицилиндровые махины срезают вражию среди красных холмов, разбрызгивая гравий, будто воду, а когда они спускаются на равнину и несутся по новым шоссе — смилуйся, бог, над душами путников.

Дальше по шоссе 58 — и ландшафт меняется. Остаются сзади равнины, хлопковые поля, и купа дубов у большого дома, и выбеленные — одна в одну — хижинки, выстроившиеся вдоль поля, и хлопок, подступающий к самому порогу, где сидит негритенок, сосет большой палец и смотрит, как вы проезжаете мимо. Теперь все это позади. Теперь лишь красные холмы вокруг, кусты куманики у изгородей, да черные бочажки в лощинах, да изредка молодой сосняк, если его не спалили под выгон для овец, а если спалили — то черные пни. И еще — хлопковые посевы, опоясывающие склоны холмов, рассеченных оврагами, да жухлые, неподвижные листья кукурузы.

Когда-то здесь были сосновые леса, но их давно свели. Наехали сюда всякие проходимцы, настроили лесопилок и кредитных лавок, провели узкоколейки и стали платить по доллару в день, и народ попер из лесов за этим долларом, народ повалил бог знает откуда со своими комодами и кроватями, со своими пятью ребятишками на фургонах, со своими старухами в чепцах, жующими табак, и младенцами, вцепившимися в титьку. Пилы пели сопрано, приказчик отवेशивал патоку, сало и записывал долг в своей большой книге; доллар янки и тупость южан залечивали раны четырехлетней братоубийственной распри, все крутилось и вертелось и шло гладко, как по маслу. А потом оказалось вдруг, что сосновых лесов больше нет. Лесопилки были разобраны. Узкоколейки заросли травой. Народ растаскал магазины на дрова. Не стало больше доллара в день. И воротились разъехались в бриллиантовых перстнях и черном сукне. Но кое-какие люди осели здесь, чтобы смотреть, как вгрызаются овраги в красную глину. И кое-кто из них со своими потомками и правопреемниками остался в Мейзон-Сити — тысячи четыре народу, не больше.

Вы въезжаете в город по шоссе 58 мимо прядильни и электростанции, мимо вереницы негритянских хижин, по улице, застроенной некогда белыми домишками с железной кровлей и тоскливым пряничным узором резьбы на карнизах террас, мимо дворов, где листья деревьев млеют и никнут от зноя, и сквозь вежливый шепот восьмидесятисильного верхнеклапанного (или какой там у вас) на скорости сорок миль слышите жужжание июльских мух, ввинчивающихся в зелень.

Таким я застал Мейзон-Сити в последний раз — почти три года назад, летом 36-го. Я сидел в первой машине, в кадиллаке, вместе с Хозяином, м-ром Дафи, женой и сыном Хозяина и Рафинадом. Во второй машине, которая была не так элегантна, как наша помесь катафалка с океанским лайнером, но все же не заставила бы вас краснеть на стоянке загородного клуба, ехали репортеры, фото-

графы и секретарша Хозяина Сэди Бёрк, которая следила за тем, чтобы они не перепились и были в состоянии делать то, что им положено делать.

Кадиллаком правил Рафинад, и смотреть на это было приятно. Было бы приятно, если бы вы смогли отвлечься от мыслей о том, во что превратятся две тонны дорогих механизмов, перевернувшись раза три на скорости восемьдесят миль, и сосредоточить внимание на мускульной координации, сатанинском юморе и молниеносном расчете, которые демонстрировал Рафинад, круто обходя воз с сеном навстречу огромному бензовозу и бросая машину в ничтожный просвет, чтобы напугать шофера до смерти одним крылом, а другим смахнуть соплю у мула. Но Хозяину это нравилось. Он всегда сидел впереди, поглядывая то на спидометр, то на дорогу, и улыбался Рафинаду, когда они проскакивали между бензовозом и носом мула. И голова Рафинада дергалась, как всегда, когда слова застревали у него в гортани и не желали выходить наружу.

— 3-з-за... — выдавливал он, и слюна летела у него изо рта, словно из распылителя. — 3-з-зараза, он же видел, ч-ч-что я еду.

Рафинад не мог разговаривать, но он мог выразить себя, поставив ногу на акселератор. Он не одержал бы победы на школьном диспуте — да и вряд ли кто захотел бы дискутировать с Рафинадом. Во всяком случае не тот, кто знал его или видел, как он управляется со своим автоматическим 9,65-миллиметровым, который всегда торчал у него под мышкой, словно опухоль.

Вы, конечно, решили, судя по имени, что Рафинад был негром. Но он не был негром. Он был из ирландцев — и самых непутевых. Росту в нем было метр пятьдесят семь, и в свои двадцать семь или двадцать восемь лет он порядком оплешивел. Галстуки он носил красные, а под галстуком и рубашкой — маленькую католическую медаль на цепочке, и я надеялся всей душой, что это святой Христофор и что святой Христофор нас не оставит. Фамилия его была О'Шинн, а Рафинадом его звали потому, что он вечно сосал сахар. Каждый раз уходя из ресторана, он забирал из вазочки весь кусковой сахар. Он так и ходил, набив карманы сахаром, и когда он засовывал в рот кусок, вы видели прилипшие к сахару табачные крошки и серые нитки, которые всегда сваливаются на дне кармана. Он бросал этот кусок за частокोल кривых зубов, его худые ирландские щеки втягивались внутрь, и он становился похож на отоцвавшего эльфа.

Хозяин ехал впереди возле Рафинада, поглядывая на спидометр, а рядом сидел его сын Том. Тому было лет восемнадцать или девятнадцать — не помню точно, — но выглядел он старше. Он был не так уж высок, но сложен, как взрослый мужчина, и голова сидела у него на плечах по-мужски, а не торчала вперед на тонкой шее, как у подростка. Он был футбольной знаменитостью еще в школе, а прошлой осенью стал звездой в сборной первокурсников нашего университета. О нем писали в газетах, и не зря. И он знал это. Он знал, что он сногшибателен, это было ясно, достаточно было взглянуть на его гладкое, красивое, загорелое лицо, на челюсти, мерно и безучастно обрабатывавшие жвачку, на голубые глаза под тяжелыми веками, так же мерно и бесстрастно обрабатывавшие вас да и весь белый свет, пропади он пропадом. В тот день, когда он сидел впереди с Вилли Старком — то бишь Хозяином, — я не видел его лица. Но помню, я думал о том, что и формой и посадкой головы он напоминает своего палашу.

Миссис Старк (Люси Старк, жена Хозяина), Крошка Дафи и я сидели зади Люси Старк — между Крошкой и мной. Нельзя сказать, чтобы это была чересчур веселая компания. Во-первых, светской беседе не способствовала жара. Во-вторых, мое внимание было приковано к бензовозам и телегам с сеном. В-третьих, Дафи и Люси Старк не очень ладили друг с другом. Словом, Люси сидела между Дафи и мной и предавалась своим мыслям. Подозреваю, что ей было о чем подумать. Ну, хотя бы о том, сколько воды утекло с тех пор, как она начала учительствовать в Мейзон-Сити и вышла замуж за красномордого деревенского парня с тяжелыми руками, каштановым чубом, спадавшим на лоб (можете полюбоваться на их свадебную фотографию — одну из тысяч фотографий Вилли, напечатанных в газетах), и глазами, которые смотрели на нее с собачьей преданно-

стью и изумлением. Ей было над чем подумать в быстром кадиллаке, потому что с тех пор многое переменялось.

По улице, застроенной некогда белыми домишками, мы выехали на площадь. Была суббота, конец дня, и на площади толпился народ. Вокруг газона сплошьяком стояли повозки и корзины, а посреди него — здание суда, кирпичный ящик, потрепанный непогодой и нуждавшийся в окраске, потому что воздвигнут он был еще до Гражданской войны — с башенкой и часами на каждой из его сторон. При ближайшем рассмотрении обнаруживалось, что часы эти не настоящие. Они были просто нарисованы и всегда показывали пять часов, а отнюдь не восемь семнадцать, как показывают большие нарисованные часы перед захудальными ювелирными магазинами. В толпе людей, занятых куплей и продажей, мы притормозили; Рафинад стал сигналить, голова его задергалась, и, брызгая слюной, он выдал:

— 3-3-3-ар-аза.

Мы подкатили к аптеке, и, прежде чем Рафинад успел остановиться, мальчик Том, а за ним и Хозяин выпрыгнули из машины. Я вышел и помог Люси Старк, которая достаточно пришла в себя после жары и разных мыслей, чтобы сказать «спасибо». Она замешкалась на тротуаре, одергивая юбку на боках, которые, должно быть, располнели с тех пор, как она завоевала сердце крестьянского сына Вилли Старка.

Последним из кадиллака выгрузился м-р Дафи, и мы направились к аптеке; Хозяин распахнул дверь перед Люси Старк, вошел за ней следом, а за ним двинулись и мы. Внутри было полно народу: у стойки с газированной водой толпились мужчины в комбинезонах, у прилавков с ослепительным хламом тосковали женщины, а ребятишки, цепляясь одной рукой за юбку и другой стискивая рожок с мороженым, глядели поверх своих мокрых носов на мир взрослых глазами, напоминавшими китайские шарики из фальшивого мрамора. Хозяин с упавшим на лоб влажным чубом, держа шляпу в руке, скромно встал в очередь за газировкой. Он простоял так, наверно, с минуту, а потом одна из девушек, накладывавших мороженое, заметила его и, сделав такое лицо, как будто у нее в церкви лопнули подвязки, уронила ложку и направилась в заднюю часть аптеки, до звона накачивая бедрами свой зеленый халатик.

Через миг маленький лысый субъект в белом пиджаке, давно скучавшем по стирке, ринулся в толпу из заднего помещения, махая рукой, налетая на посетителей и восклицая: «Это Вилли!» Белый пиджак подбежал к Хозяину, Хозяин шагнул ему навстречу, и он ухватился за руку Вилли, как утопающий. Он не пожимал руку, как это принято делать. Он просто повис на ней, дрожа всем телом и захлебываясь звуками магического слова «В и л л и». Потом, когда припадок кончился, он обернулся к толпе, стоявшей на почтительном отдалении, и объявил:

— Боже мой, друзья, это же — Вилли!

Замечание было излишнее. С первого взгляда было ясно, что если кому-нибудь из собравшихся граждан не знакомо лицо и имя плечистого человека в легком костюме, то этот гражданин полоумный. Не говоря уже о том, что если бы гражданин этот потрудился поднять глаза, он увидел бы над сатуратором шестикратно увеличенное против натуральных размеров изображение того же самого лица: те же большие глаза, но на фотографии несколько сонные и как бы обращенные в себя (сейчас глаза человека в легком костюме были лишены этого выражения, но мне доводилось его видеть), те же мешки под глазами, чуть обрызглые щеки, мясистые губы, которые, если взглядеться, были пригнаны друг к другу, как пара кирпичей, ту же спутанную прядь волос, свисавшую на не очень высокий квадратный лоб. Под портретом было написано в кавычках: «М о я н а у к а — с е р д ц е н а р о д н о е». И подпись: Вилли Старк. Я видел эту фотографию в тысяче разных мест — от дворцов до бильярдных.

Кто-то крикнул:

— Здорово, Вилли!

Хозяин помахал правой рукой, приветствуя неизвестного почитателя. Потом он заметил у дальнего конца стойки высокого тощего малярика, наружностью напоминавшего вяленую оленину, обтянутую дубленой кожей, в джинсах и с вислыми усами, какие встречаешь порой на снимках кавалеристов генерала Фореста. Хозяин направился к нему, протягивая руку. Кожаная Морда не выразил чувств. Разве что шаркнул разбитым сыромятным башмаком по плитке да двинул раза два адамовым яблоком. Глаза на лице, похожем на старое, брошенное во дворе седло, смотрели выжидательно, и, когда Хозяин приблизился, рука Кожаной Морды согнулась в локте так, словно не принадлежала никому, а жила самостоятельной жизнью. и Хозяин пожал ее.

— Как жизнь, Малахия? — спросил Хозяин.

Адамово яблоко перекатилось с места на место, Вилли отпустил руку, которая повисла в воздухе, будто ничья, и Кожаная Морда сказал:

— Потихоньку.

— Как твой малый? — спросил Хозяин.

— Не очень.

— Болеет?

— Не, — пояснил Кожаная Морда, — посадили.

— Черт возьми, — сказал Хозяин, — что они, очумели, сажать таких хороших ребят в тюрьму?

— Он хороший малый, — согласился Кожаная Морда. — И драка была честная, но ему не повезло.

— Чего?

— Все было честно, по правилам, но ему не повезло. Он пырнул парня, а парень умер.

— Дела... — сказал Хозяин. — Судили?

— Нет еще.

— Дела, — сказал Хозяин.

— Мы не жалуемся, — сказал Кожаная Морда. — Все было честно, по правилам.

— Рад был тебя повидать, — сказал Хозяин. — Скажи малому, пусть держит хвост морковкой.

— Он не жалуется, — сказал Кожаная Морда.

После сотни миль по жаре мы смотрели на кран с газировкой, как на мираж; Хозяин направился было к нам, но Кожаная Морда вспомнил:

— Вилли!

— Чего? — отозвался Хозяин.

— Твой портрет, — сообщил Кожаная Морда, с хрустом повернув голову в сторону шестикратно увеличенного изображения над сатуратором. — Твой портрет, — сказал Кожаная Морда, — он тебе не делает чести.

— Ясное дело, — сказал Хозяин, наклонив голову и щурясь на фотографию. — Только сам я был не лучше, когда меня снимали. Ходил, как после дизентерии. Попробуй научи уму-разуму этих законников в конгрессе — ослабнешь похуже, чем от летнего поноса.

— Научи их уму-разуму, Вилли! — закричал кто-то в толпе, которая все росла, потому что народ валил с улицы.

— Научу, — пообещал Вилли и обернулся к субъекту в белом пиджаке. — Налей же нам кока-колы, Док, Христа ради.

Док чуть не умер от разрыва сердца, пока бежал за прилавок. Полы его белого пиджака распластались в воздухе, когда он сделал поворот вокруг стойки и, расшвыряв девушек в салатных халатиках, ринулся к бару. Он налил стакан и вручил Хозяину, а тот передал его жене. Он стал наливать следующий, приговаривая:

— Мы угощаем, Вилли, мы угощаем.

Этот стакан Вилли взял себе, а Док продолжал наливать, приговаривая:

— Мы угощаем, Вилли, мы угощаем.

Он все лил и лил, пока не налил пять лишних.

К тому времени толпа у дверей аптеки разрослась до середины улицы. К стеклянной двери прилипли носы — люди хотели разглядеть, что творится в полутемной комнате.

— Речь, Вилли, речь!— кричали на улице.

— Ну, что ты скажешь,— произнес Хозяин, обращаясь к Доку, который повис на никелированном кране сатуратора и провожал взглядом каждую каплю кока-колы, исчезающую в глотке Хозяина.— Что ты скажешь,— повторил Хозяин.— Не затем я ехал, чтобы речи говорить. Я ехал проведать папашу.

— Речь, Вилли, речь!— кричали за дверью.

Хозяин опустил стакан на мрамор.

— Мы угощаем,— прохрипел Док, изнемогая от восторга.

— Спасибо, Док,— сказал Хозяин. Он пошел к двери, но оглянулся.— Знаешь, посиди-на ты лучше здесь да продай побольше аспирина. А то ведь на даровых угощениях и прогореть недолго.

Он протиснулся к двери, толпа попятилась, и мы пошли за ним.

М-р Дафи нагнал Хозяина и спросил, собирается ли он произносить речь, но Хозяин даже не взглянул на Дафи. Он шагал через улицу уверенно и неторопливо — прямо сквозь толпу, как будто ее и не было. Изгородь длинных красных лиц провожала его настороженными глазами и беззвучно раздвигалась. Он рассекал толпу, а мы — и те, кто приехал в кадиллаке, и те, кто был во второй машине,— шли у него в кильватере. Потом толпа сомкнулась за нами.

Хозяин шел прямо вперед, опустив голову, как человек, который вышел прогуляться и подумать о чем-то своем. Шляпу он держал в руке, и волосы упали ему на лоб. Я знал, что они упали ему на лоб, потому что он раз или два тряхнул головой, словно взнузданная горячая лошадь,— он всегда так делал, когда гулял один и чуб падал ему на глаза.

Он шел прямо через улицу, прямо через газон и — вверх по ступеням суда. Никто не поднялся за ним по лестнице. Наверху он медленно обернулся к толпе. Он смотрел на нее, мигая своими большими глазами, словно только что вышел из темного вестибюля и старался привыкнуть к свету. Он стоял и помаргивал, с влажным чубом на лбу и темными, пропотевшими подмышками. Потом он тряхнул головой, и, хотя солнце било ему в лицо, глаза его выкатились, и в них возник этот блеск.

Вот оно, начинается, подумал я.

Вот так всегда: глаза выкатывались, будто внутри у него что-то произошло, а потом появлялся этот самый блеск. Вы знали: что-то в нем произошло — и говорили себе: вот оно, начинается. Так бывало всегда. Глаза выкатывались и вспыхивали, и что-то холодное сдавливало вам живот, словно кто-то схватил что-то там, в темноте, которая внутри вас,— схватил холодной рукой в холодной резиновой перчатке. Так бывает, когда, вернувшись ночью домой, вы находите под дверью желтый конверт с телеграммой, и наклоняетесь, поднимаете его, но не решаетесь раскрыть — не сразу. И пока вы стоите в прихожей с конвертом в руке, вы чувствуете, что кто-то смотрит на вас — чей-то огромный неподвижный глаз смотрит сквозь пространство и темноту, сквозь стены и дома, сквозь ваше пальто, и пиджак, и кожу и видит, как вы съежились внутри, в темноте, которая и есть вы, съежились, словно мокрый, скорбный зародыш, которого вы носите в своем чреве. Глаз знает, что в этом конверте, и ждет, когда вы разорвете его и узнаете сами. Но мокрый, скорбный утробный плод, который и есть вы и съежился в темноте, которая — тоже вы,— он поднимает свое скорбное сморщенное личико, и глаза его слепы, и он дрожит от холода внутри вас, ибо не хочет знать, что в конверте. Он хочет лежать в темноте, и не знать, и греться своим незнанием. Конец человека — знание, но одного он не может узнать: он не может узнать, спасет его знание или погубит. Он погибнет — будьте уверены,— но так и не узнает, что его погубило: знание, которым он овладел, или то, которое от него ускользнуло и спасло бы его, если бы он овладел им.



В животе у вас — холод, но вы открываете конверт, потому что удел человека — знание.

Хозяин стоял неподвижно, глаза его были расширены и горели, а в толпе не раздавалось ни звука. Слышно было, как одуревшая июльская муха без устали пилит в листьях катальпы. Потом и этот звук умолк, и осталось лишь одно ожидание. Тогда Хозяин шагнул вперед, легко и неслышно.

— Я не собираюсь говорить речь,— сказал Хозяин и усмехнулся. Но глаза его по-прежнему были расширены и блестели.— Я не затем приехал, чтобы говорить речи. Я приехал посмотреть на моего папашу, посмотреть, осталось ли у него чего-нибудь пожевать в коптильне. Я скажу ему: папа, где же копченая колбаса, которой ты хвалился, где же ветчина, которой ты хвалился всю зиму, где...

Это были только слова, а голос звучал совсем по-другому; он шел как будто через нос и выходил бесцветный, с короткими передышками, какие вы слышите в речи наших деревенских: папа — где же — твоя...

Но глаза у него блестели, и я думал: может быть, еще начнется. Может быть, еще не поздно. Никогда нельзя было угадать заранее. Миг — и начнется, миг — и он заговорит.

Но он продолжал: «Словом, я не собираюсь говорить здесь речи», своим обычным голосом, своим собственным. А может, и этот не был его настоящим голосом? Да и какой у него в самом деле голос, какой из его голосов настоящий? — спрашивали вы себя.

Он говорил:

— И приехал я не затем, чтобы чего-нибудь у вас кланчить,— даже головосов на выборах. В священном писании сказано: «У ненасытности две дочери: «Давай, давай!» Вот три ненасытных, и четыре, которые не скажут: «Довольно!» — Теперь голос его стал другим.— Преисподняя и утроба бесплодная, земля, которая не насыщается водою, и огонь, который не говорит: «Довольно!» Но Соломон мог бы добавить сюда еще одну вещь. Он мог бы закончить свой список политиком, которому никогда не надоедает говорить: «Давай!»

Он раскачивался на носках, наклонив набок голову и мигая. Потом улыбнулся и сказал:

— Если у них в те времена были политики, то и они твердили: «Давай, давай!» — вроде нас, нынешних. Давай, давай, мое имя Незевай. Но сегодня я не политик. Я сегодня выходной. Я даже не стану просить, чтобы вы за меня голосовали. Говоря честно, как перед господом-богом, мне это и ни к чему. Пока. У меня еще есть клетушка в том большом доме с белыми колоннами на переднем крыльце, где подают на завтрак персиковое мороженое. Хотя нельзя сказать, что я пришелся по нраву тамошней шайке... Знаете,— он подался вперед, словно желая поделиться секретом,— порою смех берет, до чего я не могу поладить с некоторыми людишками. Хоть из кожи лезь. Я был вежливый. Я говорил «пожалуйста». А «п о ж а л у й с т а» — не лошадь, далеко на нем не уедешь. Однако похоже, что им придется потерпеть еще один срок. И вам придется. Так что улыбайтесь и терпите. Все равно как мозоль. Верно?

Он замолчал и оглядел толпу, медленно поворачивая голову и как будто задерживаясь взглядом то на одном лице, то на другом. Потом улыбнулся, моргнул и сказал:

— Ну? Чего еще? Языки проглотили?

— Как чирий на заднице! — крикнул кто-то в толпе.

— А ты, чертова кукла,— заорал в ответ Вилли,— на пузе спи!

Кто-то засмеялся.

— И благодари бога,— орал Вилли,— что он хоть тут не обошел тебя своей милостью и удосужился приделать переднюю часть к такому тощему огузку, как ты!

— Во дает! — заорали в толпе.

И все начали смеяться.

Хозяин вытянул правую руку ладонью вниз и выждал, пока они перестанут свистеть и смеяться. Тогда он заговорил:

— Нет, я не собираюсь у вас кланяться. Ни голосов, ни чего другого. За этим я, пожалуй, приеду в другой раз. Если мне не разонравится большой дом и персиковое мороженое на завтрак. Да я и не надеюсь, что вы все как один побежите за меня голосовать. Господи, если бы все вы стали голосовать за Вилли, о чем бы вам было спорить? Не о чем, кроме как о погоде, а за погоду не проголосуешь. Нет,— сказал он, и это был уже другой голос, спокойный, мягкий, неторопливый, доносившийся как будто издалека.— Сегодня я ничего у вас не прошу. Сегодня у меня выходной день, и я приехал к себе домой. Человек уходит из дома, что-то гонит его прочь. По ночам он лежит на чужих кроватях, и чужой ветер шумит над ним в деревьях. Он бродит по чужим улицам, и перед глазами его проходят лица, но он не знает их имен. Голоса, которые он слышит,— не те голоса, что звучат в его ушах с тех пор, как он ушел из дома. Это громкие голоса. Такие громкие, что заглушают голоса его родины. Но вот наступает минута тишины, и он снова слышит прежние голоса, те голоса, которые он унес с собой, уходя из дома. И он уже разбирает, что они говорят, — они говорят: возвращайся. Они говорят: возвращайся, мальчик. И он возвращается.

Голос его оборвался. Он не утих перед тем, как исчезнуть. Еще секунду назад он был тут, звучал — слово за словом — в мертвой тишине, которая висела над толпой и над площадью перед зданием суда и казалась еще мертвее от жужжания июльских мух в кронах двух катальп, росших посреди газона. Голос длился — слово за словом — и вдруг пропал. Только мухи жужжали словно у вас в мозгу, жужжати, скрипели, словно пружины и шестерни, которые будут работать, что бы вы ни говорили, работать, пока не изнасятся.

Он стоял с полминуты, не шевелясь и не произнося ни слова. Он как будто не замечал толпы. И вдруг, точно увидев ее впервые, улыбнулся.

— И он возвращается,— сказал Хозяин с улыбкой,— когда у него выдается свободный вечерок. И говорит: «Здорово, братцы! Как поживаете?» Вот и все, что я скажу вам.

Вот и все, что он сказал. Он смотрел вниз, улыбался и поворачивал голову, словно задерживаясь взглядом то на одном лице, то на другом.

Потом он стал спускаться по ступеням, будто только что вышел из темного вестибюля, из большой двери, зиявшей за его спиной, и спускался сам по себе, и не было перед ним никакой толпы, ни одного постороннего человека. Он спустился по ступенькам прямо к тому месту, где стояла наша компания — Люси Старк и остальные,— кивнул нам мимоходом, как шапочным знакомым, и продолжал идти прямо на толпу, будто ее не было. Люди расступались, не сводя с него глаз, давали ему дорогу, а мы шли за ним следом, и толпа смыкалась за нами.

Теперь народ кричал и хлопал в ладоши. Кто-то надрывался:

— Здорбво, Вилли!

Хозяин прошел сквозь толпу, пересек улицу, влез в кадиллак и сел. Мы полезли за ним, а фотографы и остальная шатия отправились к своей машине. Рафинад вырулил на улицу. Люди уступали дорогу не сразу. Они не могли, они стояли слишком тесно. Когда мы ехали сквозь толпу, их лица были совсем рядом, можно было дотянуться. Лица смотрели на нас. Но теперь они были снаружи, а мы — внутри. Глаза на молодых длинных красных лицах и на коричневых морщинистых лицах смотрели в машину, прямо на нас.

Рафинад без конца сигналил. Слова копились и застревали у него в горле. Губы шевелились беззвучно. Я видел его лицо в зеркале.

— З-з-з-ар-азы,— сказал он, брызгая слюной.

Хозяин был задумчив.

— З-з-з-ар-азы,— сказал Рафинад и нажал на клаксон, но мы уже въезжали в переулок, где не было ни души. Кирпичную школу на окраине мы миновали со скоростью сорок миль. Тут я и вспомнил, как впервые встретился с Вилли

четырнадцать лет назад, в 1922-м, когда он был всего-навсего казначеем округа Мейзон и приехал в город насчет выпуска облигаций на постройку этой самой школы. Я вспомнил, как познакомился с ним в задней комнате у Слейда, где сам Слейд подавал пиво, а мы сидели за мраморным столиком с витыми железными ножками вроде тех, что были в ходу во времена вашего отрочества, когда вы отправлялись в кафе со своей девочкой-одноклассницей, чтобы угостить ее шоколадно-банановым пломбиром и потереться коленками под столом, и все время натыкались ногами на эти кружевные железки.

Нас было четверо. Был Крошка Дафи — почти такой же толстый, как и теперь. Сообразить, что он за птица, можно было без всяких опознавательных знаков. Если ветер дул в вашу сторону, вы за версту чували в нем муниципальную вонючку. Он был пузат, потел сквозь рубашку, и лицо его, жидкое и бугристое, напоминало коровью лепешку на весеннем лугу, с той лишь разницей, что имело цвет теста, а посреди золотом цвела улыбка. Он был налоговым чиновником и носил свою плоскую твердую соломенную шляпу на затылке. Лента на шляпе была цветов государственного флага.

И еще был Алекс Майкл, тоже из округа Мейзон, из деревенских мальчишек, но очень смысленый. Такой смысленый, что успел сделаться помощником шерифа. Но помощником он был недолго. Он стал ничем, после того как ему выпустил кишки подгулявший кокаинист тапер в одном из баров, куда Алекс регулярно навещался за данью. Как я уже сказал, Алекс был родом из округа Мейзон.

Мы с Дафи сидели в задней комнате у Слейда и ждали Алекса, с которым я надеялся повернуть одно дельце. Я был газетчиком, и Алекс располагал нужными мне сведениями. Пригласил его Дафи, потому что Дафи был моим другом. Выражаясь точнее, Дафи знал, что я работаю в газете «Кроникл», которая поддерживала Джо Гарисона. Джо Гарисон был тогда губернатором. А Дафи — одним из его мальчиков.

Итак, однажды жарким утром в июне или июле 1922 года я сидел в задней комнате у Слейда и слушал тишину. Морг в полночь — камнедробилка по сравнению с задней комнатой такого бара, если вы в нем первый посетитель. Вы сидите и вспоминаете, как уютно здесь было вчера вечером от испарений дружественных тел и мурлыканья пьяной братии, смотрите на тоненькие полосы влажных опилок, оставленные старой метлой старого, охладевшего к своему ремеслу негра, и кажется вам, будто вы наедине с Одиночеством и сейчас — Его ход.

Итак, я сидел в тишине (Дафи бывал необщителен по утрам, пока ему не удавалось опрокинуть пару-другую стаканчиков) и слушал, как распадаются мои ткани и тихо стреляют капелками пота железы в обильной плоти моего соседа.

Алекс пришел не один, и стало ясно, что разговор по душам у нас не получится. Дело мое было весьма деликатного свойства и не предназначалось для чужих ушей. Я решил, что Алекс нарочно привел своего приятеля. Скорее всего так оно и было, потому что военные хитрости Алекса всегда отдавали дилетантством. Так или иначе, привел он с собой Хозяина.

Только это не был Хозяин. По крайней мере в глазах неискущенного *homme sensuel*<sup>1</sup>. С точки зрения метафизической этот человек, конечно, был Хозяином — но откуда я мог знать? Судьба входит через дверь — ростом в метр восемьдесят, с широкозатой грудью и коротковатыми ногами, одетая в бумажный полосатый костюм за семь пятьдесят, в длинноватых брюках, спадающих гармошкой на черные штиблеты (их не мешало бы почистить), в высоком крахмальном воротничке, как у старост в воскресных школах, галстук в синюю полоску, который явно был подарен женой на прошлое рождество и, пока его владелец не собрался в город, хранился в папиросной бумаге вместе с рождественской карточкой («Счастливого рождества желает дорогому Вилли любящая жена»), и в серой фетровой шляпе с потеками пота на ленте. Судьба является в таком обличье —

<sup>1</sup> Буквально: человек непосредственных, чувственных восприятий (франц.).

и как ее распознаешь? Она входит за Алексом Майклом, который представляет собой — вернее, представлял, пока с ним не разделался тапер, — сто восемьдесят девять сантиметров костей, хряща и суставов, с жестким, костлявым, хорошо прожаренным лицом и карими глазками, бегающими наподобие мексиканских жучков и оттого плохо гармонирующими с этим классическим торсом. Так вот, Судьба скромно пробирается вслед за Алексом Майклом, а тот подходит к столу, имея на лице выражение властности, которое не обманет и ребенка.

Алекс пожал мне руку, сказал: «Привет, дружище», хлопнул меня по плечу ладонью достаточно твердой, чтобы колоть грецкие орехи, почтительно приветствовал Дафи, который подал руку, не вставая, и после всего этого, вспомнив о своем незначительном спутнике, ткнул через плечо большим пальцем и объявил:

— Это Вилли Старк. Тоже из Мейзон-Сити. Мы с ним вместе учились. Наш Вилли был книжный червь, учительский любимчик. Скажи, Вилли? — Алекс заржал в полном восторге от своего утонченного юмора и ткнул любимчика под ребра. Потом, овладев собой, добавил: — Он и сейчас учительский любимчик. Скажи нет, Вилли?

И прежде чем снова огласить бар жизнерадостными звуками случайного загона, Алекс обернулся к нам и пояснил:

— Наш Вилли, наш Вилли — на учительнице женился!

Мысль эта показалась Алексу чудовищно смешной. Тем временем Вилли, не имея возможности подтвердить или опровергнуть этот факт, покорился стихии. Он стоял, держа в руке старую фетровую шляпу с потеками пота на ленте, и его широкое лицо над жестким деревенским воротничком не выражало ничего.

— Да, да — на учительнице! — подтвердил Алекс с прежним жаром.

— Что ж, — сказал м-р Дафи, чьи опыт и такт выручали его в любой ситуации, — говорят, у учительницы эта штука на том же месте, что и у всех. — М-р Дафи вздернул губу над золотыми зубами, но не издал ни звука, ибо, будучи человеком светским и ненавязчивым, предпочитал высказать шутку и, полагаясь на ее внутреннюю ценность, спокойно ожидать аплодисментов публики.

Алекс обеспечил аплодисменты. Я тоже внес свою лепту — в виде улыбки, которая, наверно, выглядела болезненной. Лицо же Вилли было пустынно.

— Ей-богу, — выговорил Алекс, отдышавшись. — Ей-богу, мистер Дафи, ну и фрукт же вы! Ей-богу же, вы фрукт. — И он снова ткнул под ребра любимчика, желая пробудить в нем дремлющее чувство юмора. Не добившись результата, он еще раз пихнул своего спутника и спросил без всяких околечностей: — Ну не фрукт ли наш мистер Дафи?

— Да, — сказал Вилли, глядя на м-ра Дафи наивно, оценивающе и бесстрастно. — Да, — сказал он, — мистер Дафи — это фрукт.

После этого признания, пусть запоздалого и по форме несколько расплывчатого, облачко, омрачившее чело м-ра Дафи, растаяло бесследно.

Вилли воспользовался минутным затишьем, чтобы завершить ритуал знакомства, легкомысленно нарушенный Алексом. Он переложил свою старую шляпу в левую руку, сделал два шага к столу и чинно протянул мне правую. Столько воды утекло с тех пор, как Алекс ткнул большим пальцем в сторону деревенского незнакомца и сказал: «Это Вилли Старк», что мне кажется, будто я знал Вилли с пеленок. Я не сразу сообразил, что Вилли хочет обменяться со мною рукопожатиями. Я вопросительно посмотрел на его протянутую руку, с недоумением перевел взгляд на его невозмутимое, вполне заурядное с виду лицо и, ничего не прочтя в нем, снова посмотрел на руку. Тут я пришел в себя и, не желая уступить ему в галантности, отодвинул задом стул, привстал и пожал его руку. Рука была солидных размеров. Сперва вам казалось, что она мягковата — да и ладонь была немного влажная, хотя в определенных широтах нельзя ставить это в вину человеку, — но потом в ней прощупывалась жесткая основа. Это была рука деревенского парня, который совсем недавно бросил плуг и стал торговать в придорожной лавке. Вилли трижды тряхнул мою руку, сказал: «Рад познакомиться с

вами, м-р Бёрден», так, будто долго учил эту фразу наизусть, и тут — могу поклясться — подмигнул мне. Но, взглянув на его неподвижное лицо, я решил, что это мне показалось. Лет двенадцать спустя, когда его личность стала больше занимать меня в редкие часы раздумья, я спросил:

— Хозяин, помнишь, как мы познакомились в задней комнате у Слейда?

Он сказал «да» — и не удивительно, потому что, как слон из цирка, он запоминал всех: и того, кто кинул ему орешков, и того, кто насыпал ему в хобот нюхательного табаку.

— А помнишь, как ты пожал мне руку?

— Ага, — ответил он.

— Тогда скажи, ты подмигнул мне в тот раз или не подмигнул?

— Мальчик, — сказал он, вертя стакан с виски и упираясь пыльными тридцатидолларовыми туфлями ручной работы в лучшее покрывало, какое имелось в гостинице «Сейнт-Реджис». — Мальчик, — сказал он с отеческой улыбкой, — это тайна.

— Значит, не помнишь?

— Конечно, помню, — ответил он.

— Ну?

— А может, мне соринка в глаз попала? — спросил он.

— Ни черта тебе не попало.

— Может, и не попало.

— А может, ты потому подмигнул, что думал, будто мы одинаково смотрим на поведение тех двоих?

— Вполне возможно, — согласился Вилли. — Ни для кого не секрет, что мой школьный друг Алекс был сволочью. И не секрет, что ни одно кресло в штате не видывало другой такой... как Крошка Дафи.

— Дафи — сукин сын, — подтвердил я.

— Точно, — с радостью согласился Хозяин, — но он полезный член общества. Если знаешь, на что его употребить.

— Ага, — сказал я, — и ты, наверно, знаешь, раз сделал его помощником губернатора. — (Это был последний срок правления Хозяина, и Дафи ходил у него в дублерах.)

— Конечно, — кивнул Хозяин, — кто-то ведь должен быть помощником губернатора.

— Ну да, — сказал я, — Крошка Дафи.

— Точно, — отозвался он. — Крошка Дафи. Прелесть Крошки в том, что ему никто не верит, и ты это знаешь. А то возьмешь человека, которому кто-нибудь может доверять, и потом не спи по ночам, ломай голову — ты ли этот самый кто-нибудь или не ты. Возьми Крошку — и спи спокойно. Надо только припугивать его, чтобы штаны на нем не просыхали.

— Хозяин, ты подмигнул мне тогда у Слейда?

— Мальчик, — ответил он, — если бы я ответил, над чем бы тебе осталось думать?

Так я этого и не узнал.

Но в то давнее утро я видел, как Виллизнакомился с Крошкой Дафи и совсем ему не подмигивал. Он стоял перед м-ром Дафи, и когда великий человек, не поднимаясь, протянул ему руку со сдержанностью папы, протягивающего баптисту туфлю для поцелуя, Вилли трижды тряхнул ее, как требовал, по-видимому, этикет в Мейзон-Сити.

Алекс сел за стол, а Вилли стоял, словно дожидаясь, когда Алекс двинет ногой четвертый стул и скажет:

— Чего топчешься, Вилли, садись.

Тогда он сел и поставил серую фетровую шляпу перед собой. Поля ее легли на мрамор волнами, как лист теста на начинку пирога. Вилли сидел позади своей шляпы и полосатого рождественского галстука и, сложив руки на коленях, ждал.

Из переднего зала вышел Слейд и спросил:

— Пива?

— На всех,— распорядился м-р Дафи.

— Большое спасибо, мне не надо,— сказал Вилли.

— На всех,— снова приказал м-р Дафи, сделав плавное движение рукой, украшенной бриллиантовым перстнем.

— Большое спасибо, мне не надо,— сказал Вилли.

М-р Дафи с легким удивлением, но без доброжелательства посмотрел на Вилли, который, не сознавая всей значительности этой минуты, все так же прямо сидел на стульчике позади своей шляпы и галстука. Затем м-р Дафи повернулся к Слейду и, кивнув на Вилли, произнес:

— А, да принеси ему пива.

— Нет, спасибо,— сказал Вилли, вложив в эти слова не больше чувства, чем вы вкладываете в таблицу умножения.

— Захмелеть боитесь?— осведомился м-р Дафи.

— Нет,— ответил Вилли,— но спасибо, мне не надо.

— Может, ему учительница не велела? — предположил Алекс.

— Люси не одобряет спиртного,— тихо сказал Вилли,— это верно.

— Чего она не узнает, то ей не повредит,— сказал м-р Дафи.

— Подай ему пива,— сказал Алекс Слейду.

— На всех,— повторил м-р Дафи, закрывая прения.

Слейд посмотрел на Алекса, Слейд посмотрел на м-ра Дафи и посмотрел на Вилли. Потом, без особой горячности замахнувшись полотенцем на муху, витавшую над нами, он сказал:

— Я продаю пиво, если кто его хочет. А пить людей не заставляю.

Может быть, в этот миг и повернулась к нему фортуна. Причудлива и переменчива наша жизнь; кристалл блестит на изломе стали, во лбу у жабы — изумруд, и смысл мгновения неуловим, как дуновение ветерка в осиновых листьях.

Как бы там ни было, но после отмены сухого закона, когда почтальоны вагонами свозили в муниципалитет прошения о выдаче лицензий, Слейд лицензию получил. Он получил ее сразу, нашел участок на бойком месте и деньги на покупку уютных кожаных кресел и круглого бара. И Слейд, у которого гроша не оставалось после уплаты акциза и аренды, стоит теперь в полумраке под сенью фресок с голыми дамами, среди сверкающего никеля и цветных зеркал, в двубортном синем костюме, с глянцевым заемом на лысине и посматривает одним глазом на черных парней в белом, разносящих отраву, а другим — на блондинку-кассиршу, которая знает, что работа ее не кончается в два часа ночи, когда гасят свет и расходятся посетители, убаюканные струнным трио.

Как ему удалось сразу получить лицензию? Как он добыл помещение, за которым гонялась половина тузов его профессии? Откуда он взял деньги на кожаные кресла и струнный ансамбль? Слейд мне этого не рассказывал, но, как я понимаю, в то утро он показал себя честным человеком и был вознагражден за свою честность.

После того как Слейд провозгласил свои принципы торговли пивом, дебаты на эту тему закончились. Крошка Дафи поднял к нему лицо с таким выражением, какое бывает у бычка, когда его треснут по темени, но быстро пришел в себя и обрел прежнее достоинство. А Алекс решил сострить напоследок. И говорит:

— У тебя, случаем, не найдется для него ситро?

Когда последние отзвуки ржания замерли в комнате, Слейд ответил:

— Найдется и ситро. Ежели он хочет.

— Да,— сказал Вилли,— ситро бы я выпил.

Подали пиво и бутылку ситро. Вилли поднял обе руки, которые в течение всего разговора покоились на коленях, и обхватил ими бутылку. Слегка наклонив ее и не отрывая от стола, он взял соломинку губами. Губы у него были мясистые, но не пухлые. Нет. Может быть, на первый взгляд они и казались пухлыми. И вы могли подумать, что рот у него детский, не совсем оформившийся,—

особенно в ту минуту, когда он сосал соломинку и губы морщились. Но, посидев с ним немного, вы замечали кое-что другое. Вы замечали, что губы, хоть они и мясистые, плотно пригнаны одна к другой. Лицо у него тоже было мясистое, но с тонкой кожей и в веснушках. С этого тонкокожего, конопатого, почти жирного лица (оно могло показаться и жирным, но опять-таки лишь на первый взгляд) прямо на вас смотрели глаза, большие и карие. Спутанная влажноватая прядь густых курчавых темно-каштановых волос прикрывала его лоб, и без того не слишком высокий. Таков был Вилли с его рождественским галстуком, дядя Вилли из деревни, из-под Мейзон-Сити, — и не мешало бы сводить его в парк, показать ему лебедей.

Алекс наклонился к Дафи и доверительно сообщил:

— Вилли у нас — политический деятель.

Черты Дафи изобразили вялое любопытство, но движение это быстро затеялось в обширной трясине, каковой было лицо Дафи в состоянии покоя.

— Угу, — продолжал Алекс, наклонившись еще ближе и кивнув на Вилли. — Он — политик. В Мейзон-Сити.

Голова м-ра Дафи повернулась на четверть оборота, а бледно-голубые глаза сфокусировались на Вилли, как на очень удаленном предмете. Его поразило, конечно, не громкое название города. Но то, что Вилли вообще мог заниматься политикой, пусть даже в Мейзон-Сити, где свиньи, несомненно, чешутся о завалянку почты, — этот факт представлял собой проблему и заслуживал некоторого внимания. Поэтому м-р Дафи обратил на Вилли внимание и решил проблему. Он решил ее, заключив, что никакой проблемы тут нет. Вилли не мог заниматься политикой. Ни в Мейзон-Сити, ни в каком другом месте. Алекс Майкл — лжец, и нет правды в речах его. У Вилли на лице написано, что он никогда не был и не будет политиком. И Дафи прочел это на его лице. Поэтому он сказал «ага» тоном, в котором звучала тяжеловесная ирония и недоверие.

Я не виню Дафи. Он стоял у порога тайны, где прахом рассыпаются наши расчеты, где река времени исчезает в песках вечности, где гибель формулы заключена в пробирке, где царят хаос и древняя ночь и сквозь сон мы слышим в эфире хохот. Но Дафи не знал этого, и он сказал: «Ага».

— Ага, — отозвался Алекс, но без иронии, — в Мейзон-Сити. Вилли — окружной казначей. Правильно, Вилли?

— Да, — ответил Вилли, — окружной казначей.

— Боже мой, — прошептал Дафи с видом человека, обнаружившего, что он строил на песке и якшался с манекенами.

— Ну да, — продолжал Алекс, — Вилли приехал сюда по делу. Скажи нет, Вилли?

Вилли кивнул.

— Насчет облигаций. Они хотят строить школу и выпускают облигации.

Алекс говорил правду. Вилли был тогда окружным казначеем и приехал в город, чтобы договориться о выпуске облигаций на постройку школы. Облигации были выпущены, школа построена, и через двенадцать с лишним лет, когда большой черный кадиллак с Хозяином проехал мимо этой школы, Рафинад от души нажал на газ, и мы понеслись все по тому же почти новому шоссе 58.

С милу мы ехали молча, а потом Хозяин обернулся ко мне и сказал:

— Джек, запиши себе — разузнать насчет сына Малахии и убийства.

— Как его зовут? — спросил я.

— Убей меня бог, не знаю. Но он хороший парень.

— Да нет, Малахию.

— Малахия Уин, — сказал Хозяин.

Я вытащил записную книжку и записал это. И записал: у б и й с т в о.

— Узнай, на когда назначен суд, и пошли туда адвоката. Хорошего адвоката, в том смысле хорошего, чтобы сумел его вытащить, и передай, что пусть лучше не ленится. И не очень заботится о своей славе.

— Альберт Ивенс, — сказал я, — он подходящий человек.

— Бриолином мажется,— сказал Хозяин — Бриолином мажется, и башка прилизана, как бильярдный шар. Ты в своем уме? Найди такого, чтобы люди не думали, будто он поет по вечерам в кабаке.

— Ладно,— сказал я и записал: в духе Эйба Линкольна.

Я записывал не потому, что боялся забыть. Просто у меня была такая привычка. За шесть лет можно приобрести уйму привычек и исписать уйму черных книжечек; лучше всего отдавать их на сохранение в банк, потому что такие вещи не должны валяться где попало и потому что некоторые люди оценили бы их на вес золота, если бы им удалось их заполучить. Правда, им это не удалось — и никогда не доходил до такой нищеты. Но я привык их беречь. Человек должен вынести из пучин и дебрей времени что-нибудь помимо изъеденной печени, так почему бы не вынести черные книжечки? Черные книжечки спрятаны в банковских сейфах — в них дела и дни ваши, — и лежат они в уютной темноте маленьких ящичков, а огромные оси мира поскрипывают и поскрипывают.

— Найди его,— сказал Хозяин,— но сам держись в тени. Пошли кого-нибудь из своих приятелей. И подумай, кого послать.

— Понял,— ответил я, ибо я его понял.

Хозяин хотел уже вернуться к созерцанию шоссе и спидометра, но Дафи откашлялся и сказал:

— Хозяин.

— Ну?

— Вы знаете, кого он зарезал?

— Нет,— ответил Хозяин, собираясь отвернуться,— мне плевать кого — хоть святую непорочную тетку апостола Павла.

М-р Дафи прочистил горло — в последние годы это означало, что его души мокрота и одолевают мысли.

— Я случайно заметил в газете,— начал он,— я случайно заметил еще тогда, когда это случилось, что он зарезал сына здешнего доктора. Не помню его фамилии, но помню, что это был доктор. Так писала газета. Вот я и думаю... — М-р Дафи обращался теперь к затылку Хозяина. А Хозяин как будто не слушал его. — Вот я и думаю,— м-р Дафи снова прочистил горло,— что доктор, наверно, пользуется здесь большим влиянием. Вы же знаете, как у нас в деревне... Они думают, что доктор — это шишка. Если узнают, что вы помогли младшему Уйну выпутаться, это вам повредит. Сами понимаете — политика,— пояснил он. — А мы-то с вами знаем, что такое политика. Вот я и...

Хозяин повернулся к нему так резко, что голова его на миг слилась в одно неясное пятно — большие выпуклые карие глаза уставились на Дафи как будто из затылка, прямо сквозь волосы. Это, конечно, преувеличение, но вы понимаете, что я хочу сказать. Это и поражало в Хозяине. Он казался человеком неторопливым, медлительным. сидел в расслабленной позе, мигал, как филин в клетке, и вид у него был такой, словно он погружен в себя и уже никогда оттуда не вынырнет. И тут он ошарашивал вас внезапным движением. Например, выбрасывал руку, чтобы схватить надоедливую муху на лету, — я видел, как показывал этот фокус один спившийся боксер, который ошивался у нас в баре. Он держал пари, что поймает муху на лету двумя пальцами, — и ловил. Хозяин тоже ловил. Или вот так поворачивал голову, когда вы говорили с ним и думали, что он вас не слушает. Он повернул голову к Дафи, посмотрел на него и произнес коротко и выразительно:

— Господи. — Потом сказал: — Ни черта же ты, Крошка, не смыслишь. Во-первых, я знаю Малахию Уина с детских лет, сын у него — хороший мальчик, и мне наплевать, кого он зарезал. Во-вторых, драка была честная, и ему не повезло, а к тому времени, когда дело дойдет до суда, все уже будут жалеть парня, если его судят за убийство просто потому, что ему не повезло и тот, другой, умер. В-третьих, если бы ты вынул вату из ушей, то услышал бы, что я велел Джеку нанять защитника через приятеля, и нанять такого, который не захочет на этом деле прославиться. Этот защитник и все прочие могут себе думать, что



его пригласил папа римский. Все, что его интересует,— это будут ли на тех бумажках, которые он получит, такие тоненькие извилистые прожилочки. Теперь тебе ясно, или картинку нарисовать?

— Ясно,— сказал м-р Дафи и облизнул губы.

Но Хозяин его не слушал. Он снова обратился к шоссе и спидометру и сказал Рафинаду:

— Ты думаешь, мы пейзажем любоваться поехали? И так опаздываем. И Рафинад поддал газу.

Но ненадолго. Примерно через полмили показался поворот. Рафинад свернул на щебенку, и камешки затрещали под днищем, как сало на сковороде. Второй машине мы оставили большой хвост пыли.

Потом мы увидели дом.

Он стоял на пригорке — большой двухэтажный ящик, серый, некрашенный, с двумя высокими трубами по обоим концам железной кровли, тоже некрашенной и блестящей на солнце: кровля была новая и не успела заржаветь. Мы подъехали к воротам. Дом стоял у самой дороги; в углу небольшого дворика, огороженного проволокой, росли мирты с розоватыми, как малиновое мороженое, прохладными на вид цветами; перед домом стоял захиревший, сухой с одного боку дуб, а в стороне — две магнолии с ржавыми, жестянными листьями. Травы тут было мало; в пыли под магнолиями купался и кудахтал пяток кур. Большая белая лохматая собака, похожая на колли, лежала на маленьком крыльце, прилепившемся к коробке дома, словно довесок.

Дом был, как все крестьянские дома, мимо которых проезжаешь в жаркий полдень: куры под деревьями, осоловелый пес, и ни одной живой души, кроме хозяйки; сейчас она помыла посуду, подмела в кухне и поднялась наверх прилечь, сняла платье, скинула туфли и лежит на спине в полутемной комнате с закрытыми глазами и потной спутанной прядью на лбу. Зажужжит муха, зашумит ваш мотор на дороге и утихнет — и опять только муха жужжит. Вот какой это был дом.

Раньше я удивлялся, почему Хозяин его не покрасил, когда добрался до кормушки и уже не голод сгонял его по утрам с постели. Потом я сообразил, что Хозяин знал, что делает.

Положим, он этот дом покрасил, тогда встречает один сосед другого и говорит:

— Видал, дед Старк дом покрасил? С чего-то они загордились? Жили в нем всю жизнь, и словно бы неплохо жили, а теперь, как его малый перебрался в город, все стало не по нем. Эдак скоро он нужду станет в доме справлять, а капусту на дворе тушить прикажет. — (По сути дела дед и так справлял нужду в доме, потому что Хозяин построил водопровод и ванную. Воду качал маленький электрический насос. Но стульчака с дороги не видно, из-под ворот он не прыгает, за ноги не кусает. И не мозолит глаза избирателям.)

Дед встречал нас на крыльце — не очень высокий дед и худой, в синих джинсах, в синей рубашке, застиранной до бледной пастельной голубизны, и в черном галстук-самовязе. Мы подошли поближе и увидели его лицо, коричневую и словно тисненую кожу, туго обтянувшую кости, а под костями висевшую свободно, отчего лицо приобрело то терпеливое выражение, которое вообще свойственно старикам; седые волосы его прилипли к узкому, тонкому, как скорлупа, старческому черепу — слышав автомобиль, дед, наверно, пригладил их мокрой щеткой, чтобы встретить нас при полном параде. С коричневого морщинистого лица смотрели спокойные голубые глаза, такие же бледные и вылинявшие, как рубашка. Ни усов, ни бакенбардов он не носил и побрился, наверно, совсем недавно, потому что еще видны были два или три пореза там, где бритва застряла в складках сухой коричневой кожи.

Он стоял на ступеньках, и вид у него был такой спокойный, как будто мы еще не выехали из Мейзон-Сити.

Хозяин подошел к нему и протянул руку.

— Здравствуй, папа. Как поживаешь?

— Ничего,— сказал дед и тоже протянул руку, вернее, согнул ее в локте таким же движением, как Кожаная Морда в аптеке.

Потом подошла Люси Старк и молча поцеловала его в левую щеку. Он тоже ничего не сказал. Только обнял ее правой рукой, даже не обнял, а положил ей на плечо свою корявую коричневую руку, чересчур крупную по сравнению с запястьем, и потрепал устало и словно в чем-то извиняясь. Потом рука упала, повисла вдоль синей парусиновой штанины, и Люси сделала шаг назад. Он сказал негромко:

— Здравствуй, Люси.

— Здравствуй, папа,— ответила она, и рука у синей штанины дернулась, будто снова хотела обнять ее, но не обняла.

Да и не надо было, наверно. Зачем говорить Люси Старк о том, что она и сама знала без всяких слов, знала с тех пор, как вышла за Вилли Старка, переехала сюда и стала коротать вечера у камина с дедом, чья жена давным-давно умерла и чей дом давным-давно не видел женщины. О том, что у них много общего — у деда и у Люси Старк, жены Вилли Старка, который, пока они молчали у камина, сидел наверху, в своей комнате, склонившись над учебником права, с лицом серьезным и озадаченным, с растрепанным чубом, падающим на глаза; да, он был не с ними у камина и даже не в комнате, наверху, а дальше, в своем собственном мире, где что-то набухало болезненно, прорастало тупо и незаметно, словно гигантская картофелина в темном сыром погребе. А у них был общим тихий мир возле камина, поглощавший легко и разом все их дела и поступки за минувший день, за все прошлые дни, за дни, которых еще не было. В камине шипели, коробились, исходили паром чурки, и они сидели, объединенные общим знанием, общим подспудным ритмом биений и пауз их жизни. Вот что роднило их, и отнять этого не мог никто. И еще одно роднило их: они не имели того, что у них было, и знали это. У них был Вилли Старк, но он им не принадлежал.

Хозяин представил м-ра Дафи, который был счастлив познакомиться с м-ром Старком,— да, сэр,— и компанию из второй машины. Потом показал пальцем на меня и спросил:

— Ты ведь помнишь Джека Бёрдена?

— Помню,— сказал старик и пожал мне руку.

Мы вошли в гостиную и разместились в креслах с волосяной набивкой, щекотавшей ноздри кислым запахом мумии, и на плетеных стульях, принесенных дедом и Хозяином из кухни. Пылинки плавали в лучах солнца, пробивающихся сквозь ставни западных окон и пожелтевшие тюлевые занавески, которые свисали с карнизов, словно рыбацьи сети в ожидании починки. Мы ерзали на стульях и в креслах, разглядывая некрашенные доски пола или рисунок на коврике из линолеума,— словно присутствовали на похоронах человека, которому задолжали деньги. Коврик из линолеума был новый, с еще свежим глянцевым рисунком, красных, синих и бежевых тонов — гладкий геометрический чужеродный остров, парящий в сумраке с кислым запахом мумии, над мерной зыбью Времени, которое с давних пор стекало в эту комнату, словно во внутреннее море, где рыба передохла и вода разъедает солью язык. Казалось, что если Хозяин, м-р Дафи, Сэди Бёрк и вы с фотографом и репортерами соберетесь на этом коврике, он по волшебству поднимется с пола и, описав прощальный круг по комнате, вымахнет в дверь или через крышу, словно летучий остров Гулливера или ковер-самолет из арабских ночей, и унесет вас всех туда, где вам место, а дед Старк, очень чистый, в царапинках от бритвы, с приглаженными седыми волосами, будет сидеть как ни в чем не бывало у стола с плюшевым альбомом, большой библией и лампой, под пустым пронзительным взглядом лица с бакенбардами, изображенного на пастельном портрете над камином.

Шаркая старыми теннисными туфлями по некрашеному полу, вошла негрятка с подносом, на котором стоял графин воды и три стакана. Один взяла Люси, другой — Сэди Бёрк, а третий мы пустили по кругу.

Потом фотограф украдкой взглянул на часы, откашлялся и сказал:

— Губернатор...

— Да? — сказал Вилли.

— Я просто подумал... если вы и миссис Старк отдохнули и так далее... —

Он сидя отвесил Люси поясной поклон — поклон, который создавал впечатление, что фотограф малость перебрал по такой жаре и вот-вот свалится. — Если все вы...

Хозяин встал.

— Ладно, — сказал он, ухмыляясь. — Кажется, я вас понял. — И вопросительно посмотрел на жену.

Люси Старк тоже встала.

— Всем семейством, папа, — сказал он деду, и дед тоже встал.

Хозяин вывел всех на крыльцо. Мы вереницей потянулись за ним. Фотограф залез во вторую машину, распаковал свой штатив и прочее добро и установил аппарат напротив ступенек. Хозяин стоял на крыльце, моргая и улыбаясь так, словно он засыпал и знал, какой сон ему предстоит увидеть.

— Сперва снимем вас, губернатор, — сказал фотограф, и мы отошли в сторонку.

Фотограф залез под черное покрывало, но вдруг высунулся, осененный новой идеей.

— Собаку, — сказал он, — возьмите к себе собаку, губернатор. Вы ее гладите или что-нибудь такое. Прямо тут на ступеньках. Это будет изумительно. Вы ее гладите, а она к вам лапами на грудь, как будто рада, что вы приехали домой. Это изумительно.

— Да, — сказал Хозяин, — изумительно.

Он повернулся к старому белому псу, который ни разу не шевельнулся с тех пор, как мы подъехали к воротам, и валялся на крыльце, точно вытертая медвежья шкура.

— Эй, Бак, — сказал Хозяин и щелкнул пальцами.

Пес и ухом не повел.

— Сюда, Бак, — позвал Хозяин.

Том Старк ободряюще пнул собаку носком ботинка, но с таким же успехом он мог пинать диванный валик.

— Стареет Бак, — сказал дед Старк. — Отяжелел маленько. — Старик подошел к крыльцу и наклонился над собакой; при этом вы ожидали услышать скрип заржавленных амбарных петель. — Бак, ну, Бак, — улещал он пса без всякой надежды в голосе. Отчаявшись, он поднял взгляд на Хозяина. — Если бы он был голодный, — сказал старик и покачал головой. — Если бы он был голодный, мы бы его подманили. Но он сейчас не голодный. Зубы у него испортились.

Хозяин поглядел на меня, и я понял, за что мне платят.

— Джек, — сказал он, — подтащи-ка сюда эту лохматую скотину и придай ей радостный вид.

Мне полагалось делать самые разные вещи и в том числе — поднимать в жаркий день пятнадцатилетних четырехпудовых псов и сообщать их преданным лицам выражение невыносимого блаженства, когда они смотрят в глаза Хозяину. Я взял его за передние лапы, как тачку, и поднатужился. Ничего не вышло. Я приподнял его, но как раз в эту секунду я сделал вдох, а он — выдох. И с меня было довольно. Меня шибануло, как из гнезда канюка. Я был парализован. Бак шлепнулся о доски крыльца и остался лежать, как и полагалось шкуре вытертого белого медведя.

Тогда Том Старк с одним из репортеров взяли за хвостовую часть, я, задержав дыхание, за переднюю, и вдвоем мы перетащили его на два метра, к Хозяину. Хозяин приносился, мы приподняли переднюю часть, и Хозяин нюхнул Бака.

Ему тоже хватило.

— Господи, спаси, — взмолился он, когда совладал со спазмом, — чем ты кормишь свою собаку, папа?

— Он совсем не кушает,— сказал дед Старк.

— Фиалок он не кушает,— сказал Хозяин и плюнул на землю.

— Почему он падает,— заметил фотограф,— это потому, что отказывают задние ноги. Если мы сможем поставить его на попа, все остальное надо делать быстро.

— Мы?— сказал Хозяин.— Мы! Это кто же такие — мы? Ты поди, поцелуйся с ним. Ему дыхнуть разок — и молоко свернется, сосна осыплется. Мы, черт подери!

Хозяин набрал побольше воздуха, и мы снова поднатужились. Ничего не вышло. В Баке не было никакой твердости. Мы пробовали раз шесть или семь, и все впустую. В конце концов Хозяину пришлось сесть на ступеньки, а мы положили голову верного Бака ему на колени. Хозяин опустил руку на голову и стал смотреть на птичку. Фотограф щелкнул и сказал: «Это будет изумительно» — и Хозяин откликнулся:

— Угу, изумительно.

Он сидел на крыльце, держа руку на голове Бака.

— Собака,— сказал он,— лучший друг человека. Лучшего друга, чем старый Бак, у меня не было.— Он почесал у Бака за ухом.— Да, добрый старый Бак — он был моим лучшим другом. Но, черт возьми,— сказал он и поднялся так неожиданно, что голова пса стукнулась об пол,— пахнет от него не лучше, чем от всех прочих.

— Это для печати, Хозяин?— спросил один из репортеров.

— Конечно,— ответил Хозяин,— воняет от него, как от всех прочих.

Затем мы сволокли Бака с крыльца, а фотограф занялся работой. Он запечатлел Хозяина с семьей во всех возможных сочетаниях. Закончив, он сложил треногу и сказал:

— Знаете, губернатор, мы хотели снять вас наверху. В комнате, где вы жили мальчиком. Это будет изумительно.

— Угу,— отозвался Хозяин,— изумительно.

Идея принадлежала мне. Изумительно — ни дать ни взять. Хозяин в своей каморке со старым школьным учебником в руках. Славный пример малышам. И мы двинулись наверх.

Комната была маленькая, с голым дощатым полом и шпунтовыми стенами, на которых шелушились последние следы желтой краски. В комнате стояла большая деревянная кровать со слегка покосившимися высокими спинками, застланная белым покрывалом. И еще стоял стол, сосновый стол, пара стульев, ржавая печка-временка, а у стены за печкой — две самодельные полки, забитые книгами. На одной были хрестоматии, учебники географии, алгебры и прочее, а на другой — пухлые старые книги по юриспруденции.

Хозяин стал посреди комнаты и медленно огляделся; мы толпились в дверях.

— Господи,— сказал он,— поставить бы под кровать старый ночной горшок — и было бы совсем как раньше.

Я заглянул под кровать — посуды там не было. Только ее и недоставало в этой комнате. И еще — круглолицего конопатого парнишки с русым чубом, склонившегося над столом при свете керосиновой лампы — только в лампе горел, наивно, не керосин, а угольное масло,— да изгрызенного карандаша в его руке, подернутых синью углей в железной печке и ветра из далекой Дакоты, который колотился в северную стену,— ветра, прилетевшего из-за равнин, покрытых твердым, вылизанным снегом, жемчужно-тусклым и мерцающим в темноте, из-за высохших речек, из-за холмов, где некогда стояли сосны и стонали на ветру, а теперь не стоит ничего на пути у ветра. Ветер тряс раму в северном окне, огонек в лампе дрожал и внулся, но мальчик не поднимал головы. Он грыз карандаш и склонялся над столом все ниже и ниже. Потом он задувал лампу, разделся и залезал в постель в нижнем белье. Простыни были холодные и жесткие. Он лежал в темноте и трясся. Ветер налетал из-за тысячи миль, колотился в

дом, дребезжал в стеклах, и что-то большое свивалось, скручивалось у мальчика внутри, перехватывало дыхание, и кровь начинала стучать в голове так гулко, будто голова была пещерой, большой, как темнота за окном. Он не знал названия тому, что росло у него внутри. А может быть, этому и нет названия.

Вот чего не доставало в комнате — ночного горшка и мальчика. Все остальное было на месте.

— Да, — говорил Хозяин, — куда-то он задевался. Ну да невелика потеря. Может, и правда, что от сидения над проточной водой заводится слизь в кишках, как говорят старики; но, ей-богу же, учить кодексы было бы куда удобнее. И не пришлось бы терять столько времени.

Хозяин любил посидеть. Сколько раз мы вершили с ним судьбы штата через дверь ванной комнаты — Хозяин сидел внутри, а я снаружи на стуле, с черной книжечкой на колене, и телефон в комнате звонил, как оглашенный.

Теперь в комнате распоряжался фотограф. Он усадил Хозяина за стол. Хозяин углубился в затреланную хрестоматию, вспыхнул блиц, и первое фото было готово. За ним последовал пяток других: Хозяин с учебником права на коленях, Хозяин на стуле у печки — и бог знает где еще.

Я предоставил им увековечивать себя для потомства и спустился вниз.

На нижней ступеньке я услышал голоса из гостиной и догадался, что это Люси, Сэди Бёрк и Том с дедом. Тогда я вышел на заднее крыльцо. Слышно было, как в кухне хлопочет негрityанка и мурлычет что-то про себя и про Иисуса. Я пересек задний двор, на котором трава не росла. Когда польют осенние дожди, здесь будет только грязь с бестолковыми куриными следами. Но сейчас тут было пыльно. У ворот, которые вели на участок, росло мыльное дерево, и осыпавшиеся ягоды хрустели у меня под ногами, как жуки.

Я миновал рядок островерхих курятников, поставленных для сухости на кипарисовые чурбаки и обшитых дранкой. Я пошел дальше, к сараю и хлеву, где у большого железного котла для варки патоки, понурясь от вечного стыда за свой род, стояла пара крепких, но уже траченных молью мулов. Котел был превращен в поилку. Над ним торчала труба с краном. Одно из нововведений Хозяина, которых не видно с дороги.

Я миновал хлев, сложенный из бревен, но крытый новым железом, и приклонился к изгороди, за которой поднимался бугор. Позади сарая земля была размыта, угадывался будущий овраг; там и сям в промоинах был навален хворост, чтобы помешать воде. Как будто и впрямь мог помешать. Метрах в ста, под самым бугром, стоял низкорослый дубняк. Там, наверно, было тонко, потому что трава под деревьями росла густо-зеленая, сочная. На фоне плешивого косогора зелень эта выглядела неестественно яркой. Две свиньи лежали там, как пара серых волдырей на теле земли.

Солнце склонялось к закату. Облокотясь на изгородь, я смотрел на запад, откуда протягивался в небо косой свет, и вдыхал сухой чистый аммиачный запах, какой всегда висит над стойлами на исходе летнего дня. Я решил, что меня отыщут, когда понадобится. Когда это случится, я понятия не имел. Хозяин с семьей, подумал я, заночует у папы. Репортеры, фотограф и Сэди Бёрк вернутся в город. М-ра Дафи, наверно, отправят в гостиницу, в Мейзон-Сити. А может быть, нас обоих оставят здесь. Но если они вздумают положить нас в одну постель, я пешком уйду в Мейзон-Сити. Остается еще Рафинад. Но мне надоело о них думать. Плевать мне, как они устроятся.

Я облокотился на изгородь, от чего брюки сзади натянулись и прижали бутылку к бедру. С минуту я размышлял над этим, любуясь одновременно красками заката и вдыхая чистый сухой аммиачный воздух, потом вытащил бутылку. Я глотнул, сунул ее обратно, снова оперся на изгородь и стал ждать, когда краски заката вспыхнут у меня в животе. Что они и сделали.

Сзади кто-то отворил и захлопнул калитку, но я не оглянулся. А раз я не оглянулся — значит, никто и не открывал скрипучей калитки, и это — чудесный принцип, если вы им овладели. Лично я постиг этот принцип еще в колледже,

вычитал в одной книжке и держался за него изо всех сил. Своим успехом в жизни я обязан этому принципу. Он сделал меня тем, что я есть. Чего вы не знаете, то вам не вредит, ибо не существует. В моей книжке это называлось Идеализмом, и, овладев этим принципом, я стал Идеалистом. В те дни я был твердокаменным Идеалистом. Если вы Идеалист, то не важно, что вы делаете и что творится вокруг вас, ибо все это нереально.

Шаги, заглушенные пылью, все приближались и приближались. Потом проволока на ограде скрипнула и подалась, потому что кто-то прислонился к ней и тоже стал любоваться закатом. Минуты две м-р Х и я любовались закатом в полной тишине. Если бы не его дыхание, я бы не знал, что он рядом.

Потом послышалось какое-то движение, и проволока ослабла — м-р Х перестал на нее опираться. Потом чья-то рука похлопала меня по левому боку, и чей-то голос сказал:

— Дай мне глотнуть.

Это был голос Хозяина.

— Возьми,— ответил я,— ты знаешь, где она живет.

Он задрал полу моего пиджака и вытащил бутылку. До меня донеслось опустошительное бульканье. Потом проволока снова натянулась под его тяжестью.

— Я так и думал, что ты придешь сюда,— сказал он.

— А тебе захотелось выпить,— добавил я без упрека.

— Да,— согласился он,— а папа не одобряет спиртного. Никогда не одобрял.

Я посмотрел на него. Он держал закупоренную бутылку в ладонях и, положив руки на проволоку, наваливался на нее всей своей тяжестью; это не сулило ограде ничего хорошего.

— А раньше не одобряла Люси,— сказал я.

— Все меняется,— ответил Хозяин. Он открыл бутылку, снова приложился к ней и снова закупорил.— Кроме Люси. Не знаю, изменилась она или нет. Не знаю, одобряет она теперь спиртное или не одобряет. Сама она не притрагивается. Может, поняла, что мужчине это успокаивает нервы.

Я засмеялся:

— Откуда у тебя нервы?

— Я просто комок нервов,— сказал он и ухмыльнулся.

Мы стояли, облокотясь на проволоку. Свет заката стелился по земле и удалялся в кроны дубов под бугром. Хозяин вытянул шею, собрал на губах крупный шарик слюны и уронил его между рук в свиное корыто, стоявшее по ту сторону изгороди. Корыто было сухое, в нем и рядом на земле валялось несколько зернышек кукурузы, почему-то красных, и немного очистков.

— Да и тут мало что меняется,— сказал Хозяин.

Отвечать было нечего, и я не ответил.

— Будь я неладен, если не перетаскал в эту кормушку полсотни тонн помоев,— сказал он и снова плюнул в корыто.— И не выкормил полтыщи свиней. Будь я неладен,— сказал он,— если и теперь не занимаюсь тем же самым. Помою таскаю.

— Что поделаешь,— сказал я,— ежели они едят одни помон. Верно?

На это он не ответил.

Позади опять скрипнула калитка, и я оглянулся. Теперь у меня не было причин не оглядываться. К нам шла Сэди Бёрк. Вернее, бежала; ее белые туфли взбивали пыль, льняная полосатая юбка грозила лопнуть при каждом шаге, и вид у нее был самый озабоченный. Хозяин повернулся, в последний раз посмотрел на бутылку и отдал мне.

— Что там?— спросил он ее шагов за пять.

Она подошла, не ответила не сразу. Она запыхалась после бега. Свет заката падал на ее вспотевшее рябоватое лицо, бил в глубокие черные горящие глаза, путался в черной копне коротких наэлектризованных волос.

— Что там?— повторил Хозяин.

— Судья Ирвин...— выговорила она, тяжело переводя дух.

— Да?— сказал Хозяин. Он все еще подпирал спиной забор, но смотрел на Сэди так, будто она вот-вот выхватит пистолет и придется ее обезоруживать.

— Матлок звонил... по междугородному... сказал... в вечерней газете...

— Короче,— перебил Хозяин.— Короче.

— К свиньям!— сказала Сэди.— Потерпишь. Подождешь, пока я отдышусь. Вот когда я отдышусь, а ты...

— Так ты никогда не отдышишься,— сказал Хозяин, и голос его был мягче кошачьей спины под рукою.

— А тебе какое дело до моего дыхания? Ты его еще не купил,— огрызнулась Сэди.— Бежишь сломя голову, хочешь сказать ему, а он заладил, как попугай,— короче, короче. Да я отдышаться еще не успела. И я тебе вот что скажу: пока я не отдышусь и не приду в себя, ничего ты...

— По-моему, ты уже отдышалась,— заметил Хозяин, с улыбкой облокотившись на изгородь.

— По-твоему, это очень смешно,— сказала Сэди,— ну да, безумно смешно.

Хозяин не ответил. Он опирался на изгородь так, словно впереди у него был целый день, и продолжал ухмыляться. Я давно заметил, что эта ухмылка никогда не действовала на Сэди как успокоительное. А по симптомам судя, оно бы сейчас не помешало.

Поэтому я тактично отвел взгляд и вновь погрузился в созерцание умирающего дня и элегического ландшафта, расстилавшегося за скотным двором. Не то чтобы их смущало мое присутствие. Державы, троны, империи могли рушиться вокруг, и они не моргнули бы глазом — когда Сэди срывалась с цепи, а Вилли не был расположен к уступкам. Порой все начиналось с пустяков, но Хозяин принимал ленивую позу, ухмылялся и подзуживал Сэди до тех пор, пока ее черные горящие глаза чуть не выскакивали из орбит и клочок черных волос, выбившись из копны, не падал на лицо, так что ей все время приходилось откидывать его тыльной стороной ладони. Распалившись, Сэди не лезла за словом в карман; Хозяин же бывал немногословен. Он только ухмылялся. Он располагался по-удобнее и заводил, заводил ее, наблюдал, как она злится, и получал от этого полное удовольствие. Даже схлопотав как-то раз оплеуху — и притом увесистую,— он продолжал смотреть на нее так, словно она гавайская девушка и танцует для него хулу. Он получал полное удовольствие, пока Сэди не наступала ему на любимую мозоль. Она одна знала, как это сделать. Или имела смелость. Тут-то и начиналось настоящее представление. Помешать им никто не мог. А я и подавно, поэтому не было нужды проявлять деликатность и отводить взор. Я уже давно стал чем-то вроде мебели, но остатки хороших манер, привитых бабкой, еще обременяли меня и время от времени одерживали верх над любопытством. Конечно, я был мебелью — о двух ножках и с оплатой в рассрочку,— и все же я отвернулся.

— Безумно смешно,— продолжала Сэди,— но посмотрим, как ты засмеешься, когда дослушаешь до конца.— Она помолчала.— Судья Ирвин выступил за Келахана.

Секунды на три установилась полная тишина, только голубь сделал неудачную попытку разбить сердце себе и мне, заворковав в роще под бугром, где лежали свиньи; три секунды тянулись, как неделя.

Затем я услышал голос Хозяина:

— Сволочь.

— Это напечатано в вечерней газете.— бесстрастно проговорила Сэди.— Из города звонил Матлок. Чтобы поставить вас в известность.

— Бесстыжая сволочь,— сказал Хозяин.

Проволока подо мной ослабла, и я обернулся. Похоже было, что конклав близится к концу. Так оно и оказалось.

— Пошли,— сказал Хозяин и направился к дому.

Сэди заспешила рядом с ним, подхватив юбку. Я двинулся следом.

Подойдя к калитке, где росло мыльное дерево и под ногами лопались ягоды, Хозяин сказал Сэди:

— Выгони их.

— Крошка рассчитывал здесь поужинать, — сказала Сэди, — Рафинад собирается отвезти его к восьмичасовому поезду. Вы его сами пригласили.

— Я передумал, — сказал Хозяин. — Всех выгони.

— С великим удовольствием, — ответила Сэди и, как мне показалось, от чистого сердца.

Она их выгнала быстро. Выдавливая в окна начинку, приседая на задние рессоры, автомобиль покатился по гравию, и на землю низкошла вечерняя тишина. Я отправился за дом, где между столбом и дубом висел гамак, сделанный, как принято в этой части света, из проволоки и клепок. Я снял пиджак, повесил на столб, сунул в его боковой карман бутылку, чтобы она не сломала мне бедро, когда я лягу, и забрался в гамак.

На той стороне двора, где росли мирты, по пыльной траве расхаживал Хозяин. Ну что ж, кому детей родить, тому их и кормить. А я лежал себе в гамаке. Я лежал, смотрел на сухую серо-зеленую изнанку дубовой листвы и кое-где замечал на ней ржавые пятна. Этим листьям недолго осталось висеть; они слетят не от ветра, просто волокна ослабнут, может быть, даже в разгаре дня, когда воздух ноет от тишины, как ноет дырка в десне, где с утра еще рос зуб — до визита к дантисту, — или как сердце в груди, когда ты стоишь на перекрестке, ждешь зеленого света и вдруг вспомнишь все, что было и могло бы быть, если бы не случилось то, что случилось.

Потом, глядя на листья, я вдруг услышал короткий сухой треск со стороны сарая. Потом он раздавался снова, и я понял, что он означает. Это Рафинад на заднем дворе баловался со своим спец. 9,65. Он ставил бутылку или консервную банку на столб, поворачивался к столбу спиной и шел прочь, держа свою погремушку левой рукой за ствол и не снимая ее с предохранителя, — шел неторопливо на своих коротеньких ножках, одетых, как всегда, в синие диагональные штаны, болтавшися мешком на его висловатом заду, и последние лучи солнца высвечивали лысину, словно белесый лишайник в жестких побегах его волос. Потом он вдруг останавливался, перехватывая погремушку в правую руку, поворачивался неуклюже, но стремительно, словно внутри у него спустили пружину, и погремушка грохала и либо банка слетала со столба, либо бутылка разбивалась вдребезги. Почти наверняка. Тогда голова Рафинада дергалась, и, брызгая слюной, он говорил:

— З-з-зар-раза.

Раздавался короткий сухой треск, и наступала тишина. Значит, он попал с первого раза и тащился назад, чтобы поставить новую. Потом опять раздавался треск, и опять — тишина. Или треск раздавался два раза подряд. Значит, он промахнулся в первый раз и попал со второго.

Потом я, наверно, задремал и проснулся оттого, что рядом со мной оказался Хозяин и произнес:

— Пора ужинать.

Мы пошли ужинать.

Мы сели за стол — дед Старк на одном конце, на другом Люси. Люси смахнула со щеки влажную прядь и, как генерал, объезжающий войска, в последний раз окинула взглядом стол, проверяя, все ли на месте. Да, она попала в свою стихию. Теперь ей это редко удавалось, но когда удавалось, прыти ей было не занимать.

Челюсти работали вовсю, Люси наблюдала за их работой. Сама она почти не ела и только следила, чтобы не оставалась пустой ни одна тарелка, смотрела, как жуют челюсти, и лицо ее разглаживалось от тихой веры в счастье, смягчалось, как лицо механика, когда он входит в машинное отделение и видит слившийся в круг маховик, тяжелое снование поршней, балетные скачки стальных шатунов



по их строгим орбитам, и весь трюм в электрическом свете гудит, поет, сверкает перед ним, словно вечный механизм головы господней, а корабль отмеривает свои двадцать два узла по стеклянному, застывшему под звездами морю.

Едва я успел проглотить последнюю ложку шоколадного мороженого, которую мне пришлось заталкивать в себя, точно цементный раствор в яму для столба, как Хозяин — едок столь же мощный, сколь и методичный — дожевал последний кусок, поднял голову, утер салфеткой подбородок и сказал:

— Так, а теперь Рафинад и мы с Джеком поедим прокатиться по шоссе.

Люси Старк бросила на Хозяина быстрый взгляд, потом отвернулась и поправила на столе солонку. Сначала вам могло показаться, что это самый обычный взгляд, каким награждают мужа, когда, отвалившись от ужина, он объявляет о своем намерении сбегать в город прогуляться. Но потом вы понимали, что это не так. В нем не было ни вопроса, ни протеста, ни укора, ни приказа, ни обиды, ни слез — никаких этих «значит-ты-меня-больше-не-любишь». В нем ничего не было, и именно это было в нем самое замечательное. Это был подвиг. Всякий акт чистого восприятия — подвиг, и если вы не верите мне, проверьте сами.

Дед же поднял глаза на Хозяина и сказал:

— А я-то думал... я думал, ты заночуешь здесь.

И догадаться, что он имел в виду, было легко. Сын приезжает домой, и родитель расставляет свои сети. Старику — или старухе — нечего сказать сыну. Им и надо всего-навсего, чтобы ребенок посидел час-другой в кресле да лег с ними спать под одной крышей. Это не любовь. Я не утверждаю, что нет такого явления, как любовь. Я просто говорю о том, что отличается от любви, но иногда проходит под этим именем. Вполне может статься, что без того, о чем я говорю, вообще бы не было никакой любви. Но само по себе это не любовь. Это — в крови человека. Алчность в его крови, и его бремя. Оно и отличает человека от довольной твари. Когда вы рождаетесь, ваши отец и мать что-то теряют и лезут из кожи вон, чтобы это вернуть, а это и есть вы. Они знают, что всего им не вернуть, но постараются вернуть кусок побольше. И возвращение в лоно семьи с обедом под кленами очень похоже на ныряние в бассейн к осьминогам. По крайней мере так я сказал бы в тот вечер.

И вот дед Старк дбинул кадыком, поднял свои пасмурные старые голубые глаза на Хозяина, который был плотью от плоти его, хотя вы никогда бы этого не угадали, и закинул свои сети. Но сети вернулись пустыми. По крайней мере — без Вилли.

— Нет, — сказал Хозяин, — надо двигаться.

— Я-то думал, — начал старик, но сдался и затих. — Ну, коли дела...

— Какие там дела, — сказал Хозяин. — Так, забава. Я во всяком случае намерен позабавиться. — Он рассмеялся, встал из-за стола, звучно чмокнул Люси в левую щеку, хлопнул сына по плечу с той неловкостью, с какой все отцы хлопают сыновей по плечу (словно извиняются за что-то, а впрочем, всякому, кто хлопнул по плечу Тома, лучше было извиниться, потому что мальчишка был заносчивый и даже головы не повернул, когда Хозяин его хлопнул).

Затем Хозяин сказал:

— Вы ложитесь, не ждите нас, — и направился к двери.

Мы с Рафинадом пошли за ним. До сих пор я и не подозревал, что хочу прокатиться. Но Хозяин редко предупреждал о чем-нибудь заранее. И я достаточно хорошо его знал, чтобы не удивляться.

Когда я подошел к кадиллаку, Хозяин уже сидел впереди на своем месте. Я влез на заднее сиденье, мысленно готовясь к тому, как меня начнет швырять из стороны в сторону на поворотах. Рафинад заполз к себе под руль, нажал на стартер и заухал «хку-хку-хку-хку», как неясить ночью в болотах. Если бы ему хватило времени и слюны, он спросил бы: «Куда?» Но Хозяин не стал дожидаться. Он сказал:

— В Бёрденс-Лендинг.

Значит, вот что. Бёрденс-Лендинг. Мог бы и сам догадаться.

Бёрденс-Лендинг лежит в ста тридцати милях от Мейзон-Сити, к юго-западу. Если умножить сто тридцать на два, получится двести шестьдесят миль. Было часов девять, светили звезды, в низинах стлался туман. Один бог знает, когда мы ляжем спать и во сколько встанем завтра, чтобы, плотно позавтракав, ехать назад, в столицу штата.

Я откинулся на спинку и закрыл глаза. Гравий стучал под крыльями, потом перестал, машина накренилась, вместе с ней накренился я, и это означало, что мы снова на шоссе и сейчас дадим ходу.

Мы помчимся по бетону, белеющему под звездами среди перелесков и темных полей, залитых туманом. В стороне от дороги вдруг возникнет сарай, торчащий из тумана, как дом из воды, когда река прорывает дамбу. Покажется у обочины корова, стоящая по колено в тумане, с мокрыми и перламутрово-белыми от росы рогами, она будет смотреть на черную тень, где спрятаны мы, а мы будем рваться в пылающий коридор, но он будет убегать от нас, все так же рассекая тьму перед самым носом. Корова будет стоять по колено во мгле, смотреть на черную тень и сноп света, а потом на то место, где была тень и был свет, с тяжелым, смутным, кротким равнодушием, с каким смотрел бы Бог, или Судьба, или я, если бы я стоял по колено во мгле, а черная тень и слепящий свет пронеслись мимо меня и таяли среди полей и перелесков.

Но я не стоял в поле среди мглы, мгла не текла вокруг моих колен, и в голове моей не тикало ночное безмолвие. Я сидел в машине и ехал в Бёрденс-Лендинг, названный так по имени людей, от которых и я получил свое имя, — в Бёрденс-Лендинг, где я родился и вырос.

Мы будем ехать среди полей до самого города. Потом вдоль дороги встанут деревья, а под ними дома, в которых гаснут окна, потом мы вылетим на главную улицу с ярко освещенным входом в кино, где жуки врезаются в лампочки, летят рикошетом на тротуар и хрустят под ногами прохожих. Люди у пивной проводят взглядом громоздкий черный призрак, один из них плюнет на бетон и скажет: «Сволочь, тоже мне, шишка на ровном месте», — и ему захочется сидеть в черной большой машине, большой, как катафалк, и мягкой, как мамина грудь, дышащей без хрипа на скорости в семьдесят пять миль, и катить куда-то в темноту. Что же, я и катил куда-то. Я катил на родину, в Бёрденс-Лендинг.

Мы въедем в город по новому приморскому бульвару. Соленый воздух отдает там рыбным, печальным и чистым запахом отелей. Мы приедем, наверно, в полночь, когда три квартала деловой части города погружены в темноту. За этими кварталами идут маленькие домишки, а за ними, у залива, — другие дома, обсаженные магнолиями и дубами; их белые стены мерцают в темноте под деревьями, и зеленые жалюзи на окнах кажутся черными дырами. В комнатах спят люди, укрывшись только простыней. В одной из этих комнат за зелеными жалюзи родился я. В одной из них в ночной рубашке, отороченной кружевом, спит моя мать; лицо у нее гладкое, как у девушки, и лишь морщинки в углах глаз и рта, которых все равно не видно в темноте, да лежащая на простыне хрупкая, сухая рука с крашеными ногтями выдают ее возраст. Там же спит и Теодор Марел, и тихое аденоидное посапывание льется из-под его золотистых усов. Но все это законно — мать замужем за Теодором Марелом, который намного моложе ее, у которого золотистые волосы курчавятся на круглой голове, как сливочная помадка, и который доводится мне отчимом. Ладно, он у меня не первый отчим.

А дальше под своими собственными дубами и магнолиями стоит дом Стентонов, запертый и пустой, потому что Анна и Адам давно выросли, живут в городе и больше не ездят со мной на рыбалку, а сам старик умер. Еще дальше, где опять начинаются поля, стоит дом судьи Ирвина. Мы не остановимся, пока туда не приедем. Мы нанесем судье небольшой визит.

— Хозяин, — сказал я.

Он обернулся, и я увидел тяжелые очертания его головы на фоне ярко освещенного бетона.

— Что ты собираешься ему сказать?— спросил я.

— Этого никогда не знаешь заранее,— ответил он.— Я, может, вообще ничего не скажу. Черт его знает, может, мне и нечего ему говорить. Я только хочу на него поглядеть как следует.

— Судью на испуг не возьмешь.

Нет, не возьмешь его на испуг, подумал я, вспоминая прямую спину человека, который, соскочив с седла, забрасывал поводья на стентоновский забор и шагал по ракушечной аллее с панамой в руке,— его крючковатый нос, высокий череп с жесткой темно-рыжей гривой волос и глаза, желтые, ясные, твердые, как топазы. Правда, с той поры минуло почти двадцать лет, и спина у него, наверное, не такая прямая, как раньше (перемена происходит так медленно, что за ней не уследишь), и глаза, наверное, потускнели, но я не верил, что судью можно взять на испуг. В чем в чем, а в этом я мог поручиться: он не струсит. И если бы я оказался не прав, меня бы это огорчило.

— Я и не надеюсь взять его на испуг,— сказал Хозяин.— Я просто хочу поглядеть на него.

— Нет, черт возьми!— выпалил я и сам не заметил, как мои лопатки оторвались от спинки сиденья.— Ты сбрендил, если думаешь его запугать.

— Спокойно, Джек,— сказал Хозяин и рассмеялся.

Я не видел его лица. Я видел черную кляксу на фоне освещенного бетона, и она смеялась.

— Говорят тебе, я просто хочу на него поглядеть,— сказал он.

— Ты выбрал чертовски удобное время и чертовски удобный способ, чтобы на него глядеть,— сварливо пробурчал я, опускаясь лопатками на то место, где им и полагалось быть.— Ты что, не мог подождать, пока он приедет в город?

— Захочешь жениться — ночью не спишь,— ответил Хозяин.

— Черт тебя надоумил,— сказал я,— к нему ехать.

— Ага, ты считаешь, что это ниже моего достоинства?— спросил Хозяин.

— Тебе виднее, ты губернатор. Так я слышал.

— Да, я губернатор, Джек, и беда губернаторов в том, что они думают, будто должны беречь свое достоинство. Но, видишь ли, нет на свете стоящего дела, из-за которого не пришлось бы поступиться достоинством. Можешь ты назвать мне хоть одно дело, которое ты хотел бы сделать и мог бы сделать, не уронив своего достоинства? Нет, не так человек устроен.

— Ладно,— сказал я.

— И когда я стану президентом и захочу кого-нибудь увидеть, я сяду и поеду к нему.

— Ну да,— сказал я,— среди ночи. Но надеюсь, что меня ты оставишь дома и дашь мне выспаться.

— Черта с два,— сказал он.— Когда я стану президентом, я буду брать тебя с собой. Я буду держать вас с Рафинадом прямо в Белом доме, чтобы вы все время были под рукой. Рафинаду я устрою тир в задней комнате, и республиканцы из конгресса будут расставлять для него консервные банки. А ты сможешь водить к себе девочек прямо через главный вход, и министр будет принимать у них пальто и подбирать за ними шпильки. Для этого у нас будет специальный министр. Он будет зваться Будуар-Секретарь Джека Бёрдена и будет помнить все телефоны и отсылать по нужным адресам маленькие розовые предметы, если кто их забудет. Сложение у Крошки подходящее, я ему сделаю маленькую операцию. наряжу в шелковые шаровары и тюрбан, дам кривую саблю из жести, как какому-нибудь великому визирию, и будет он сидеть на пуфе у твоей двери и называться Будуар-Секретарем. Ну как, тебе это подходит? — Он перевесился через спинку и хлопнул меня по колену.

Ему пришлось далеко тянуться, потому что от переднего сиденья в кадиллаке до моего колена расстояние порядочное, хоть я и лежал на лопатках.

— Ты войдешь в историю, — сказал я.

— А то как же. — И он рассмеялся. Он повернулся и стал смотреть на дорогу, продолжая смеяться.

Мы проехали какой-то городок и остановились на окраине возле заправочной станции с баром. Рафинад заправил машину и принес нам с Хозяином по бутылке кока-колы. Мы двинулись дальше.

До самого Бёрденс-Лендинга Хозяин не произнес ни слова. А там он только сказал:

— Джек, объясни Рафинаду, как найти дом. Твои ведь дружки тут живут.

Да, тут живут мои дружки. Вернее, жили. Жили Анна и Адам Стентоны — в белом доме вместе с вдовым отцом, губернатором. Они были моими друзьями. Анна и Адам. Адам и я рыбачили и ходили под парусом по всей этой части Мексиканского залива, и спокойная, глазастая, худенькая Анна всегда была рядом и всегда молчала. Адам и я охотились и бродили по всей округе, и рядом была Анна, тонконогая маленькая девочка, четырьмя годами моложе нас. Мы сидели у камина в доме Стентонов или в нашем доме — играли, читали книжки, — и рядом сидела Анна. А потом Анна уже не была маленькой девочкой. Она стала большой, и я любил ее так, что жил, точно во сне. И во сне этом мое сердце готово было разорваться, потому что весь мир жил в нем и рвался наружу, чтобы стать настоящим миром. Но то лето кончилось. Прошли годы, и не случилось того, что непременно должно было случиться. Анна теперь — старая дева, живет в столице и если выглядит еще красивой и не носит уродливых платьев, то смех ее стал ломким, а лицо напряженным, словно она пытается что-то вспомнить. Что она старается вспомнить? Мне-то стараться незачем. Я мог бы вспомнить, да не хочу. Если бы род людской ничего не помнил, он был бы совершенно счастлив. Когда-то я учил историю в университете, и это, пожалуй, единственное, что я оттуда вынес. Вернее сказать, думал, что вынес.

Мы поедем по набережной, где дома смотрят на залив, — там жили все мои приятели. Анна — без пяти минут старая дева. Адам — знаменитый хирург, который по-прежнему ласков со мной, но больше не ездит ловить рыбу. И на самом краю — судья Ирвин, который был другом нашей семьи, брал меня на охоту, учил стрелять и ездить верхом и читал мне в своем большом кабинете исторические книги. После ухода Элиса Бёрдена судья был мне больше отцом, чем те, кто женился на матери и жил в доме Элиса Бёрдена. И судья был человеком.

И вот я сказал Рафинаду, как проехать по городу на набережную, где живут или жили мои дружки. Все огни в городе были погашены, кроме лампочек на телефонных столбах, и стены домов на набережной белели среди магнолий и дубов, как кости.

Вы проезжаете ночью по городу, где жили когда-то, и надеетесь встретить себя самого в коротких штанишках, одного на перекрестке под фонарями, где жуки стучат по жестяным рефлекторам и, оглушенные, сыплются на мостовую. Вы надеетесь встретить на улице мальчика в этот поздний час и собираетесь сказать ему, чтобы он поскорее отправлялся спать, если не хочет, чтобы ему влетело. А может быть, вы дома, в кровати, спите и не видите снов, и все, что как будто бы случилось с вами, на самом деле не случилось. Но кто же тогда, черт побери, сидит на заднем сиденье в черном кадиллаке, который несется по городу? Да ведь это Джек Бёрден! Неужели вы не помните маленького Джека Бёрдена? Днем он удил рыбу в заливе со своей лодки, а потом отправлялся домой, ужинал, целовал свою красивую маму, говорил ей «спокойной ночи» и, прочтя молитвы, в полдесятого ложился спать. А, так он — мальчик старого Элиса Бёрдена? Да, его и этой женщины, которую он взял из Техаса — или из Арканзаса? Этой большеглазой худенькой женщины, что живет в доме Бёрдена с этим новым мужчиной, которого она себе нашла. А что же случилось с Элисом Бёрденом? Не знаю — сколько уж лет от него ни слуху ни духу. Чудак он был. Да кто же еще, черт подери, уйдет из дому и бросит такую красавицу, как эта женщина из Арканзаса?

А может, он не мог ей дать того, чего она хотела. Однако же дал он ей этого мальчика, этого Джека Бёрдена. Да.

Вы приезжаете ночью в город, и слышатся голоса.

Набережная осталась позади, я увидел дом, белевший, как кость, среди темных дубовых ветвей.

— Приехали, — сказал я.

— Останови, — сказал Хозяин. А потом, обращаясь ко мне: — Свет горит. Не лег еще, старый хрыч. Поди постучись и скажи, что я хочу его видеть.

— А если он не откроет?

— Откроет, — сказал Хозяин. — А не откроет — заставь его. За что я тебе деньги плачу?

Я вылез из машины, открыл калитку и двинулся по темной ракушечной аллее к дому. Потом я услышал за спиной шаги Хозяина. Он так и шел за мной по пятам до самых ступенек.

Потом он отошел в сторону, а я распахнул дверь веранды и постучал в прихожую. Я постучал еще раз и увидел через стекло, что дверь в прихожую открылась — она ведет из библиотеки, вспомнил я, — а затем в прихожей зажегся боковой свет. Судья шел к двери. Через стекло было видно, как он возится с замком.

— Кто там? — спросил он.

— Добрый вечер, судья, — отозвался я.

Он стоял на пороге, мигая и пытаясь разглядеть в темноте мое лицо.

— Это Джек Бёрден, — сказал я.

— Да ну! Джек, подумать только! — И он протянул руку. — Заходи. — Он, казалось, даже рад моему приходу.

Я пожал ему руку и шагнул в прихожую, где в тусклом свете канделябров поблескивали зеркала в облезлых золотых рамах и стекла больших неросиновых фонарей на мраморных консолях.

— Ну, чем я могу быть тебе полезен, Джек? — спросил он, взглянув на меня своими желтыми глазами. Они не очень изменились за эти годы.

— Да вот... — начал я и уже не знал, как закончить. — Я просто хотел узнать, не спите ли вы и не можете ли поговорить с...

— Конечно, Джек, заходи. Сынок, у тебя что-то случилось? Подожди, я закрою дверь и...

Он повернулся, чтобы закрыть дверь, и, не будь его машинка в полной исправности, несмотря на седьмой десяток, он свалился бы замертво. Потому что в дверях стоял Хозяин. Тихо, как мышь.

Однако судья не свалился замертво. Лицо его было невозмутимо. Но я чувствовал, как он весь подобрался. Вы хотите ночью закрыть дверь, и вдруг из темноты возникает фигура мужчины — тут поневоле задумаешься.

— Нет, — сказал Хозяин, непринужденно улыбаясь, снимая шляпу и делая шаг вперед, как будто его пригласили войти, чего на самом деле не было, — нет, с Джеком ничего не случилось. Насколько я знаю. И со мной — также.

Теперь судья смотрел на меня.

— Прошу прощения, — сказал он голосом, который при желании становился холодным и скрипучим, как тупая игла на пластинке граммофона. — Я упустил из виду, что теперь ты — в хороших руках.

— Да, Джеку грех жаловаться, — сказал Хозяин.

— А вы, сэр... — Судья повернулся к Хозяину, поглядел на него из-под припущенных век — он был на полголовы выше, — и я увидел, как вздулись и заходили желваки под ржаво-красными сухими складками на его длинной челюсти. — Вы желали мне что-то сказать?

— А я еще не решил, — небрежно уронил Хозяин. — Пока ничего.

— Ну, — сказал судья, — в таком случае...

— А может, и найдется о чем поговорить, — перебил Хозяин. — Разве знаешь заранее? Если мы дадим ногам отдых.

— В таком случае, — продолжал судья, и снова его голос скрежетал без-

жизненно, как тупая игла на пластинке или рашпиль по жести.— Я хотел бы сообщить вам, что собираюсь ко сну.

— Еще рано,— сказал Хозяин и неторопливо смерил взглядом судью. На судье была старомодная бархатная куртка, брюки от смокинга и крахмальная рубашка; однако галстук и воротничок он уже снял, и под старым красным кадыком блестела золотая запонка.— Да,— продолжал Хозяин, закончив осмотр,— и спать вы будете лучше, если повремените ложиться и как следует переварите ваш сытный обед.

И он двинулся по прихожей к двери, откуда шел свет,— в библиотеку.

Судья Ирвин смотрел ему в спину, а он как ни в чем не бывало шел к двери в своем жеваном, обтягивавшем плечи пиджаке с темными от пота подмышками. Желтые глаза судьи выкатились, а лицо стало багровым, как говьяжья пень в лавке у мясника. Потом он пошел за Хозяином.

Я проследовал за ними.

Когда я вошел в библиотеку, Хозяин уже сидел в большом вытертом кожаном кресле. Я стал у стены под книжными полками, которые уходили к потолку, теряясь в тени; книги — многие из них по юриспруденции — были старые, в кожаных переплетах, и пахло от них в комнате плесенью. старым сыром. Здесь ничего не изменилось. Я помнил этот запах по долгим вечерам, которые проводил здесь, читая или слушая, как читает судья; в камине трещали поленья, и часы в углу, большие старинные часы, роняли на нас маленькие катышки времени. Комната была все та же. На стенах висели большие офорты Пиранези в тяжелых резных рамах — Тибр, Колизей, развалины храма. На каминной доске и на столе лежали стеки, стояли серебряные кубки, выигранные собаками судьи на полевых испытаниях и им самим на стрельбищах. Стойка с ружьями у двери пряталась от света бронзовой настольной лампы, но я знал каждое ружье в ней, помнил на ощупь.

Судья не стал садиться. Он стоял посреди комнаты и смотрел сверху на Хозяина, раскинувшего ноги по красному ковру. Судья молчал. Что-то творилось у него в голове. Вы знали: если бы в стенке этого высокого черепа, там, где поредела и поблекла некогда густая темно-рыжая грива волос, было бы окошко, вы увидели бы сквозь него работу колесиков и пружин, храповиков и зубчаток, блестящих, как во всяком ухоженном и точном механизме. Но, может быть, кто-то нажал не на ту кнопку. Может, он так и будет работать вхолостую, пока что-нибудь не треснет или не выйдет весь завод,— может быть, все это ничем не кончится.

Однако Хозяин нашелся. Он кивнул на письменный стол, где стоял серебряный поднос с бутылкой, кувшином воды, серебряной чашей, двумя стаканами, бывшими в употреблении, и тремя или четырьмя чистыми, и сказал:

— Вы не возражаете, судья, если Джек нальет мне стаканчик? В порядке, так сказать, южного гостеприимства.

Судья Ирвин ему не ответил. Он повернулся ко мне и сказал:

— Я не подозревал, Джек, что, помимо всего прочего, ты выполняешь обязанности слуги; но, конечно, если я ошибаюсь...

Я чуть не заехал ему по физиономии. Я чуть не заехал по этой проклятой ржаво-красной гордой старой физиономии с орлиным носом и глазами, отнюдь не старыми, а твердыми и ясными,— я чуть не заехал по этим глазам, взгляд которых был оскорблением. И Хозяин засмеялся, и я чуть было не заехал ему по роже. Я мог бы встать и уйти и оставить их вдвоем в этой провонявшей сыром комнате — плюнуть на них и уйти куда глаза глядят. Но я не ушел — и, может быть, правильно сделал, потому что вы никогда не можете уйти от того, от чего вам хотелось бы уйти больше всего на свете.

— Чепуха,— сказал Хозяин, оборвав смех. Он встал с кресла, шагнул к столу, налил в стакан виски и, улыбаясь судье, подошел ко мне и протянул стакан.— На, Джек,— сказал он,— выпей.

Не могу сказать, что я взял стакан,— мне сунули его в руку, а я держал его, не поднося ко рту, и смотрел, как Хозяин улыбается судье Ирвину и говорит:

— Иногда Джек наливает мне виски, а иногда я ему наливаю виски... а иног-

да,— он опять шагнул к столу,— я сам себе наливаю виски.— Он плеснул из бутылки, добавил воды и бросил на судью косою насмешливый взгляд.— Угощают меня или нет. Много не получишь, судья, если станешь дожидаться, пока тебя угостят. А я человек нетерпеливый. Я очень нетерпеливый человек, судья. Вот почему я и не джентльмен, судья.

— Вот как?— ответил судья. Он стоял посреди комнаты и наблюдал за этим спектаклем.

А я смотрел на них из своего угла. Ну их к черту, думал я, к чертовой матери их обонх. Пусть они катятся к чертовой матери со своими разговорами.

— Да,— говорил Хозяин,— а вы джентльмен, судья, и вам не к лицу проявлять нетерпение. Даже когда хочется выпить. Разве по вас скажешь, что вам хочется выпить,— а ведь это вы платили за бутылку. Но вы все же выпейте. Выпейте, я вас прошу. Выпейте со мной, судья.

Судья Ирвин не произнес ни слова. Он выпрямившись стоял посреди комнаты.

— Да выпейте же,— со смехом сказал Хозяин и сел в кресло, вытянув ноги на красном ковре.

Судья не налил себе виски. И не сел.

Хозяин посмотрел на него из кресла и сказал:

— Судья, у вас случайно не найдется вечерней газеты?

Газета лежала на кресле у камина под воротничком и галстуком судьи, а на спинке висел белый пиджак.

— Да,— сказал судья,— у меня найдется вечерняя газета.

— Я не успел ее просмотреть, мотаясь весь день по штату. Не возражаете, если я взгляну?

— Ни в коей мере,— ответил судья, и снова это был напильник, царапающий по жести.— Но по одному вопросу я, видимо, сам смогу удовлетворить ваше любопытство. В газете опубликовано мое выступление в поддержку кандидатуры Нелахана, баллотирующегося в сенат. Если вас это интересует.

— Просто хотел услышать это из ваших уст, судья. Кто-то сказал мне, но вы ведь знаете: скажешь с ноготок — перескажут с локоток, а газетчики склонны к преувеличениям, язык у них впереди ума рыщет.

— В данном случае никаких преувеличений не было,— сказал судья.

— Просто хотел услышать это непосредственно от вас. Из ваших драгоценных уст.

— Вот вы и услышали.— сказал судья, стоя все так же прямо посреди комнаты.— А посему, если вас не затруднит,— лицо его опять стало багровым, как говьяжья печень, хотя говорил он холодно и размеренно,— и если вы допили...

— Ах да, спасибо, судья,— сказал Хозяин голосом слаще меда.— Я, пожалуй, еще налью.— И потянулся за бутылкой. Он выполнил свое намерение и сказал: — Благодарю.— Вернувшись в кресло с полным стаканом, он продолжал: — Да, судья, я услышал, но я хотел бы услышать от вас кое-что еще. Вы уверены, что возносили его имя в своих молитвах? А?

— Для себя я этот вопрос решил,— ответил судья.

— Так, но если память мне не изменяет,— Хозяин задумчиво повертел стакан,— в городе, во время той небольшой беседы, вы вроде бы не возражали против моего человека, Мастера.

— Я не брал никаких обязательств,— резко ответил судья.— Я ни перед кем не брал обязательств, кроме своей совести.

— Вы давно уже варитесь в политике,— заметил Хозяин как бы вскользь,— вместе с вашей совестью.— Он отхлебнул из стакана.

— Простите?— угрожающе переспросил судья.

— Забудем.— ответил Хозяин, осклабясь.— Таа чем же не угодил вам Мастерс?

— До моего сведения дошли некоторые подробности его карьеры.

— Кто-то полил его грязью, да?

— Если вам угодно, да, — ответил судья.

— Смешная это штука — грязь, — сказал Хозяин. — Ведь если подумать, весь наш земной шарик состоит из грязи, кроме тех мест, которые под водой, а они опять же состоят из грязи. Трава и та растет из грязи. А что такое бриллиант, как не кусок грязи, которому однажды стало жарко? А что сделал господь-бог? Взял пригоршню грязи, подул на нее и сделал вас и меня, Джорджа Вашингтона и весь человеческий род, благословенный мудростью и прочими добродетелями. Так или нет?

— Это не меняет дела, — сказал судья откуда-то с высоты, куда не достигал свет настольной лампы. — Мастерс не представляется мне человеком, заслуживающим доверия.

— Пусть попробует не заслужить, — сказал Хозяин, — я ему шею сверну.

— В этом вся и беда. Он постарается заслужить ваше доверие.

— Это факт, — сокрушенно признал Хозяин, поднял лицо к свету и покачал головой, всем своим видом выражая смирение перед роковой неизбежностью. — Мастерс постарается не обмануть моего доверия. Ничего не напишешь. Но Келахан — возьмем, к примеру, Келахана, — сдается мне, что он станет оправдывать ваше доверие, доверие треста Алта Пауэр и бог знает чье еще. Так в чем же разница? А?

— Ну...

— Ну—гну! — Он выпрямился в кресле с той взрывчатой быстротой, с какой хватал на лету муху или поворачивал к вам лицо с выпученными глазами. Он выпрямился, и каблук его вонзился в ковер. Виски пролилось на его тонкие брюки. — Я объясню вам, в чем разница! Я могу провести Мастерса в сенат, а вы не можете провести Келахана. И это — большая разница.

— И все же я попытаю счастья, — сказал судья оттуда, сверху.

— Счастья? — засмеялся Хозяин. — Судья, — сказал он, перестав смеяться, — оно все вышло, ваше счастье... Сорок лет вы пытали счастье в этом штате, и вам везло. Вы сидели тут в кресле, а негрятя бегали на цыпочках, таскали вам пушш, и вам везло. Вы тут сидели и улыбались, а ваши ребята потели на трибунах и щелкали подтяжками, и когда вам чего-нибудь хотелось, вы просто протягивали руку и брали. А когда у вас оставалось свободное время после охоты на уток и защиты трестов на процессах, вы могли развлечься, изображая генерального прокурора. Или поиграть в судью. Вы долго были судьей. А как вам понравится, если вы перестанете им быть?

— Никому, — сказал судья Ирвин, выпрямившись еще больше, — никому еще не удавалось меня запугать.

— Да я и не пугал, — сказал Хозяин, — до нынешнего дня. И сейчас не пугаю. Я хочу, чтоб вы сами одумались. Вы говорите, кто-то полил грязью Мастерса? Ну, а если я открою вам глаза на Келахана? Стоп, не прерывайте меня. Не лезьте в бутылку. — Он поднял руку. — Я пока не занимался раскопками, но могу — и ежели я выйду на задний двор, воткну лопату, захвачу ароматный кусок и поднесу его к носу вашей совести, вы знаете, что она вам скажет? Она вам скажет, чтобы вы отрелись от Келахана. Репортеры налетят сюда тучей, как назозные мухи к дохлому псу, и вы сможете рассказать им все про себя и про свою совесть. Вам даже не надо выступать за Мастерса. Вы со своей совестью можете прогуливаться под ручку и рассказывать друг другу, как вы друг друга любите.

— Я поддержал кандидатуру Келахана, — сказал судья Ирвин. Он не дрогнул.

— Я мог бы произвести для вас раскопки, — задумчиво сказал Хозяин. — Келахан давно в обращении, а где это видано, чтоб с сажей играть да рук не замарать? Сами знаете: тут только выйди бос, как ступишь в навоз. — Он смотрел на лицо судьи — щурился, вглядывался, наклонял голову набок.

Я вдруг осознал, что старинные часы в углу не стали моложе. Они роняли



ТИК, и ТИК падал мне на мозги, как камень в колодец, шли круги, замирали, и ТИК тонул в темноте. Потом в продолжение какого-то времени — ни долгого, ни короткого, а может, и вообще нет времени — не было ничего. Потом в колодец падал ТАК, и шли круги, замирали.

Хозяин перестал изучать лицо судьи, которое было непроницаемо. Он развалился в кресле, пожал плечами и поднес стакан ко рту. Потом сказал:

— Поступайте, как знаете, судья. Но можно ведь сыграть и по-другому. Скажем, кто-нибудь копнет прошлое другого человека и поднесет на лопате Келлахану, а у Келлахана ни с того ни с сего разыграет совесть и он отречется от своего покровителя. Когда дело доходит до совести, нипочем не угадаешь, какой номер она выкинет, а копать только начни...

Судья Ирвин шагнул к большому креслу, и лицо его уже не было багровым, как говяжья печень, оно прошло через эту стадию и побелело, начиная от основания большого носа.

— Благоволите встать с кресла и выйти вон!

Хозяин не поднял головы со спинки кресла. Он посмотрел на судью благодушно, доверчиво, потом склонился на меня.

— Джек, — сказал он, — ты был прав. Судью на испуг не возьмешь.

— Вон! — сказал судья на этот раз тихо.

— Не слушаются старые кости, — пробормотал Хозяин удрученно. — Но теперь, когда я исполнил свой христианский долг, позвольте мне удалиться. — Он осушил свой стакан, поставил его на пол возле кресла и поднялся. Он стоял перед судьей, глядя на него снизу вверх и наклонив голову набок, как крестьянин, покупающий лошадь.

Я поставил стакан на полку позади себя. Оказалось, что после первого глотка я даже не притронулся к виски. Черт с ним, подумал я и не стал допивать. Какой-нибудь негр допьет завтра утром.

Затем, точно раздумав покупать эту лошадь, Хозяин помотал головой и прошел мимо судьи, словно тот был не человеком и даже не лошадью, а деревом или углом дома, сбогнул его и направился к прихожей, ступая легко и неторопливо по красному ковру. Без спешки.

Секунду или две судья стоял неподвижно, потом резко повернулся и проводил взглядом Хозяина, глаза его блеснули в тени абажура.

Хозяин взялся за ручку, открыл дверь и, не отпуская ручки, оглянулся.

— Что ж, судья, — сказал он, — не в гневе, но в скорби ухожу я. А если ваша совесть решит начхать на Келлахана, дайте мне знать. Понятно, — улыбнулся он, — если это случится не слишком поздно.

Потом он перевел взгляд на меня, сказал: «Айда, Джек» — и скрылся в прихожей.

Прежде чем я успел включить первую скорость, судья обратил ко мне лицо, устремил на меня взгляд, и верхняя губа его вздернулась в улыбку, преисполненной, я бы сказал, монументальной иронии.

— Ваш наниматель зовет вас, мистер Бёрден.

— Я еще не нуждаюсь в слуховой трубке, — ответил я и, двинувшись к двери, подумал: ну, ты даешь, Джек, нечего сказать, отбрил — как сопляк отвечаешь.

Когда я подошел к двери, он сказал:

— На этой неделе я обедаю с твоей матерью. Передать ей, что тебе по-прежнему нравится твоя работа?

Отвяжись от меня, подумал я, но он не желал, и верхняя губа снова вздернулась.

Тогда я сказал:

— Как вам будет угодно, судья. Но на вашем месте я бы не стал трезвоить об этом посещении. Не дай бог, вы передумаете, и кому-нибудь взбрдет в голову, что вы унизились до грязной политической сделки с Хозяином. Под покровом ночной темноты.

И я прошел через дверь, через прихожую, через дверь прихожей, оставив ее открытой, и хлопнул дверью веранды.

Черт бы его побрал, чего он ко мне привязался?  
Но он не струсил.

Залив остался позади и с ним — соленый, томительный и свежий рыбный запах отмелей. Мы возвращались на север. Стало еще темней. Туман сгустился на полях и в низинах, перетекал через шоссе, застилая фары. Изредка навстречу нам из темноты вспыхивала пара глаз. Я знал, что это глаза коровы, несчастной, доброй, сточической твари, которая встала со своею жвачкою на обочине, потому что законов для скота еще не придумали. Но глаза ее горели в темноте, словно череп был полон расплавленного, яркого, как кровь, металла, и, если свет фар падал правильно, вы могли заглянуть в этот череп, в это кровавое жаркое сияние, даже не успев увидеть очертаний тела, построенного так, чтобы удобнее было швырять в него комьями. Я знал, чьи это глаза, и знал, что внутри этой корявой, невзрачной головы нет ничего, кроме горсти холодной, загустевшей серой каши, в которой что-то тяжело ворочается, когда мы проезжаем мимо. Мы и были теми, что ворочалось в мозгу коровы. Так бы сказала королева, будь она твердокаменным идеалистом вроде маленького Джеки Бёрдена.

Хозяин сказал:

— Ну, Джеки, тебе подвалила работенка.

А я сказал:

— Келахан?

А он сказал:

— Нет, Ирвин.

А я сказал:

— Едвэ ли ты что-нибудь найдешь на Ирвина.

А он сказал:

— Ты найдешь.

Мы продолжали буравить тьму еще восемнадцать минут — еще двадцать миль. Плазменные пальцы тумана протягивались к нам из болот, выползали из черноты кипарисов, чтобы схватить нас, но безуспешно. Из болота выскочил опосум, хотел перебежать дорогу и перебежал бы, но Рафинад оказался проворнее. Рафинад слегка шевельнул руль, повернул на волос. Не было ни удара, ни толчка — просто тукнуло под левым крылом, и Рафинад сказал:

— З-з-зар-раза.

Он мог продеть этот кадиллак в иголку.

Спустя восемнадцать минут и двадцать миль я сказал:

— А если я ничего не успею найти до выборов?

Хозяин ответил:

— Плевать на выборы. Я и так проведу Мастерса без сучка, без задоринки. Но если тебе понадобится десять лет — все равно найди.

Спидометр отстучал еще пять миль, и я сказал:

— А если за ним ничего нет?

А Хозяин сказал:

— Всегда что-то есть.

Я сказал:

— У судьи может и не быть.

А он сказал:

— Человек зачат в грехе и рожден в мерзости, путь его — от пеленки зловонной до смердящего савана. Всегда что-то есть.

Еще через две мили он добавил:

— Сработай на совесть.

С тех пор минуло много лет. Мастерс давно мертв, лежит в могиле, но Хозяин был прав, и он прошел в сенат. А Келахан жив, но жалеет об этом, потому что судьба давно не улыбалась ему и не смерть была последней ее улыбкой.

И мертв Адам Стентон, который удил рыбу и лежал на песке под горячим солнцем рядом со мной и Анной. И мертв судья Ирвин, который хмурым зимним утром наклонялся ко мне среди высокой седой осоки и говорил: «Ты веди за ней ствол, Джек. Надо вести ствол за уткой». И мертв Хозяин, который сказал: «Сработай на совесть».

Маленький Джеки сработал на совесть, это точно.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

В последний раз мне довелось увидеть Мейзон-Сити, когда я приехал туда по новой бетонке в большом черном кадиллаке вместе с Хозяином и его компанией, это было давно, потому что сейчас уже 1939-й, и три года, прошедшие с тех пор, кажутся мне вечностью. Впервые же я увидел его гораздо раньше — в 1922 году, и ехал я на своем «форде-Т», то стискивая зубы при въезде на изрытую щебенку, чтобы от тряски на них не скололась эмаль, то хватаясь за стойку руля, когда машину тащило юзом по серой пыли, которая тянулась хвостом на целую милю и оседала на листья хлопчатника, окрашивая их в серый цвет. Надо отдать должное Хозяину: когда он стал губернатором, вы могли прокатиться с ветерком и не растерять своих коронок. Во времена моего первого посещения это было невозможно.

Меня вызвал главный редактор «Кроникл» и сказал:

— Садись в свою машину, Джек, и поезжай в Мейзон-Сити, выясни, шут его дерн, кто такой этот Старк, который возомнил себя Иисусом Христом и выгоняет меня из их обшарпанного муниципалитета.

— Он жечился на учительнице,— сказал я.

— Наверно, это повлияло ему на мозги,— сказал Джим Медисон, главный редактор «Кроникл».— Он думает, до него никто не спал с учительницами?

— Облигации выпущены для сбора средств на постройку школы, и, по-моему, Люси считает, что часть этих средств можно использовать по назначению.

— Какая еще, к черту, Люси?

— Люси — это учительница,— сказал я.

— Недолго ей быть учительницей,— сказал он.— Недолго ей получать жалованье в округе Мейзон, если она не уймется. Совсем недолго, или я не знаю округ Мейзон.

— Кроме того, Люси не одобряет спиртного.

— Кто из вас спит с Люси — ты или этот малый? Слишком много ты знаешь о Люси.

— Я знаю то, что рассказал мне Вилли.

— Какой еще, к черту, Вилли?

— Вилли — это малый в рождественском галстуке,— объяснил я.— Он же дядя Вилли из деревни. Он же Вилли Старк, учительский любимчик,— я познакомился с ним месяца два назад в задней комнате у Слейда, и он мне сказал, что Люси не одобряет спиртного. А что она не одобряет воровства — это мое предположение.

— Она не одобряет Вилли Старка в роли окружного казначея,— заметил Джим Медисон,— если подбивает его на такое дело. Она что, не знает, какие у них там порядки, в округе Мейзон?

— У них там такие же порядки, как у нас тут,— ответил я.

— Да.— Джим Медисон вынул из угла рта слюнявый, изжеванный огрызок того, что некогда было двадцатицентовой сигарой, осмотрел его и, вытянув в сторону руку, уронил в большую латунную плевательницу, утопавшую в зеленом и буйном, как клевер, ковре, который цвел подобно оазису среди четырехэтажного запустения редакции «Кроникл».— Да,— сказал Джим Медисон, проследив за падением окурка,— но отправляйся-ка ты отсюда и поезжай туда.

И я поехал в Мейзон-Сити, стискивая зубы, чтобы сохранить эмаль при въезде на щебенку, и цепляясь за стойку руля, когда машину бросало юзом по пыли, и было это очень давно.

Я прибыл в Мейзон-Сити в середине дня, посетил кафе Мейзон-Сити, Домашние Обеды для Леди и Джентльменов, с видом на площадь, заказал жареной ветчины с картофельным пюре и зеленью и, держа стакан с разливным виски в одной руке, другой боролся с семью или восемью мухами за обладание пирогом с драченой.

Я вышел на улицу, где в тени под навесами из гофрированного железа спали собаки, и, пройдя квартал, очутился перед шорной мастерской. Одно место там было свободно, поэтому я сказал «здрате» и присоединился к собравшимся. От младшего из них меня отделяло сорок лет, но я решил, что мои руки тоже успеют распухнуть, покрыться коричневыми пятнами и лечь на набалдашник старой ореховой палки, прежде чем кто-нибудь из них произнесет первое слово. В таком городе, как Мейзон-Сити, вернее в таком, каким он был двадцать лет назад, до постройки нового бетонного шоссе, скамья перед шорной мастерской — это место, где у времени заплетаются ноги, где оно ложится на землю, как старая гончая, и затихает. Это место, где вы сидите, дожидаясь ночи и атеросклероза. Это место, на которое гробовщик глядит уверенно, зная, что не останется без куска хлеба при таком заделе. Но если вы сидите на этой лавке днем в конце августа рядом со стариками, то кажется, что вы никогда ничего не дождетесь, даже собственных похорон, и солнце палил, и не движутся тени на яркой пыли, которая, если взглядеться получше, полна крупинки, блестящих, как кварц. Старики сидят, положив свои веснушчатые руки на набалдашники ореховых палок, и выделяют некую метафизическую эманацию, под влиянием которой изменяются все ваши категории. Время и движение перестают существовать. Как в эфирном дурмане, все кажется приятным, грустным и далеким. Вы восседаете среди старших богов, в тишине, нарушаемой лишь легким *râle*<sup>1</sup> того, у которого астма, и ждете, чтобы они сошли с олимпийских, прогретых солнышком высот и высказались, неревнивые насмешливые провидцы, о делах людей. бьющихся в тенетах суеты житейской. Смотрю я, Сим Сондерс новый сарай построил. И в ответ: Да, не иначе денег девать некуда. И третий: Да-а.

Так я сидел и ждал. И один из них сказал, а другой передвинул во рту жвачку и ответил, и последний сказал «да». Я подождал немного, потому что знал свое место, а затем сказал:

— Я слышал, новую школу будут строить.

И подождал еще немного, пока затихнут мои слова и всякое воспоминание о них улетучится из воздуха. Тогда один из них сплюнул янтарем на сухую землю, потрогал пятно концом палки и сказал:

— Да, и, слышать, с паровым отоплением.

И Номер Второй:

— Легкими ребятишки хворают от этого отопления.

И Номер Третий:

— Да-а.

И Номер Четвертый:

— Пускай построят сперва.

Я посмотрел через площадь на часы, нарисованные на башне суда, — часы, по которым старики считали свое время, — и подождал. Потом спросил:

— А кто им мешают?

И Номер Первый ответил:

— Старк. Все Старк этот.

И Номер Второй:

— Да, все этот баламутит, Вилли Старк.

<sup>1</sup> Хрипом (франц.).

И Номер Третий:

— Высоко взлетел, да как бы из порток не выпал. Начальством, видишь, сделался, да как бы из порток не выпал.

И Номер Четвертый:

— Да-а.

Я подождал, а потом спросил:

— Говорили мне, что он подрядчика нашел подешевле.

И Номер Третий:

— Да, нашел подешевле подрядчика, у которого негры работают.

И Номер Второй:

— А наши пущай без работы погуляют. Это значит стройка.

И Номер Третий:

— А ты с ними захочешь работать, с неграми? Тем паче с чужими неграми. Хоть школу, хоть сортир работать — это тебе понравится?

И Номер Четвертый:

— Белье тоже работать хотят.

И Номер Первый:

— Да-а.

Да, сказал я себе, значит, вот какая история — потому что округ Мейзон — крестьянский округ и там не любят негров, по крайней мере чужих негров, а своих там не так уж много.

— И много они выгадают, — спросил я, — на дешевом подряде?

И Номер Первый:

— Столько выгадают, что на дорогу не хватит привезти этих негров.

И Номер Второй:

— А наши пускай без работы погуляют.

Я подождал приличия ради, потом поднялся и сказал:

— Пора мне двигаться. Всего хорошего, джентльмены.

Один из стариков поднял на меня глаза, словно я только что подошел, и сказал:

— Ты сам-то по какой части будешь, сынок?

— Да я ни по какой, — ответил я.

— Стало быть, хвораешь? — спросил он.

— Да нет, не хвораю. Просто честолюбия маловато, — ответил я и, уже шагая по улице, подумал, что это святая правда.

Я подумал также, что достаточно убил времени и вполне могу отправиться в окружной суд и получить там тот материал, которого от меня ждут. Ни один порядочный газетчик не стал бы добывать материал, рассиживаясь перед шорной лавкой. Ничего подходящего для газеты там не узнаешь. И я отправился в окружной суд.

Вестибюль окружного суда был пуст и темен, черный линолеум на полу вытерт, покрыт бугорками и ложбинками, а в воздухе, сухом и пыльном, застоялась такая тишина, что, казалось, вместе с ней вы вдыхаете последние усохшие шепотки, остатки речей и разговоров, которые звучали здесь семьдесят пять лет, — но вот в другом конце вестибюля я увидел комнату, где сидели люди. Над дверью была жестяная табличка с полустершимися буквами. Их еще можно было прочесть: Ш е р и ф.

Я вошел в комнату, где на плетеных стульях, запрокинувшись, сидели трое мужчин, а на бюро бессильно гудел вентилятор. Я сказал лицам «здрате», и самое большое из них, которое было красным и круглым и сидело, положив ноги на доску бюро, а руки на живот, сказала «здрате».

Я вытащил из кармана визитную карточку и отдал ему. С минуту он смотрел на нее, держа в вытянутой руке, словно опасаясь, что она плюнет ему в глаза, потом повернул обратной стороной и долго смотрел на обратную сторону, пока не утвердился в мысли, что она пуста. Тогда он положил руку с карточкой на живот и стал смотреть на меня.

- Большой конец вы отмахали,— сказал он.
- Это точно,— сказал я.
- Зачем пожаловали?
- Узнать, что тут происходит со школой.
- Отмахали такой конец,— сказал он,— чтобы совать нос не в свое дело.
- Это точно,— радостно согласился я,— но мой начальник смотрит на это по-другому.
- А ему какое дело?
- Никакого,— сказал я.— Но раз уж я отмахал такой конец, что там за волынка со школой?
- Это не мое дело. Я шериф.
- Хорошо. шериф,— сказал я,— а чье это дело?
- Тех, кто им занимается. Когда не лезут всякие посторонние и не путаются под ногами.
- А кто это — те?
- Совет,— ответил шериф,— окружной совет, который выбрали избиратели, чтобы он занимался своим делом и гнал в шею всяких посторонних.
- Ну да, конечно, совет. А кто в совете?
- Маленькие глазки шерифа мигнули раза два, и он сказал:
- Вас надо посадить за бродяжничество.
- Идет,— сказал я.— А «Кроникл» пришлет другого человека, чтобы написать про мой арест, и когда его тоже прихватят, «Кроникл» пошлет еще одного и так далее — пока вы не пересаждаете нас всех. Но это может попасть в газеты.
- Шериф лежал, и глазки на его большом круглом лице мигали. Может быть, я ничего и не сказал. Может, меня здесь и не было.
- Кто в совете? Или они скрываются?
- Один из них сидит вот тут,— сказал шериф и катнул свою большую круглую башку по плечам, чтобы указать на одного из соседей. Голова откатилась на место, пальцы выпустили мою карточку, которая упала на пол, кружась в слабом ветерке от вентилятора, глазки снова мигнули, и он как будто погрузился на дно илистого водоема. Он сделал все что мог и отпасовал мяч партнеру.
- Вы — член совета?— спросил я соседа, на которого было указано.
- Это был просто сосед, созданный богом по своему образу и подобию; в белой рубашке, черном галстуке-самовязе и джинсах с плетеными подтяжками. Город — выше пояса, деревня — ниже пояса. Все голоса — наши.
- Ага,— сказал он.
- Он у нас главный,— почтительно заметил другой сосед, старый выскочка с лысым бугристым черепом и лицом, которого он сам не мог вспомнить от одного бритья до другого,— из тех сморчков, которые крутятся под ногами и садятся на стул, если большие люди оставят его свободным, и пытаются вылезти на таких вот замечаниях.
- Вы председатель?— спросил я первого соседа.
- Да,— ответил он.
- Не могли бы вы мне сообщить свое имя?
- А чего скрывать? Дольф Пилсбери.
- Рад познакомиться, мистер Пилсбери,— сказал я и протянул ему руку. Не поднимаясь, он взял ее так, словно ему подали рабочий конец мокасиновой змеи в период линьки.
- Мистер Пилсбери,— сказал я,— в силу своего положения вы, безусловно, осведомлены о ситуации, связанной с заключением контракта на постройку школы. Вы, несомненно, заинтересованы в том, чтобы правда об этой ситуации стала достоянием общественности.
- Тут нет никакой ситуации,— ответил м-р Пилсбери.
- Ситуации, может, и нет,— сказал я,— зато жульничество — налицо.
- Нет тут никакой ситуации. Совет собирается и принимает смету, которая ему представлена. Смету Д. Х. Мура.

- Смета этого Д. Х. Мура — низкая смета?
- Не совсем.
- Иначе говоря — не низкая?
- Ну, — сказал м-р Пилсбери, и по лицу его пробежала тень, которую можно было приписать рези в кишечнике. — Если хотите, можно и так сказать.
- Прекрасно, так и запишем.
- Извиняюсь. — Тень исчезла с лица м-ра Пилсбери, и он выпрямился на стуле так порывисто, как будто его укололи булавкой. — Вы вот ведете такие разговоры, а у нас все делается по закону. Никто не может указывать совету, какую смету ему принять. Всякий может принести свою грошовую смету, но принимать ее совет не обязан. Нет, сэр. Совет договаривается с тем, кто может хорошо выполнить работы.
- А кто это приносил грошовую смету?
- Есть такой Джеферс, — проворчал м-р Пилсбери, словно это имя пробуждало у него неприятные воспоминания.
- Компания «Джеферс Констракшн»? — спросил я.
- Да.
- Чем же не подошла вам «Джеферс Констракшн»?
- Совет выбирает того подрядчика, который может хорошо выполнить работы, и всех остальных это не касается.

Я вынул карандаш и набросал кое-что в блокноте. Потом сказал м-ру Пилсбери:

— Вот, послушайте, — и начал читать: — «Мистер Дольф Пилсбери, председатель совета округа Мейзон, заявил, что подряд на строительство школы округа Мейзон отдан Д. Х. Муру, несмотря на то, что его проект не является экономичным, ибо совету нужен такой подрядчик, «который может хорошо выполнить работы». Как заявил мистер Пилсбери, экономичный проект, представленный компанией «Джеферс Констракшн», был отвергнут. Мистер Пилсбери заявил также...»

— Извиняюсь... — М-р Пилсбери сидел очень прямо, но не как на булавке, а как на раскаленном пятаке. — Извиняюсь! Ничего я не заявлял. Вы тут написали и говорите, что я заявлял. Извиняюсь, но...

Шериф грузно повернулся в кресле и уставился на м-ра Пилсбери.

- Дольф, скажи этому лопуху, чтобы катился отсюда.
- Ничего я не заявлял, — сказал Дольф, — и катитесь отсюда.
- Сейчас, — сказал я и спрятал блокнот в карман. — Но не будете ли вы так добры сказать мне, где сидит Старк?

— Так я и знал, — взорвался шериф и, опустив ноги на пол с грохотом рухнувшей печной трубы, впился в меня апоплексическим взглядом. — Это Старк, так я и знал, что Старк!

— Чем вам насолил Старк? — спросил я.

— Господи боже мой! — взревел шериф, и лицо его побагровело от невозможности извергнуть слова, скопившиеся в организме.

— Он — фанатик, вот кто он такой, — высказался м-р Дольф Пилсбери. — Пролез в казначеи и сделался фанатиком и...

— Он — негритянский прихвостень, — почтительно вставил старый, лысый, шишкоголовый сморчок.

— И он, и он, — в озарении указал на меня м-р Пилсбери, — он тоже негритянский прихвостень. Бьюсь об заклад...

— Зря, — сказал я, — пальцем в небо. Но раз уж вы подняли этот вопрос, при чем тут симпатии к неграм?

— То-то и оно! — воскликнул м-р Пилсбери, как человек за бортом, поймавший спасительную доску. — «Джеферс Констракшн» как раз и...

— Ты, Дольф! — рывкнул на него шериф. — Заткнись наконец и скажи ему, чтобы катился отсюда.

— Катитесь отсюда,— сказал м-р Пилсбери послушно, но без особой энергии.

— Сейчас,— ответил я и вышел в вестибюль.

Они нереальны, думал я, шагая по вестибюлю, все до одного. Но я понимал, что они реальны. Вы приезжаете в незнакомое место, такое, как Мейзон-Сити, и они кажутся нереальными, но вы понимаете, что это не так. Вы понимаете, что они были пацанами и лазили босиком в ручей, а когда подросли — выходили на закате во двор и смотрели, прислонившись к изгороди, на поле и на небо, не зная, что творится у них в душе, грустны они или счастливы, а потом они выросли и спали со своими женами, щекотали детишек, чтобы рассмешить их, уходили утром на работу и не знали, чего хотят, но знали, почему поступают так, а не иначе, и хотели поступать по-хорошему, потому что доводы в пользу этих поступков всегда были хорошие, а потом, состарившись и забыв обо всяких доводах, перестав совершать поступки, они сидели на лавочке перед шорной мастерской и облекали в слова доводы и поступки других людей, уже забыв о смысле этих доводов и поступков. И в одно прекрасное утро они будут лежать на кровати и смотреть в потолок, почти не видя его, потому что лампа прикрыта газетой, и не узнают лиц, склонившихся над кроватью, потому что комната полна дыма или тумана, от которого режет глаза и перехватывает горло. Да, они реальны, ничего не скажешь, и, может быть, потому кажутся вам нереальными, что сами вы не очень реальны.

К этому времени я очутился перед дверью в конце коридора и, поглядев на очередную жестяную табличку, понял, что это и есть одноместный лепрозорий Мейзон-Сити.

Прокаженный сидел в комнате один как перст и ничего не делал. Некому было посидеть с ним под вентилятором, поболтать, поплевать на пол.

— Привет,— сказал я, и он посмотрел на меня, как на привидение, разговаривающее на иностранном языке.

Ответил он не сразу, и мне подумалось, что он одичал вроде тех людей, которые проводят двадцать лет на необитаемом острове: когда к берегу подваливает баркас и веселая матросня выпрыгивает на песок и спрашивает, черт подери, откуда он взялся, он не может произнести ни слова — до того закоснел его язык.

Правда, Вилли был не так плох и в конце концов ухитрился ответить на приветствие, сказать, что помнит знакомство у Слейда несколько месяцев назад, и спросить, чего мне нужно. Я объяснил ему, он улыбнулся скорее тоскливо, чем радостно, и спросил, зачем мне это нужно знать.

— Редактор велел разобраться,— ответил я, — а зачем ему это нужно, один бог знает. Затем, наверно, что это хороший материал для газеты.

Ответ как будто удовлетворил его. Поэтому я не стал рассказывать, что, помимо моего главного редактора, существовал еще целый мир высоких причин: для такой мелкой сошки, как я, это был мир трепещущих прозрачных крыльев, тихих ангельских голосов, не всегда мне понятных, — мир астральных влияний.

— Да, пожалуй, хороший,— согласился Вилли.

— Что тут у вас происходит?

— Могу рассказать,— ответил он. Он начал рассказывать и кончил рассказывать часов в одиннадцать вечера, когда Люси Старк, уложив сына спать, уже сидела с нами в гостиной папиного дома, где мне было предложено заночевать, где он и Люси проводили лето и собирались провести зиму, потому что Люси выгнали из школы перед началом учебного года и не было причин оставаться в городе, платить большие деньги за комнату. И, судя по всему, была еще одна причина, почему у них не было причин оставаться в городе: приближались выборы, а шансы Вилли равнялись примерно шансам блохи, которая рассчитывает прокормиться мраморным львом у подъезда. Как выяснилось, он и место получил только потому, что Дольф Пилсбери, председатель окружного совета, приходился седьмой водой на киселе старому мистеру Старку — то ли со сторо-



ны жены, то ли с другой какой — и вдобавок не поладил с другим парнем, который хотел стать казначеем. Пилсбери хозяйничал в округе на пару с шерифом, а Вилли сидел у него в печенках. И теперь его должны были выгнать, как уже выгнали Люси.

— А мне все равно, — сказала Люси Старк. Она сидела с нами, шила у лампы за столом, на котором лежала большая библия и альбом в плюшевом переплете. — Все равно, пусть не пускают меня в школу. Я проработала шесть лет, если считать тот семестр, когда у меня на руках был маленький Томми, и никто никогда слова против меня не сказал, и вдруг — письмо, где они говорят, что на меня много жалоб и я не сработалась с коллективом.

Она подняла свое шитье и откусила нитку, как делают женщины, если хотят, чтобы у вас по спине поползли мурашки. Когда она наклонилась, свет лампы упал на ее голову, загорелся рыжим в каштановых волосах, которых не смогли окончательно спалить щипцы парикмахера во вновь открытом Салоне красоты Мейзон-Сити. Рыжий блеск еще жил в них, но смотреть на них было обидно. Ей было в ту пору лет двадцать пять, но обликом она напоминала девушку — и тонкой стройной талией (хотя бедра у нее были отнюдь не постные), и узкими лодыжками, скрещенными перед креслом, и спокойным мягким девичьим овалом лица, и большими темно-кариими глазами, которые наводили на мысли о задушевном разговоре в сумерках перед калиткой старой усадьбы, где у забора цветет сирень. Но на волосы ее, коротко обрезанные и мелко завитые по тогдашней моде, смотреть было обидно, потому что такое лицо требовало иного обрамления — густых и длинных сумрачно-блестящих локонов, перепутанных на белоснежной подушке. Они, наверно, и были густые — до этого надругательства.

— А мне все равно, — сказала она, подняв голову. — Я не хочу преподавать в школе, которую строят для того, чтобы кто-то мог на этом нажиться. А Вилли не хочет быть казначеем, если надо иметь дело с такими бесчестными людьми.

— Я буду баллотироваться, — угрюмо сказал Вилли. — Они меня не оставят.

— Ты сможешь гораздо основательнее заняться правом, — возразила она, — если не будешь сидеть все время в городе.

— Я буду баллотироваться, — повторил он и тряхнул головой, чтобы откинуть со лба волосы. — Я буду баллотироваться, — повторил он еще раз, словно говоря не с Люси и не со мной, а со всем белым светом, — пусть ни одного голоса не соберу.

И точно, когда подошел срок, Вилли выставил свою кандидатуру: собрал он больше одного голоса, но не намного больше, и Пилсбери со своими дружками выиграл этот забег. Человек, которого выбрали вместо Вилли, повесил шляпу в своей конторе не раньше, чем подписал аванс Д. Х. Муру. И Д. Х. Мур построил школу. Но об этом речь впереди.

Вилли же рассказал мне такую историю: компания «Джеферс Констракшн» представила экономичную смету на сто сорок две тысячи долларов. Однако существовало еще два проекта стоимостью выше этой, но ниже цифры Мура, которая составляла сто шестьдесят пять тысяч с гаком. И вот когда Вилли поднял скандал из-за Мура, Пилсбери зашумел насчет негров. Джеферс был крупный подрядчик с Юга, и в некоторых его бригадах работало много негров — каменщиков, штукатуров, плотников. Пилсбери поднял вой, что Джеферс навезет сюда негров (а Мейзон, как я уже говорил, — крестьянский округ) и, что еще хуже, негры как квалифицированные рабочие будут получать больше, чем местные, которых наймут на стройку. Пилсбери трудился в поте лица.

Труды его не пропали даром: все в округе позабыли и о том, что, помимо проектов Мура и Джеферса, существует два других, и о том, что у Пилсбери есть шурин, у которого есть кирпичный завод, в котором у Пилсбери есть доля, и о том, что совсем недавно большая партия кирпича была занесена в брак строительным инспектором штата, и было судебное разбирательство, и было ясно как божий день, что кирпичи этого самого завода лягут в стены школы. На заводе

Мура и шурина Пилсбери работали заключенные, они обходились дешево, потому что у шурина были в штате хорошие связи. Связи эти, как я узнал позднее, были настолько хорошие, что строительный инспектор, забравший кирпич, вылетел с работы. Но была ли тут виной его честность или просто недостаточная осведомленность — я так и не выяснил.

В борьбе с Пилсбери и шерифом Вилли не добился успеха. Существовала фракция противников Пилсбери, но она была малочисленна и Вилли не прибавил ей популярности. Он выходил из дому, ловил за пуговицу прохожих и пытался объяснить им что к чему. Вы могли его встретить где-нибудь на углу в проплетшем насквозь бумажном полосатом костюме, с чубом, упавшим на глаза, с карандашом в руке и старым конвертом, на котором он писал цифры, объясняя, из-за чего разгорелся сыр-бор; но люди не будут вас слушать, если ваш голос терпелив и тих, если вы держите их на солнцепеке и заставляете заниматься арифметикой. Вилли хотел, чтобы об этом деле высказался «Вестник округа Мейзон», но газета отказалась. Тогда он составил длинное заявление о возне со сметами и в виде листовок хотел отпечатать за свой счет в типографии газеты, но типография отказалась. Тогда он поехал в столицу штата и отпечатал их там. Он вернулся с листовками, нанял двух мальчишек, и они стали разносить листовки по домам. Но одному мальчику запретили родители, а другого, которому никто не запрещал, избил кто-то большие ребята.

И Вилли разносил их сам по всему городу; он ходил от дома к дому со старым школьным ранцем, стучал в дверь и, когда появлялась хозяйка, вежливо приподнимал шляпу. Но чаще всего хозяйка не появлялась. За окнами слышался шорох занавесок, но никто не появлялся. Вилли совал листок под дверь и шел к следующему дому. Обработав Мейзон-Сити, он стал разносить листовки по Тайри, другому городку округа, а потом занялся придорожными поселками.

Избирателей он не поколебал. Казначеем выбрали другого. Д. Х. Мур построил школу, и ремонт ей потребовался раньше, чем успела просохнуть краска. Вилли остался без работы. Пилсбери и его друзья, конечно, получили мзду от Мура и думать забыли об этой истории. Вернее, забыли на три года, после чего и начались их беды.

Тем временем Вилли жил на отцовской ферме, возился по хозяйству или, чтобы подзаработать денег, торговал вразнос патентованными наборами «Почини сам» — снова ходил от двери к двери, ездил из поселка в поселок на своей старой машине, заворачивал по дороге на фермы, стучался, приподнимал шляпу, показывал женщине, как починить кастрюлю. А по ночам сидел за книгами, готовясь к экзаменам на адвоката.

Но до всех этих событий Вилли, Люси и я сидели ночью в гостиной, и Вилли сказал:

— Они хотели перешагнуть через меня. Думали, я на все пойду, если мне прикажут. Они хотели переступить через меня, как через лужу.

И, опустив шитье на колени, Люси ответила:

— Но ты же сам не хочешь иметь с ними дела, правда, милый? Зная наверняка, что они бесчестные люди и жулики.

— Они хотели через меня перешагнуть, — угрюмо повторил он, тяжело завопившись в кресле. — Как через лужу.

— Вилли, — сказала она, слегка подавшись к нему, — они все равно были бы жуликами, даже если бы не хотели через тебя переступить.

Он ее не слушал.

— Они все равно были бы жуликами, правда? — повторила она мягко, но настойчиво, как разговаривала, наверно, в классе. Она смотрела на лицо Вилли, но это лицо было обращено не к ней и не ко мне, а к пространству, словно он не ее слушал, а какой-то другой голос или сигнал, звучащий в темноте за шторой открытого окна. — Правда? — спросила она, возвращая его назад, в комнату, в круг мягкого света на столе, где лежала большая библия и плюшевый альбом. Подставкой лампы была фарфоровая ваза, разрисованная букетиками фиалок. —

Правда?—спросила она, и я поймал себя на том, что прислушиваюсь к сухому, маниакально-убедительному треску полевых сверчков в траве.

— Конечно, конечно, жулики,— ответил он наконец и раздраженно заерзал в кресле, как человек, которому помешали думать.

Затем он снова погрузился в свои мысли.

Люси поглядела на меня, вскинув голову по-птичьи, резко и уверенно, словно она мне что-то доказала. Ответ круга на столе падал на ее лицо, и при желании я мог бы подумать, что этот свет исходит от нее самой — ровное, нежное фосфоресцирование ее духовной сущности.

Естественно, Люси была женщина и поэтом, наверно, была прекрасна, как все женщины. Она посмотрела на меня, и на лице ее было написано: «Вот видите, я же вам говорила». Вилли сидел сам по себе. Глаза его смотрели в даль, которая была не далью, а, если угодно, просто им самим.

Люси шила и разговаривала со мной, не поднимая глаз от шитья; Вилли встал и начал расхаживать по комнате, чуб свесился ему на глаза. Мы с Люси разговаривали, а он ходил. Это хождение взад-вперед начинало раздражать.

Наконец Люси оторвалась от шитья и сказала:

— Милый...

Вилли обернулся к ней; чуб на лбу придавал ему сходство с норовистой лошастью, когда ее загонят в угол, а она, пригнув голову с растрепанной челкой, следит дикими и хитрыми глазами, как вы подступаете к ней с недоуздом, и готовится задать стрекача.

— Сядь, милый,— сказала Люси,— ты действуешь мне на нервы. Ты совсем как Томми, минуты не посидишь на месте.

Она засмеялась, а Вилли с виноватой улыбкой подошел к столу и сел.

Она была чудесная женщина, и ему повезло, что он ее встретил.

Но, с другой стороны, ему повезло, что он встретил шерифа и Дольфа Пилсбери, ибо они, сами того не зная, оказали ему услугу. В то время он не знал, как ему с ними повезло. А может быть, какая-то главная часть его существа знала это с самого начала, только не успела сообщить другим, второстепенным частям. А может быть, такие люди, как Вилли, рождаются вне удачи,—я удача, которая делает вас и меня тем, что мы есть, не имеет к ним никакого отношения, ибо они остаются сами собой с тех пор, как впервые завосятся в материнском чреве, и до самой смерти. А если так, то их жизнь — это история открытия самого себя, а не как у нас с вами — процесс превращения в то, что делает из нас случай. И если так, то встреча с Люси не была его удачей. Или неудачей. Люси была лишь частью того окружения, в котором раскрывался истинный характер Вилли.

Но, грубо говоря, с шерифом и Пилсбери ему все же повезло. Я этого не понимал, когда мы сидели вечером в гостиной, не понимал и тогда, когда вернулся в город, чтобы сдать Джиму Медисону свою статью. А вскоре Вилли стал фигурировать на страницах «Кроникл» в роли героического мальчика на пылающей палубе, мальчика, который заткнул плотину пальцем, мальчика, который отвечает: «Готов», когда Долг тихо шепчет ему: «Ты должен». «Кроникл» печатала все больше и больше статей о коррупции в окружных советах нашего штата. Чистым пальцем презрения и праведного гнева водила она по всей карте. И тут я начал улавливать смысл того, что творилось в высях над столом Джима Медисона, ощущать трепыханье прозрачных легких крыл и флейтовые переливы ангельских голосов. А именно: счастливая гармония государственной машины штата была делом прошлым, и «Кроникл», став в строй недовольных, долбила окружной фундамент этой машины. Она еще только начинала, прощупывала почву, ставила декорации, вешала задник для настоящего представления. Это было не так трудно, как может показаться. Обычно у деревенских парней из окружных советов хватает сметки; они знают все ходы и выходы, и их не просто поймать за руку; но машина слишком долго работала без серьезного противодействия, и эта легкость развратила их. Они забыли об осторожности. Вот почему «Кроникл» делала хорошие сборы.

И лучшим ее экспонатом был округ Мейзон. Благодаря Вилли. Этой грязной истории он сообщил элемент драматизма. Выражаясь фигурально, он стал глашатаем косноязычной массы честных граждан. Когда он провалился на окружных выборах, «Кроникл» напечатала его фотографию с подписью: ПО-ПРЕЖНЕМУ ВЕРИТ. Ниже шло его заявление, которое я привез из второй поездки в Мейзон-Сити, после того как кончились выборы и Вилли потерял место. Заявление было такое:

«Да, они своего добились, работа была чистая, этого у них не отнимешь. Я возвращаюсь на отцовскую ферму, буду доить коров и дальше заниматься правом — думаю, что оно мне еще очень пригодится. Но я по-прежнему верю в людей округа Мейзон. Правда возьмет свое».

Я отправился туда послушать, что он скажет, но на ферму мне ехать не пришлось. Я столкнулся с ним на улице. Он строил забор, сломал тали для натягивания проволоки и приехал в город за новыми. На нем была старая черная фетровая шляпа и комбинезон, слишком широкий в шагу.

Мы пошли в аптеку и выпили кока-колы. Там у стойки с газированной водой я положил перед Вилли, рядом с его старой шляпой, мой блокнот и дал ему карандаш. Он поклонил кончик, глаза его остекленели, будго он собирался делать сложение на грифельной доске, и, привалившись к мраморной стойке, он написал это заявление большими круглыми каракулями.

— Как поживает Люси?— спросил я.

— Прекрасно,— ответил он.— Ей там очень нравится, и папе с ней не скучно.

— Это прекрасно,— сказал я.

— И мне неплохо,— добавил он, глядя не на меня, а на свое отражение в большом зеркале за стойкой.— В общем, все — к лучшему.— Вилли опять посмотрел на свое лицо в зеркале — полное, веснушчатое, тонкокожее, оно было ясно и безмятежно под всклокоченным чубом, как лицо путника, который одолел последний подъем и смотрит вниз на дорогу, бегущую прямо к месту его назначения.

Как я уже говорил, если к человеку, подобному Вилли, применимо понятие удачи, то шериф и Дольф Пилсбери были для него сущей находкой. Они обошли его и отдали подряд Д. Х. Муру. Д. Х. Мур использовал кирпич родственника Пилсбери. Школа получилась самая обыкновенная — большая кирпичная коробка с пожарными лестницами по бокам. Лестницы были не из тех, что похожи на силосную башню с винтовым скатом, по которому дети съезжают на зад. Это были прямые железные лестницы, прикрепленные к наружным стенам.

Никакого пожара в школе не было. Была просто учебная тревога.

Это случилось года через два после постройки. Была учебная тревога, и ребята с верхних этажей полезли на пожарные лестницы. В западном крыле первыми вылезли на лестницу самые младшие, и они не умели быстро спускаться. За ними пошли большие ребята из седьмых и восьмых классов. Маленькие задерживали движение, и поэтому лестница и железная площадка наверху были забиты детьми. Кладка не выдержала, болты, крепившие лестницу к стене, вырвало, и сооружение завалилось, раскидав ребят во все стороны.

Трое были убиты на месте. Они упали на бетонную дорожку. Десять или двенадцать сильно расшиблись, и некоторые из них остались калеками на всю жизнь.

Для Вилли это было большой удачей.

Но он не пытался на ней сыграть. Ему и не нужно было пытаться. Люди сами поняли что к чему. Вилли пошел на похороны троих ребятшек, устроенные городом, и скромно стоял позади. Но старый мистер Сандин, отец одного из них, заметил его в толпе, и не успел еще заглохнуть стук комьев по крышкам гробов, а он уже протолкался к Вилли, схватил его за рукав и, подняв руку над головой, закричал:

— О господи, я наказан за то, что мирился с подлостью и голосовал против честного человека!

Это произвело фурор. Женщины начали плакать. К Вилли подходили другие люди и хватали его за руки. Вскоре плакала уже вся толпа. У самого Вилли глаза были на мокром месте.

Для Вилли это было удачей. Но удача всегда приходит к тому, кто в ней не нуждается.

Округ Мейзон упал ему прямо в руки. Все столичные газеты печатали его фотографии. Но он держался в тени. Он по-прежнему работал на отцовской ферме, а по ночам изучал юридические науки. Его политическая деятельность ограничивалась тем, что он иногда выступал с речью на предвыборных собраниях демократов, поддерживая человека, который был соперником тогдашнего конгрессмена, старого приятеля Пилсбери. Ничего интересного не было в его речах, по крайней мере в той, которую я слышал. Но этого и не требовалось. Люди их не слушали. Они приходили просто взглянуть на Вилли и похлопать ему, а потом голосовали против приятеля Пилсбери.

В одно прекрасное утро Вилли проснулся кандидатом в губернаторы. Вернее, одним из тех, кто баллотировался в кандидаты от демократической партии, а в нашем штате это все равно что баллотироваться в губернаторы.

Конечно, баллотироваться в губернаторы — не бог весть какое достижение. Каждый, кто мог наскрести несколько долларов на квалификационный взнос, имел право выставить свою кандидатуру и полюбоваться на свою фамилию в избирательном бюллетене. Но с Вилли дело обстояло несколько иначе.

В нашем штате демократы разбиты на две основные фракции — Джо Гарисона и Мак Мерфи. Джо Гарисон был губернатором раньше, а Мак Мерфи — теперь и хотел остаться на этом посту. Гарисона, человека городского, поддерживали, практически, только крупные города. Мак Мерфи тоже нельзя было назвать человеком от сохи, потому что он родился и вырос в Дюбуасвилле — довольно большом городе, тысяч на девяносто, — но за ним стояли сельские местности и маленькие города. Он ловко заигрывал с провинцией и получал ее голоса. Шансы были примерно равные. Это обстоятельство и вернуло Вилли к политической жизни.

Кого-то из команды Гарисона осенила мысль — видит бог, не очень свежая — выдвинуть еще одного кандидата, пешку, которая отобрала бы у Мак Мерфи часть голосов. Для этого требовался человек, популярный в провинции. Таким был Вилли, за которым многие шли на севере штата. Выяснилось, что ему даже не предлагали никакой сделки. В Мейзон-Сити к нему приехали на прекрасной машине несколько столичных джентльменов в полосатых брюках. Один из них был м-р Дафи, Крошка Дафи, успевший сильно прибавить в весе со времени их знакомства в пивной у Слейда. Столичные джентльмены убедили Вилли, что он спаситель штата. Надо полагать, что, как всякий нормальный человек, Вилли был не лишен здоровой подозрительности и осторожности, но эти свойства склонны улетучиваться, когда вам говорят то, что вы хотите услышать. К тому же здесь был затронут религиозный вопрос. Люди поговаривали, что в истории со школой видна рука божья. Что бог, дескать, заступился за Вилли. Бог его поддержал. По обычным понятиям Вилли не был религиозен, но история со школой, возможно, поселила в нем мысль, которую разделяли многие из его сограждан, — что он находился в особых отношениях с Богом, Судьбой или просто Удачей. Не важно, каким словом вы это называете и ходите ли вы в церковь. А поскольку пути господни непонятны, Вилли, должно быть, не очень удивился тому, что Он избрал своим орудием толстых людей в полосатых брюках и в большом лимузине. Бог взывал к Вилли, а Крошка Дафи был богато одетым рассыльным на кадиллаке вместо велосипеда, не более. И Вилли расписался на повестке.

Вилли был готов к заезду. Теперь он был адвокатом. И не первый день, потому что, не пройдя в назначен, он всерьез взялся за книги и тратил на них все время, остававшееся после работы на ферме и торговли патентованными наборами

«Почини сам». Он сидел у себя в комнате летними ночами, преодолевая сон, пережевывая страницу за страницей, а мотыльки трепыхались в занавесках и летели к огню керосиновой лампы, тихо сопевшей на столе. Он сидел, склонясь над книгой, зимними ночами, когда дотлевали угли в ржавой печке и ветер, прилетев из-за тысячи миль темноты, колотился в северную стену, тряс рамы. В свое время, задолго до того, как он встретился с Люси, Вилли проучился год в баптистском колледже города Марстона, в соседнем округе. Колледж этот немногим отличался от простой начальной школы, но там Вилли узнал великие имена, записанные в толстых книгах.

Запомнив эти имена, он ушел из колледжа, потому что денег у него не было. Потом началась война, он пошел на войну — и проторчал все время в лагере где-то в Оклахоме, чувствуя, что его надули, что он упустил свой случай. А после войны — работа на отцовской ферме и чтение книг по ночам — не юридических книг, а всяких, какие удавалось достать. Он хотел узнать историю страны. Был у него учебник из колледжа — большой и толстый. Много лет спустя показывая его мне и тыча в обложку пальцем, он говорил:

— Я чуть не нанзуть выучил эту чертову книжку. Я могу назвать любое имя. Я могу назвать любую дату. — И, снова потыкав в нее пальцем, уже с презрением добавил: — А малый, который написал ее, ни шиша не знал. Про прежнюю жизнь. Ни шиша он не знал. Потому что прежняя жизнь и теперешняя — одно и то же. Куча мала — и кто кого подомнет.

И были еще великие имена. Была записная книжка — гроссбух в матерчатом переплете, куда он выписывал мудрые изречения и мудрые мысли, вычитанные из книг. Он показал мне и ее и, пока я рассеянно листал страницы с цитатами из Эмерсона, Маколея, Бенджамина Франклина и Шекспира, исписанные корявым детским почерком, продолжал все с тем же добродушным презрением:

— Хм, тогда я думал, что ребята, которые писали эти книжки, знают все на свете. И думал — стоит попотеть, чтобы подзанять у них этого знания. Да, попотею, думал, но урву, сколько можно. — Он засмеялся. И добавил: — Да, я много о себе воображал.

Он хотел урвать от всего на свете. Но все кончилось юриспруденцией. Появилась Люси, мальчик Том, а затем была работа, казначейство, но право он все же изучил. Ему помогал старый адвокат из Тайри — давал книги, объяснял непонятное. На это ушло три года. Если бы он захотел просто сдать экзамены — лишь бы сдать, — то мог бы стать адвокатом гораздо раньше, ибо тогда — да и сейчас, если на то пошло, — не нужно было большого ума, чтобы стать адвокатом.

— Ну и дурак же я был, — сказал мне однажды Вилли. — Я и в самом деле верил, что надо учить всю эту дрянь. Я думал, они всерьез хотят, чтобы ты знал право. Черт, я пришел на экзамен, поглядел на их вопросы и чуть не лопнул со смеху. Надо же было сидеть, корпеть над книгами — и получить эти паршивые вопросы. Самый зачуханный негр ответил бы на них, если бы сумел прочесть. Если бы я удосужился как следует поглядеть на знакомых юристов, я давно бы понял, что эти экзамены сдаст слабоумный. Но нет, я сидел, как дурак, и зубрил право.

Он засмеялся и, оборвав смех, сказал с оттенком горечи, которая осталась, наверно, от тех долгих ночей, когда он наклонялся над печкой или слушал в августовской темноте шорох мотыльков за занавеской:

— Что ж, вот я и выучил право. Я мог подождать.

Он умел ждать. Он прочел книги старого адвоката из Тайри и стал покупать новые, посылая по почте деньги, которые заработал на ферме или продажей патентованных наборов. Наконец время пришло, и, надев выходной костюм из синей диагонали с лоснящимся задом, он сел на поезд и поехал в город на экзамены. Ему пришлось подождать, но он действительно знал все, что было в книгах.

Он стал адвокатом. Теперь он мог повесить на гвоздь комбинезон, залубенный от пота. Он мог снять комнату над мануфактурной лавкой в Мейзон-Сити,

назвать ее конторой и ждать, пока кто-нибудь взойдет по лестнице, затхлой, как внутренности старого сундука, простоявшего на чердаке двадцать лет, и такой темной, что надо было пробираться ощупью. Теперь он стал адвокатом, но на это ушло много лет. Ушло много лет, потому что он должен был стать адвокатом безоговорочно, на своих условиях. Теперь это было позади. Но, может быть, он слишком долго ждал. Если ждешь чего-то слишком долго, с тобой что-то происходит. Ты становишься тем и только тем, чем хотел стать, — и ничем больше, ибо заплатил за это слишком дорогой ценой — слишком долгим ожиданием, слишком долгой жадой, слишком долгими усилиями. А под конец тебе задают паршивые вопросы.

Но теперь ожидание и жажда кончились, и Вилли постригся, приобрел новую шляпу, новый портфель, куда был положен текст его речи (он написал ее полностью и прочел Люси, жестикулируя, с выражением, словно готовясь к школьному диспуту), много новых друзей с обвислыми синими щеками и острыми белыми носами, и друзья хлопали его по спине, а один из них, руководитель предвыборной кампании Крошка Дафи, представляя его, лучезарно улыбался и говорил: «Познакомьтесь с Вилли Старком, будущим губернатором штата». И Вилли подавал руку с важностью епископа. Он ни о чем не догадывался.

Я часто себя спрашивал: как мог он дойти до жизни такой? Если бы он баллотировался в свой окружной совет, он бы таким не был. Он взглянул бы на вещи трезво и подсчитал свои шансы. Или если бы он баллотировался в губернаторы на свой страх и риск, он тоже не терял бы здравого смысла. Но тут было другое. Он был призван. Он услышал глас. Он увидел свет. И это слегка потрясло его. Кажется невероятным, что он, взглянув на Крошку Дафи и новых друзей, не сообразил, что тут не все чисто. Но, в сущности, как я понял, здесь не было ничего невероятного. Ибо голос Крошки Дафи, призвавший его, был лишь эхом уверенности и слепого стремления, которые жили в нем и заставляли сидеть наверху ночь за ночью, растирая слипающиеся глаза, выписывать мудрые фразы и мудрые мысли в гроссбух и с неистовым, почти физическим напряжением вчитываться в пожелтевшие страницы старых юридических книг. Для него не внять голосу Крошки Дафи было так же невыносимо, как святому послушаться божественных голосов в ночи.

Он почти потерял контакт с действительностью. Он был зачарован не только голосом Крошки. Он был зачарован величием должности, на которую посягал. Исходившее от нее сияние ослепило его. В конце концов, он только что вышел из темноты, оттуда, где он целыми днями возился в земле, никого не видя, кроме родных (да и среди них он ходил, наверно, так, словно они были тенями), а по ночам сидел в своей комнате за книгами, изнывая от труда и беспросветного ожидания. Не мудрено, что он ослеп от этого блеска.

Конечно, он кое-что знал о человеческой природе. Он достаточно долго просидел в окружном совете, чтобы узнать о некоторых ее сторонах. (Правильно, он там не удержался. Но не оттого, что не знал человеческой природы. Возможно, он знал не вообще человеческую природу, а именно свою природу — нечто более глубокое и важное, чем вопрос правоты и неправоты. Он принял муку — не по неведению и не только за правое дело, но за некое самосознание, идущее дальше правоты и неправоты.) Да, по-своему он знал человеческую природу, но что-то встало между ним и этим знанием. В каком-то смысле он ее приукрашивал. Он полагал, что другие также ошеломлены величием и ослеплены блеском должности, к которой он стремится, и будут прислушиваться лишь к речам, столь же возвышенным и блестящим. И речи его были скроены по этой мерке. Они представляли собой дикую мешанину фактов и цифр, с одной стороны (его налоговая программа, его дорожная программа), и возвышенных чувств — с другой (приглушенное временем эхо цитат, записанных детским корявым почерком в гроссбухе).

Вилли колесил по штату в хорошем подержанном автомобиле, купленном в рассрочку на восемнадцать взносов, и видел свое лицо на плакатах, прибитых к за-

борам, телефонным столбам и стенам сараев. Приехав в город, он наведывался на почту узнать, нет ли письма от Люси, шел на встречу с местными политиками и, покончив с непременными рукопожатиями (тут он бывал не особенно ретив — чересчур много разговоров о принципах и слабовато по части обещаний), забирался в номер гостиницы (два доллара, без ванной) и принимался дорабатывать очередную речь. Он оттачивал и отшлифовывал это добро. Он во что бы то ни стало хотел сделать из каждой вторую геттисбергскую речь. Навозившись с ней всласть, он вставал и начинал расхаживать по комнате. Расхаживал, расхаживал и вдруг начинал свою речь произносить. Попав случайно в соседний номер, вы слышали, как он расхаживает и декламирует, а когда хождение прекращалось — знали, что он стал перед зеркалом, дабы отшлифовать жест.

Мне случалось попадать в соседний номер, потому что я должен был освещать его предвыборную кампанию в «Кроникл». Я лежал в ямке посреди кровати, там, где пружины устали от тяжести странствующего человечества, лежал на спине, одетый, и смотрел в потолок, наблюдая, как медленно поднимается табачный дым и растекается по потолку, словно призрак перевернутого водопада в замедленной съемке или бледная туманная душа, выходящая у вас изо рта с последним вздохом — наподобие того, как рисовали себе египтяне, — чтобы навсегда покинуть горизонтальное вместилище из праха, одетого в плохо сшитые брюки и жилет. Я лежал там, пуская дым изо рта, не испытывая ничего и только следя за дымом, словно у меня не было ни прошлого, ни будущего, и вдруг в соседней комнате Вилли принимался за свое. Топанье и бормотанье.

Это был живой укор — и смех и слезы. Знать то, что ты знаешь, и лежать за стеной, слушая, как он собирается стать губернатором, и запихивая в рот подушку, чтобы не расхохотаться. Несчастный придурок со своей речью. Но голос за стеной все бубнил и бубнил, ноги топали и топали, словно лапы тяжелого зверя, который мечется взад-вперед по запертой комнате или клетке, мотая тяжелой башкой, ища слабины, чтобы вырваться на волю в свирепой и непримиримой уверенности, что найдется где-то хлипкая доска, или прут, или задвижка, — не сейчас, но рано или поздно найдется. И слушая это, вы теряли уверенность, что доски или прутья выдержат. А ноги не останавливались, они топали, как заводные, — не человечьи и не звериные — они били, как пест в ступе, как штемпель в прессе, и в ступе лежали вы — вас занесла туда нелегкая. А песту было все равно, вы или не вы лежите в ступе. Он будет бить, пока ничего от вас не останется, и еще долго после этого — пока не износится машина или кто-нибудь не вырубит ток.

И потому, что вам хочется лежать в сумерках на чужой кровати, следить за папиросным дымом и ни о чем не думать — ни о том, чем вы были, ни о том, чем станете, — и потому, что ноги, зверь, пест, придурок не останавливаются, вы вскакиваете, садитесь на край кровати и хотите выругаться. Но вы не ругаетесь. Нет, вы начинаете удивляться, уже чувствуя боль и неуверенность в себе, — что же сидит в этих ногах, что не дает им покоя? Пусть он придурок, пусть он не станет губернатором, пусть никто не захочет слушать его речей, кроме Люси, но он не уймется.

Никто и не слушал его речей, включая меня. Они были ужасны. Они были полны цифр и фактов, которые он собрал, разъезжая по штату. Он говорил: «Теперь, друзья, если вы запасетесь терпением, я сообщу вам цифры», откашливался, шелестел бумажками, и люди потихоньку оползали на стульях, принимались чистить ногти перочинными ножиками. Если бы Вилли догадался говорить с трибуны так же, как говорил с вами наедине, горячась, сверкая выпученными глазами и подавшись вперед всем телом, точно каждое его слово шло от чистого сердца, он, может быть, расшевелил бы избирателей. Но куда там — он пытался оправдать свое высокое назначение.

Пока он ревел в своей округе, это не играло большой роли. В памяти у всех была еще свежа история со школой. Господь стоял на стороне этого человека и явил свое знамение. Господь повалил пожарную лестницу специально, чтобы



это доказать. Но вскоре Вилли перебрался в центральную часть штата, и тут у него начались неприятности. Стоило ему приехать в более или менее крупный город, как выяснялось, что людям неинтересно, чья из сторон — господняя сторона.

Вилли понимал, что происходит, но не понимал почему. Он осунулся, тонкая кожа как будто ту же обтянула его лицо, но беспокойства он не проявлял. Это казалось странным. Кто-то, а Вилли имел основания выглядеть озабоченным. Но не выглядел. Он напоминал человека, который досматривает последний сон перед пробуждением, а на трибуну выходил с просветленным и благостным лицом, какое бывает у выздоравливающего после тяжелой болезни.

Вилли, однако, не выздоравливал. У него была злокачественная политическая анемия. Он не мог понять, в чем корень зла.

Так человек в ознобе думает, что неожиданно изменилась погода, и удивляется, почему не трясет всех остальных. И может быть, как раз потребность в простом человеческом тепле создала у него привычку приходить ко мне в номер среди ночи, когда кончались речи и рукопожатия. Он сидел, я выпивал на сон грядущий свой стаканчик, и мы почти не разговаривали; только раз в Мористауне, где ему был оказан поистине ледяной прием, он, помолчав, вдруг спросил меня:

— Джек, как, по-твоему, идут мои дела?

Это был один из тех мучительных вопросов («Как вы думаете, жена мне верна?» или «А вы знаете, что я еврей?»), которые ставят в тупик не потому, что на них трудно ответить — правдой или ложью, — а потому, что их вообще нельзя давать. Но я ему ответил:

— Чудесно, по-моему, все идет чудесно.

— Ты правда так думаешь?

— Конечно, — сказал я.

Он пожевал это с минуту и проглотил. Затем сказал:

— Мне кажется, что сегодня они не очень хорошо меня слушали, когда я пытался объяснить мою налоговую программу.

— Может быть, ты слишком много им объясняешь. Это парализует их мозговые клетки.

— А ведь им было бы интересно узнать про налоги, — сказал Вилли.

— Ты слишком много объясняешь. Пообещай, что прижмешь толстых, — и хватит про налоги.

— Нам необходима сбалансированная налоговая система. Сейчас пропорция между подоходным налогом и общим доходом штата такова, что индекс...

— Ну да, — сказал я, — слышали. Но им на это плевать. Елки зеленые, заставь их плакать, заставь их смеяться, втолкуй, что ты им друг-приятель, заблудшая душа или что ты господин всемогущий. Разозли их, наконец. Пусть хоть на тебя злятся. Только расшевели их — все равно чем и как — и они тебя полюбят, будут есть из твоих рук. Ущипни их за мягкое место. Они неживые, почти все — уже лет двадцать неживые. Пойми ты, их жены расползлись, растеряли зубы, спиртного у них не принимает желудок, в бога они не верят, — кому же, как не тебе, расшевелить их, чтобы они почувствовали себя живыми людьми? Хоть на полчаса. Они за тем и приходят. Говори им что угодно. Но ради всего святого, не пытайся научить их уму-разуму.

Я откинулся в изнеможении, а Вилли погрузился в задумчивость. Он сидел, не шевелясь, со спокойным и ясным лицом, но казалось, если приблизить к нему ухо, вы услышите, как в голове у него топочут ноги, кто-то запертый там ходит взад-вперед. Потом он рассудительно заметил:

— Да, я знаю, что некоторые так думают.

— Ты же не вчера родился, — ответил я с внезапной злобой. — Ты ведь не был глухонемым, пока сидел в мейзонском совете. Хоть и попал туда благодаря Пилсбери.

— Да, — сказал он, кивнув, — я слышал такие разговоры.

— Ничего удивительного. Это не такая уж тайна.

Тогда он спросил:

— Ты думаешь, это правда?

— Правда? — переспросил я не то его, не то самого себя. — Не знаю. Но очень на нее похоже.

Он посидел еще минуту, потом встал и, пожелав мне спокойной ночи, вышел. Скоро я услышал за стеной его шаги. Я разделся и лег. Шаги не затихали. Мудрый Советчик лежал, слушал шаги за стеной и говорил себе: «Наш друг придумывает шутку для завтрашней речи в Скидморе, он намерен их рассмешить».

Мудрый Советчик был прав. Кандидат пошутил в Скидморе. Но публика не смеялась.

В Скидморе после митинга я сидел в кабинке греческого кафе и пил кофе, чтобы успокоить нервы и спрятаться от людей, от запаха тел, гогота толпы и ее глаз, когда появилась Сэди Бёрк и, окинув взглядом помещение, заметила меня, зашла ко мне в кабинку и села напротив.

Сэди принадлежала к числу новых друзей Вилли, но я ее знал давно. По слухам, еще более тесная дружба связывала ее с неким Сен-Сеном Пакеттом, который сосал сен-сен, чтобы хорошо пахло изо рта, имел большой вес как в физическом, так и в политическом смысле и раньше (а возможно, и сейчас) дружил с Джо Гарисоном. Говорили, что именно Сен-Сену принадлежала блестящая мысль использовать Вилли в качестве пешки. Сэди была чересчур хороша для Сен-Сена, хотя его бы никто не назвал уродом. Она же не отличалась красотой — особенно если встать на точку зрения судей, которые выбирают Мисс Орегон и Мисс Нью-Джерси. У нее была очень складная фигура, но вы как-то не замечали этого из-за безобразных платьев и резкой, неуклюжей манеры жестикулировать. Ее волосы, совершенно черные и безжалостно остриженные, торчали во все стороны, будто их зарядили электричеством. Точно так же вы обращали внимание не на то, что у нее приятные черты лица, а на то, что оно рябое. Но глаза у нее действительно были прекрасны — глубоко посаженные, бархатные, черные, как чернила.

Однако Сэди была чересчур хороша для Сен-Сена не из-за своей красоты. Сен-Сен не стоил ее потому, что он был мерзавец. Но он был недурен собой, и Сэди подобрала его, а затем — опять же по слухам — пристроила к этому грязному делу. Сэди была ловкая дама. Она давно занималась политикой и прошла огонь и воду.

В Скидморе она прибыла со штабом Старка в несколько неопределенной роли секретаря (и, видимо, сен-сеновского соглядатая). Она вела организационные дела и сообщала Вилли полезные сведения о местных знаменитостях.

Теперь она приблизилась к столу обычной своей бурной походкой и спросила:

— Можно с вами есть?

И села, не дожидаясь ответа.

— Не только есть, — учтиво ответил я. — Встать, сесть, лечь — я на все согласен.

Она критически оглядела меня своими глубоко посаженными чернильно-черными глазами, блестевшими на рябом лице, и покачала головой.

— Нет, спасибо, — сказала Сэди, — я предпочитаю что-нибудь попитательнее.

— Вы хотите сказать, что у меня непривлекательная наружность?

— Меня не волнует наружность, — ответила она, — но и не привлекают люди, похожие на коробку макарон. Сплошные локти и сухой треск.

— Ладно, — сказал я. — Снимаю свое предложение. Я ненавязчив. Но скажите мне одну вещь, раз уж мы заговорили о питательности. Как вы думаете, ваш кандидат Вилли — питательное кушанье? Для избирателей?

— О господи! — прошептала она, закатив глаза.

— Хорошо, — сказал я. — Когда вы намерены сказать своим мальчикам в городе, что это пустой номер?

— Что значит пустой? Они устраивают в Аптоне митинг и грандиозное угощение с жареным барашком. Если верить Дафи.

— Сэди, вы же знаете не хуже моего, что им надо было бы зажарить боль-

шого косматого мастодонта и положить на бутерброды десятидолларовые бумажки вместо салата. Почему вы не скажете вашим хозяевам, что это пустой номер?

— С чего вы взяли?

— Послушайте, Сэди, — сказал я, — мы ведь старые приятели, не надо дядю обманывать. Я не сразу бегу в газету, если что-нибудь узнаю, а я знаю, что кандидатом Вилли сделали не ораторские таланты.

— Правда, он ужасен?

— Я знаю, что это подстроено, — сказал я. — Все знают, кроме Вилли.

— Пожалуй, — признала она.

— Так когда же вы скажете своим мальчикам в городе, что они бросают деньги на ветер? Что даже у Эйба Линкольна в колыбели Конфедерации Вилли не отнял бы ни единого голоса?

— Надо мне было давно это сделать.

— Когда же вы соберетесь? — спросил я.

— Да нет, — сказала она. — Я им с самого начала говорила, что ничего не выйдет. Но они не желают слушать Сэди. Болваны. — И, выпятив круглую красную блестящую нижнюю губу, она вдруг извергла облако табачного дыма.

— Почему вы сейчас им не скажете, что это пустой номер, и не избавите беднягу от мучений?

— Пусть тратят свои вонючие деньги, — раздраженно сказала она и мотнула головой, словно дым ел ей глаза. — Жалко еще, что мало истратили. Жалко, что этот недотепа не догадался содрать с них как следует за то, что пошел на экзекуцию. Теперь он ничего не получит, кроме бесплатной поездки. Ну и на здоровье. Вот уж истинно блаженное неведение.

Подошла официантка с чашкой кофе — Сэди, наверное, заказала ее перед тем, как подсесть ко мне. Она залпом выпила кофе и глубоко затынулась.

— Знаете, — сказала она, яростно раздавив окурочек в чашке и глядя на окурочек, а не на меня. — Знаете, даже если ему скажут. Даже если он поймет, что остался в дураках, — он все равно не перестанет...

— Да, — докончил я, — произносить свои речи.

— Господи, какой бред, — сказала она.

— Да.

— Вряд ли он остановится.

— Да.

— Дубина, — сказала Сэди.

Мы вернулись в гостиницу и не виделись с Сэди до самого Аптона — только раз или два мимоходом. Дела у Вилли за это время не улучшились. Я уехал в город примерно на неделю, бросив кандидата на произвол судьбы; потом я услышал новости. Накануне митинга с угощением я сел в аптонский поезд.

Аптон расположен на западе штата, это столица захолустья, чьи жители должны были выскочить из зарослей на запахах предвыборного барашка. Чуть к северу от города есть небольшие залежи угля, там в лачугах компании живут шахтеры и молятся о работе на завтра. Подходящее место для митингов с угощением — сбор обеспечен. Эти люди из лачуг находятся в таком состоянии, что готовы пробежать пятнадцать миль за кусочком свежатины. Если у них хватит сил, а мясо дают бесплатно.

Пыхтя и зевая, дергаясь и теряя ход, пригородный поезд тащился среди хлопковых полей. Мы въезжали на запасные пути, стояли полчаса, чего-то ждали, и я смотрел на сходящиеся к раскаленному горизонту ряды хлопчатника, среди которых торчал черный пнище. К концу дня дорога пошла по вырубкам, заросшим полынью. Поезд останавливался у желтой, похожей на ящик станции, вокруг теснились некрашенные домишки, вдалеке, в конце улицы, был виден центр города; потом поезд трогался, и мимо проплывали задние дворы, огороженные проволокой или горбылем, словно для того, чтобы отогнать пустоту полевой бугристой страны, которая подползла, разевая пасть на эти домишки. Дома выглядели ненужными, чужими, случайно сюда заброшенными, и казалось, их вст-вот покинут. На ве

ревках сохнет белье, но люди уйдут и бросят его. У них не будет времени сорвать белье с веревок. Скоро стемнеет, и им лучше поторопиться.

Поезд уходит, а в задней двери одного из домов появляется женщина — фигура женщины, потому что лица не видно. — в руках у нее сковорода, она выплескивает воду, и вода сверкает серебряными искрами. Женщина возвращается в дом. К тому, что в доме. Пол его тонок, на голой земле, стены и крыша слабы перед напором пространства, но вы не видите сквозь них той тайны, к которой ушла женщина.

Поезд уходит прочь все быстрее, а женщина уже внутри. там, где она хочет остаться. Там она и останется. И тогда вам кажется, что это вы бежите, бросив все, и должны бежать поскорее, куда бежите, потому что скоро стемнеет. Теперь поезд идет быстро, но ему трудно преодолеть упрямую перенасыщенную вязкость воздуха — как если бы угорь пытался плыть в сиропе, — а может, ему трудно осилить неумолимо растущий магнетизм земли. И кажется, что если по земле пробежит судорога, как по шкуре собаки во сне, то поезд слетит под откос, паровоз сблюет, подавившись паром, и задранное колесо его провернется с тяжелой, сонной медлительностью.

Но ничего не случилось, и вы вспоминаете, что женщина даже не взглянула на поезд. Вы забываете о ней. поезд едет быстро, еще быстрее по короткой эстакаде. Вы ловите взглядом трезвый, металлический блеск спокойной воды между тесных берегов под темнеющим небом, а выше по течению у одинокой согнутой ивы в воде стоит корова. И вдруг вам хочется заплакать. Но поезд едет быстро и уносит вас от того, что вам хочется.

Дурак, ты думаешь, тебе хочется доить корову?

Тебе не хочется доить корову.

И вот вы в Аптоне.

В Аптоне с легким чемоданом и пишущей машинкой в руках, проталкиваясь в толпе народа, под медленными, долгими, по-деревенски откровенными взглядами я шел к гостинице; люди не уступали дорогу, пока я не налетал на них, — так не уступает дорогу корова, пока радиатор машины чуть не толкнется в ее обвислые ребра. В гостинице я съел бутерброд, поднялся к себе в номер, включил вентилятор, заказал кувшин воды со льдом, снял туфли и рубашку и сел с книгой в кресло.

В половине одиннадцатого в дверь постучали. Я крикнул «да», и вошел Вилли.

— Где ты был? — спросил я.

— Я еще днем приехал, — ответил он.

— Дафи возил тебя знакомиться с отцами города?

— Да, — сказал он угрюмо.

Эта угрюмость заставила меня поглядеть на него внимательнее.

— В чем дело? — спросил я. — Здешние люди плохо с тобой разговаривали?

— Нет, они нормально разговаривали. — Он налил воды в стакан, стоявший на подносе рядом с моей бутылкой сивухи, выпил и повторил: — Нормально разговаривали.

Я снова взглянул на Вилли. Лицо похудело, кожа туго обтянула его и казалась почти прозрачной под россыпью веснушек. Он сидел понуро, не обращая на меня внимания, будто твердя про себя беспрерывно какую-то фразу.

— Что тебя гложет? — спросил я.

Вилли не прореагировал на вопрос; потом он повернулся ко мне, но и это, казалось, не имело никакой связи с моими словами. Движение было вызвано ходом его мыслей, а не тем, что к нему обратились.

— Человеку не обязательно быть губернатором. — сказал он.

— А? — сказал я с изумлением, потому что этих слов меньше всего ожидал от Вилли. Встреча в последнем городе (в мое отсутствие) была, наверно, совсем неважная, если даже его проняло.

— Человеку не обязательно быть губернатором,— повторил он, и, взглянув на него, я не увидел мальчишеского тонкокожего лица: из-под него, словно из-под стеклянной маски, на меня смотрело другое лицо. И я внезапно увидел тяжелые, плотные, как каменная кладка, губы, крепкие желваки.

— Ну,— с запозданием сказал я,— голоса еще не сосчитаны.

Он еще раз взвесил мысль, над которой перед тем трудился. Потом ответил:

— Я не отрицаю, я этого хотел. Не буду тебе врать.— И слегка подался ко мне, словно пытаюсь убедить меня в том, что и так было для меня очевиднее наличия собственных рук и ног.— Я хотел этого. Я не спал ночами и только об этом думал.— Он сжал большие руки на коленях, как что пальцы хрустнули.— Черт, человек может лежать и хотеть — хотеть и больше ничего, так хотеть, что он сам забывает, чего ему хочется. Это как если ты мальчик и сок в тебе забродит в первый раз, и кажется, что однажды ночью ты сойдешь с ума — до того тебе хочется. И до того тебе тошно от этого хотенья, что чуть не забываешь, чего тебе надо. Что-то жрет тебя изнутри...

Он наклонился, не сводя с меня глаз, и сгреб в кулак грудь своей пропотевшей голубой рубашки. Сейчас порвет и покажет, что там внутри, подумал я.

Но он откинулся в кресле, перевел взгляд с меня на стену и задумчиво сказал:

— Но одного хотенья мало. И не надо жить до ста лет, чтобы понять это.

Истина была настолько бесспорной, что не нуждалась в моем подтверждении.

Вилли не замечал моего молчания — до того он был погружен в свое собственное. Но через минуту он ожил и, посмотрев на меня, сказал:

— Я был бы хорошим губернатором. Ей-богу,— он стукнул кулаком по колену,— ей-богу, лучше, чем любой из них. Пойми,— и он опять наклонился ко мне,— новая налоговая система — вот что нужно штату. Надо повысить доходы от наших угольных концессий. А дороги — стоит тебе выехать за город, и ты не найдешь ни одной приличной дороги. Кроме того, я мог бы сберечь штату немало денег, объединив некоторые ведомства. А школы? Ты погляди на меня — ведь я ни дня не учился по-человечески; до всего, что я знаю, я дошел сам. Почему, скажи мне...

Все это я уже слышал. С трибуны, где он стоял, благородный и светлый лицом, а всем вокруг было наплевать на его разговоры.

Он, наверно, почувствовал, что и мне наплевать. И сразу замолчал. Он встал и начал расхаживать по комнате, опустив голову с растрепанным чубом. Остановился передо мной.

— Ведь надо же это сделать?

— Конечно,— ответил я, не кривя душой.

— Но они не желают меня слушать,— сказал он.— Будь они прокляты. Идиоты. Они приходят слушать речь и не слушают, ни слова. Им все равно. Будь они прокляты. Так им и надо. Рыться в земле и всю жизнь бурчать брюхом. Не желают слушать.

— Да,— согласился я,— не желают.

— И я не буду губернатором. Будет тот, кого они заслуживают. Идиоты,— заключил он.

— Пожать тебе руку в знак сочувствия?

Я вдруг разозлился. За каким дьяволом он пришел? Чего он от меня хочет? С чего он взял, будто мне интересно слушать о нуждах штата? Я и так знаю, будь он неладен. Все знают. Тоже мне оракул. Честное правительство — вот что нужно. А откуда оно возьмется? И кому интересно, бывают такие правительства или не бывают? И о чем он тут плачется? Об этом? Или о том, как ему приспичило стать губернатором и как он не спит по ночам? Все это промелькнуло у меня в голове, я разозлился и мерзким голосом спросил, не пожать ли ему руку.

Он оглядел меня с ног до головы не торопясь и задержался взглядом на моем лице. Но он не обиделся. И это меня удивило — я хотел его обидеть, так обидеть, чтобы он ушел. Но он даже не удивился.

— Нет, Джек, — сказал он наконец, качая головой, — я не искал у тебя сочувствия. Что бы ни случилось, я не буду искать сочувствия — ни у тебя, ни у кого другого. — Он тяжело отряхнулся, как большая собака, проснувшаяся или вылезшая из воды. — Можешь мне поверить, — сказал он, но уже не мне, а куда-то в сторону. — Ни у кого на свете я не буду искать сочувствия. Сейчас не ищущи и впредь не собираюсь.

Кое-что прояснилось. Вилли сел.

— Что ты намерен делать? — спросил я.

— Мне надо подумать, — ответил он. — Я не знаю. Я должен подумать. Идиоты. Эх, если бы я мог заставить их слушать.

Тут как раз и вошла Сэди. Вернее, постучала в дверь, я заорал «да», и она вошла.

— Привет, — сказала она и, окинув взглядом комнату, направилась к нам. Взгляд ее упал на мою бутылку с сивухой.

— Тут угощают? — спросила она.

— Пейте, — ответил я, но, по-видимому, не очень радушно. А может быть, она сама почуяла, чем пахнет в воздухе, — по этой части у Сэди не было равных.

Как бы там ни было, она остановилась на полпути и спросила:

— Что случилось?

Я ответил не сразу, и она подошла к письменному столу своей быстрой и нервной походкой, облаченная в грязно-синий летний костюм, который купила, наверное, в лавке старьевщика — зашла туда, закрыла глаза и ткнула наугад пальцем: «Это».

Она взяла сигарету из моей пачки, постучала ею по костяшкам пальцев и навела на меня свои фары.

— Ничего особенного, — сказал я, — тут вот Вилли рассказывал, почему он не будет губернатором.

Пока я говорил, она успела зажечь спичку, но спичка так и не дошла до сигареты. Остановилась на полпути.

— Значит, вы ему рассказали? — Сэди смотрела на меня.

— Ни черта, — ответил я. — Я никогда ничего не рассказываю. Я слушаю. Резко вихнув запястьем, чтобы погасить спичку, она обратилась к Вилли:

— Кто тебе сказал?

— Что сказал? — спросил Вилли, пристально на нее глядя.

Она поняла, что сделала ошибку. А Сэди Бёрк несвойственны были такие ошибки. Из хижины на болотистой равнине она вышла на свет божий с прекрасным умением: узнать, что знаете вы, не ставя вас в известность о том, что известно ей. Не в ее характере было идти у языка на поводу — она предоставляла это вам, сама же предпочитала следовать позади с аккуратным обрезком свинцовой трубы в руках и ждать, пока вы оступитесь. Но сегодня все вышло наоборот. Где-то в глубине ее души жила надежда, что я расскажу Вилли. Или кто-то другой. Не она, Сэди Бёрк, расскажет Вилли, но Вилли Старку все будет рассказано, и Сэди Бёрк не придется этого делать. А может, ничего такого конкретного. Просто где-то в потемках ее сознания носилась мысль о Вилли и мысль о том, чего Вилли не знает, — как две щепки, втянутые водоворотом, которые кружатся медленно и слепо в темной глубине. Но рядом, все время.

Так эта мысль, еще не осознанная — или страх, или надежда, столь же безотчетные, — лишила Сэди бдительности. И когда она стояла у стола, катая в сильных пальцах незажженную сигарету, она это уже понимала. Но монета упала в щель, и, глядя на Вилли, вы видели, как приходят в действие колесики и шестерни и конфетки перекачиваются с места на место.

— Что сказал? — спросил Вилли снова.

— Что ты не будешь губернатором, — выпалила Сэди легкомысленной

скороговоркой. Но она кинула на меня взгляд, и это был, наверно, первый и единственный SOS в жизни Сэди Бёрк.

Кашу заварила она, и я не собирался ее расхлебывать.

Вилли неотрывно смотрел на нее, наблюдая, как она поворачивается к столу, открывает мою бутылку и наливает себе подкрепляющего. Она приняла его без дамских ужимок и покашливаний.

— Что сказал? — повторил Вилли.

Сэди не ответила. Она только посмотрела на него.

И, глядя ей в глаза, он произнес голосом, подобным смерти и подоходному налогу:

— Что сказал?

— Иди ты к черту! — взорвалась Сэди, и стакан, опущенный наугад, звякнул о поднос. — Иди ты к черту, растяпа!

— Ладно, — сказал Вилли тем же голосом, приликая к ней, как боксер к противнику, когда тот входит в раж. — Говори.

— Ладно, растяпа, — сказала она, — тебя надули!

Секунд тридцать он смотрел на нее, и в комнате не раздавалось ни звука, только его дыхание. И я его слушал.

Затем Вилли сказал:

— Надули?

— И как! — воскликнула Сэди, наклонившись к нему. Какое-то злобное торжество блестело в ее глазах и звенело в голосе. — У, ты, чучело, мякинная башка, ты сам на это нарывался! Ну да — ты ведь думал, что ты агнец божий. — И, кривя губы, она изобразила ему издевательски-жалобное «бе-е-е». — Агнец, белый маленький ягненок. А знаешь, кто ты есть?

Она замолчала, словно дожидаясь ответа, но Вилли только смотрел на нее и не издавал ни звука.

— Ты козел, — объяснила она. — Козел отпущения. Безмозглый баран. Растяпа. Ты сам нарвался. Ты даже не получил за это ни гроша. Они бы тебе заплатили за удовольствие, но на кой им платить такому растяпе, как ты? На кой, если ты и так раздувался, словно мыльный пузырь, и ног под собой не чуял, и думал, какой ты Иисус Христос? Если в голове у тебя одно: как бы встать на задние лапы и сказать речь? «Друзья мои, — жеманно и злобно косоротясь, передразнила она, — хорошая пятицентовая сигара — вот что нужно нашему штату». О господи! — Она разразилась надсадным, неестественным смехом и вдруг умолкла.

— Почему? — Вилли смотрел на нее, тяжело дыша, но лицо его было спокойным. — Почему они так поступили? Со мной.

— О господи! — воскликнула она, обернувшись ко мне. — Вы только послушайте этого растяпу. Он желает знать почему! — Тут она опять повернулась к нему и, наклонившись, сказала: — Послушай и постарайся вбить это в свою трухлявую башку. Они хотели, чтобы ты отнял голоса у Мак Мерфи. В провинции. Ты понял или сказать по буквам? Теперь ты понял, дубина?

Он медленно перевел взгляд на меня, облизнул губы и произнес:

— Это правда?

— Он желает знать, правда ли это, — объявила Сэди, молитвенно воздев глаза к потолку. — О господи!

— Это правда? — спросил он меня.

— Не знаю, ходят такие слухи.

Ну, это попало под вздох. Его лицо скривилось, словно он старался что-то произнести или хотел заплакать. Но он не сделал ни того, ни другого. Он протянул руку к столу, взял бутылку, налил себе порцию, которая свалила бы быка, и залпом выпил.

— Эй, — сказал я, — полегче с этим делом, ты ведь не привык.

— Мало ли к чему он не привык, — сказала Сэди, пододвигая к нему бутылку. — Например, к мысли, что он не будет губернатором. Правда, Вилли?

— Оставьте его в покое,— сказал я.

Но Сэди не замечала меня. Она наклонилась к нему и медовым голосом спросила:

— Правда, Вилли?

Он взял бутылку и повторил операцию.

— Говори,— потребовала Сэди.

— Раньше да,— ответил он, глядя на нее снизу, из-под спутанного чуба, наливаясь кровью и шумно дыша.— Раньше да, теперь нет.

— Что — нет? — спросила Сэди.

— Не привык к этой мысли.

— Ты лучше привыкай к ней.— Сэди захохотала и подтолкнула к нему бутылку.

Он взял ее, налил, выпил, медленно опустил стакан и ответил:

— Нет, не буду. Лучше мне не привыкать.

Она снова разразилась надсадным смехом и, вдруг оборвав его, передразнила:

— Слышали, лучше ему не привыкать. О господи!

И опять захохотала.

Он сидел вялый, но не прислоняясь к спинке; пот выступал у него на лице и сбегал к подбородку блестящими капельками. Он сидел, не чувствуя, что потеет, не утираясь, и смотрел в ее разинутый рот.

Вдруг он вскочил. Я подумал, что он сейчас набросится на Сэди. Она и сама так подумала, потому что смех оборвался. На самой середине арии. Но он не набросился. Он даже не смотрел на нее. Он обвел взглядом комнату и вытянул руки перед собой, словно собираясь кого-то схватить.

— Я убью их,— сказал он.— Убью!

— Сядь,— сказала она и ткнула его в грудь.

Ноги его уже сильно обмякли, и он упал. Прямо в кресло.

— Я убью их! — сказал он, потея

— Ни черта ты не сделаешь,— объявила она.— Ты не будешь губернатором, ты ни гроша за это не получишь, ты никого не убьешь — и знаешь почему?

— Я убью их! — сказал он.

— Я объясню тебе почему,— сказала она, наклоняясь к нему.— Потому что ты — размазня. Рохля, маменькин сынок, которого кормят с ложечки, которому вытирают сопли, ты...

Я встал.

— Я не знаю, в какие игры вы играете,— сказал я,— и не желаю знать. Но смотреть на вас мне противно.

Она даже головы не повернула. Я вышел из номера, и последнее, что я услышал,— это голос Сэди, пытавшейся уточнить, к какого рода растяпам принадлежит Вилли. Я решил, что так сразу этого не определишь.

В ту ночь я основательно ознакомился с Аптоном. Я смотрел на людей, выходящих с последнего сеанса во Дворце кино, любовался воротами кладбища и зданием школы при лунном свете, стоял на мосту и, перевесившись через перила, плел в речку. На это ушло часа два. Затем я вернулся в гостиницу.

Когда я открыл свою дверь, Сэди сидела в кресле за письменным столом и курила. В воздухе впору было вешать топор, и дым, пронизанный светом настольной лампы, клубился и плавал вокруг Сэди так, что мне показалось, будто она сидит на дне аквариума с мыльной водой. Бутылка на столе была пуста.

Сначала я подумал, что Вилли нет. Затем я увидел готовый продукт.

Он лежал на моей кровати.

Я вошел и прикрыл дверь.

— Кажется, успокоилось,— отметил я.

— Да.

Я подошел к кровати и осмотрел останки. Они лежали на спине. Пиджак сбился под мышками, руки были благочестиво сложены на груди, как в реали-



стическом надгробье, рубашка вылезла из-под пояса, две нижние пуговицы на ней расстегнулись, оголив треугольную полоску слегка вздутого живота — белого, с жесткими черными волосиками. Рот был полуоткрыт, и нижняя губа вяло колыхалась в такт мерным выдохам. Очень красиво.

— Он немного побушевал,— объяснила Сэди.— Рассказывал, что он собирается делать. О, его ждут большие дела. Он будет президентом. Он будет убивать людей голыми руками. Господи! — Она затянулась сигаретой, выдохнула дым и яростно замахала рукой, отгоняя его от лица.— Но я его утихомирила,— сообщила она с угрюмым и каким-то даже стародевичьим удовлетворением, которое пристало бы вашей двоюродной бабке.

— Он поедет на митинг? — спросил я.

— А я почему знаю,— огрызнулась Сэди.— Станет он тратить порох на такие мелочи, как митинг. О, это птица высокого полета.— Сэди затянулась и повторила все манипуляции с дымом.— Но я его утихомирила.

— Скорее похоже, что вы его оглушили,— заметил я.

— Да,— сказала она.— Я ему дала по мозгам. Я втолковала ему, какая он размазня. И тут он у меня живо утихомирился.

— Сейчас он тихий, это верно,— сказал я и подошел к столу.

— Он не сразу стал таким тихим. Сначала стих настолько, чтобы сидеть в кресле и искать утешения в бутылке. И бубнить про какую-то задрюгу Люси, которой надо сообщить эти новости.

— Это его жена,— сказал я.

— А говорил он так, будто она его мамочка и будет вытирать ему носик. Потом он заявил, что идет к себе в номер писать ей письмо. Но,— сказала она, оглянувшись на кровать,— он туда не добрался. Он дошел до середины комнаты и свернул к кровати.

Она встала, подошла к Вилли и наклонилась над ним.

— А Дафи знает? — спросил я.

— Плевать я хотела на Дафи,— ответила она.

Я тоже подошел к кровати.

— Придется его оставить здесь,— сказал я.— Пойду спать в его номер.— Я нагнулся и стал шарить у него в карманах, ища ключ от номера. Найдя его, я вынул из чемодана зубную щетку и пижаму.

Сэди все еще стояла возле кровати. Она обернулась ко мне:

— Мог бы по крайней мере снять с него туфли.

Я положил свои вещи на кровать и снял с него туфли. Потом забрал пижаму и щетку и направился к столу, чтобы выключить свет. Сэди по-прежнему стояла у кровати.

— Вы лучше сами напишите этой маме Люси,— сказала она,— и спросите, куда привезти останки.

Взявшись за выключатель, я обернулся: Сэди стояла все там же, держа в левой, ближней ко мне, руке между кончиками пальцев сигарету, над которой вился и медленно уходил к потолку дым; нагнув голову, она смотрела на останки и задумчиво выдувала дым через оттопыренную глянцевую нижнюю губу.

Да, это была Сэди, которая прошла большой путь от хижины на болотистой равнине. Она прошла его, потому что играла наверняка и играла не на спички. Она знала: чтобы выиграть, надо поставить на верный номер, а если твой номер не выпал, то рядом стоит человек с лопаткой, который сгребет твои деньги и они уже не будут твоими. Она давно привыкла иметь дело с мужчинами и смотреть им в глаза, как мужчина. Многие из них любили ее, а те, кто не любил, прислушались к ее словам, а говорила она не часто,— ибо если ее глаза, большие и черные той чернотой, про которую не знаешь, какая она — глубокая или только сверху,— смотрели на колесо перед тем, как оно завертится, то вы почему-то верили, что они наперед видят, в какой миг замрет колесо и в какую ямку упадет шарик. Некоторые очень ее любили, например Сен-Сен. Было время, когда я не мог этого понять. Я видел куль из твида или мешок из рогожки — в зависимости

от солнцестояния, — рябое лицо с жирным пятном помады и черными лампами, а над ними черные космы, которые отхватил на уровне уха секач мясника.

Но в один прекрасный день я увидел ее по-другому. Вы давно знакомы с женщиной и считаете ее уродом. Вы смотрите на нее, как на пустое место. Но однажды, ни с того ни с сего, начинаете думать, какая она под этим твидовым или полотняным балахоном. И вдруг из-под рябой маски проглядывает лицо — доверчивое, робкое, чистое лицо, — и оно просит вас снять с него маску. Вот так же, наверное, старик, взглянув на свою жену, на миг увидит черты, которые он знал тридцать лет назад. Только в моем случае вы не вспоминаете то, что давно видели, а открываете то, чего никогда не видели. Это образ будущего, а не прошлого. Это может выбить из колеи. И выбило на какое-то время. Я сделал заход, но безрезультатно.

Она рассмеялась мне в лицо и сказала:

— Я занята и не меняю своих занятий, покуда эти занятия у меня есть.

Я не знал, о каких занятиях идет речь. Это было до Сен-Сена Пакетта. До того, как он начал пользоваться ее даром ставить на верный номер.

Но когда я опустил руку на выключатель лампы и оглянулся на Сэди Бёрк, я ни о чем таком не думал. Рассказывая об этом, я просто хочу объяснить, что за женщина стояла у кровати, созерцая останки, пока я держал руку на выключателе, — что за женщина была Сэди Бёрк, которая проделала большой путь благодаря своему умению держать язык за зубами, но так сплеховала в тот вечер.

По крайней мере так мне тогда показалось.

Я выключил свет, мы вышли с ней в коридор и пожелали друг другу спокойной ночи.

На следующее утро часов в девять Сэди постучала в мою дверь, и я, словно размокший кусок дерева со дна взбаламученного пруда, качаясь и поворачиваясь, всплыл на поверхность из мутных глубин сна. Я подошел к двери и высунул голову.

— Слушайте, — сказала она́ без всяких околичностей, — Дафи уже отправляется на эту ярмарку, и я еду с ним. Ему надо поговорить с местными шишниками. Он хотел и растяпу поднять пораньше, чтобы тот пообщался с народом, но я сказала, что он неважно себя чувствует и приедет немного погодя.

— Ладно, — сказал я, — хоть мне и не платят за это, я попытаюсь его доставить.

— Мне все равно, приедет он или нет, — ответила она. — Плевать мне с высокой горы.

— И тем не менее я попытаюсь его доставить.

— Валяйте, — сказала она и пошла по коридору, раздирая коленями юбку.

Я посмотрел в окно, увидел, что впереди у меня — опять целый день, побрился и пошел вниз пить кофе. Потом я поднялся к своему номеру и постучал. Внутри послышался странный звук — как будто в бочке с пухом дудели на гобое. Тогда я вошел. Дверь я накануне не запер.

Был уже одиннадцатый час.

Вилли лежал на кровати. На том же месте, в том же смятом пиджаке, со сложенными на груди руками и бледным ясным лицом. Я подошел к кровати. Голова его осталась неподвижной, но глаза повернулись в мою сторону — так, что я удивился, почему не слышу скрипа в глазницах.

— С добрым утром, — сказал я.

Он осторожно приоткрыл рот, оттуда высунулся кончик языка и медленно полз по губам, проверяя и одновременно смачивая их. Затем он слабо улыбнулся, словно пробуя, не лопнет ли кожа на лице. И поскольку она не лопнула, прошептал:

— Кажется, я вчера напился?

— Да, удачнее слова не подберешь,— ответил я.

— Это со мной в первый раз,— сказал он.— Я никогда не напивался. Только раз в жизни попробовал виски.

— Знаю. Люси не одобряет спиртного.

— Но она, наверное, поймет, когда я ей расскажу. Поймет, что меня довело до этого.— И он погрузился в задумчивость.

— Как ты себя чувствуешь?

— Нормально,— сказал он и принял сидячее положение, свесив ноги на пол. Он сидел в носках, прислушиваясь к напряженным процессам в своем организме.— Да,— заключил он,— нормально.

— Ты едешь на митинг?

Он с усилием повернул голову и посмотрел на меня, причем на лице его изобразился вопрос, как будто отвечать была моя очередь.

— Почему ты спрашиваешь?

— Ну, столько всяких событий...

— Да,— сказал он.— Еду.

— Дафи и Сэди уже отбыли. Дафи хочет, чтобы ты приехал пораньше и пообщался с народом.

— Хорошо,— сказал он. Затем, упершись взглядом в воображаемую точку на полу метрах в трех от своих носков, снова высунул язык и стал облизывать губы.— Пить хочется,— сказал он.

— Обезвоживание.— объяснил я.— результат чрезмерного принятия алкоголя. Но только так его и можно принимать. Только так он приносит человеку пользу.

Однако он не слушал. Он встал и ползлелся в ванную.

Я услышал плеск воды, шумные глотки и вздохи. Он, должно быть, пил из крана. Примерно через минуту звуки смолкли. Некоторое время было тихо. Потом раздался новый звук. Потом мучительный процесс окончился.

Он появился в дверях, цепляясь за косяк, с выраженным печальной укоризны на лице, орошенном холодным потом.

— Зачем ты на меня так смотришь,— сказал я,— виски было хорошес.

— Меня вырвало,— сказал он с тоской.

— Ну, не тебя первого, не тебя последнего. Кроме того, теперь ты можешь съесть горячий, жирный, сытный кусок жареной свинины.

Эта шутка, по-видимому, не показалась ему удачной. Как, впрочем, и мне. Но неудачной она ему тоже не показалась. Он просто держался за косяк и смотрел на меня, как глухонемой на незнакомца. Затем он еще раз удалился в ванную.

— Я закажу тебе кофе,— крикнул я,— он тебя взбодрит!

Но он не взбодрил. Вилли выпил его, но он даже не успел дойти до места назначения.

Потом он прилег. Я положил ему на лоб мокрое полотенце, и он закрыл глаза. Руки его покоились на груди, и веснушки выглядели, как крапинки ржавчины на отшлифованном алебастре.

В четверть двенадцатого позвонил портье и сказал, что м-ра Старка ожидают два джентльмена с машиной — отвезти его на митинг. Я прикрыл трубку рукой и обернулся к Вилли. Глаза его были открыты и смотрели в потолок.

— За каким чертом тебе ехать на митинг?—спросил я.— Я им скажу, чтоб убирались.

— Я поеду на митинг,— возвестил он загробным голосом, по-прежнему глядя в потолок.

Тогда я спустился в холл, чтобы отделаться от двух местных полулидеров, которые готовы были ехать с кандидатом хоть на кладбище — лишь бы попасть в газеты. Я их спровадил. Я сказал, что м-ру Старку нездоровится и мы с ним выедем примерно через час.

В двенадцать часов я повторил кофейную процедуру. Она не дала желаемого эффекта. Дала нежелательный. Позвонил Дафи, он хотел знать, какого черта мы

не едем. Я посоветовал ему приступить к раздаче хлебов и рыб и молиться богу, чтобы Вилли приехал к двум.

— В чем дело? — спросил Дафи.

— Друг мой, — ответил я, — чем позже вы узнаете, тем легче будет у вас на душе. — И повесил трубку.

Ближе к часу, после того как Вилли сделал еще одну неудачную попытку выпить кофе, я сказал:

— Слушай, Вилли, зачем тебе ехать? Почему бы тебе не остаться? Передай им, что ты болен, и избавь себя от лишних огорчений. А попозже, если...

— Нет, — сказал он и, с трудом приподнявшись, сел на край кровати. Лицо у него было ясное и одухотворенное, как у мученика, восходящего на костер.

— Ладно, — отозвался я без энтузиазма, — если ты так уперся, остается последнее средство.

— Не кофе? — спросил он.

— Нет, — ответил я и, раскрыв чемодан, достал новую бутылку. Я налил стакан и дал ему. — Если верить старикам, лучший способ — залить колотый лед двумя частями абсента и добавить одну часть ржаного виски. Но нам не до тонкостей. При сухом законе.

Он выпил. Была томительная пауза, затем я перевел дух. Через десять минут я повторил вливание. Потом я велел ему раздеться и наполнил ванну холодной водой. Пока он лежал в ванне, я позвонил портю и заказал машину. После этого я зашел в номер Вилли, чтобы принести ему другой костюм и свежее белье.

Он кое-как оделся, сел на край кровати, и на груди его появилась надпись: «Не кантовать! Стекло. Верх». Я отвел его в машину.

Потом мне пришлось вернуться за текстом речи, который остался в верхнем ящике стола. Текст может ему пригодиться, объяснил он, когда я сел в машину. Может, у него отшибло память, и тогда придется читать по бумажке.

— Про белого бычка и гуся-губернатора, — сказал я, но он пропустил это мимо ушей.

Драндулет поехал, подпрыгивая по щебенке. Вилли откинулся на спинку и закрыл глаза.

Вскоре я увидел рощу и на ее опушке — ярмарочные сооружения, ряды фургонов, колясок, дешевых автомобилей, а в синем небе — поникший на древке американский флаг. Потом, перекрывая дребезжание нашего рыдвана, донеслись обрывки музыки. Дафи помогал пищеварению масс.

Вилли протянул руку к бутылке:

— Дай еще.

— Осторожнее, — сказал я. — Ты ведь не привык. Ты уже...

Но он уже поднес ее ко рту, и я решил не тратить слов понапрасну, тем более что их все равно бы заглушило бульканье в его горле.

Когда он вернул мне бутылку, ее уже не стоило класть в карман. Я наклонил ее, но того, что собралось в уголке, не хватило бы и школьнице.

— Ты уверен, что не хочешь ее прикончить? — вежливо осведомился я.

Рассеянно помотав головой, он сказал:

— Нет, спасибо. — И передернулся, словно его знобило.

Тогда я допил остатки и выкинул пустую поллитровку в окно.

— Постарайся подъехать поближе, — сказал я водителю.

Он подъехал довольно близко; я вылез, помог Вилли и расплатился с шофером. Затем мы продрейфовали по бурой утопанной траве к трибуне — и глаза Вилли обозревали далекие горизонты, а толпы вокруг словно не было, и оркестр отрывал «Кейзи Джонса».

Я бросил его под палящим солнцем, на бурой лужайке возле трибуны, и он остался посреди чужой страны, одинокий, погруженный в грезы.

Я нашел Дафи и сказал:

— Груз доставлен, пожалуйста расписочку.

— Что с ним стряслось? — поинтересовался Дафи. — Он же не пьет. Он пьян?

— Он в рот не берет спиртного,— ответил я.— Просто он был на пути в Дамаск, увидел великий свет и окосел от него.

— Что с ним стряслось?

— Надо почаще заглядывать в священное писание,— ответил я и подвел его к кандидату. Это была трогательная встреча. Я смешался с толпой.

Давка была порядочная, ибо запах пригорелого мяса может творить чудеса. Люди уже собирались перед помостом и влезали на сидячие места. Сбоку на помосте стоял оркестр, который играл теперь «Ура, ура, вся шайка в сборе». Тут же на помосте находились два местных деятеля без политического будущего, заезжавшие утром в гостиницу, еще один человек — должно быть, проповедник, которому полагалось прочесть вступительную молитву,— и Дафи. И с ними был Вилли, тихо исходивший потом. Они сидели рядом на стульях перед задником из флагов и позади накрытого флагом стола, где стоял большой кувшин воды и несколько стаканов.

Первым встал один из местных деятелей, который обратился к друзьям и землякам и представил проповедника, который обратился к Всемогущему Господу, вытягивая сверху тощее костистое лицо и жмурясь на солнце. Затем первый местный деятель снова встал и окольными путями начал подбираться к тому, чтобы представить слово второму местному деятелю. Поначалу я думал, что от второго местного деятеля будет больше проку, ибо его сильной стороной была, по-видимому, не живость ума, а выносливость. Но проку в нем оказалось не больше, чем в первом местном деятеле, проповеднике или Всемогущем Господе. Просто ему понадобилось больше времени, чтобы сознаться в этом и кивнуть на Вилли.

Потом Вилли одиноко стоял у стола, говорил «друзья мои», неосмотрительно поворачивал голову из стороны в сторону, рылся в правом кармане пиджака, пытаясь выудить текст речи.

Пока он копошился со своими листками и водил по ним смущенным взглядом, словно там было написано на иностранном языке, кто-то дернул меня за рукав. Сэди.

— Ну, как успехи? — спросила она.

— Смотрите сами,— ответил я.

Она внимательно поглядела на помост и спросила:

— Как вам это удалось?

— Стаканчик на опохмелку — и все дела.

Она снова посмотрела на помост.

— Стаканчик,— сказала она.— Тут бочкой пахнет, а не стаканчиком.

Я критически оглядел Вилли, который стоял наверху, потев, качаясь и безмолвствуя под палящим солнцем.

— Да, вид у него какой-то пришибленный,— заметила она.

— Он с утра не в себе,— отозвался я.— С тех пор, как проснулся.

Она продолжала его разглядывать — почти так же, как прошлой ночью, когда его безжизненное тело покоилось в кровати. Во взгляде ее не было ни жалости, ни презрения. Это был оценивающий взгляд, в нем угадывалась работа мысли. Затем она сказала:

— Нет, наверно, врожденное.

Тон ее слов подразумевал, что для нее это вопрос решенный. Но она продолжала смотреть на Вилли с прежним выражением.

Кандидат еще держался на ногах, правда, прислонившись боком к столу. Он даже начал разговаривать. Он уже назвал их своими друзьями — трижды или четырежды, на разные лады — и объяснил, как он рад, что здесь очутился. Теперь он стоял, впевнившись обеими руками в текст речи, нагнув голову, как безрогая корова среди злых собак, и обливался потом под жарким солнцем. Потом он взял себя в руки и выпрямился.

— Вот тут у меня речь написана,— сказал он.— Речь о том, что нужно штату. Но не мне вам объяснять, что нужно штату. Вы и есть штат. Вы сами знаете, что вам нужно. Поглядите на свои штаны. Разве нет у вас заплат на

коленях? Прислушайтесь к своему брюху. Разве в нем не бурчит от голода? Посмотрите на ваш урожай. Разве не гнил он на корню из-за того, что нету дорог и вы не можете свезти его на рынок? Посмотрите на ваших детей. Разве не растут они темными, как ночь и как вы, из-за того, что у них нет школы? — Вилли замолчал и, мигая, оглядел толпу. — Нет, — сказал он. — Я не буду читать вам проповеди. Я не буду рассказывать, что вам нужно, вы это лучше знаете. Но я расскажу вам одну историю.

Он замолчал, оперся на стол и глубоко вздохнул; пот катился с него ручьями.

Я шепнул Сэди:

— К чему он клонит?

— Помолчите, — сказала она, не сводя с него глаз.

Он снова начал.

— Это смешная история, — сказал он. — Приготовьтесь посмеяться. Вы надрвете животики — до того она смешная. Это история про вахлака. Про голодранца, такого же, как вы. Да, как вы. Он рос, как все деревенские пацаны, у проселочных дорог и врагов, на севере штата. Он знал, что такое быть вахлаком. Он знал, что такое вставать до зари, шлепать босиком по навозу, доить и кормить корову и выносить помои до завтрака, чтобы с восходом выйти из дому и пройти шесть миль до однокомнатной халупы, которая называется школой. Он знал, что такое расплачиваться большими налогами за эту развалюху из горбыля, за размытые дороги, где ты месишь глину, ломаешь тележные оси и должен погонять своих мулов камнями. Да, он знал, каково быть вахлаком — и зимой и летом. Он решил, что если он хочет чего-то добиться, то должен добиться сам. И он сидел по ночам за книгами, учил законы и надеялся, что они помогут ему исправить жизнь. Он не ходил ни в какие школы и университеты. Он учил законы ночью, проработав целый день в поле. Для того, чтобы стало легче жить. И ему и другим, таким же, как он. Я вам не буду врать. Он не сразу начал думать о других вахлаках и как он их осчастливит. Он начал думать раньше всего о себе и заодно задумался о других. О том, что он не поможет себе, не помогая другим, и не поможет себе, если другие ему не помогут. Один за всех и все за одного. Вот что он понял. И была на то воля божья и грозное знамение его, чтобы он понял это в тот страшный день два года назад, когда первая кирпичная школа в округе обрушилась, потому что политиканы ее построили из негодного кирпича. и убило и искалечило десять ни в чем не повинных ребятишек. Вы знаете эту историю. Он воевал с политиканами, чтобы они не строили школу из негодного кирпича, но они победили, и школа рухнула. И тогда он задумался. Это не должно повториться. Люди верили ему, потому что он воевал против негодного кирпича. А некоторые столичные деятели поняли это, приехали в дом его папаша на большой красивой машине и сказали, что помогут ему стать губернатором.

Я ущипнул Сэди за руку.

— Неужели он хочет...

— Замолчите, — прошипела она.

Я посмотрел на Дафи, сидящего на помосте за спиной у Вилли. Лицо у Дафи было встревоженное. Оно было красное, круглое, потное, и оно было встревоженное.

— Да, они наговорили с три короба, — продолжал Вилли. — А он и уши развесил. Он заглянул себе в душу и решил, что попытается изменить жизнь. При всем своем смиреннии он решил, что должен попытаться. Он был простым человеком, обыкновенным деревенским парнем, но верил, как все мы здесь верим, что даже самый простой, самый бедный человек может стать губернатором, если его земляки решат, что у него хватит на это ума и характера. Эти люди в полосатых брюках раскусили его — и обвели вокруг пальца. Они стали рассказывать ему, какая никчемная флюгарка Мак Мерфи, и что Джо Гарисон — слуга столичных заправил, и как они хотят, чтобы вахлак вмешался и дал штату честное правительство. Вот что они говорили. Но... — Вилли замолчал и воздел руку с манускриптом к небесам. — Знаете вы, кто они были? Холуи и подручные Джо Гарисона, и хо-

тели они, чтобы вахлак отнял у Мак Мерфи вахлацкие голоса! Догадался я об этом? Нет, не догадался. Нет, потому что я поверил их елейным речам. Я бы и сегодня не знал правду, если бы у этой женщины, — он показал на Сэди, — если бы у этой вот женщины...

Я голкнул локтем Сэди и сказал:

— Сестренка, считай себя безработной.

— ...если бы у этой чудесной женщины не хватило честности и благородства открыть мне глаза на их гнусную аферу, от которой смрад идет на все небо.

Дафи был уже на ногах и робко, бочком двигался к переднему краю помоста. Он бросал отчаянные взгляды то на оркестр, словно умоляя его заиграть, то на толпу, словно хотел что-нибудь сказать ей, но не мог придумать что. Наконец он пробрался к Вилли и зашептал ему на ухо.

Но едва он открыл рот, как Вилли круто повернулся к нему.

— Вот! — взревел Вилли. — Вот! — И взмахнул рукописью. — Вот он, Иуда Искарнот, холуй и подчищала!

И снова перед лицом Дафи мелькнула его правая рука с листками. Дафи пытался что-то ему сказать, но Вилли не слушал — он махал рукописью перед носом Дафи и кричал:

— Смотрите! Смотрите на него!

Дафи, отступая, оглянулся на оркестр, протянул к нему руки и завопил:

— Играйте! Играйте «Звездное знамя»!

Но оркестр не заиграл. А когда Дафи опять повернулся к Вилли, тот произвел трепещущей рукописью особенно энергичный пасс перед его носом и крикнул:

— Вот он, гарисоновский лакей!

— Неправда! — закричал Дафи, пятясь от неумолимой длани.

Не знаю, сделал ли это Вилли умышленно. Но, так или иначе, он это сделал. Не то чтобы он спихнул Дафи с помоста. Он просто шел за Дафи, а Дафи, пятясь по краю помоста, исполнял свой танец — воздушное, застенчивое адажио, — а перед лицом у него вертелись чужие руки, и лицо его было — удивленная ватрушка с дырой посередине, и из дыры не выходило ни звука. Ни звука не слышалось и на двух гектарах потеющей толпы. Толпа следила за танцем Дафи.

Последнее па он сделал в воздухе. Он приземлился и полусидя-полулежа застыл, спиной к помосту, с разинутым ртом. И опять изо рта не вышло ни звука — он даже дышать забыл.

Такое дело, а я — без камеры!

Вилли не потрудился заглянуть через край помоста.

— Пусть валяется, боров! — крикнул он. — Пусть валяется, боров, а вы, голодранцы, слушайте! Да, вы тоже голодранцы, и вас они тоже дурачили каждый день, как меня. Ведь они думают, что мы для этого созданы. Сидеть в дураках. Но на этот раз я сам кого-то надую. Я выхожу из игры. А почему — знаете?

Он замолчал и резким движением левой руки отер с лица пот.

— Не потому, что задето мое мелкое самолюбие. Оно не задето, в жизни я так хорошо себя не чувствовал, потому что теперь я знаю правду. Которую мне давно полагалось знать. Если голодранцу что-то нужно, он должен взять сам. Эти златоусты с кадиллаками ему не подарят. Когда я снова захочу стать губернатором, я приду сам, без них, и они будут харкать кровью. Но сейчас я ухожу. Я отказываюсь в пользу Мак Мерфи. Видит бог, все, что я сказал о нем, — правда, и я повторю ее где угодно. Но я соберу голоса для него. Я и другие вахлаки — мы так пришибем Джо Гарисона, что он в золотари свою кандидатуру не выставит. И тогда мы посмотрим, как покажет себя Мак Мерфи. Это для него последний случай. Время пришло. Правда должна быть сказана — и я скажу ее. Я скажу ее всему штату — из края в край, — даже если мне придется ездить верхом на прутике или на краденом муле. И ни один человек — ни Гарисон, ни кто другой — мне рта не заткнет. Ибо я узрел свет и...

Я наклонился к Сэди:

— Слушайте. Мне надо позвонить. Я — в город, до первого телефона. Надо передать в газету. Вы оставайтесь здесь и, ради бога, постарайтесь все запомнить.

— Хорошо, — сказала она, не обернувшись.

— Поймайте Вилли, когда тут кончится, и везите в город. Дафи вас не повезет, можете быть спокойны. Поймайте растяпу и сразу...

— Растяпа, х-х, — сказала она. И добавила: — Ну давайте, давайте.

Я ушел. Я пробирался через толпу вдоль края трибуны, а голос Вилли бил по моим барабанным перепонкам и стряхивал с дубов сухие листья. Обогнув трибуну, я оглянулся и увидел, как Вилли расшвыривает свои листки, которые падают, кружась, к его ногам, и колотит себя в грудь, крича, что правда там и незачем писать ее на бумажках. Он стоял среди листков, подняв руку, заголившуюся до локтя, с лицом мокрым и красным, как тертая свекла, с чубом на лбу и выпученными, сверкающими глазами, пьяный, как сапожник, а за ним висели сине-белые красные флаги и над ним — раскаленные медные небеса.

Я прошел немного по щебенке, а потом поймал грузовик, ехавший в город.

Ночью, когда все успокоилось и поезд, в котором сидел Дафи (с отчетом для Джо Гарисона), уже тащился под звездами по полевой степи, а Вилли уже несколько часов лежал в постели, отсыпаясь после похмелья, я в своем номере аптоской гостиницы взял со стола бутылку и сказал Сэди:

— Не хотите ли еще лекарства, которое ломает прутья и вышибает доски?

— Что? — сказала Сэди.

— Вы все равно не поймете мысли, которую я выразил в столь грамматически безупречной форме, — сказал я и налил ей виски.

— А! Я забыла. Вы ведь ходили в университет.

Да, это я с грамматической безупречностью ходил в университет, но, видимо, не усвоил там всего, что полагалось бы знать человеку.

Вилли сдержал слово. Он собрал голоса для Мак Мерфи. Он не скакал на прутиках, не покупал мулов и не крал. Но он заездил до полусмерти свой приличный подержанный автомобиль — он гонял на нем по изрытой щебенке, по пыли, доходящей до ступиц, а в дождь застревал в черной грязи и сидел, дожидаясь, когда на подмогу придет пара мулов. Он стоял на приступках школ, на ящиках, одолженных в мануфактурной лавке, на возах, на верандах придорожных лавок и говорил.

— Друзья, мякинные головы, голодранцы и братья вахлаки, — начинал он, наклоняясь вперед, всматриваясь в их лица. И замолкал, выжидая, пока до них дойдет.

В тишине толпа начинала шевелиться и негодовать — они знали, что так их обзывают за глаза, но никто еще не осмеливался сказать им это в лицо.

— Да, — говорил он, кривя рот, — и больше вы никто, и нечего злиться, если я говорю правду. А хотите злиться — злитесь, но я все равно скажу. Больше вы никто. И я тоже. Я тоже голодранец, потому что всю жизнь копался в земле. Я мякинная башка, потому что меня охмуряли златоусты в шикарных автомобилях: на тебе соску и не плачь! Я вахлак, и они хотели, чтобы я заставил вахлаков голосовать, как им нужно. Но я встал с четверенек, потому что даже собака может этому научиться — дай только срок. Я научился. Не сразу, но научился и теперь стою на своих ногах. А вы — вы стоите? Хоть этому вы научились? Сможете вы этому научиться?

Он говорил им неприятные вещи. Он давал им неприятные прозвища, но каждый раз, почти каждый, беспокойство и негодование стихали, и он наклонялся к ним, выпучив глаза, и лицо его лоснилось под горячим солнцем или в красных отблесках факелов. Они слушали, а он приказывал им подняться с четверенек.



— Идите голосовать,— говорил он.— Сегодня голосуйте за Мак Мерфи,— говорил он,— потому что у вас нет другого кандидата. Голосуйте все как один — покажите им, на что вы способны. Выбирайте его и, если он обманет, пригвоздите к позорному столбу. Да,— говорил он, наклоняясь,— пригвоздите его, если он обманет. Дайте мне молоток, и я это сделаю своими руками. Голосуйте,— говорил он.— Выбирайте Мак Мерфи,— говорил он.

Он наклонялся к ним и внушал:

— Слушайте меня, вахлаки. Слушайте меня и взгляните в лицо святой, не засиженной мухами правде. Если у вас осталась хоть капля разума, вы увидите и поймете ее. Вот она, эта правда: вы — чернь, и никто никогда не помогал черни, кроме нее самой. Эти, из города, они вам не помогут. Все в наших руках и в божьих. Но бог-то бог, да сам не будь плох.

Он преподносил им это, а они стояли перед ним, засунув большие пальцы за лямки комбинезонов, и шурились на него из-под полей надвинутых шляп, словно он был пятнышком на другом краю долины или бухты и они еще не могли сообразить, что там виднеется, или как будто на том краю долины или поля вдруг зашевелился кустарник, и они гадали, что оттуда выскочит,— а под полями надвинутых шляп челюсти трудились над жвачкой в движении пунктуальном и неутомимом, как ход Истории. А Время — ничто для быдла и для Истории тоже. Они наблюдали за Вилли, и если бы вы взгляделись в их лица, то заметили бы, как в них что-то просыпается. Они стояли совсем тихо, даже не переминались с ноги на ногу,— у них талант быть тихими, вы понаблюдайте их, когда они приезжают в город и стоят где-нибудь на углу, не шевелясь и не разговаривая, или сидят на короточках у дороги и просто смотрят туда, где дорога переваливает через холм,— и прищуренные глаза их не мигая смотрели на человека, стоявшего перед ними. У них талант быть тихими. Но иногда тишина нарушается. Она обрывается внезапно, как натянутая струна. Один из них тихо сидит на радении под открытым небом и вдруг поднимет руки и вскочит с воплем: «О господи, я увидел его имя!» Или один из них спускает курок и сам удивляется звуку выстрела.

Вилли стоит перед ними. Под солнцем или в красных отблесках бензиновых факелов.

— Вы спрашиваете, какая у меня программа. Вот она, голодранцы. И запомните как следует. Распните их! Распните Джо Гарисона. Распните всех, кто стоит у вас на пути. Распните Мак Мерфи, если он обманет. Распните всех, кто стоит у вас на пути. Дайте мне молоток, и я это сделаю своими руками. Пригвоздите их к двери хлева! И не сгоняйте с них навозных мух индюшачьими крылышками!

Да, это был Вилли. Имя у этого человека было прежнее.

Губернатором стал Мак Мерфи. И не без помощи Вилли: больше всего голов было подано в тех округах, где он выступал, и цифры оказались рекордными за всю историю штата. Но Мак Мерфи с самого начала не знал, как себя с ним держать. Сперва он отрекся от Вилли, потому что тот отзывался о нем не очень лестно, но потом, когда стало ясно, что к Вилли прислушиваются, он заезжил. А под конец Вилли встал на дыбы и начал рассказывать, как люди Мак Мерфи предлагали оплатить его расходы, но он выступает от себя и он не помощник Мак Мерфи, хотя призывает голосовать за Мак Мерфи. Он сам за себя заплатит, даже если придется в последний раз перезаложить отцову ферму. Да, и если у кого нет двух долларов, чтобы заплатить избирательный налог, пусть придет и скажет прямо, и он, Вилли Старк, за него заплатит из денег, взятых под заклад отцовой фермы. Вот до чего он был убежден в своем деле.

Мак Мерфи пришел к власти, а Вилли вернулся в Мейзон-Сити и занялся адвокатской практикой. Год или около того он перебивался делами о покраже кур, о потравах, о мелкой поножовщине (непременном развлечении на субботних танцах в Мейзон-Сити). Затем на мосту через реку Акамалджи, который строился штатом, обвалилась какая-то ферма, и при аварии пострадала бригада рабочих. Двое или трое из них погибли. Многие рабочие были из Мейзон-Сити и взяли адвокатом Вилли. Тут о нем написали все газеты. А дело он выиграл. Потом в

округе Акамалджи, к западу от округа Мейзон, нашли нефть. и Вилли участвовал в тяжбе нескольких независимых арендаторов с нефтяной компанией. Его сторона выиграла, и он впервые в жизни пощупал бумажные деньги. В большом количестве.

Все это время я не видел Вилли. Снова я встретился с ним только в 1930 году, когда его выдвинули кандидатом на первичных выборах в демократической партии. Но это были не выборы. Это был ад крошечный, а также бой в Крыму и субботняя ночь в салуне Кейзи, вместе взятые, и когда дым рассеялся, на стенах не осталось висеть ни одной картины. И не было никакой демократической партии. Был только Вилли с чубом на глазах, в прилипшей к животу рубашке. В руках он держал топор и кричал: «Крови!» А на заднем плане, под беспокойным красноватым небом, усеянным зловещими белыми пятнами, похожими на клочья пены, по обе стороны от Вилли маячили две фигуры: Сэди Бёрк и высокий сутулый мужчина с неторопливой речью, грустным загорелым лицом и тем, что называют глазами мечтателя. Мужчина был Хью Милер — юридический факультет Гарварда, эскадрилья Лафайета, Croix de Guerre <sup>1</sup>, чистые руки, честное сердце, без политического прошлого. Этот человек сидел тихо многие годы, пока кто-то (Вилли Старк) не вложил в его руку бейсбольную биту, и тогда он почувствовал, как его пальцы сами собой сомкнулись на рукояти. Он был мужчиной и был генеральным прокурором. А Сэди Бёрк была просто Сэди Бёрк.

За гребнем холма прятались, конечно, и другие люди. Например, джентльмены, которые некогда были преданы Джо Гарисону, но, обнаружив, что никакого Джо Гарисона больше не предвидится (на политическом горизонте), ощутили потребность в новых друзьях. И таким новым другом оказался Вилли. Он был для них последним прибежищем. Они решили наняться к Вилли Старку и расти вместе со страной. Вилли их нанял и в результате получил голоса избирателей, не принадлежащих к разновидности сиволапых. Немного спустя Вилли нанял даже Крошку Дафи, который стал начальником дорожного отдела, а затем, в последний срок правления Вилли, — помощником губернатора. Я не мог понять, для чего он нужен Вилли. Иногда я спрашивал Хозяина:

— Зачем ты держишь этого обормота?

Он только смеялся и ничего не отвечал. Или он говорил:

— Черт возьми, должен ведь кто-то быть помощником губернатора, а они все на одно лицо.

Но однажды он сказал:

— Я держу его потому, что он мне кое о чем напоминает.

— О чем?

— О том, чего я не хочу забывать.

— О чем же?

— О том, что, если они приходят к тебе с задушевными разговорами, лучше их не слушать. И это я не намерен забывать.

Значит, вот в чем было дело. Крошка был одним из тех, кто приезжал к Вилли на большой машине и вел задушевные разговоры, когда Вилли был маленьким провинциальным адвокатом.

Но в этом ли было дело? Вернее, только ли в этом? Мне казалось, что есть еще одна причина. Хозяин, наверно, испытывал какое-то удовлетворение от того, что мог вознести Крошку Дафи. Он уничтожил Крошку Дафи, а потом собрал по кусочкам — и Дафи стал творением его рук. Хозяину было приятно смотреть на золотую оснастку Дафи, на его бриллиантовый перстень и думать, что все это бу-тафория, пшик, что стоит ему пальцем шевельнуть — и Дафи растает, как струйка дыма. В каком-то смысле карьера Крошки была не только делом рук Хозяина, но и его мстью Крошке, ибо всякий раз, когда Вилли обращал на Крошку сонный, задумчивый взгляд, тот вспоминал, холодея жирным своим сердцем, что стоит Хозяину моргнуть, и от него останется одно воспоминание. В каком-то смысле

<sup>1</sup> Военный крест — французский орден.

успех Крошки был для Вилли окончательным подтверждением его собственного успеха.

Но только ли в этом было дело? В конце концов я решил, что главная причина запрятана глубже. Странный вывих природы сделал Крошку Дафи вторым «я» Вилли Старка; гадливость и оскорбления, которые доставались Крошке от Хозяина, были выражением неосознанной внутренней необходимости и, в сущности, обращены одним «я» Вилли Старка на его другое «я».

Но это я понял гораздо позже, когда все кончилось.

А пока что Вилли просто стал губернатором, и никто не знал, чем это кончится.

А пока что — во время предвыборной кампании — я потерял работу.

Работал я политическим обозревателем в «Кроникл». Я вел колонку. Я был элитой.

В один прекрасный день Джим Медисон призвал меня на зеленый ковер, который окружал его стол, как пастбище.

— Джек, — сказал он, — тебе известно, какова линия «Кроникл» на этих выборах?

— Конечно, — ответил я. — «Кроникл» хочет переизбрать Сэма Мак Мерфи за его выдающиеся достижения на административном поприще и за его безупречную репутацию как государственного деятеля.

Он кисло улыбнулся и сказал:

— Да, она хочет переизбрать Сэма Мак Мерфи.

— Прошу прощения, я забыл, что я в лоне семьи. Я думал, что еще пишу свой обзор.

Улыбка сошла с его лица. Он поиграл карандашом.

— Насчет твоих обзоров я и хотел поговорить.

— Ну? — сказал я.

— Ты не можешь немного подбавить пару? У нас ведь выборы, а не собрание Эпвортской Лиги<sup>1</sup>.

— Правильно. Выборы.

— А ты не можешь подбавить пару?

— Когда речь идет о Сэме Мак Мерфи, — сказал я, — у тебя даже мухи нет, чтоб сделать слона. Я делаю что могу.

Он на минуту задумался. Затем начал:

— Видишь ли, то, что этот Старк — твой приятель, вовсе...

— Никакой он мне не приятель, — огрызнулся я. — Я его даже не видел с прошлых выборов. Лично мне все равно, кто будет губернатором штата, или каких размеров свинья сядет на это место. Но я человек подневольный и стараюсь изо всех сил, чтобы на страницах «Кроникл» не отразилось мое пламенное убеждение, что Мак Мерфи — одна из самых фантастических свиней...

— Тебе известна линия «Кроникл», — мрачно произнес Джим Медисон, изучая изжеванный, обсосанный окуроч своей сигары.

День был знойный, ветер от вентилятора целиком доставался Джиму Медисону, а не мне, и в горле у меня тянулась нитка кислой, желтой на вкус слюны, вроде той, которая появляется при расстройстве желудка, а голова грещала, как сушеная тыква, в которой перекачивается пара семечек. Поэтому я посмотрел на Джима Медисона и сказал:

— Хорошо.

— Что ты хочешь этим сказать? — спросил он.

— То, что я сказал, — ответил я и направился к двери.

— Послушай, Джек, я... — начал он и положил окуроч в пепельницу.

— Знаю, — сказал я, — у тебя жена и дети и надо платить за мальчика в Принстоне.

Я сказал это на ходу.

<sup>1</sup> Религиозная организация молодых методистов.

За дверью в коридоре стоял бачок с холодной водой; я подошел к нему, взял остроконечный бумажный стаканчик и выпил с десятком стаканчиков ледяной воды. пытаюсь смыть с неба эту желтую пакость. Потом я постоял в коридоре, ощущая тяжесть в животе, словно туда засунули пузырь со льдом.

Теперь я мог спать допоздна, а проснувшись, лежать неподвижно и просто смотреть на горячие, цвета топленого масла лучи, проникавшие сквозь дырки в шторе, потому что моя гостиница была не лучшей в городе, а мой номер не лучшим в гостинице. Когда моя грудь поднималась при вдохе, мокрая простыня прилипала к голому телу, потому что в летнее время здесь спят только так. С улицы доносился лязг трамваев и отдаленные гудки машин — не слишком громкая, но пестрая и не ослабевающая смесь звуков, ворсисто-грубая для нервных окончаний; изредка слышался стук подносов, потому что мой номер был по соседству с кухней. А время от времени там заводил свою песню негр.

Я мог лежать, сколько душе угодно, и тасовать в голове картинки того, что бывает нужно человеку — кофе, женщина, деньги, выпивка, белый песок и синее море, — а потом скидывать их одну за одной, ссыпать, словно колоду карт, с ладони. Наверно, вещи, которые вам нужны, похожи на карты. Они вам нужны не сами по себе, хотя вы этого не понимаете. Карта нужна вам не потому, что вам нужна карта, а потому, что в совершенно условной системе правил и ценностей и в особой комбинации, часть которой уже у вас на руках, эта карта приобретает значение. Но, скажем, вы не участвуете в игре. Тогда, даже если вы знаете правила, карта ничего не означает. Все они одинаковы.

Вот я и лежал, хотя знал, что немного погодя встану — не решу встать, а просто окажется, что я уже стою посреди комнаты; и точно так же с некоторым изумлением обнаружу потом, что я пью кофе, размениваю деньги, развлекаюсь с девушкой, потягиваю виски, плаваю в воде. Как большой амнезией за пасьянсом в лечебнице. Я встану и сдам себе карты, да-да. Попозже. А сейчас я буду лежать, зная, что вставать мне нет нужды, и испытывая блаженную пустоту и усталость, словно святой после ночной беседы с богом. Ибо Бог и Ничто имеют много общего. Взгляните на секунду любому из них в лицо — и эффект будет один и тот же.

Ложился я спозаранку. Иногда сон становился серьезным и захватывающим делом. Вы уже не спать ложитесь для того, чтобы встать утром, а встаете для того, чтобы опять лечь спать. И среди дня вы ловите себя на том, что стоите неподвижно, ждете и прислушиваетесь. Вы — как мальчик на железнодорожной станции, который хочет уехать на поезде, а поезда все нет. Вы смотрите на полотно, но пятнышко черного дыма никак не появляется. Вы слоняетесь по перрону и вдруг замираете на полшагу и прислушиваетесь. Ничего не слышно. Тогда вы становитесь коленками на шпалы в своем выходном костюмчике, за который мать пообрывает вам уши, прижимаетесь щекой к рельсу и ждете первого беззвучного шороха, который придет задолго до того, как черное пятнышко дыма начнет расти в небе. Так среди дня вы прислушиваетесь к наступлению ночи — задолго до того, как она выползет из-за горизонта, задолго, задолго до того, как надвинется на вас ее гремящая жаркая черная махина и черные вагоны, заскрежетав, остановятся точно вкопанные, и проводник с лоснящимся черным лицом подсадит вас на ступеньки и скажет: «Сюда, сар, молодой хозяин, сюда, сар».

В таком сне вам ничего не снится, но вы постоянно ощущаете присутствие сна, словно вам давно снится, что вы спите, и в этом внутреннем сне вам тоже снится, что вы спите, спите и видите сон о сне, — и так без конца, до самой сердцевины.

Так было со мной после того, как я потерял работу. И не в первый раз. Я уже испытал это дважды. Я даже дал этому название — Великая Спячка. Еще тогда, когда ушел из университета — за несколько месяцев до окончания дипломной работы по американской истории. Она была почти закончена и преподавателям нра-

вилась. Отпечатанные листки стопкой лежали на столе возле пишущей машинки. Рядом стояли ящики с карточками. Я вставал поздно, смотрел на них и видел, как углы верхнего листка заворачиваются вокруг пресс-папье. Я видел их вечером, после ужина, ложась спать. Наконец однажды утром я вышел за дверь и больше не вернулся — оставил их на столе. А во второй раз Великая Спячка напала на меня, когда я ушел из своей квартиры и Лоис возбудила дело о разводе.

На этот раз не было ни американской истории, ни Лоис. Но Великая Спячка была.

Встав, я начинал бездельничать. Я ходил в кино, торчал в барах, плавал или ехал в загородный клуб и лежал там на траве, глядя, как пара ражих коблов гоняет ракетками маленький белый мячик, вспыхивающий на солнце. А иногда играла девушка, и ее короткая белая юбка завинчивалась и полоскалась вокруг загорелых бедер, тоже вспыхивая на солнце.

Несколько раз я навещал Адама Стентона, человека, с которым мы вместе выросли в Бёрденс-Лендинге. Он был теперь выдающимся хирургом, и под нож к нему лезло больше народу, чем он успевал резать; он был профессором университета, без конца печатал статьи в научных журналах и читал доклады на съездах в Нью-Йорке, Балтиморе, Лондоне. Он так и не женился. Не хватало времени, говорил он. Ему ни на что не хватало времени. Но для меня ему изредка удавалось выкроить время, и тогда он сажал меня на обшарпанное кресло в своей обшарпанной квартире, где все было забито бумагами и цветная служанка развозила по мебели пыль. Я удивлялся, почему он так живет — ведь заработки у него должны быть неплохие, — но в конце концов понял, что он не берет ни гроша со многих своих пациентов. У него сложилась репутация простачка. А когда он получал деньги, то любой мог их у него выманить, если имел про запас хоть сколько-нибудь жалостливую историю. Единственным стоящим предметом в его квартире был рояль — действительно лучший, какой только можно было найти.

Почти все время, пока я находился у Адама, он сидел за роялем. Мне говорили, что он хорошо играет, я в этом не разбираюсь. Но послушать я мог, если кресло было мягкое и удобное. Я не раз говорил, и Адам, наверное, слышал, что к музыке я равнодушен; но либо он это забывал, либо не мог поверить, что такие люди бывают на свете. Как бы там ни было, он поворачивал ко мне голову и говорил:

— Это... нет, ты послушай... это же, ей-богу...

Но голос его замирал, и слова о том, какая же это, ей-богу, несказанная красота, так и оставались произнесенными. Он оставлял фразу висеть и медленно раскручиваться в воздухе, как кусок перетершейся веревки, смотрел на меня своими ясными, глубоко посаженными, льдисто-голубыми глазами — такие глаза и такой взгляд бывают у вашей совести в четыре часа утра, — а затем, в отличие от вашей совести, начинал улыбаться — не широкой, но смущенной, почти извиняющейся улыбкой, которая преображала этот крепко сжатый рот и квадратную челюсть и, казалось, говорила: «Черт, ну что я могу сделать, дружище, если у меня такой взгляд, если я не умею смотреть по-другому». Затем улыбка исчезала, он поворачивался к роялю и опускал руки на клавиши.

Рано или поздно, устав играть, он усаживался в другое обшарпанное кресло. Иногда, спохватившись, он мог налить мне виски с содовой, а иногда даже сам выпивал стаканчик — бледного, как солнечный свет зимой, и почти такого же крепкого. Мы сидели молча, потихоньку отхлебывали виски, и глаза его горели холодным голубым огнем — особенно голубым из-за смуглости кожи, туго обтянувшей кости его лица. Это было похоже на те времена, когда мы мальчишками уплывали из Бёрденс-Лендинга удить рыбу. Час за часом мы сидели в лодке под жарким солнцем — без единого слова. Или валялись на берегу. Или уходили в поход и после ужина лежали у дымного костра, чтобы спастись от москитов, и не произносили ни слова.

Может быть, Адам потому и сидел со мной, что я напоминал ему о Бёрденс-

Лендинге и о тех днях. Сам он не говорил об этом. Но один раз заговорил. Он сидел в кресле, глядя на свой стакан с глазной примочкой и медленно поворачивая его в длинных, твердых, нервных пальцах. Потом он поднял на меня взгляд и сказал:

— А хорошо нам жилось, правда? Когда мы были ребятами.

— Да,— сказал я.

— Ты, Анна и я,— сказал он.

— Да,— сказал я и подумал об Анне. Потом я сказал: — А сейчас тебе разве плохо живется?

Он принял вопрос на рассмотрение и с полминуты думал, словно вопрос был серьезным. Каковым он, возможно, и был. Потом Адам ответил:

— Знаешь, кажется, я никогда об этом не задумывался.— И немного по-  
года: — Нет, кажется, я никогда об этом не задумывался.

— Разве плохо тебе живется? Ведь ты знаменитый. Разве знаменитым плохо живется? — приставал я.

Я понимал, что человек не имеет права задавать такие вопросы, особенно таким тоном, как я, но отвязаться не мог. Ты рос с ним вместе — и он добился успеха, он знаменитый, а ты — неудачник, но обращается он с тобой, как раньше, словно ничто не изменилось. Именно это и заставляет тебя подковыривать — какими бы словами ты себя ни обзывал. Есть снобизм неудачников. Это — общество, это — старая школа, это — череп и кости, и нет усмешки кривее и высокомернее, чем усмешка пьяного, когда он привалится грудью к стойке рядом со старым приятелем, который сделался знаменитым, но совсем не изменился, или когда старый приятель приводит его к себе обедать и знакомит с хорошенькой ясноглазой женщиной и румяными ребятами. В запущенной комнате Адама не было хорошенькой женщины, но он был знаменитым, и я себе позволил.

А он этого даже не заметил. Он только обратил на меня свой правдивый голубой взгляд, слегка затуманенный мыслью, и сказал:

— Я вообще не задумываюсь о таких вещах.

Потом улыбка сделала этот фокус с его ртом, который в обычных обстоятельствах выглядел, как точный, чистый хирургический надрез, хорошо заживший, без всяких морщинок.

Теперь, в меру сил отыгравшись за свои неудачи, я мягко нажал на тормоза и ответил:

— Да, нам хорошо жилось, когда мы были ребятами — ты, Анна и я.

Да, Адаму Стентону, Анне Стентон и Джеку Бёрдену хорошо жилось у моря, в Бёрденс-Лендинге. С залива мог налететь, и налетал порою, шквал, небо застилал дождь, пальмы раскачивались нестройно, а потом пригибались разом, и листья их, как мокрая жуть, ловили последние отблески вспухшего, желтушного, клочковатого неба; но нам в нашем царстве у моря это было не страшно, мы прятались в белом доме, их доме или моем, стояли у окна и смотрели, как за дамбой, словно сбитые сливки, растет прибой. А позади нас в комнате сидел губернатор Стентон, или мистер Элис Бёрден, или оба, потому что они были друзьями, или судья Ирвин, потому что он тоже был другом, и не было на свете ветра, который осмелился бы нарушить покой губернатора Стентона, или мистера Элиса Бёрдена, или судьи Ирвина.

«Ты, Анна и я», — сказал мне Адам Стентон, и я сказал это ему. Поэтому однажды утром, выбравшись из постели, я позвонил Анне и сказал:

— Я давно о тебе не вспоминал, но на днях зашел к Адаму, и он сказал, что тебе, ему и мне хорошо жилось, когда мы были ребятами. Не пообедать ли нам с тобой по этому случаю? Пусть мы на костылях...

Она ответила, что согласна. До костылей, конечно, ей было далеко, но время мы провели не очень весело.

Она спросила, что я делаю, и я ответил ей:

— Ни черта. Жду, пока кончатся деньги.

Она не сказала, что я должен чем-нибудь заняться, и, судя по лицу, даже не

подумала. Что уже было неплохо. Поэтому я сам спросил, что она делает, и она, засмеявшись, ответила:

— Ни черта.

Но я ей не поверил, потому что она вечно возилась с какими-то сиротами, полоумными и слепыми неграми, не получая за это ни гроша. И глядя на нее, трудно было понять, что она многое растрчивает понапрасну — речь не о деньгах. Поэтому я сказал:

— Что ж, надеюсь, ты занимаешься этим в приятной компании.

— Не особенно, — ответила она.

Я посмотрел на нее внимательно и увидел то, что ожидал увидеть и видел много раз, когда мы не сидели друг против друга. Я увидел Анну Стентон, которая, может, и не была красавицей, но была Анной Стентон. Анна Стентон: смуглое, с золотистым отливом лицо, но не такое темное, как у Адама; под кожей угадывается основательный костяк, и натянута она так же туго, как у Адама, словно изготовитель не желал расходовать материал на излишние припухлости и отформовал продукт довольно аккуратно. Темные волосы с ровным пробором зачесаны гладко, почти туго. Голубые глаза смотрят с той же прямоотой, что и у Адама, но ясная отрешенная льдистая голубизна уступила здесь место более глубокой и тревожной. По крайней мере иногда уступала. Они были очень похожи, Анна и Адам. Они могли сойти за близнецов. Даже улыбка у них была одинаковая. Но не рот. В данном случае он ничем не напоминал решительного, чистого хирургического разреза. На эту деталь формовщик позволил себе потратить немного лишнего материала. Не слишком много. Но достаточно.

Такой была Анна Стентон, и я увидел то, что ожидал увидеть.

Она сидела предо мной очень прямо, высоко держа голову на ровном круглом стебле шеи, поднимавшемся из узких прямых плеч, и ее тонкие, но округлые голые руки были с математической правильностью прижаты к бокам. Глядя на нее, я представлял себе, как правильно и симметрично сложены под столом ее ноги — бедро к бедру, колено к колену, лодыжка к лодыжке. В ней всегда было что-то стилизованное, что-то, напоминавшее барельефы и статуэтки царевен позднего Египта, где изящество и мягкость, не переставая быть изяществом и мягкостью, схвачены в математически строгой форме. Анна Стентон всегда смотрела прямо на вас, но вам казалось, что она смотрит вдаль. Она всегда держала голову высоко, и вам казалось, что она прислушивается к какому-то голосу, которого вам не услышать. Она всегда стояла прямо, подобралась, и вам казалось, что ее изящество и мягкость подчинены строгой идее, которой вам не разгадать.

Я сказал:

— Решила остаться старой девой?

Она засмеялась и ответила:

— Я ничего не решила. Давно не строю никаких планов.

Потом мы танцевали в тесном, с носовой платок, пространстве между столиками бара, уставленными бутылками дешевого красного вина, тарелками с куриными костями и недоеденными макаронами. Минут пять этот танец для меня еще что-то значил, но потом он стал напоминать выполнение какой-то сложной и мрачной работы во сне — в ней как будто и есть смысл, но что за смысл, ты понять не можешь. Потом музыка смолкла, и окончание танца было похоже на пробуждение, когда ты рад проснуться, избавиться от сна, но вместе с тем подавлен, потому что уже никогда не узнаешь, в чем там было дело.

Она, должно быть, чувствовала то же самое: когда я снова пригласил ее потанцевать, она сказала, что ей не хочется — лучше просто поговорим. Мы разговаривали долго, но это было не лучше танца. Нельзя без конца разговаривать о том, до чего же, черт подери, хорошо тебе жилось в детстве.

Я проводил ее до дома, который был много приличнее, чем притон Адама, потому что губернатор Стентон умер не нищим. В подъезде она сказала мне «спокойной ночи» и «будь хорошим мальчиком, Джек».

— Ты пойдешь еще со мной обедать? — спросил я.

— Конечно, когда захочешь, — ответила она. — В любое время дня и ночи. Сам знаешь.

Да, я это знал.

И она ходила со мной обедать, несколько раз. В последний раз она сказала:

— Я видела твоего отца.

— Ага. — отозвался я равнодушно.

— Не будь таким, — сказала она.

— Каким таким?

— Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю. Неужели тебе не интересно, как живет твой отец?

— Я знаю, как он живет, — ответил я. — Сидит в своей норе, или возится с дармоедами в благотворительном обществе, или пишет эти дерьмовые листовки, которые они раздают на улице, — все тот же самый Марк 4, 6 и Иов 7, 5, и очки у него на кончике носа, а перхоть на черном пиджаке — как буран в Дакоте.

Помолчав с минуту, она сказала:

— Я встретила его на улице, он плохо выглядит. У него совсем больной вид. Я его даже не узнала.

— Пытался всучить тебе это барахло?

— Да, — сказала она. — Он протянул мне листок, а я так торопилась, что взяла его машинально. Потом сообразила, что он на меня смотрит. Я его не сразу узнала. Это было недели две назад.

— Я его почти год не видел, — сказал я.

— Джек, ты не должен так поступать. Надо к нему пойти.

— Да пойми ты, что я могу ему сказать? Ему со мной тоже не о чем говорить, честное слово. Кто его заставляет так жить? Почему он ушел из своей конторы и даже дверь не потрудился за собой закрыть?

— Джек, — сказала она, — ты...

— Он живет, как ему хочется. А кроме того, он дурак, если поступил так только потому, что не мог ужиться с женщиной, особенно с такой, как моя мама-ша. Если он не мог ей дать то, чего ей надо — не знаю, какого рожна ей надо, — и он не мог ей дать...

— Не смей так говорить, — резко сказала она.

— Слушай, — сказал я, — если твой старик был губернатором и умер на кровати из красного дерева с балдахином, и над ним куковала парочка дорогих врачей и прикидывала в уме сумму гонорара, и если ты думаешь, что он был святым угодником в черном галстуке, то это не значит, что ты должна разговаривать со мной, как старая тетя. Я не о твоей семье говорю. Я говорю о своей, и все, что я говорю, — чистая правда. А если ты...

— Не обязательно говорить об этом со мной, — прервала она. — И с кем бы то ни было.

— Это правда.

— О, правда! — воскликнула она, сжав на столе руку в кулак. — Откуда ты знаешь, что это правда? Ничего ты о них не знаешь. Ты не знаешь, что их заставляло поступать так, как они поступали.

— Я знаю правду. Я знаю, что такое моя мать. И ты знаешь. И я знаю, что отец мой дурак, если позволил ей превратить себя в ничтожество.

— Почему в тебе столько горечи? — сказала она и, схватив меня за руку повыше запястья — так, что я почувствовал сквозь рукав ее сильные пальцы, — слегка дернула ее.

— Нет во мне горечи. Плевать мне, что они с собой сделали. И делают. И почему.

— Джек, — сказала она, все еще сжимая мою руку, но уже слабее, — неужели ты не можешь хоть немножко их любить... или простить их, или хотя бы о них не вспоминать? Относиться к ним не так, как относишься?

— Я могу прожить всю жизнь и не вспомнить о них, — ответил я.

Тут я заметил, что она тихонько покачивает головой из стороны в сторону,



что глаза ее стали совсем темными и чересчур блестят и что она прикусила нижнюю губу. Я протянул правую руку, снял ее руку со своего запястья, положил на скатерть и накрыл своей ладонью.

— Прости, я жалею, что затеял этот разговор,— сказал я.

— Нет, Джек,— отозвалась она,— ты не жалеешь. Нет. Ты никогда ни о чем не жалеешь. И ничему не радуешься. Ты просто... ох, не знаю кто.

— Я жалею,— сказал я.

— Нет, тебе только кажется, что жалеешь. Или радуешься. А на самом деле нет.

— Если тебе кажется, что ты жалеешь, какой дьявол имеет право говорить тебе, что это не так? — возразил я, ибо, как известно, я был тогда твердокаменным Идеалистом и не собирался устраивать плебисцит о том, жалею я или нет.

— Это правильно на словах,— сказала она.— И все равно неправильно. Я не знаю почему... нет, знаю: если ты никогда этого не испытывал, откуда ты можешь знать теперь, жалеешь ты или нет, радуешься или не радуешься?

— Хорошо,— ответил я,— скажем. так: что-то во мне происходит и мне угодно называть это сожалением.

— Сказать так ты можешь, но тебе это неизвестно.— И, вырвав руку из-под моей, она добавила: — Ну да, ты начинаешь жалеть, или радоваться, или еще что-нибудь, но на этом все и кончается.

— Ты хочешь сказать, что я — как зеленое яблочко, в котором завелся червяк и оно падает, не успев созреть?

Она засмеялась и ответила:

— Да, как зеленое яблочко, которое зачервивело.

— Ладно,— сказал я,— вот тебе зеленое яблочко с червяком — я сожалею.

Я жалел — или испытывал то, что в моем лексиконе называется сожалением. Я жалел, что испортил вечер. Но внутренняя честность подсказывала мне, что тут почти нечего было портить.

Я больше не приглашал ее обедать — по крайней мере пока я был без работы и предавался сну. Я уже отыскал Адама и послушал, как он играет на рояле. Я уже посидел за тарелкой макарон и красным вином и посмотрел на Анну Стентон. И, поддавшись ее уговорам, я отправился в трущобы и повидал старика — не очень высокого, когда-то плотного старика, чьи волосы стали седыми, лицо в очках, сидевших на кончике носа, обвисло пухлыми серыми складками, а плечи, усохшие и засыпанные перхотью, опустились под тяжестью самостоятельно существующего аккуратного животика, который торчал над поясом мешковатых штанов, расприрая черный пиджак. И во всех трех случаях я нашел то, что ожидал найти, ибо жизнь этих людей сложилась и никаких изменений не могло произойти в том, что сложилось. Я погружался в сон, точно в воду, и они вновь мелькнули перед моими глазами, как, по рассказам, мелькает прошлое перед глазами утопающего.

Что же, теперь я мог вернуться ко сну. Во всяком случае пока не кончатся деньги. Я мог стать Рипом Ван Винклем. Только, на мой взгляд, про него рассказали неправду. Вы засыпаете на долгое время, а когда просыпаетесь, оказывается, что все на свете идет по-прежнему. Сколько бы вы ни проспали, ничто не меняется.

Но спал я недолго. Я нашел работу. Вернее, работа меня нашла. Однажды утром меня разбудил телефонный звонок. Это была Сэди Бёрк, и она сказала:

— Приезжайте сюда, в Капитолий, к десяти. Хозяин хочет вас видеть.

— Кто? — сказал я.

— Хозяин,— ответила она,— Вилли Старк, губернатор Старк, вы что, газет не читаете?

— Нет, но мне говорили в парикмахерской.

— Правильно говорили. Хозяин просил вас приехать к десяти.— И она повесила трубку.

Да, сказал я себе, возможно, кое-что и меняется, пока ты спишь. Но в душе я в это не верил, не верил даже тогда, когда входил в большой кабинет, обшитый

темными дубовыми панелями, и шагал по длинному красному ковру под взглядами бородатых стариков, смотревших на меня с настоящих портретов маслом, — к человеку, который не был ни старым, ни бородатым, но сидел за столом спиной к высоким окнам и встал при моем приближении. Черт, подумал я, это ведь просто Вилли.

Это был просто Вилли. хоть и одетый не в ту деревенскую синюю диагональ, которой он щеголял в Аптоне. Но и новый костюм был надет кое-как: пуговица на воротничке расстегнута, узел галстука сбил на сторону. Волосы свисали на лоб, как всегда. Сначала мне показалось, что мясистые губы сжаты плотнее обычного, но, прежде чем я успел в этом убедиться, он с улыбкой вышел из-за стола. И тогда я опять решил, что передо мной просто Вилли.

Он протянул руку и сказал:

— Привет, Джек.

— Поздравляю.

— Я слышал, тебя выгнали?

— Ты ослышался, — сказал я. — Я сам ушел.

— Молодец, — сказал он, — когда я рассчитаюсь с этой конторой, она не то что тебе — негру не сможет платить, который плевательницы чистит.

— Не возражаю.

— Хочешь работать? — спросил он.

— Готов выслушать предложение.

— Три сотни в месяц, — сказал он, — плюс дорожные расходы. Если придется ездить.

— На кого я работаю? На штат?

— Нет. На меня.

— Похоже, что ты будешь работать на меня. Губернатор получает всего пять тысяч в год.

— Ладно, — сказал он и рассмеялся. — Значит, я буду работать на тебя.

Тут я вспомнил, что он неплохо преуспел на адвокатском поприще.

— Попробуем, — сказал я.

— Прекрасно, — сказал он. — Люси хочет тебя видеть. Завтра вечером приходи обедать.

— Куда, в резиденцию?

— А куда же еще, черт возьми? В охотничий домик? В меблированные комнаты? Конечно, в резиденцию.

Да, в резиденцию. Он будет обходиться со мной, как в старое время, приведет к себе обедать и познакомит с хорошенькой женщиной и румяным ребенком.

— Мы совсем заблудились в этом сарае, — говорил он, — Люси, Том и я.

— Что я должен делать? — спросил я.

— Кушать, — сказал он. — Прийти в полседьмого и как следует покушать.

Позвони Люси и скажи ей, чего ты хочешь на обед.

— Я спрашиваю, что я должен делать на работе?

— Понятия не имею, — ответил он. — Что-нибудь подвернется.

Тут он был прав.

*Перевел с английского В. Голышев.*

*(Продолжение следует)*



---

*Дважды Герой Советского Союза,  
Маршал Советского Союза*

**Н. И. КРЫЛОВ**

★

## **В БОЯХ ЗА ОДЕССУ**

*Маршал Советского Союза Николай Иванович Крылов, ныне заместитель министра обороны СССР, главнокомандующий ракетными войсками стратегического назначения, в первые годы Великой Отечественной войны возглавлял штабы армий, оборонявших города-герои Одессу, Севастополь и Сталинград.*

*Эти записки — воспоминания маршала Н. И. Крылова об обороне Одессы в августе — октябре 1941 года.*

### **ЛЕВЫЙ ФЛАНГ**

**В** городе, за окнами просторного кабинета, заклеенными крест-накрест полосками газетной бумаги, уже несколько минут непрерывно били зенитки. Перекрывая слитный гул их залпов, начали взрываться бомбы — сперва где-то далеко, затем ближе.

— Такого, как сегодня, налета тут еще не было, — сказал генерал-майор, поднимаясь из-за стола. — Давайте-ка, товарищ полковник, на всякий случай переберемся вот сюда, — кивнул он на нишу дверного проема.

Мы встали под аркой внутренней капитальной стены, и прерванный разговор продолжался. Генерал расспрашивал об обстановке на самом южном участке фронта, у границы, откуда я только что прибыл.

— Выходит, на левом фланге пока все по-прежнему, — заключил он, когда я ответил на все вопросы.

— Так точно. На Дунае и в нижнем течении Прута по-прежнему удерживается государственная граница. Насколько могу судить, наши войска в состоянии удерживать ее и дальше. Лишь бы держались соседи справа.

— В том-то вся штука! — невесело усмехнулся генерал. — Там, выше по Пруту, положение сейчас гораздо хуже. Противник рвется к Кишиневу.

Разрывы бомб и стрельба зениток тем временем стихли, и мы вернулись из дверного проема к столу. Не садясь, генерал закончил:

— Что ж, за все, что рассказали, спасибо. Теперь идите в управление кадров, к Крымову — он вас ждет. Вот, кстати, и отбой воздушной тревоги. Сейчас доложат, чего нам стоил налет...

Разговор этот происходил в Одессе в первые дни Великой Отечественной войны.

Генерал-майор был начальником штаба Одесского военного округа М. В. Захаровым (ныне Маршал Советского Союза, начальник Генерального штаба). А я — до вчерашнего дня начальник штаба Дунайского укрепленного района, только еще создававшегося и теперь расформированного, — прибыл вслед за моими сослуживцами в распоряжение округа и в тот момент не имел понятия, где и кем окажусь завтра.

Уже в Одессе я узнал, что создается Приморская группа войск, которую временно возглавляет заместитель командующего округом генерал-лейтенант Н. Е. Чибисов.

В группу, как мне сказали, включены три дивизии 14-го стрелкового корпуса, 26-й погранотряд, Одесская военно-морская база Черноморского флота и Дунайская военная флотилия. Все это были соседи нашего укрепленного района. Штабы 14-го корпуса и одной из его дивизий — 25-й Чапаевской — размещались совсем рядом с нашим, и я знал там многих командиров, хотя и служил в этих местах только с весны 1941 года.

Отправляясь к кадровикам, я надеялся, что меня пошлют куда-нибудь в пределах Приморской группы, может быть, в штаб корпуса. Я успел уже привыкнуть к приграничному району у Дуная, Прута и Черного моря, немного напоминавшему хорошо знакомые мне дальневосточные края. Внутренне как-то уже настроился продолжать войну там, где она меня застала, рядом с теми, с кем ее встретил.

Очень хотелось получить назначение как можно скорее — время было такое, когда военному человеку, полному сил, тягостно долго оставаться в резерве или «в распоряжении», без своего, совершенно определенного, места в боевом строю.

Должен тут же сказать — и пусть с этого начнется небольшое отступление, пожалуй, необходимое, чтобы представиться читателю, — что человеком невоенным я себя не мыслю. В сущности, я никогда не был им, если исключить детство.

Мои сверстники еще не могли участвовать в первой мировой войне: когда она разразилась, мне было одиннадцать лет. Но в гражданскую уже немало представителей нашего поколения оказалось на фронте — если не по призыву, то по велению сознания и сердца. И для многих это определило всю дальнейшую судьбу. Так получилось и со мною.

Вероятно, моя военная служба началась бы несколько позже, не назначь какой-то начальник пунктом дислокации 3-го авиационного дивизиона Южного фронта в 1919 году большое село Аркадак на Саратовщине, где я рос.

Появившиеся в селе красные летчики восхищали деревенских мальчишек уже одной своей экипировкой — они носили невиданные кожаные шлемы, теплые куртки мехом наружу и такие же сапоги. А их самолеты, или, как тогда говорили, аэропланы, — деревянные «нюпоры» с пятиконечными звездами на обтянутых полотном крыльях — казались чуть ли не волшебством. Да что аэропланы! В диковинку были для нас и обслуживавшие авиадивизион автомобили и мотоциклы.

Той весной я получил свидетельство об окончании единой трудовой школы второй ступени. Учился жадно, много читал и школу окончил досрочно, в шестнадцать лет, сдав экзамены экстерном — это разрешалось. В сельской ячейке юных коммунистов (так назывались у нас в Саратовской губернии первые комсомольские организации) меня выбрали секретарем.

Какому подростку не хотелось в те годы быстрее стать взрослым!

Обуреваемый стремлением приносить пользу революции, я уже пытался, правда безуспешно, вступить в партию большевиков. Вместе с друзьями-товарищами, загоревшимися таким же желанием, ходил в город Балашов, в уком РКП(б). Излагая там свою просьбу, каждый из нас прибавил себе несколько лет. Я особенно переусердствовал: заявил, что мне двадцать три, чему, конечно, никак нельзя было поверить...

Но в Красную Армию командир и комиссар авиадивизиона меня и моих друзей приняли. И не воспитанниками, а красноармейцами. Хотя тут мы после конфуза, получившегося в укоме, свои лета не скрывали. Помогло, наверное, то, что ячейка юных коммунистов (об этом знали в Аркадаке все) не раз по команде из сельсовета или комбеда выступала с оружием в руках против кулацких банд. Так что с винтовкой и наганом и даже с тем, как свистят вражьи пули, мы были немного знакомы. А уж объяснить комиссару, как рвемся бить белых, мы сумели!

Впрочем, служба в авиадивизионе оказалась для нас не слишком-то боевой. Поручали охранять на стоянке аэропланы, посылали на базу за горючим... Как-то я уговорил одного летчика взять меня в тренировочный полет. Воздушное крещение неожиданно кончилось аварийной посадкой, при которой неповоротливый «ньюпор» наскочил на ехавший по дороге обоз и убил лошадь. Мы с летчиком остались невредимы, но моя мальчишеская убежденность в безграничном могуществе авиации была поколеблена. Появилась даже мысль, что, пожалуй, воевать на коне с саблей — дело более верное...

А что воевать надо и мне, пока есть у Советской республики враги, — это я знал уже твердо.

Во время одной из поездок за горючим меня свалил свирепствовавший в Поволжье сыпняк. Пролежать пришлось долго. Когда встал, в Аркадаке авиадивизиона уже не было, и никто не мог сказать, куда он переехал, где действует. Не оставалось ничего другого, как отправиться в Балашовский уездный военкомат и проситься в Красную Армию заново.

Зачислили добровольца без проволочки: был самый разгар гражданской войны. Однако направили не на фронт. Как раз шел набор на пехотно-пулеметные курсы красных командиров в Саратове, и мне сказали, что подхожу туда по всем статьям: комсомолец, со школой второй ступени за плечами (такое образование считалось высоким), да и послужил уже чуть-чуть.

Курсы были краткосрочные — меньше года. Однако дали немало и во всяком случае подготовили к тому, чтобы самостоятельно учиться дальше. Их я окончил и получил 1 октября 1920 года звание «красного командира социалистической армии». За это я много лет испытывал чувство благодарности к своим первым наставникам в военном деле.

Молодых краскомов послали с маршевым пополнением в 11-ю армию, которая вела бои в Закавказье. Меня назначили полуротным командиром (была тогда такая должность) в действовавший на самом юге Азербайджана 248-й стрелковый полк.

Через Муганскую степь и болота полк наступал на Ленкорань, на Астару, приближаясь к синевшим на горизонте Талышским горам. В этих краях, куда ни в декабре, ни в январе не приходила зима, я постигал азы практической командирской грамоты, привыкал к ответственности за подчиненных, за жизни людей.

Только потом понял я, насколько несложные, в сущности, боевые действия мы тогда вели, тесня с советской земли остатки разгромленных уже в Закавказье белогвардейцев. Враг еще огрызался, но деморализованный, ни во что больше не верящий, нигде не выдерживал красноармейского натиска.

Однако борьба с белыми и интервентами подошла к концу еще не везде. Она продолжалась на Дальнем Востоке, и судьба красного командира переболела меня в 1922 году на другой конец страны.

Снова маршевый батальон, снова эшелон теплушек, только гораздо более далекий путь... Где-то за Байкалом незаметно въехал в ДВР — существовавшую тогда Дальневосточную республику. Меня определили в 3-й Верхнеудинский полк Народно-революционной армии, которой командовал тогда И. П. Уборевич. Командира полка Якова Ивановича Королева не смущали мои девятнадцать лет, и он вскоре доверил мне батальон.

В ДВР, или в «буфере», как называли это временное государство, порядки были несколько иные, чем в остальной России. Иначе назывались органы власти, другие ходили деньги. Но руководили республикой большевики, и главная задача их состояла в том, чтобы очистить весь Дальний Восток от белых и интервентов. Американцы и англичане оттуда уже убралась, однако в Приморье оставались японцы.

«Штурмовые ночи Спасска, волочаевские дни...» — так запечатлела известная и теперь песня главные события последнего года гражданской войны у берегов Тихого океана. К боям за Волочаевку и Хабаровск я не жоспел. А в двухдневном штурме Спасска-Дальнего участвовал.

Взятие Спасска открыло путь к Владивостоку. Но были еще упорные бои под Никольск-Уссурийском, под Раздольной и дальше. Нашему полку тяжело дался туннель близ села Вольно-Надеждинское, где укрывался белый бронепоезд. Потом пришлось выбивать врага еще из одного туннеля — у самого Амурского залива. Но этот бой оказался уже последним. После него нам приказали остановиться. Скоро стало известно: с японцами идут переговоры о сроке их ухода из Владивостока — поняли, значит, и самые упрямые интервенты, что пора уносить ноги подобра-поздорову.

Мы стояли, помню, в сторожевом охранении на сопках и в падах. На рейде Амурского залива безмолвно, не вмешиваясь больше в ход событий, маячила японская эскадра — прошло время, когда эта сила могла тут что-то изменить.

С захваченного у белых склада привезли в батальон кое-какое обмундирование, и бойцы радовались, что перед Владивостоком могут немножко приодеться. Обносились все основательно.

Мне достались с белогвардейского склада шерстяные брюки английского образца. На них я сменил те, в которых вышел к Амурскому заливу — со множеством швов, скреплявших квадратики выцветшего брезента. Не всякий бы догадался, что штаны комбата пошиты из старых сумок для гранат!..

Так уж, видно, бывает: именно эти бытовые мелочи связаны в моей памяти с историческими днями победоносного завершения всей гражданской войны.

Двадцать пятого октября 1922 года последние японские корабли покинули Амурский залив и бухту Золотой Рог. Наши войска без боя вступили во Владивосток. Шагая в строю по его неровным, гористым улицам, заполненным высыпавшим нам навстречу трудовым людом, я был счастлив и горд от сознания, что причастен к освобождению этого незнакомого города, стоящего за тысячи верст от моих родных мест.

Военный человек не выбирает, где ему жить, и я не строил на этот счет личных планов на будущее. Но уж никак не думал, что восточный край русской земли, омываемый Тихим океаном, сделается для меня как бы второй родиной, привяжет к себе надолго.

А вышло так, что после гражданской войны я не расставался с Дальним Востоком шестнадцать лет. Около двенадцати из них прослужил в одной дивизии — той самой, с которой вошел во Владивосток. Тогда она

еще называлась 1-й Забайкальской, потом была переименована в 1-ю Тихоокеанскую.

С этой дивизией связана у меня огромная полоса жизни. Здесь меня принимали в партию: в двадцать пятом году — в кандидаты, в двадцать седьмом — в члены ВКП (б). Отсюда послали учиться на стрелково-тактические курсы «Выстрел», окончив которые я вернулся обратно. В этой же дивизии, вошедшей в Особую Дальневосточную армию, участвовал в боевых действиях против китайско-маньчжурских милитаристов, спровоцировавших конфликт на КВЖД.

Тут, в 1-й Тихоокеанской, я познакомился со штабной работой, а затем специализировался на ней, что определило на долгие годы направление моей дальнейшей службы.

Началось это еще осенью двадцать второго года, когда очищали Приморье от белых. В 3-м Верхнеудинском полку я был одним из самых молодых командиров и в то же время считался одним из наиболее грамотных. И если у начальника штаба полка Алексея Никаноровича Кислова бывало слишком много работы, он брал в помощники меня, поручая составлять по его указаниям боевые распоряжения, оформлять другие штабные документы, наносить на карту данные обстановки.

Делал я это охотно, радуясь возможности научиться чему-то новому. Помню, очень гордился, когда Кислов посылал в соседние батальоны и роты — проверить от имени штаба выполнение отданных распоряжений. Такое задание имел я, в частности, перед штурмом Спасска-Дальнего.

Разные поручения от штаба часто получал и потом, уже в мирных условиях, особенно на учениях. Мой интерес к такого рода работе отмечался в аттестациях. В конце концов это привело к назначению меня помощником начальника штаба полка. А еще через некоторое время перевели в оперативный отдел штаба дивизии, начальником которого был А. П. Богоявленский, офицер генерального штаба старой армии, военный специалист большой культуры. Потом его сменил В. Ф. Воробьев (с ним читатель скоро встретится) — тогда еще молодой командир, всего на четыре года старше меня. Он был из рабочей семьи, начал кремлевским курсантом в первые революционные годы, а в то время уже проявлял задатки военного теоретика, ученого.

У обоих этих начальников я многому учился. Освоиться в штабе дивизии помогло также то, что в своей дивизии я знал все и всех. С тех пор и усвоил, как важны для штабного работника крепкие связи с частями и подразделениями, всестороннее с ними знакомство.

После конфликта на КВЖД обстановка на Дальнем Востоке оставалась напряженной. Особенно тревожной стала она в тридцатые годы. За Амуром появилась вторгшаяся в Маньчжурию Квантунская армия. Японцы явно готовились распространить агрессию на советские земли, откуда их вышибли десять лет назад. На границе учащались разные провокации и инциденты.

Советское государство принимало меры к укреплению своих дальневосточных рубежей. Из глубины страны прибывали новые части, вооружение. На Тихом океане начал расти флот. У морской и сухопутной границы, на наиболее важных ее участках, создавались укрепленные районы. В Благовещенский укрепленный район (сокращенно УР) перевели и меня, где осенью 1938-го я закончил службу начальником его штаба.

Эти последние годы довоенной службы на Дальнем Востоке (после войны я служил в тех краях вновь) памятны тем, что редкий день проходил без тревог. Повышенная боевая готовность, подобная той, к которой приучены пограничники, постепенно становилась в приамурских гарнизонах, как и в Приморье, естественным состоянием, нормой жизни.

Недаром объединение, куда входили наши войска, называлось, несмотря на мирное время, не округом, а Дальневосточным фронтом.

В приграничный район у Дуная и Прута, на юг Бессарабии, воссоединенной несколько месяцев назад с Советской страной, я был переведен после непродолжительной службы в Северо-Кавказском военном округе.

Новые места пришлись по душе. Особенно обрадовался широко разлившемуся у Рени и Измаила Дунаю — должно быть, потому, что привык к водному простору Амура, по которому проходит граница на другом краю нашей земли.

Амур кое-где еще шире, он покоряет своей стремительной, необузданной силой. Но Дунай, спокойный и даже медлительный в его равнинных низовьях, величав по-своему. Словно утомившись за долгий путь через пол-Европы и только что приняв последний приток — холодный и чистый Прут, сбегаящий с Карпат, он неторопливо, растекаясь по рукавам, несет свои воды к совсем уже близкому морю.

У всякой реки свой нрав. И тому, для кого река — прежде всего рубеж перед расположением вероятного или возможного противника, знать это не менее важно, чем местному рыбаку. Присматриваясь к дунайскому раздолью, я привычно думал о задачах, решать которые готовился и на Амуре: как помешать форсированию водного рубежа неприятелем, как прикрывать, если бы потребовалось, свои переправы...

Тут, как и на Дальнем Востоке, это были задачи вовсе не отвлеченные. За Дунаем и Прутом находилось государство, отнюдь не дружественное нам, — боярская Румыния, где именем короля Михая правил фашистский диктатор Антонеску.

Наш Дунайский укрепленный район еще предстояло создавать. Производилась рекогносцировка, намечалось, где ставить доты, батареи. Военные инженеры, занятые разведкой местности, спешили, как могли, — задание требовалось выполнить срочно. Все мы, однако, думали, что располагаем большим временем, чем было его у нас на самом деле.

А весна, необычно ранняя по сравнению с Дальним Востоком, баловала солнечным теплом. Давно не случалось мне видеть такого обилия буйной молодой зелени, такого пышного цветения садов. И я покривил бы душой, если бы стал теперь уверять, что ту весну омрачало предчувствие надвигавшейся военной грозы.

Нет, особенно мрачных предчувствий не возникало ни в апреле, ни даже в мае. Конечно, мы внимательно следили за событиями на Западе, где война перекинулась на недалекие от нашей новой границы Балканы. Но почему-то верилось, что до советской земли она так скоро не дойдет. Жизнь шла, как обычно. Я чувствовал себя молодо, с увлечением входил в курс новых дел. И нетерпеливо ждал приезда жены и детей, которым хотел скорее показать Дунай, Измаил с его суворовскими местами, весь этот красивый, теплый край. Было решено, что они переедут из Ставрополя, с прежнего места моей службы, как только закончатся школьные занятия — не стоило переводить ребят посреди учебного года в другую школу.

Двадцатого июня я встретил наконец семью в Болграде — уютном зеленом городке у огромного озера Ялпух, вытянувшегося на многие километры в сторону Измаила. Вещи, отправленные багажом, находились в пути. Не было мебели в только что отведенной мне квартирке. Но такие мелочи не мешали радоваться тому, что мы снова собрались вместе.



Командирской семье не привыкать ко всяким новосельям — не первое и авось не последнее... Все пятеро — мы с женой, два сына и дочь — улеглись спать по-походному, на полу.

Однако в тот раз обжить свой новый дом так и не пришлось. Наутро наступила та самая суббота, что памятна советским людям как последний мирный день перед обрушившейся на страну войной. И ничего, кроме Болграда да озера Ялпук, показать жене и детям в придунайском краю я не успел.

Следующей ночью, на рассвете, красноармеец-оповеститель из нашего штаба разбудил меня резким стуком в окно. Быстро вышел я во двор, и первым, что воспринял, был характерный рокот моторов «И-16» — «ястребков». Они находились в воздухе, хотя никаких полетов и учений, это я знал точно, в воскресенье не предвиделось.

Надо все же сказать, что последние дни (к ним я еще вернусь) были здесь, у границы, если внешне и тихими, то вовсе не безмятежно спокойными. В сознании мгновенно сконцентрировалось все, что накопилось неясного и тревожного — сведения о передвижении войск на том берегу, полеты самолетов-разведчиков над дунайскими фарватерами и нашей территорией, другие наблюдения командиров соседних частей о подозрительных действиях «противостоящей стороны»... Все то, что мы еще не решались, словно не веря до конца самим себе, вслух назвать настоящим именем — подготовкой к войне.

Оповеститель знал только одно: всех командиров срочно вызывают в штаб. Но у меня уже не было сомнений в том, что это не просто тревога. Поспешно вернувшись в дом за снаряжением, я сказал проснувшейся жене:

— Настя, может быть, это война... Только спокойно, не перепугай ребят. Что надо делать — сообщу.

Когда подбегал к штабу, со стороны границы послышался нарастающий гул других самолетов, уже не наших. Затем Болград начали бомбить, и над городом завязался воздушный бой.

Несколько часов спустя, около полудня, я увидел жену и своих ребят в кузове одного из грузовиков, до отказа заполненных женщинами и детьми: поступило распоряжение вывезти семьи военнослужащих из приграничного района.

В каждой машине стояло по железной бочке с бензином: еще точно не знали, на какой станции посадка на поезд, и шоферы запаслись горючим. В машинах было тесно, из вещей брали только самое необходимое. Мои уезжали совсем налегке: все осталось в багаже, который так никуда и не пришел.

Попрощались торопливо. Где и когда встретимся, не загадывали. Все личное отходило на второй план перед всенародной бедой, масштабы которой еще трудно было осознать.

Самые первые дни войны описаны уже многими. Их я касаюсь лишь постольку, поскольку это необходимо, чтобы то, о чем предстоит рассказать потом, не выглядело вырванным из своего времени.

Положение, в котором застали события меня и моих сослуживцев, было незавидным. Наш укрепленный район не успел войти в строй: на осуществление намеченных планов не хватило времени. И не имело теперь смысла спорить, мог или не мог раньше кто-то кого-то поторопить. Но до чего же горько оказаться на переднем крае войны без предназначавшегося тебе оружия...

Надежда хоть частично развернуть Дунайский УР в ходе боевых действий теплилась недолго. Все то в нашем хозяйстве, что могло немедленно использоваться, передавалось полевым войскам. А освобождавшиеся люди становились резервом округа.

Те, кто пока оставался на месте, без работы, разумеется, не сидели — округ давал множество разных заданий. Но жили мы эти первые дни войны боевыми делами своих сражающихся соседей, их успехами в борьбе с врагами.

Да, войска, оборонявшиеся на Дунае и Пруте, имели определенные успехи с самого начала военных действий. Помню общее воодушевление в штабе 14-го корпуса вечером 22 июня. В тот час еще не было сведений о том, как отражается нападение фашистского агрессора на остальном фронте, и хотелось верить, что там положение не хуже, чем у нас. Здесь же, на левом приморском фланге, итоги первого дня войны выглядели не так уж плохо.

Все попытки противника высадиться на наш берег получили быстрый отпор. Его подразделения, сумевшие кое-где переправиться рано утром, были разгромлены в последующие часы. Около пятисот вражеских солдат и офицеров сдались в плен. «Ястребки» и зенитчики сбили семнадцать фашистских самолетов. Наши потери от бомбежки и артиллерийского обстрела через границу, несмотря на внезапность нападения, оказались, в общем, незначительными.

От знакомых командиров в штабе корпуса я услышал подробности отдельных событий дня. Рассказывали, как в Кагуле враг захватил было мост через Прут, где стояли только часовые, и двинул на восточный берег пехоту, но подоспевший на помощь пограничникам стрелковый батальон сбросил фашистов в реку, а мост разбила наша артиллерия. Рассказывали и о том, как прочесывали дунайские плавни, по которым расеялась успешная переправиться румынская рота.

Слов нет — наши войска жили в приграничном районе накануне войны не так, как следовало бы, — слишком мирно и благодушно. Однако то разумное, что было сделано на случай возможных неожиданностей, окупилось сторицей.

Части 14-го корпуса генерала Д. Г. Егорова не только имели подготовленные рубежи для развертывания вдоль границ, но и не раз их занимали. Артиллеристы точно знали, кого конкретно и с каких огневых позиций должны поддерживать. Была хорошая, четкая связь с пограничниками, со штабом и отрядами Дунайской военной флотилии. Как все это пригодилось, какие драгоценные минуты и часы позволило выиграть!

Как я уже сказал, перед войной у границы было не особенно спокойно. Наблюдения за румынским берегом (а там — это не составляло секрета — находились и немецкие войска) накапливали все больше тревожных сведений. В одном селе за Прутом появились солдаты, которых раньше не было, у другого поднялось некое «гнездо», похожее на артиллерийский наблюдательный пункт, у третьего — скопление плохо замаскированных в затоне лодок. Обо всем таком, конечно, докладывалось по начальству. В командирском кругу многие высказывали мнение, что для повышения боевой готовности можно и должно кое-что предпринять.

Начальники, от которых это зависело, разумеется, знали свои права. Чрезмерная осторожность, способная теперь, много лет спустя, показаться странной, объяснялась распространенным тогда опасением, как бы не совершить нечто такое, что «даст повод для провокации». Запрещалось же открывать огонь по нарушавшим нашу границу немецким и румынским самолетам! И была ведь в ходу для объяснения происходящего на том берегу такая версия: что это, мол, провокации, и важно не поддаваться на них.

И все же принимались в те последние мирные дни некоторые меры, оказавшиеся более чем своевременными. Начальник артиллерии полковник Н. К. Рыжи убедил, например, командира корпуса прервать

под каким-то предлогом сбор артиллеристов, и они как раз 21 июня вернулись в свои части. Командир 25-й Чапаевской дивизии (из трех дивизий корпуса она стояла ближе всех к границе) полковник А. С. Захарченко, прислушавшись к предостережениям своих разведчиков, в ту же самую субботу вывел 31-й стрелковый полк на батальонные учения из казарм в Рени. Несколько часов спустя казармы, к счастью пустые, были разбиты огненным налетом с того берега...

Надо отдать должное и командованию Одесского военного округа. Перед самым нападением врага оно успело перевести на запасные аэродромы авиацию, избежавшую благодаря этому больших потерь (на земле от бомбежек во всем округе погибло в первый день войны три самолета). Около двух часов ночи 22 июня были подняты по тревоге войска, предназначенные для прикрытия границы. Война застала эти полки и дивизии если не на рубежах, которые надлежало занять, то уж на марше к ним. В третьем часу ночи по приказу из Севастополя перешла на оперативную готовность номер один вся Дунайская военная флотилия.

Дивизии 14-го корпуса были крепкими, хорошо подготовленными. Из них раньше всех встретилась с противником знаменитая Чапаевская, прославившаяся в гражданскую войну. Ее полки, введенные в бой в первые часы Великой Отечественной войны, дрались самоотверженно и упорно.

Отлично показали себя и другие действовавшие в нашем районе части. Тогда я еще не был знаком с командиром 265-го корпусного артполка майором Н. В. Богдановым, но много слышал о нем с самого начала службы в Бессарабии. Знал, что Богданов — депутат Верховного Совета Украины, что за успехи в боевой и политической подготовке полка он в мирное время награжден орденом — случай, в те годы довольно редкий. Этот полк — главная огневая сила 14-го корпуса — был предметом особой гордости начальника артиллерии Н. К. Рыжи. И артиллеристы майора Богданова оправдали в боях свою отличную репутацию. Их точный огонь срывал новые попытки противника форсировать Прут, обрушивался на приближавшиеся к границе неприятельские резервы.

Враг быстро оценил роль этого полка в нашей обороне и изо дня в день бомбил с воздуха те участки левого берега, откуда артиллеристы только что вели огонь. Но богдановцы (так называли их все в корпусе) оказывались неуязвимыми. Полк не имел потерь ни в людях, ни в орудиях. Это было результатом огромной работы, проделанной личным составом до войны: каждая батарея имела несколько хорошо оборудованных огневых позиций, которые могла быстро менять.

Остался позади июнь, шел июль. С тяжелым сердцем слушали мы передававшиеся дважды в день сообщения Совинформбюро. В них назывались новые направления боев — Бобруйское, Псковское, Мурманское, — и это означало, что фашистские полчища продвигаются в глубь страны. Стало ухудшаться положение и поблизости от нас: 3 июля противнику удалось форсировать Прут в среднем течении, на широте Кишинева. Там оборонялся правый сосед 14-го корпуса — 35-й стрелковый корпус, также входивший в состав Южного фронта.

Но на левом фланге — от дельты Дуная до Рени и еще по крайней мере на сотню километров вверх по Пруту — линией фронта, уверенно удерживаемым рубежом оставалась советская государственная граница.

Больше того, на отдельных участках боевые действия перенеслись на территорию противника. Еще в июне Дунайская военная флотилия (она все время тесно взаимодействовала с 14-м корпусом) высадила десанты на румынский берег Килийского гирла: один — на мыс Сатун-Нюу, откуда обстреливался Измаил, другой — в городок Килию Старую,

напротив Килии Новой на нашем берегу. В первом случае высаживались пограничники и батальон Чапаевцев, во втором — уже целый полк, который занял и два соседних населенных пункта. Десанты поддерживались огнем речных мониторов и полевой артиллерии Чапаевской дивизии. С неприятельского берега были переправлены пленные, захваченные орудия и другие трофеи. Не берусь судить, все ли возможности для активных боевых действий такого рода использовала тогда наша речная флотилия. Но, насколько я знаю, больше нигде на всем фронте советскому солдату не довелось в то время ступить на землю врага и хоть ненадолго на ней закрепиться.

Конечно, крайний южный участок фронта не принадлежал к тем направлениям, где гитлеровская Германия и ее сообщники наносили главные удары. Выстоять здесь в первые дни войны, несомненно, было легче, чем во многих других местах. Легче, но все равно трудно, даже если считать, что тут шли бои местного значения. Ведь нападение оказалось внезапным и далеко не все было готово к защите границы, а полоса обороны стрелковой дивизии достигала ста и больше километров.

То, что войска, действовавшие тут, смогли удержать границу в первый день войны и долго удерживали потом, имело, мне кажется, значение не только для этого отрезка времени и не только для данного участка фронта. Без стойкой обороны у Дуная и Прута, а затем на Днестре вряд ли удалось бы остановить врага под Одессой. В этом смысле, пожалуй, символично, что именно туда привели дороги войны и артиллерийский полк майора Н. В. Богданова, и Чапаевскую дивизию.

Но это уже мысли, так сказать, из будущего. В первой половине июля, о которой идет сейчас речь, лично я вообще не думал, что фронт может вскоре придвинуться к Одессе, относительно далекой от новой сухопутной границы.

Из штаба расформированного Дунайского УРа мне пришлось уезжать фактически последним: комендант его полковник Н. П. Замерцев и его заместитель по политической части полковой комиссар А. В. Готов отбыли несколькими днями раньше. Вместе со мною ехал в Одессу начальник делопроизводства — сдавать в архив штабные документы. В кузове «газика»-полупортки, куда мы их сложили, стояла обязательная теперь при дальних рейсах (в пути нигде не заправившись) железная бочка с бензином. При виде ее вновь возник перед глазами поспешный отъезд семьи. Где-то они теперь, жена и ребята? Благополучно ли выбрались из прифронтовой зоны? Ни я, ни мои сослуживцы не имели никаких вестей от своих близких, эвакуированных из Болграда 22 июня. Само по себе это ничего не означало: почта не успела приспособиться к военному положению и если кому-то и приходили письма, то посланные еще в мирное время. Но мы не знали даже, в какой город наши семьи направлены и где в случае чего наводить справки.

Известно было лишь, что их пересадили из машин в товарные «пульманы» — большие вагоны без крыш, в каких перевозят уголь, — и что эшелон пошел на восток через Одессу. Как передавали потом, какой-то состав с эвакуированными — этот или другой, выяснить не удалось — попал в тот день под бомбежку у Раздельной и сильно пострадал...

«Газик» вез нас через Молдавию к Днестру. В другое время любоваться бы тут заботливо ухоженными виноградниками, богатством садов. Смотреть на цветущий край, к которому вплотную подступал разрушительный смерч войны, было тяжело. Но мы еще не могли знать, что всего через несколько дней на дороги срединной Молдавии прорвутся фашистские танки.

В Болграде или Измаиле, даже в штабах, информация о положении на всем Южном фронте была весьма ограниченной. Известная стабильность, достигнутая на приморском фланге, казалась закономерной, а осложнения, возникшие у соседей справа, где противник переправился через Прут, еще не столь опасными. Верилось, что хватит сил не пустить врага слишком далеко от границы. А тем временем подспеют резервы. По сведениям, доходившим до нас, они формировались где-то у Днепра.

Многое в обстановке оставалось неясным, в развитии военных событий было немало такого, чего я еще не мог объяснить сам себе (разве на своей земле собирались мы воевать?). Но если бы кто-то спросил, что самое главное вынес я из первых грозных недель войны, перевернувших всю нашу жизнь, я ответил бы, наверное, так: главное — это то, что наши люди не дрогнули.

Пусть совсем иным видел я начало будущей войны. Но все равно ведь знали: смертельной схватки с фашизмом не избежать. И внутренне, морально, в чем-то таком, что в конечном счете значило, вероятно, больше, чем даже степень боеготовности войск, эта схватка нас врасплох не застигла.

До войны не было так употребительно, как потом, слово «подвиг». Его как-то стеснялись применять к делам повседневным, будничным, хотя, в сущности, может быть, и героическим. Но только это высокое понятие соответствовало тому, что совершалось вокруг с первого дня и часа войны.

Как иначе назвать самоотверженную доблесть пограничников? Поблизости от нас находились знаменитые потом, вошедшие в историю заставы — Стояновка и Кагульская, заставы героев: сражаясь до последнего человека, они задержали на своих участках вражеские части, пока к границе подходили полевые войска.

Воплощением готовности к подвигу, в которой застала советского солдата война, сделался для меня и часовой из 31-го полка Чапаевской дивизии. Этот полк был выведен 21 июня из казарм в пограничном городке Рени на берегу Дуная, где оставался только суточный наряд. Часовой стоял на посту у артиллерийского склада. Когда начался внезапный обстрел с того берега, один из первых снарядов попал в караульное помещение, тяжело ранив начальника караула и разводящего. Не осталось никого, кто имел право снять часового с поста, отправить в укрытие. И красноармеец стоял на посту, а кругом рвались и рвались снаряды, каким-то чудом не задевая его осколками. Сменился он потом лишь по приказанию прибывшего командира полка полковника К. М. Мухомедьярова. Фамилию часового я не запомнил, знаю только, что по национальности он был казах.

А жены командиров любого подразделения, вероятно, вели бы себя так же, как жены комсостава второго батальона Разинского полка, оказавшись они на их месте. Батальон стоял вблизи границы, на одном из тех участков, где рано утром 22 июня противнику сперва удалось переправиться на наш берег. И женщины взялись за оружие вместе с солдатами. Защищая детей, они били врагов прямо из окон своих квартир, в которых вечером ложились спать, еще уверенные, что вокруг царит мир...

Все это опять и опять я вспоминал в пути от границы. И еще много такого, что одновременно было и подвигом, и естественным поведением наших советских людей — в военной форме и без нее.

...Между Днестром и Одессой в степи велись какие-то работы, непохожие даже издали на сельскохозяйственные. Подъехав ближе, мы

поняли, что это копают противотанковый ров. Работали сотни мужчин и женщин городского вида. В другом месте то же самое делали красноармейцы — очевидно, инженерная часть.

При въезде в город машина остановилась у контрольно-пропускного пункта. На стене будки был наклеен выгоревший уже листок с приказом начальника гарнизона — еще от 26 июня — о введении в Одессе и пригородных районах военного положения. «Запрещается, — прочел я, — пребывание граждан на улицах от 24 часов до 4 часов 30 минут утра... Торговые предприятия заканчивают работу не позже 22 часов, театры, кинотеатры и другие культурные учреждения — не позже 23 часов...»

Все естественно, и ограничения, в сущности, невелики. В Измаиле и Болграде режим был строже. Но этот приказ, как и противотанковые рвы, которые сооружались не очень далеко от города, давал понять, что и Одесса ощущает войну уже не только по сводкам.

А через час был воздушный налет, заставший меня у начальника штаба округа...

Вопреки ожиданию в войсках, действовавших на приморском фланге фронта, меня не оставили. Начальник кадров, чем-то раздраженный и куда-то спешивший, объявил мне как о решенном:

— Поедете, товарищ полковник, в Ново-Московск. Командиром стрелкового полка. Ново-Московск — это около Днепропетровска.

Но связать свою судьбу с этим полком мне все-таки было не суждено. Через неделю после прибытия к новому месту службы командир дивизии объявил, что ему приказано откомандировать меня в штаб Приморской группы войск — в Одессу.

## ШТАРМ ПРИМОРСКОЙ

До весны 1941 года я никогда в Одессе не бывал. Да и тогда, приезжая три-четыре раза из Болграда по служебным делам, имел очень мало времени на знакомство с городом. Но у Одессы есть удивительное свойство: после нескольких коротких встреч с нею кажется, что знаешь ее давно. Впрочем, так ли уж это удивительно? Ведь она принадлежит к городам, с которыми незаметно для себя успеваешь познакомиться заочно. В скольких книгах, прочитанных еще в юности, описывались облик Одессы, ее нравы и быт, сколько связывалось в памяти с этим городом исторических имен, знаменательных событий!

Я сразу узнал Потемкинскую лестницу — разве забудешь ее, если даже много лет назад видел фильм о легендарном революционном броненосце? Названия улиц и площадей напоминали то о жившем здесь когда-то молодом Пушкине, то о неуловимом Котовском, то о восставших матросах французской эскадры.

Множество красивых зданий, обилие зелени и солнца придавали центральным одесским улицам нарядный, праздничный вид. Как-то празднично выглядели и заполнявшие их люди, по-южному темпераментные, оживленные. У города был свой колорит, свой характер — веселый, немного беззаботный, доброжелательный.

Май, дождливый и туманный на Дальнем Востоке, здесь был сухим, жарким. Людской поток уже устремлялся на золотистые пляжи в живописную Лузановку, Аркадию...

Когда я с Днепропетровщины снова вернулся в Одессу, истекал уже месяц, как на нашей земле бушевала война. На юге фронт подошел уже к Днестру.

По пути от вокзала внимательно присматриваюсь ко всему, что можно увидеть из окна трамвайного вагона. Раньше бывал в Одессе как бы мимоходом, считанные часы. А теперь, похоже, буду здесь жить, и, может быть, долго.

Сперва кажется, будто тут все почти как прежде. Разрушений от бомбежек не заметно — очевидно, налеты фашистской авиации успешно отражаются или вообще не слишком часты. На клумбах бульваров пестреют высаженные, должно быть еще до войны, цветы. Как обычно в жаркий день, распахнуты двери магазинов, кафе. На афишах кинотеатров — «Мы из Кронштадта», «Трактористы».

Но нет, я не вижу запомнившихся в первые приезды оживленных и веселых людских потоков на тротуарах. Пешеходы шагают торопливо, озабоченно. И вообще людей на улицах гораздо меньше. Многие, конечно, давно в армии, на фронте. Другие уехали со своими заводами и институтами в глубь страны. Наверное, немало горожан занято на строительстве запасных оборонительных рубежей в приднестровской степи. Но, оказывается, уже не только в степи. У одного перекрестка бросилась в глаза перегородившая улицу стена из мешков, набитых песком или землей. Трамвай, замедлив ход, проехал через оставленные посередине «ворота». Баррикада для уличных боев? Выходило, что в Одессе учитывают и такую возможность...

В штабе ждали новости. Во-первых, как выяснилось, это уже не штаб Приморской группы войск: 19 июля Южный фронт преобразовал группу в Приморскую армию. А я уже числился заместителем начальника оперативного отдела штаба армии (штарма).

— Начальник оперативного отдела — генерал-майор Воробьев, — сообщил мне дежурный и объяснил, как пройти к нему.

Миновав коридор, где стояли выдвинутые из комнат сейфы и заколоченные ящики (управления Одесского военного округа готовились к переезду в Днепропетровск), я нашел нужный кабинет. Постучался, открыл дверь и увидел за большим письменным столом Василия Фроловича Воробьева, под началом которого служил в штабе 1-й Тихоокеанской дивизии. Стало ясно, что это он позаботился о моем возвращении в Одессу: было слишком невероятно снова попасть к нему в помощники по чистой случайности.

Мы не виделись около двенадцати лет. До меня доходило, что после Дальнего Востока В. Ф. Воробьев служил в Москве, окончил две военные академии — имени М. В. Фрунзе и Генерального штаба, а затем преподавал в последней. Когда началось присвоение введенных у нас генеральских званий, видел его портрет в «Правде».

Как и на том портрете, Василий Фролович выглядел очень внушительно, старше своих сорока с небольшим. Он был еще в полной генеральской форме мирного времени — с лампасами и нарукавными шевронами. Чем-то довоенным веяло и от убранства его кабинета: портьеры, уютные кресла, столик с прохладительными напитками.

Поздоровались тепло и сердечно, как старые сослуживцы. Генерал Воробьев начал знакомить меня с обстановкой и штабными делами. Он прибыл в Одессу несколько дней назад из штаба Южного фронта и уже успел слетать в южный пограничный район у Дуная и Прута. туда, где война застала меня.

— Противник форсировал Прут в новом месте, у Цыганки, и надо было выяснить, что там происходит, — рассказывал Василий Фролович — Был и в Болграде, штаб Четырнадцатого корпуса находился еще там... Посмотрел хоть с воздуха, с бреющего полета, советские земли за Днестром. Теперь там уже фашисты...

Отбросить врага за Прут у Цыганки не удалось: массированные удары авиации не давали нашим войскам подниматься в контратаки. Но развить там успех противник все же не смог. Однако севернее, в полосе обороны 35-го стрелкового корпуса и других соединений 9-й армии, натиск превосходящих неприятельских сил продолжал сдвигать фронт к Днестру. Над войсками левого фланга нависла угроза быть отрезанными. Не оставалось ничего иного, как отводить 14-й корпус с границы, и генерал Н. Е. Чибисов приказал Воробьеву срочно разработать соответствующий план.

В ночь на 19 июля чапаевцы и другие части, которые двадцать семь суток держали южный участок западной государственной границы, начали отход на первый промежуточный рубеж. Одновременно корабли Дунайской флотилии, поддерживавшие эти четыре недели корпус генерала Д. Г. Егорова, оставили Измаил. Флотилия переводилась в Николаев, на Южный Буг. Подвижные береговые батареи дунайцев (те, что оказались потом под Одессой) отошли в боевых порядках пехоты.

Войска левого фланга до последнего часа удерживали границу прочно. Показателен такой факт. Исходя из общей обстановки, командующий Приморской группой намеревался начать отвод корпуса на два дня раньше. Но генерал-майор Д. Г. Егоров попросил отсрочить отход, чтобы успеть эвакуировать тыловое хозяйство, и командующий дал на это согласие.

Только перед тем, как покинуть границу, были сняты подразделения чапаевцев и пограничников из Килии Старой и других пунктов на румынском берегу Килийского гирла, занятых нашими десантами в конце июня.

Узнавая эти подробности ухода с Дуная, я ощущал и гордость и горечь. Гордость за товарищей, рядом с которыми встретил войну и которые теперь становились моими сослуживцами по Приморской армии. И горечь за них же: не сбылась крепнувшая столько дней надежда — не дать врагу перешагнуть советскую границу хотя бы здесь...

Итак, линией фронта теперь становился Днестр. Переправа войск на его восточный берег еще не закончилась. Но, как сказал Воробьев, это было вопросом ближайших дней. Приморцы занимали оборону от Каролино-Бугаза в устье Днестровского лимана до Тирасполя, входившего уже в полосу 9-й армии.

Прикинув в уме, что тут наберется километров полтораста по фронту, даже если не учитывать все изгибы реки, я спросил:

— Наша армия — это в основном Четырнадцатый корпус, или теперь прибавится что-то еще?

— Корпус, как таковой, будет расформирован, — ответил Василий Фролович. — Что касается его дивизий, то Сто пятидесятую перебрасываем в Котовск в распоряжение Девятой армии, и, очевидно, к нам она больше не вернется. Значит, остаются Пятьдесят первая и Чапаевская... Зато в Приморскую армию включен Тираспольский укрепленный район — это реальная сила, не то что был ваш Дунайский. Затем формируется здесь, в Одессе, кавалерийская дивизия. Командиром назначен генерал-майор Иван Ефимович Петров из Туркестанского округа. Ну, а еще — один запасной полк, пятнадцатая бригада ПВО, пограничники... В резерве — пехотное училище, но оно вряд ли тут останется. Нам подчинена также Одесская военно-морская база с кораблями и береговыми батареями, которым пока не по кому стрелять. Авиации реально имеем один полк истребителей, танковых частей нет...

Хотя было ясно, что состав Приморской армии невелик, но моя новая должность обязывала знать о каждом соединении или части



очень многое, и весь остаток дня я узнавал различные данные о них — пока из документов, имевшихся в штабке.

Поздно вечером представился вернувшемуся в Одессу начальнику штаба генерал-майору Гавриилу Даниловичу Шишенину. Он производил впечатление человека спокойного и вдумчивого. И даже при совсем недолгом разговоре почувствовалась та слегка подчеркнутая корректность, которую я часто замечал у штабных работников, приезжавших из центра.

Генерал Шишенин, как мне было известно, возглавлял перед войной штаб столичного военного округа. А до назначения в Одессу пробыл около трех недель начальником штаба Южного фронта. В начале войны происходило много быстрых, подчас неожиданных перемещений высшего командного состава.

Еще позже, около полуночи, прибыл в штаб командарм Приморской генерал-лейтенант Никандр Евлампиевич Чибисов, он же командующий Одесским военным округом. Его рабочий распорядок я уже знал от Василия Фроловича Воробьева: большая часть дня — в частях, на строительстве оборонительных рубежей, на разных совещаниях в областных и городских организациях, а ночью, часов до шести утра, — решение вопросов, накопившихся в штабе.

Генерал Чибисов был командармом временно, он совмещал эту должность со своей основной до приезда постоянного, которого ожидали из Москвы. В Одессе он пробыл до конца июля или первых чисел августа, причем я не так уж много видел его за этот короткий срок. Но Никандр Евлампиевич запомнился как воплощение кипучей энергии, неистощимой работоспособности. Все, что он ни делал, он делал увлеченно и как-то весело, не изменив в то трудное время своей жизнерадостной натуры. От одного общения с ним люди приободрялись и тоже веселились.

У Чибисова была масса забот по округу, особенно в связи с новыми формированиями. Но и из того, что касалось Приморской армии, он ничего не откладывал до прибытия своего преемника. Часами совещался с директорами оставшихся заводов, выясняя, какое оружие можно изготовлять в Одессе, словно предвидел, насколько важным это станет в близком будущем. Выбрал, тоже весьма предусмотрительно, помещение для надежно защищенного армейского командного пункта — склады бывшего коньячного завода Шустова, уходящие на три этажа под землю и совсем неприметные снаружи. Работы по оборудованию подземного КП уже шли полным ходом.

В штаб и управление Приморской армии переводились высвободившиеся в 14-м корпусе командиры, знакомые мне по придунайским местам. Начальник артиллерии корпуса полковник Н. К. Рыжи стал начальником артиллерии армии, заместитель командира корпуса по политчасти бригадный комиссар Г. М. Аксельрод назначен в политотдел армии (поарм), начальник корпусной санитарной службы военврач 1-го ранга Д. Г. Соколовский — начсанармом. Очень обрадовался я встрече с недавним заместителем коменданта Дунайского укрепленного района полковым комиссаром Алексеем Васильевичем Готовым, который оказался военкомом штабма.

Оперативный отдел еще только комплектовался. Почти одновременно со мною прибыли переведенные из штабов округа, корпуса и других соединений полковники Ф. Т. Рыбальченко и А. Т. Калина, майор Н. М. Толстикова, немного позже — старший лейтенант Н. И. Садовников. До этого с кадрами было плохо. Два-три командира, которых застал в отделе генерал Воробьев, оказались слишком малоопытными в штабных делах, и Василий Фролович, академически педантичный по отношению

к оперативным документам, жаловался, что ему приходится заново переписывать сводки и чуть ли не самому вести журнал боевых действий. С приходом старшего лейтенанта Садовникова, назначенного моим помощником в первое отделение, ведение текущей оперативной документации перешло в основном к нему, и скоро стало ясно, что за эту сторону работы можно не беспокоиться.

Мой тезка Садовников — тоже Николай Иванович — только что окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе. Он был моложе всех в отделе по званию и годам, но отличался вдумчивостью и обстоятельностью, сочетавшимися с высокой военной культурой. О чем бы ни докладывал, никогда не собьется на простое перечисление фактов, а умело их обобщит, четко изложит самую суть. При этом — превосходная, цепкая память, способная служить живой справочной книгой. А оформлению штабных документов могли поучиться у него и некоторые из старших товарищей. Словом, при тогдашних трудностях с кадрами Садовников был для оперативного отдела просто находкой.

В последующие недели в штабе и вообще в Приморской армии произошел ряд перестановок, вероятно, неизбежных в организационный период. В соединения, где не хватало штабных командиров, ушли Рыбальченко и Калина. Постепенно у нас в отделе сложился коллектив не только очень работоспособный, но и дружный.

Пожалуй, только в боевой обстановке до конца выясняется, что по силам, по плечу тому или иному военному человеку, в том числе и кадровому командиру. На войне немало людей оказались способными на большее, чем от них ожидали раньше. В полной мере это относится и к ставшему вскоре одним из моих близких сослуживцев капитану Константину Ивановичу Харлашкину.

До войны он ведал в штабе Одесского округа физподготовкой. Академии капитан Харлашкин не кончал, широтой военного кругозора, судя по аттестациям, не отличался. Вероятно, поэтому его не послали в штаб какой-нибудь формирующейся в округе части. А потом с кадрами стало настолько туго, что и штабному не приходилось отказываться ни от кого, кто имел хоть какой-то штабной опыт.

Присланный к нам статный, щеголеватый капитан (помню, я мысленно окрестил его «женихом») сначала нес дежурство, выполнял эпизодические поручения. Он оказался безупречно исполнительным, совершенно неутомимым и вдобавок отчаянно смелым. Куда угодно прорвется, ни перед чем не остановится, если приказано, например, найти и вывести к одесским рубежам какое-нибудь затерявшееся в степи подразделение (бывали потом и такие поручения). И с любого задания, успех где-то привести себя в порядок, вернется таким свеженьким и аккуратным, будто гулял по Дерибасовской. В складывавшейся обстановке были ценны и напористость Харлашкина, и его острый, наблюдательный глаз, и способность нигде не теряться. Из начальника физподготовки получился боевой направлонец оперативного отдела. Ну, а если возникали затруднения в оформлении по всем правилам какого-нибудь ответственного документа, на помощь охотно приходил Садовников. Веселого и покладистого Константина Ивановича Харлашкина полюбил весь отдел: с людьми его склада, неунывающими, полными кипучей жизненной силы, как говорится, не пропадешь.

Еще двух прекрасных работников — капитанов И. П. Безгинова и И. Я. Шевцова — мы получили от отдела ПВО и штаба 15-й бригады ПВО. Впрочем, туда, как и вообще в Одессу, они только что прибыли после прожженного в первые дни войны досрочного выпуска из Академии имени М. В. Фрунзе. Назначение этих командиров в оперативный отдел было вполне естественным — оно соответствовало их подготов-

ке,— и потому я не говорю сейчас о них так подробно, как о Харлашкине.

С этими тремя капитанами читатель еще встретится. Им принадлежала пусть не всегда заметная, но существенная роль в оперативной работе штарма.

Несколько дней суточные записи в журнале боевых действий начинались спокойной фразой: «Приморская армия занимает оборону по восточному берегу р. Днестр, производит оборонительные работы и перегруппировку своих войск».

Днестровский рубеж представлялся нам надежным. Вместе с отошедшими сюда дивизиями Одесское направление прикрывал на широком фронте Тираспольский укрепленный район, имевший, кроме артиллерии, сотни пулеметных дотов. И хотя продолжалось строительство запасных оборонительных линий дальше к востоку вплоть до непосредственных подступов к Одессе и самого города, в штарме очень верили, что удастся удержать фронт на рубеже Тираспольского УРа до тех пор, пока мы соберемся с силами, чтобы отбросить врага назад.

В переданных командирам частей указаниях генерал-лейтенанта Н. Е. Чибисова говорилось: «Внушить всем, что оборона по р. Днестр такая, через которую противник не должен пройти. Оборона временная, и мы должны выискывать момент для перехода в наступление...»

Выходя на западный берег Днестра, противник начинал нащупывать подходящие места для переправ. Однако артиллеристы и пулеметчики укрепленного района давно пристреляли все такие места в своей полосе, и нигде ниже Тирасполя врагу не удавалось высадить на восточный берег даже разведку.

За Днестром войска получили некоторую передышку, приняли первое с начала войны маршевое пополнение, смогли привести себя в порядок. Командарм приказал тыловикам обеспечить бойцам усиленное питание, подвезти вещевое имущество.

Но передышка оказалась недолгой. Подобно тому, как раньше на Пруте, угроза нашей обороне возникла на правом фланге: выше Тирасполя, в полосе 9-й армии, Днестр форсировала 72-я немецкая пехотная дивизия, а вслед за нею и другие вражеские войска.

Дни относительного затишья на днестровском переднем крае оказались трудными и тревожными для Одессы: начались массированные воздушные налеты. 22 июля десятки фашистских самолетов сбросили бомбы на порт и различные районы города, и с тех пор налеты стали систематическими, нередко повторяясь по несколько раз в сутки. Появились разрушения на центральных улицах — Пушкинской, Либкнехта, Карла Маркса, население изо дня в день несло жертвы убитыми, ранеными...

Налеты, правда, не проходили безнаказанно для врага. 23 июля истребители на виду у всего города сбили над морем и берегом два «хейнкеля». Уничтожали бомбардировщиков и зенитчики, они вели боевой счет еще с четвертого дня войны — тогда под Одессой сбила первый фашистский самолет, не подпустив его к городу, батарея лейтенанта Василия Тарасенко.

Но отражать массированные налеты было далеко не просто, хотя Одесса и имела сильную по тому времени, созданную до войны противоздушную оборону. Город и важные объекты в его окрестностях (в том числе водонасосную станцию в Беляевке, питавшую одесский водопровод) прикрывала 15-я отдельная зенитно-артиллерийская бригада ПВО полковника И. Т. Шиленкова. Свой полк зенитчиков был у

военно-морской базы. В систему ПВО входили дивизион аэростатов заграждения, прожекторный батальон и другие подразделения.

С первых дней войны зенитные батареи заняли огневые позиции на многих площадях и бульварах (зенитчики, конечно, правы, когда говорят, что для них оборона Одессы началась не в августе, а уже в июне). А командный пункт одного подразделения находился, между прочим, на сцене знаменитого одесского оперного театра. Само здание этого театра — гордость города — было в числе объектов, защите которых от вражеских бомб уделялось особое внимание.

Боюприпасов зенитчики имели сперва вдоволь. И как ни нахально вели себя в начале войны фашистские асы, над Одессой им приходилось держаться на большой высоте.

Однако в системе ПВО обнаруживались слабые места. Не было предусмотрено, например, оповещение о приближении воздушного противника со стороны моря, а вражеские бомбардировщики часто появлялись именно оттуда.

Этот пробел устранили: морское командование выделило пять старых катеров, снабдило их рациями и катера стали нести противоздушный дозор, дрейфуя милях в двадцати от побережья. Обстановка подсказала также, что самые мощные зенитные орудия — восьмидесятипятимиллиметровые — целесообразно поставить ближе к берегу моря.

Когда фронт подошел к Днестру, стало плохо с оповещением уже не на море, а на суше: система дальних постов ВНОС, развернутых в Бессарабии, перестала существовать. Но с этим ничего нельзя было поделать, и оставалось выигрывать время за счет более высокой боевой готовности сил и средств ПВО. К тому же зенитчики тщательно изучали тактику врага и их огонь становился все эффективнее.

Если зенитной артиллерии в Одессе оказалось немало, то самолетов-истребителей явно не хватало. Когда я входил в курс дел Приморской армии, создалось, помню, впечатление, что тут больше авиационных начальников, чем самой авиации. Был начальник ВВС армии — живой и энергичный комбриг Виктор Петрович Катров, имевший, как положено, свой штаб. В Одессе же находились тогда командование и штаб 21-й смешанной авиадивизии. Но из ее боевого состава базировался в полосе Приморской армии уже только один полк — 69-й истребительный, которым, собственно, и ограничивались военно-воздушные силы комбрига Катрова. Была, правда, еще группа маленьких флотских гидропланов «МБР-2» на Хаджибейском лимане. И этот единственный полк истребителей должен был защищать от ударов с воздуха отнюдь не только Одессу. Разбросанные по полевым аэродромам «ястребки» прикрывали отход войск к Днестру и переправы, сопровождали летавшие за Днестр бомбардировщики. Когда севернее Тирасполя противник оказался на левом берегу, истребители 69-го полка понадобились и там — для штурмовки вражеской пехоты.

Комбриг Катров, разумеется, не был повинен в том, что громкое название его должности находилось в некотором несоответствии с фактической численностью армейской авиации. Начальник ВВС, распоряжавшийся одним полком, мог чувствовать себя все же лучше, чем, скажем, начальник бронетанкового отдела, за которым не значилось никаких танков. Катров «болел» за своих летчиков, имевших огромную боевую нагрузку, заботился о них и расчетливо распределял силы полка, стараясь, чтобы наличных шестидесяти самолетов хватало на все задания.

Как-то он свозил меня на один из маленьких аэродромов вблизи Одессы, на которых рассредоточились две оставленные для прикрытия города эскадрильи (две другие были у Днестра).

Аэродром — неприметная площадочка у бесконечного, шумящего на ветру кукурузного поля. По краю расставлены замаскированные сетью и зелеными ветками «И-16» (это в полку основная боевая машина, других немного). Летчики дежурных самолетов — в кабинах, готовы с места вырывать на взлет. Да и остальные держатся поближе к своим «ястребкам».

У летчиков загорелые юные лица. Сплошь лейтенанты, и, должно быть, всем по двадцать с небольшим, а кое-кому и просто двадцать. Увлеченно, с азартом стали рассказывать про схватки с бронированными, огрызающимся огнем «хейнкелями», к которым сперва не знали, как подступиться, а теперь уже ничего, приспособились...

Летчики рассказали, как штурмовали румынскую кавалерию. Вылетов на разведку за Днестр, они сами обнаружили скопление конницы — не меньше полка — в ближних неприятельских тылах. Сами и разгромили ее потом с бреющего полета, убедившись, что скорострельные пушки «ШКАС» и авиационные пулеметы неплохо поражают и такую не совсем обычную для истребителей цель. На фронте тот кавалерийский полк так и не появился.

— Первая наша крупная штурмовка, — сказал кто-то из летчиков. — Три раза подряд вылетали. Водил майор Шестаков...

— А он, кажется, легок на помине! — заметил Катров.

От остановившейся за кустами «эмки» шагал невысокий плотный командир в авиационной форме. Лицо очень молодое, а на гимнастерке — ордена Ленина и Красного Знамени, в петлицах — по две шпалы. Здороваясь с подошедшим майором, комбриг уважительно назвал его по имени-отчеству — Львом Львовичем.

Вот, значит, он какой, майор Шестаков, заместитель командира 69-го авиаполка по летной части. Благодаря Катрову я был уже немного знаком с ним заочно. Знал, что ему всего двадцать пять лет — в сущности, сверстник рядовых летчиков. Но если те переживают первые свои схватки с врагом, то у него за плечами год войны в Испании: что-то около ста воздушных боев, восемь фашистских самолетов, сбитых им еще в чужом небе... За это и ордена, и большое для его возраста звание.

Комбриг Катров считал Шестакова незаурядным летчиком и умелым воспитателем, которому истребители полка многим обязаны в своей выучке. С ним, конечно, было интересно познакомиться ближе. Однако поговорить почти не пришлось: меня срочно вызвал командарм. Но после короткой встречи на аэродроме уже хорошо представил себе молодого авиационного майора, когда слышал его голос по телефону. А это делалось вскоре довольно частым, потому что Шестаков был назначен командиром нашего истребительного полка.

Тогда же, в двадцатых числах июля, привелось впервые встретиться с генерал-майором Иваном Ефимовичем Петровым. Полки кавалерийской дивизии, которую он формировал, стояли в разных местах, в том числе в самой Одессе, и комдив часто бывал в штарме.

Генерал Петров носил кавалерийскую португую и пенсне, которое иногда, в минуты волнения, вздрагивало от произвольных движений головы — следствие, как я узнал потом, давнишней контузии. В его облике, своеобразном и запоминающемся, в манере держаться сочетались черты прирожденного военного и интеллигента, что, впрочем, было характерно не только для внешности Петрова. А вообще Иван Ефимович принадлежал к людям, как-то сразу располагающим к себе, внушающим не просто уважение, но и чувство симпатии, приязни. Что же касается бывалых кавалеристов, собравшихся в его дивизии, то они, судя по всему, быстро признали в генерале старого конника.

В эту дивизию — она стала именоваться 1-й кавалерийской — пришло много запасников-ветеранов. Некоторые прибывали в буденовках, сбереженных с гражданской войны. Под стать бойцам подобрался и командный состав — тоже большей частью прошедший закалку тех огневых лет. 5-й кавалерийский полк, который комплектовался в Котовских казармах, принял капитан Федор Сергеевич Блинов. Воинское звание командира, конечно, малость отставало от должности, но это было дело поправимое (скоро Блинов стал майором). Зато эскадрон он водил в сабельные атаки еще на врангелевском фронте.

Вскоре полк Блинова выступил из Одессы. Ясным июльским вечером, когда город еще не остыл от дневного зноя, продефилировал он по центральным улицам с трубачами на конях, с пулеметными тачанками и артиллерией. Вечер выдался спокойный, без бомбежки, и тротуары заполнила густая толпа. К конникам тянулись руки с букетами цветов, со всех сторон раздавалось, как общий наказ: «Бейте фашистских гадов!»

Маршрут полка пролегал мимо чтимого одесситами дома, где некогда жил Пушкин. Приближаясь к этому дому, капитан Блинов в порыве высоких чувств скомандовал равнение. Ничем, никакими уставами такая команда не предусматривалась. Но старый буденовец выразил ей, в сущности, все величие и благородство наших целей в смертельной борьбе с фашизмом.

Через Пересыпь полк проследовал в Лузановку — один из немногих пригородов Одессы, где достаточно деревьев, чтобы скрыть целую тысячу коней. А несколько дней спустя конники встретились с врагом. И пусть не улыбается читатель шестидесятих годов: хотя дивизию Петрова и пришлось потом спешивать, лихая кавалерия тогда еще отнюдь не изжила себя.

Тем временем у Днестра продолжалась перегруппировка войск левого крыла Южного фронта, повлекшая новые изменения в составе Приморской армии, а затем и в границах нашей полосы обороны.

Двадцать восьмого июля В. Ф. Воробьев, вернувшись от начальника штаба фронта, продиктовал для записи в журнале боевых действий:

— Пятьдесят первая стрелковая дивизия выводится в резерв командующего фронтом... На занимаемом рубеже ее сменяет Двадцать пятая стрелковая двумя полками...

Таким образом, из трех дивизий, составлявших 14-й корпус — первооснову Приморской армии, — за нами оставалась лишь 25-я Чапаевская. Правда, из 9-й армии передавалась в Приморскую 95-я стрелковая дивизия. Однако не сама по себе, а вместе с ее полосой обороны: от Тирасполя до Григориополя — сорок с лишним километров фронта, если считать по прямой...

Все это, а особенно жесткий срок, который давался для сосредоточения в Ананьеве, к востоку от Котовска, 51-й дивизии, выводимой во фронтовой резерв, несомненно, означало, что положение у наших соседей справа становится все более напряженным.

Два дня назад 72-я пехотная дивизия немцев форсировала Днестр между Григориополем и Дубоссарами, где река делает большой изгиб. Вражеский плацдарм на левом берегу ликвидирован не был, и, очевидно, противник наращивал там силы.

Было известно, что 95-я стрелковая дивизия стойко оборонялась на Пруте, что в начале июля она нанесла тяжелое поражение 35-й румынской пехотной дивизии (с этим успехом отличившиеся полки по-здравляло командование Южного фронта). К Днестру дивизия вышла, понятно, не без потерь, но во всяком случае вполне боеспособной. Одна-

ко, зная все это, мы в штабме не могли тогда дать себе отчета, какую реальную боевую силу получит Приморская армия вместе с новым значительным участком фронта на своем правом фланге. Да и как выглядел сейчас этот фланг, было не особенно ясно.

Дело в том, что приказ фронта о переходе в подчинение нашей армии застал 95-ю дивизию — точнее, два из трех ее стрелковых полков и большую часть артиллерии — в составе ударной группы, созданной командармом-9 с целью восстановить положение в районе Григориополь — Дубоссары, где противник переправился через Днестр. По дошедшим сведениям, там шли ожесточенные бои. Командир 95-й дивизии и его начальник штаба перебрались со своего основного КП на временный — в районе боев, — связаться с которым мы не могли.

В течение следующих двух суток положение если и стало более определенным, то во всяком случае не улучшилось. Противник имел теперь на левом берегу до трех дивизий, которые нашим войскам удавалось лишь сдерживать. Там уже действовала часть нашего авиаполка. Остальные истребители отражали усилившиеся налеты на Одессу. Помочь 95-й дивизии чем-либо мы не могли.

В такой обстановке 31 июля прибыл к нам назначенный командующим Приморской армией генерал-лейтенант Георгий Павлович Софронов.

### «ОДЕССУ НЕ СДАВАТЬ!»

Прорыв обороны 9-й армии на Днестре был не единственным, что осложнило в конце июля — начале августа и без того достаточно трудное положение наших войск на Юге.

В это же время из района Бердичева повернула на Умань, Первомайск, Вознесенск 1-я танковая группа фон Клейста. Ее моторизованные корпуса врезались во фланг и тылы армий правого крыла Южного фронта, ослабленных предшествующими тяжелыми боями. За несколько дней на фронте произошли грозные перемены. Враг захватывал города, которые, казалось, находились вне непосредственной угрозы. Перед лицом этих событий многое представлявшееся до сих пор важным отходило на второй план и многое требовалось осмыслить заново.

Вспору было задуматься и над тем, как может измениться задача Приморской армии.

Теперь часто говорят и пишут, что Приморская армия создавалась для обороны Одессы, и в принципе это правильно. Кстати сказать, уже группа войск, преобразованная затем в армию, именовалась сперва в оперативных документах Одесской Приморской группой, хотя ее дивизии тогда держали фронт еще на Дунае и Пруте. Но задача, ставшая в конечном счете основной и главной, вырисовывалась — во всяком случае для нас — постепенно и сначала была частью задачи более широкой.

После включения в Приморскую армию 95-й дивизии мы отвечали за оборону по Днестру от моря до Григориополя. Выходившая к этому пункту разграничительная линия с 9-й армией была проложена через Вознесенск и Жовтнево. Армейская полоса обороны выглядела на карте большим квадратом: по фронту примерно столько же, сколько и в глубину — от переднего края до Буга. В пределах этого квадрата находилась, кроме Одессы, другой областной город и порт — Николаев с его судостроительными заводами.

Николаев еще недавно мог считаться почти безопасным тылом, доступным разве что вражеской авиации. Прорыв противника с севера к

Первомайску и угроза Вознесенску перечеркивали подобные представления. Но опасность над всем югом Правобережной Украины, заставляла думать прежде всего об Одессе. И не потому, конечно, что она была ближе всего, за окнами штаба.

Крупнейший город на черноморском побережье, промышленный и культурный центр, первоклассный торговый порт, важная военно-морская база... К этому можно было добавить еще многое: Одесса имела стратегическое значение уже вследствие одного того, что на аэродроме вблизи нее садились для дозаправки бомбардировщики флотских ВВС, совершавшие налеты на промыслы Плоешти, которые питали нефтью всю гитлеровскую военную машину.

Естественно, Одесса не могла не занимать важного места и в планах врага. И как свидетельствуют документы, опубликованные после войны, фашистское командование учитывало, что овладеть этим городом не просто. «...Следует ожидать попытки противника удержать район Одессы,— заносит 30 июля 1941 года в свой дневник начальник генштаба германских сухопутных войск Гальдер.— Одесса может стать русским Тобруком. Единственным средством против этого является прорыв 1-й танковой группы через Первомайск на юг...»

Но все же гитлеровцы планировали быть в Одессе скоро. Об одном из признаков этого сообщали наши моряки. Им доставляли много тревог и хлопот немецкие магнитные и акустические мины, не поддававшиеся обезвреживанию обычными тральными средствами. Фашистская авиация в большом количестве сбрасывала такие мины в районе Севастополя и на подходах к другим черноморским портам. Но только не у Одессы. Тут мины не ставились совсем. Признак, что и говорить, серьезный.

Однако если противник хотел сохранить одесский порт и фарватеры чистыми для себя (очевидно, чтобы немедленно ими воспользоваться, не тратя времени на траление), то отсутствие в этом районе вражеских мин устраивало, разумеется, и нас.

Чем тревожнее становилась обстановка на соседних участках сухопутного фронта, тем чаще вспоминалось, что на другом фланге у нас все-таки море. Море, на котором господствует свой флот.

Встретив нападение врага в боевой готовности, Черноморский флот не понес особых потерь в первые дни войны, а также и в июле. Пока что моряки обеспечивали эвакуацию переводимых из Одессы в тыл предприятий — значительная часть грузов с самого начала отправлялась морем, и транспорты уходили под охраной боевых кораблей. Но флот, несомненно, мог, если бы это потребовалось, оказать и прямую поддержку сухопутным войскам.

В районе Одесской военно-морской базы имелось несколько дальнобойных стационарных батарей крупного калибра — до семи-восьми дюймов. Но, как ни странно это теперь выглядит, они были рассчитаны на стрельбу только в сторону моря, по неприятельским кораблям.

Хорошо, что морякам хватило времени устранить этот просчет. В конце июля батареи, расположенные у Одессы, уже проводили тренировочные стрельбы по наземным целям. И одесские моряки вообще всерьез занялись подготовкой к сухопутной обороне своей базы.

Естественно, что работа свела и познакомила меня прежде всего с моряками из штаба базы. Это были начштаба капитан 1-го ранга С. Н. Иванов, его молодой помощник капитан 3-го ранга К. И. Деревянко, флагманский артиллерист базы капитан 2-го ранга С. В. Филиппов.

С началом войны моряки перестали носить свои белоснежные летние кителя. Однако и в темной форме они выглядели парадно: золотые



нашивки на рукавах, накрахмаленные манжеты, острая складка на отутюженных широких брюках, как-то особенно надраенные пуговицы, блестящие кортики. Сперва все это немножко ослепляло, но, очевидно, так и полагалось воевать на море, где нет окопной пыли и грязи. Вспоминалось, что, кажется, еще в старину на кораблях одевались к бою, как на парад.

Вступив в оперативном отношении под начало Приморской группы войск, а затем Приморской армии, Одесская база оставалась в общем подчинении флотскому командованию. И предписания, полученные в последних числах июля командиром и штабом базы от своего наркома адмирала Н. Г. Кузнецова и Военного совета Черноморского флота, были самыми категорическими: независимо от положения на сухопутном фронте базу не оставлять и драться за нее до конца.

Личный состав базовых подразделений и служб деятельно участвовал в инженерных работах на подступах к городу. Моряки особо укрепляли подходы к своим береговым батареям — перед ними создавались и проволочные заграждения, и минные поля. К огневой поддержке сухопутных частей готовились стоявшие в Одессе корабли. Здесь постоянно находились два эсминца, дивизион канонерских лодок, тральщики, сторожевые и торпедные катера, а также крейсер «Коминтерн» — черноморский ветеран, ввод которого в строй положил начало возрождению флота после гражданской войны.

В штабе морской базы готовили сухопутные карты, таблицы, планшеты. Там теперь часто бывали начарт Приморской армии полковник Н. К. Рыжи и начальник штаба артиллерии майор Н. А. Васильев, установившие тесную связь со своими коллегами-моряками.

Нельзя не отдать должного предусмотрительности Николая Кирьяковича Рыжи. Перед началом войны он в 14-м корпусе, не дожидаясь особых указаний свыше, делал все от него зависящее для усиления боевой готовности артиллерийских полков. А в Одессе, возглавив артиллерию армии, сразу же занялся планированием огневой поддержки войск также и на тех рубежах, которые считались пока запасными. Задолго до того, как флотская береговая артиллерия могла вступить во взаимодействие с нашими дивизиями, майор Васильев сообщил мне, что по заданию полковника Рыжи он побывал на всех батареях военно-морской базы, познакомился с их командирами. Они совместно наметили места корректировочных постов, условились о порядке вызова огня и других деталях общей боевой работы. Все это весьма пригодилось.

За два дня до приезда командарма Г. П. Софронова в Одессу прибыли дивизионный комиссар Ф. Н. Воронин, назначенный членом Военного совета Приморской армии, и полковой комиссар Л. П. Бочаров, возглавивший политотдел армии.

Воронина мы знали как начальника Политуправления Южного фронта. То, что вслед за Г. Д. Шишениным в армию направлялся еще один крупный работник фронтового масштаба, говорило о большом внимании к приморскому флангу. И притом в такое время, когда трудное положение создавалось отнюдь не только у нас.

Знакомясь с командирами штаба, Федор Николаевич Воронин сдержанно, но вполне определенно высказал мысль, что развитие событий требует быть готовыми и к самостоятельной обороне стратегически важного района Одессы.

Самостоятельная оборона означает удержание окруженной или отрезанной территории. В наших условиях — какого-то изолированного приморского плацдарма. Следовательно, командование фронта, а может быть, не только фронта, считало возможным или вероятным, что армии предстоит решать подобную задачу.

Самостоятельная оборона огромного города, никогда не бывшего крепостью, представляла бы задачу вообще совершенно новую — память не подсказывала решительно никаких подходящих примеров и аналогий. Рождались бесчисленные вопросы, на которые бесполезно было требовать от кого-либо исчерпывающего ответа — его, очевидно, могла дать лишь сама жизнь.

Оставалось все же надеяться, что нашему новому командарму многое яснее: он ехал из Москвы.

Генерал-лейтенант Г. П. Софронов остановился с дороги у Чибисова — они, оказывается, знали друг друга по Уральскому военному округу. Вечером командарм появился в штабе, уже осведомленный об обстановке и основных наших заботах. В кабинете ему поставили койку — Софронов сказал, что здесь будет и жить.

Штаб армии к тому времени обосновался в здании Строительного института на укромной, почти непроезжей улице Дидрихсона, которую местные жители чаще называли Староинститутской. В соседнем дворе заканчивалось оборудование помещения, выбранного Чибисовым для подземного КП. Там уже действовал армейский узел связи, откуда генерал Софронов смог переговорить по буквопечатающему аппарату с командующим фронтом И. В. Тюленевым.

Новый командарм не торопился отдавать распоряжения, ставить задачи. Очевидно, не в его привычках было проявлять власть, не вникнув досконально в положение дел. Чувствовалось, однако, что он рассчитывал застать под Одессой не такую армию, какую застал.

Георгий Павлович Софронов встретил войну заместителем командующего войсками Прибалтийского Особого военного округа. Ему было уже под пятьдесят. Своим спокойным, открытым лицом командарм сразу располагал к себе. Держался он просто, даже как-то по-домашнему. И вообще был человеком прямым и душевным, не любил излишней официальности. При этом он обладал сильным, твердым характером, огромной выдержкой.

Приезду Софронова очень обрадовался начарт Рыжи, служивший в двадцатых годах в дивизии, которой тот командовал. От Николая Кирьяковича Рыжи я немало узнал о нашем командующем. Позже и сам Георгий Павлович вспоминал иногда между делом что-нибудь интересное из своей богатой событиями жизни.

Софронов был старым коммунистом, еще до Октября связавшим свою судьбу с большевистской партией. И вместе с тем — старым военным, прапорщиком русской армии в первую мировую войну.

Некоторые страницы его биографии открывались для нас подчас совсем неожиданно. Когда на второй или третий день после его приезда обсуждался у карты план строительства укреплений, командарм вдруг обнаружил хорошее знакомство с особенностями отдельных районов города, с расположением многих предприятий. Только называл их по-до-революционному — завод Гена, Ропит... Поймав чей-то вопросительный взгляд, Георгий Павлович усмехнулся:

— А вы не знали, что я старый одессит?

И выяснилось, что еще почти четверть века назад он воевал на одесских улицах. В конце семнадцатого года солдатский комитет 6-й армии поручил бывшему прапорщику Софронову командовать отрядом в пятьсот штыков, посланным из Измаила в помощь красногвардейцам Одессы для подавления мятежа гайдамаков. После январского восстания, утвердившего в городе советскую власть, тот же бывший прапорщик работал в штабе социалистической армии, сформированной для защиты Одессы от вторгшихся на Украину румыно-немецких войск...

Ничего такого мы и не подозревали. Но кто-то в Москве, как видно, знал об этом давнем этапе боевого пути генерала Софронова. Не потому ли именно его послали с другого фронта в Одессу, которой снова угрожал враг? Учли, возможно, и то, что и после гражданской войны он служил комендантом Архангельского укрепленного района, где тоже требовалось держать оборону сообща с моряками.

В Москве, в Генеральном штабе,— это стало мне известно вскоре — Г. П. Софронова предупредили, что Приморской армии, может быть, придется вместе с силами Черноморского флота воевать в тылу у врага, удерживая плацдарм, который очень понадобится, когда наши войска перейдут на Юге в контрнаступление. В принципе это была та же задача, о возможности которой для нашей армии уже говорил в штабе член Военного совета Ф. Н. Воронин. С той лишь разницей, что в случае такого оборота событий плацдарм, который следует удерживать на приморском фланге, мыслился в виде широкой полосы побережья, включающей и Одессу, и Очаков, и, очевидно, также Николаев. В соответствии с этим и шла речь о большем числе дивизий.

Но пока Софронов добирался из Москвы через Полтаву, обстановка на Южном фронте успела сильно измениться. Командарм оказался в нелегком положении на своем новом посту. Ему были знакомы Одесса и все раскинувшееся вокруг. У него, как говорится, лежала душа к этим местам, связанным с боевыми делами его молодости. Однако, при всей своей военной опытности, он не знал — и для оперативных работников штаба это не могло оставаться секретом,— как прикрыть и Одессу и Николаев двумя стрелковыми дивизиями.

Да и кто знал это? Пока прочно держалась на Днестре не только наша, но и соседняя 9-я армия, можно было обходиться на шестидесятикилометровом фронте и двумя дивизиями, опираясь на Тираспольский УР. Теперь же одну из дивизий — 95-ю стрелковую — уже связали тяжелыми боями крупные силы противника, форсировавшие Днестр между Григориополем и Дубоссарами. Всякое расширение вражеского плацдарма на левом берегу легко могло разорвать наш стык с 9-й армией. В то же время над обеими армиями нависала угроза с севера, где продолжала продвигаться танковая группа фон Клейста.

Докладывая о состоянии Приморской армии командующему фронтом, Г. П. Софронов просил усилить ее двумя дивизиями или же снять с нее ответственность за Николаевское направление, соответственно изменив разграничительную линию с 9-й армией. Но этот разговор по буквопечатающему аппарату ничего не изменил. Генерал армии И. В. Тюленев ответил, что усилить Приморскую армию сейчас не может, и подтвердил, что Николаевское направление остается за нами.

Питать в тот момент надежду на иной ответ, особенно на две новые дивизии, можно было, пожалуй, лишь вследствие недостаточной нашей осведомленности об обстановке на Южном фронте в целом: мы еще не представляли себе, что происходит с армиями правого крыла — 6-й и 12-й,— отрезанными от своих тылов.

В начале августа продолжались попытки восстановить фронт по Днестру севернее Тирасполя — все теми же силами, которые действовали там до сих пор.

Стремясь, как всегда, не просто зафиксировать, но и оценить происходящие события, мой помощник старший лейтенант Садовников занес 3 августа в журнал боевых действий:

«Ликвидация Дубоссарской группировки приобретает исключительное значение, так как противник занял Первомайск, и соединение Пер-

вомайской и Дубоссарской группировок создаст тяжелое положение для 9-й и Приморской армий...»

Против такой оценки трудно было что-либо возразить. Требовалось, однако, иметь план действий и на тот — теперь уже более чем вероятный — случай, если ликвидировать неприятельский плацдарм на левом берегу Днестра не хватит сил.

Тогда именно с дубоссарского плацдарма следовало ожидать главного в нашей полосе вражеского удара. Направленный в стык с 9-й армией, он сразу создал бы угрозу охвата противником нашего правого фланга.

Чем подкрепить правый фланг? Прежде всего, конечно, кавалерийской дивизией И. Е. Петрова, представлявшей собою маневренный резерв армии. На худой конец можно перебросить туда и один полк Чапаевской дивизии. А затем выдвигать на угрожаемое направление пограничников, одесские истребительные батальоны и все, что удастся дополнительно сформировать за счет ресурсов военно-морской базы и города.

К этому и сводились предложения штаба, доложенные командарму Г. Д. Шишениным. Командарм согласился с ними, но приказал, чтобы к выдвиганию на правый фланг был готов также второй полк чапаевцев.

Несколько позже, посоветовавшись с дивизионным комиссаром Ф. Н. Ворониным и еще находившимся в Одессе Н. Е. Чибисовым, Г. П. Софронов принял решение, неожиданное в тот момент даже для Шишенина, — начать свертывание Тираспольского укрепленного района.

Тираспольский УР был хорошим щитом Одессы. Вышло, однако, так, что основная огневая мощь укрепленного района оказалась в стороне от главных событий последних дней, разыгравшихся севернее — выше по Днестру. Между тем урвцы представляли большую боевую силу и без своих дотов: почти пятьсот станковых и более трехсот ручных пулеметов, тысячи отборных, отлично обученных бойцов... Другими словами, несколько крепких пулеметных батальонов, способных прикрыть трудные участки.

Так и решил командарм использовать эту силу, точнее — пока лишь некоторую ее часть. Приказ, отданный коменданту Тираспольского УРа 5 августа, предусматривал разоружение дотов на южном участке Маяки — Граденица (за исключением двух, простреливающих дамбы). Севернее частично разоружались доты, стоящие в глубине (в них оставалось по одному пулемету), и сохранялись в полном вооружении находящиеся непосредственно на берегу. Высвобожденные пулеметы и пулеметчики шли на усиление дивизий и в армейский резерв. Создавался и подвижной резерв Тираспольского УРа.

Был ли в таком решении риск? Конечно, был, хотя и представлялось маловероятным, чтобы противник попытался в ближайшие дни захватить где-то на левом берегу новый плацдарм южнее дубоссарского. Однако, оставляя укрепленный район на месте, мы тоже рисковали — потерей крайне нужных армии огневых средств. Ведь на то, чтобы снять и вывезти вооружение из сотен дотов, требовалось известное время. Кто мог поручиться, что оно у нас будет, если противник от Григориополя обойдет укрепленный район с тыла?

Дальнейший ход событий оправдал действия Софронова. Тираспольским пулеметчикам и артиллеристам укрепленного района, влившимся в полевые войска, суждено было сыграть в обороне Одессы немаловажную роль.

Новые указания получил и начальник инженерных войск армии полковник Г. П. Кедринский, с которым командарм выезжал на строительство оборонительных рубежей между Одессой и Днестром.

Вернувшись, командарм сообщил Шишенину, что Кедринскому приказано переклочить все силы на второй рубеж на участке от Беляевки до Тилигульского лимана и на третий, ближайший к Одессе, на всем его протяжении (примерно сто сорок километров) от села Маяки на западе до Аджиаски на востоке. Софронов потребовал также, чтобы прежде всего рыли не противотанковые рвы, а стрелковые окопы.

К увлечению рвами Георгий Павлович относился весьма критически. После той поездки с Кедринским он рассказывал у нас в штабе, как на Северо-Западном фронте, где Софронов только что был, рвы, вырытые на запасных рубежах, создавали порой больше затруднений своей пехоте и артиллерии, чем немецким танкам.

— Боюсь, не получилось бы так и у нас... — заключил он.

Явившись однажды к командарму с какой-то требовавшейся ему справкой, я застал у него коренастого, широкоплечего моряка с нашивками контр-адмирала.

Сразу понял, что это Гавриил Васильевич Жуков — командир Одесской военно-морской базы, только что назначенный начальником Одесского гарнизона.

У Жукова было обветренное, тронутое когда-то оспой лицо, несколько хмурое и очень волевое. Он побывал добровольцем в Испании — об этом напоминали два ордена на кителе. А матросом участвовал, как я уже слышал, в гражданской войне.

В Одессе контр-адмирал служил около трех лет, и его хорошо знали в городе. Он был членом обкома партии, кандидатом в члены ЦК КП(б) Украины. Общаясь с одесскими моряками, нельзя было не заметить, что они Жукова не просто уважают, но любят. Людям импонировали его боевая биография, решительность, личная неустранимость. Помню рассказ одного капитан-лейтенанта из штаба базы, который оказался вместе с Жуковым во дворике их КП во время одного из первых больших налетов вражеской авиации. Когда бомба упала за соседним зданием и под ногами у них вздрогнула земля, капитан-лейтенант инстинктивно потянулся к укрытию, но его остановил удивленный вопрос контр-адмирала: «А вы куда?» Устыдившись, тот вернулся к Жукову, продолжавшему спокойно наблюдать за отражением налета. Возможно, тут было и ненужное бравирование, но подобным поведением командира подчиненные обычно гордятся.

В первых числах августа командование Одесской базы занималось необычным для него делом — из моряков спешно формировали два полка морской пехоты. Полками они были сперва скорее только по названию, а по численности ближе к батальонам: в одном набралось тысяча триста бойцов, в другом — около семисот. Сюда зачислили и школу младших командиров, и различные береговые команды, и всех, без кого можно было обойтись на кораблях, батареях, постах связи.

Вооружить эти полки оказалось не так просто: винтовки для них собирали во всех подразделениях базы. И, наверное, только авторитет контр-адмирала Жукова в городских организациях, знание им самим местных ресурсов помогли быстро добыть еще кое-какое вооружение. На одном предприятии, отнюдь не военном, в срочном порядке налаживалось изготовление ручных гранат. На другом — законсервированном в начале войны стекольном заводике — взялись делать бутылки с горючей смесью — оружие против фашистских танков. Все это требовалось, конечно, не только для морских пехотинцев.

В наш воинский обиход в то время еще не успело войти понятие «морская пехота». Одесская база называла свои краснофлотские полки просто 1-м морским и 2-м морским. Но это и были морские пехотинцы, причем, вероятно, одни из самых первых на всем фронте.

К 5 августа 1-й полк морской пехоты был в основном сформирован. Правда, он еще не имел ни средств связи, ни даже саперных лопат, не говоря об артиллерии. Но мы уже считали его резервом для выдвижения на правый фланг. 2-й полк командование базы предназначало для прикрытия порта: события могли обернуться по-всякому.

Тем временем сформировался еще один полк на основе 26-го погранотряда, дополненного хорошо вооруженным личным составом других подразделений НКВД.

Не приходилось сомневаться, что в трудный час подкрепит Приморскую армию и сама Одесса, хотя в резерве военкома оставалось лишь несколько тысяч запасников старших возрастов.

Еще в начале июля в Одессе началась запись добровольцев в истребительные батальоны и отряды народного ополчения. На одном лишь заводе имени Октябрьской революции в них вступило две тысячи человек, на фабрике имени Воровского — семьсот, почти столько же в торговом порту, а всего по городу — многие тысячи. Часть их, правда, должна была потом уехать в связи с эвакуацией ряда предприятий. Но те, что оставались в городе, проходили без отрыва от производства военную подготовку — ежедневно по два-три часа.

Каждый из семи районов Одессы имел по одному батальону. Еще один, восьмой, создали железнодорожники. Бойцы этих батальонов, мужчины и женщины, не носили форму. Но они уже освоили винтовку и пулемет, умели метать гранаты и бутылки с зажигательной смесью, привыкли являться на сборные пункты по сигналу тревоги. И очень скоро многие из них оказались на переднем крае.

События на Юге развивались стремительно. 4 августа прервалась проводная связь со штабом фронта. Как выяснилось затем, он отбыл из Вознесенска в Николаев. Оттуда войскам фронта был отдан 6 августа приказ об отходе на линию Чигирин — Вознесенск — Днестровский лиман.

Приморской армии приказывалось отходить в ночь с 7-го на 8-е на рубеж, проходящий через Березовку, Катаржино, Раздельную, Кучурганский лиман. Таким образом, наш правый фланг оттягивался от Днестра, развертываясь фронтом к северу; левый же оставался у Днестровского лимана.

Мы тогда не знали, что для основных сил Южного фронта новый рубеж по Бугу — только промежуточный, и что Ставка Верховного Главнокомандования разрешила им отход на Днепр с тем, чтобы там остановить врага. Не знали мы еще и того, что в директиве Ставки от 5 августа есть пункт, касающийся непосредственно нас: «Одессу не сдавать и оборонять до последней возможности, привлекая к делу Черноморский флот».

Из приказа об отходе на новый рубеж неожиданно стало известно, что в Приморскую армию теперь входит также 30-я горнострелковая дивизия, сосед 95-й стрелковой. Обрадовавшись, мы поспешили отвести ей полосу обороны на правом фланге нового рубежа.

Но радоваться было рано. Развивая наступление от Днестра, ударная группировка противника врезалась между нашей и 9-й армиями. При этом большая часть 30-й дивизии оказалась по ту сторону быстро расширявшегося вражеского клина. Нам никак не удавалось даже передать в ее штаб приказ об отходе к станции Березовка — два офицера связи вернулись, не выполнив задания, третий пропал без вести.

До штарма, правда, добрался с группой командиров комиссар 30-й дивизии П. А. Диброва, сослуживец нашего командарма по Прибалтийскому округу.

Обнаружить дивизию, установить с нею контакт поручалось еще не раз нашей кавалерийской разведке. Однако конники, углубляясь в степь, наткнулись лишь на колонны противника.

Приморская армия так и не получила эту дивизию. Как стало известно уже потом, остатки 30-й горнострелковой, ведя тяжелые бои, отошли с частями 9-й армии к Южному Бугу. Только где-то там встретился со своими комиссар Диброва, группе которого посчастливилось благополучно выйти к Николаеву.

## ГОРОД В ОСАДЕ

Неясным для штаба оказывалось в те дни не только положение с 30-й дивизией, но и многое другое. Потеряв контакт с соседом справа, не имея радиосвязи со штабом 9-й армии (не удавалось регулярно поддерживать ее и со штабом фронта), мы с опозданием и порой из случайных источников узнавали, докуда дошел и куда движется противник, прорвавшийся от Днестра и наступавший с севера. О том, что идут бои у самого Вознесенска, сообщили, например, одесские железнодорожники.

Однако хуже всего было то, что прерывалась связь с частями Приморской армии, отходившими на новый рубеж. В то время радио использовалось в полевых войсках еще очень ограниченно. Существовали к тому же преувеличенные опасения насчет того, что противник будто бы по любой радиопередаче засекает наши штабы. Проводная же связь при передвижении войск не могла быть надежной.

Как выполняется приказ об отходе? Где в данный момент наш передний край? Не образуются ли разрывы между частями? Выяснение этого сделалось главной заботой и первой обязанностью штаба. После того, как враг отрезал нас от 9-й армии, опаснее всего было проглядеть возникновение еще какого-нибудь клина.

Мы круглые сутки не отходили от аппаратов, посылали кого только можно навстречу снявшимся со старых позиций частям, наказывая быстрее возвращаться с достоверными данными об обстановке. И все-таки на запрос командарма о том, где сейчас находится такой-то полк, нередко приходилось отвечать: по расчетам, должен быть там-то.

Уравновешенный и сдержанный Гавриил Данилович Шишенин обладал способностью чувствовать себя спокойно и уверенно даже в очень сложной обстановке, если знал, что рабочая карта начопера достаточно точно отражает положение дел на фронте. Но сейчас наши карты явно отставали от событий, и генерала Шишенина нельзя было удержать в штабе.

Мы еще пытались восстановить тактическую связь с правым соседом силами кавалерийской дивизии генерала Петрова. А в район между Тилигульским и Куялыницким лиманами выдвигались все резервы — 1-й полк морской пехоты, полк НКВД, разные мелкие подразделения. Все это стало именоваться «группой Монахова»: комбригу С. Ф. Монахову командующий армией подчинил разнородные части, которым предстояло стать заслоном Одессы с севера и северо-востока. Военкомом этого временного соединения был назначен самый опытный из политработников, имевшихся в распоряжении политотдела армии, — бригадный комиссар Г. М. Аксельрод.

На войне бывают дни, когда обстановка непосредственно вокруг тебя, на твоём участке фронта, достигает такого напряжения, что ты способен забыть на время обо всем, происходящем где-то дальше. Такое вот время настало для нас в эти несколько суток организации обороны

на новых рубежах. Все мысли были о том, как остаться хозяевами положения, предотвратить прорыв обороны, изыскать еще какие-то резервы, получить их использовать и стабилизировать положение частей.

Войска отошли от Днестра, где существовала как-никак и естественная преграда врагу, и полоса старых приграничных укреплений. Теперь надо было остановить противника среди ровной степи, где фронт никогда и не предвиделся, а сейчас были скорее намечены, чем оборудованы оборонительные позиции.

Как обойтись здесь двумя стрелковыми дивизиями и отдельными, спешно сколоченными полками, когда при такой полосе обороны по всем нормам необходимо восемь, а то и все десять дивизий? Эта мучительная задача заслоняла в сознании все на свете, в том числе и события на остальном фронте. К тому же мы меньше, чем когда-либо, были в курсе того, что происходит у соседей.

А в минуты, когда пробуждалась тревога за состояние дел и начинала вырисовываться мрачная картина общей военной обстановки на Юге, наверное, каждый из нас говорил себе одно и то же: да, враг лезет напролом, но где-то он все же будет остановлен.

Приходили, помню, и такие мысли: фашистские мотомехчасти продвинулись далеко на восток, но наступают, наверное, больше вдоль дорог, они зарвались, торопятся развить временные успехи и им сейчас не до того, чтобы закрепляться, обеспечивать фланги... Может быть, наше командование воспользуется этим, соберет где-то севернее ударные силы, и они отсекут, отрежут глубокие вражеские клинья?.. Как хотелось верить, что события могут принять такой оборот! Но окружение крупных неприятельских группировок стало возможным много позже, на другом этапе войны. Мечтать о чем-то подобном в июле—августе сорок первого года позволяла, пожалуй, лишь наша плохая осведомленность об общей военной обстановке. Да и то только до тех пор, пока не стало ясно, что враг прорывается уже и за Буг.

— Ясно одно — надо драться! — изрекал, бывало, капитан Харлашкин, в шутку «подсказывая» самое верное решение кому-нибудь из товарищей по оперативному отделу, ломающему голову над картой, полной тревожного и подчас непонятного.

Действительно, иной раз только это и было ясно до конца: что бы там ни получалось на карте, чем бы ни грозил враг, все равно надо драться — такое наше дело, таков наш долг. И, должно быть, эта беспощадная ясность в самом главном была способна прибавлять людям твердости духа, укреплять веру в свои силы.

В эти дни, выехав ненадолго из штаба для проверки выхода войск на новые рубежи, довелось мне наконец встретиться с артиллерийским майором Николаем Васильевичем Богдановым, о котором столько слышал еще у дунайской границы. Его 265-й артполк только что занял огневые позиции в районе села Дальник, к западу от Одессы. Этому полку суждено было сыграть выдающуюся роль в боях ближайших недель.

После того, как я выяснил состояние полка и ответил на вопросы, имевшиеся к штабу, Богданов рассказал о недавнем бое в одном из приднестровских сел. Полк остановился там, ожидая горячего для тягачей, а к селу тем временем прорвались вражеские танки. Пришлось вручную вкатить орудия в сады по обе стороны главной улицы и бить по танкам прямой наводкой, метров с пятисот. Три танка сожгли, остальные повернули обратно...

Вслед затем был еще один бой, на марше сюда — с танками, сбившими заслон отходящих на одесские рубежи войск. Богданов успел развернуть свои дивизионы, и снова несколько танков было уничтожено



прямой наводкой. А главное — отражена попытка врага с хода ворваться туда, где еще не успела занять оборону наша пехота.

Тяжелая артиллерия предназначена вести огонь издалека. И таким полком, естественно, дорожили как особо мощной ударной огневой силой, берегли для использования по прямому назначению. Но на войне подчас приходится решать и непредвиденные задачи. Богдановцы оказались подготовленными и к этому. Тем большее уважение внушал командир. Я знал, как высоко ценит в Богданове талант артиллериста полковник Рыжи. Но не менее примечательным в командире артполка показалось мне и кое-что еще.

Уже при прощании Николай Васильевич вдруг сказал:

— Приезжайте к нам, товарищ полковник, немного погодя на новоселье. Вот устроятся расчеты в землянках поуютнее, может быть, даже тесом разживемся — стены обшить, полы настлать... Ну, и баня запланирована, столовая комсостава. Приезжайте — посмотрите.

Вот оно как! Только что заняты новые позиции. Общая задача — во что бы то ни стало выстоять.

При мне же Богданов предупреждал командиров дивизионов, что по-прежнему должны быть наготове для раздачи расчетам гранаты — мало ли что... И в то же время тут уже думает, оказывается, о нехитрых удобствах солдатского быта, о собственной баньке.

Худошавое лицо майора выглядело усталым и осунувшимся. Должно быть, давно по-человечески не спал, как и все в полку. А то, о чем он сейчас заговорил, конечно же, занимает его не только в силу привычки и потребности заботиться о подчиненных. Тут нечто большее. Если вдуматься, то фронтовая баня и благоустройство землянок (а все намеченное богдановцы осуществили) приобретали сейчас особый смысл. Разве не должно и это укреплять у людей уверенность, что здесь они обосновались прочно?

«Умный командир!» — подумал я. И вспомнилась фраза, которую произнес Николай Васильевич в разговоре с артиллеристами:

— Раз подошли к Одессе — значит, отступать кончили.

Восьмого августа комендант города по решению Военного совета армии объявил Одессу с 19 часов того же дня на осадном положении. Для входа и въезда в город вводились особые пропуска, движение транспорта и пешеходов по улицам разрешалось с шести утра до восьми вечера... Вместе с приказом коменданта на стенах домов и афишных тумбах расклеивалось обращение обкома и горкома партии, областного и городского Советов к населению: «Товарищи! Враг стоит у ворот Одессы...» Все понимали: осадное положение означает, что фронт совсем близок. Но именно в этот день в штабе вздохнули с облегчением — становилось уже ясно, что части Приморской армии организованно, не давая противнику вклиниться в свои боевые порядки, занимают указанные им рубежи.

Особенно радовались этому моряки. Приподнятое настроение в штабе военно-морской базы так и чувствовалось при любом телефонном разговоре по самым обыкновенным делам.

Одесские моряки готовились к худшему — к тому, что окажутся перед прорвавшимся врагом одни или с немногими другими частями. О такой возможности предупреждал командование базы нарком Военно-Морского Флота, требуя оборонять Одессу самостоятельно, если тут по обстановке не окажется сухопутных войск.

Могло ли так случиться? Чтобы судить об этом, надо представить себе общее положение на Южном фронте. Надо вспомнить, как оказалась рассеченной и отброшенной к Бугу 30-я дивизия, которой по плану

отхода надлежало занять рубеж под Одессой. И как другая дивизия — героическая 95-я — выходила к новому рубежу, имея перед своим фронтом три неприятельские. Дрогну она — и враг бы на подступах к Одессе захватил позиции, не занятые еще нашими войсками... Так что и опасение моряков, и их радость можно понять.

Обстановка подсказывала целесообразность централизованного управления всеми наличными огневыми средствами; горячим поборником этого был прежде всего Николай Кирьякович Рыжи.

— Авиации у нас немного, танков и вовсе нет, — доказывал он в штаб-квартире. — В сущности, артиллерия — единственная сила, которая может поддержать пехоту. Тем важнее собрать эту силу в кулак, иметь возможность сосредоточивать огонь и полевой, и береговой, и корабельной артиллерии там, где он окажется особенно нужен.

Впрочем, убеждать в этом никого не потребовалось. Идею начарта одобрил командарм.

Рыжи и его начальник штаба Васильев легко достигли взаимопонимания с артиллеристами военно-морской базы. К началу боев в дальних подступах к городу все береговые батареи были включены, в зависимости от их калибра и других данных, либо в группы поддержки пехоты, либо в группы дальнего действия, управляемые штабом артиллерии армии.

То, о чем идет сейчас речь, может показаться кому-нибудь само собой разумеющимся. Но такого рода совместные действия армейской и флотской артиллерии, какие понадобились под Одессой, до войны вообще не планировались, поскольку не предвиделось, что придется оборонять с суши приморские города, так что дело, за которое с энтузиазмом взялись полковник Рыжи и его помощники, было новым. Причем этот одесский опыт, сложившаяся и совершенствовавшаяся здесь система централизованного управления артиллерией очень пригодились потом под Севастополем.

Пока войска выходили на новый рубеж, штаб артиллерии еще не знал, сколько у нас окажется полевых орудий. Особенно тревожила в этом отношении 95-я дивизия: ее артиллеристы, прикрывая пехоту, много раз вели огонь прямой наводкой и у них могли быть значительные потери. К счастью, оказалось, что артполки и дивизионы сохранили боевую технику почти полностью. Будь иначе — пришлось бы туго.

Итог, подведенный полковником Рыжи, показал: армия имеет триста три орудия (считая и сорокапятимиллиметровые). Небогато, если учесть, что ширина фронта, потом сократившегося, составляла еще более полутора километра. Однако могло быть и хуже.

К этому прибавлялись тридцать пять орудий береговых батарей (самые мощные имели калибр 180—203 миллиметра, а дальность стрельбы до тридцати пяти километров). Около тридцати орудий насчитывалось в корабельном отряде поддержки.

Мы не располагали пока точными данными о том, сколько артиллерии стягивает к Одессе противник. Не приходилось, однако, сомневаться, что у врага ее окажется больше, чем у нас. Тем дороже каждое орудие.

Я уже говорил о предусмотрительности штаба артиллерии. Проявилась она и в том, что на рубежи, занимаемые стрелковыми полками, на их передний край, были сразу посланы артиллерийские наблюдатели. Артиллерия как бы приближалась к пехоте — ускорялся вызов огня при отражении вражеских атак. Предусмотрели и широкий маневр огнем. Поддержку богдановского полка и главных береговых батарей, особенно после того, как фронт немного сократился, стала ощущать практически вся Приморская армия. Что это значило — читатель еще увидит.

Скажу одно: не только противнику, но и нам самим порой казалось, будто артиллерии у нас больше, чем было на самом деле. Конечно, когда хватало снарядов.

Ударная группировка противника, введенная в прорыв севернее Тирасполя, не стала задерживаться под Одессой и пошла дальше на восток. Для штурма города гитлеровское командование, по-видимому, намеревалось использовать в основном войска Антонеску. По мере того как это выяснилось, лица у многих в штабе веселели: с сателлитами, мол, справиться все-таки легче!..

Выяснилось, однако, и другое — Антонеску явно решил обеспечить себе верный успех большим численным перевесом в силах. Штабные разведчики называли все новые стягивавшиеся к Одессе неприятельские дивизии: 7-я пехотная, 3-я, 11-я, 1-я кавалерийская, гвардейская, пограничная... А на подходе — еще и другие (к 15 августа вокруг города сосредоточилось уже восемь дивизий и две бригады, в том числе одна танковая).

В то время противник не сомневался, что овладеет городом быстро. Несколько позже в наши руки попал документ румынского командования, в котором предписывалось: «Одессу взять к 10 августа, после чего дать войскам отдых...» Когда мы это читали, назначенный срок был уже далеко позади. Но и не зная точных сроков, в которые враг намечал быть в городе, мы отдавали себе отчет, что он, вероятно, попытается ворваться в Одессу почти с хода.

Кажется, именно 10 августа в штаб армии сообщили по телефону о неожиданной посадке на гражданском аэродроме у города немецкого транспортного самолета. Из него выскочили офицер и полтора десятка фашистских солдат. Ведя стрельбу во все стороны из автоматов, они пытались захватить аэродром — очевидно, для приема десанта... Бойцы истребительного батальона, охранявшие аэродром, не растерялись: они перебили обнаглевших гитлеровцев и захватили самолет.

Днем раньше у Аджалыкского лимана, где наши части переходили на новые рубежи, было сброшено около роты немецких парашютистов в красноармейской форме. И эту диверсию удалось пресечь в корне — с парашютистами разделились оказавшиеся поблизости конники. Однако и тот и другой факты лишней раз напоминали: враг надеется одолеть нас, что называется, нахрапом.

Противник нажимал то там, то тут, пытаясь нащупать наиболее слабые места еще только создающейся обороны. На северо-западе мы оказались вынужденными оставить под натиском врага узловую станцию Раздельная. К востоку и северо-востоку от города группе Монахова не хватило сил удержаться на линии, включавшей в себя Тилигульский лиман — самый большой и глубокий из одесских лиманов после Днестровского. К 11 августа наша оборона опиралась уже на Аджалыкский лиман, а дальше проходила через Булдинку, Свердлово, Ильинку, Чеботаревку и потом удалялась от города через Александровку, Бриновку, Карпово, Беляевку к Днестровскому лиману.

Так определились рубежи, удерживать которые какое-то время наличными силами было хотя и очень трудно, но все же, пожалуй, можно. Начинаясь сравнительно недолгий этап Одесской обороны, названный потом периодом боев на дальних подступах к городу. Дальность их была, впрочем, относительной. На правом фланге от переднего края до центра города оставалось меньше тридцати километров. В центре и на левом — около сорока, а местами немного больше.

В ночь на 10 августа, после того как у командарма закончилось подведение итогов боевого дня, Георгий Павлович Софронов попросил начальника оперативного отдела Воробьева остаться.

Четверть часа спустя Василий Фролович, как-то необычно взволнованный, заглянул ко мне и сказал с порога:

— Вас вызывает командарм.

Софронов шагал по кабинету между койкой и столом с развернутыми картами.

— Вот что, Николай Иванович,— сказал он и остановился напротив меня.— В первом отделе с сего часа считай себя хозяином. А Фролович примет Девяносто пятую дивизию. Там все-таки у нас временный командир: он пойдет на полк...

В первое мгновение я не понял, что Фролович — это генерал Воробьев. При мне Софронов впервые назвал его так запросто и сердечно.

Впоследствии Василий Фролович говорил мне, что обрадовался этому назначению. Командовать дивизией было его давней мечтой. Но вряд ли он когда-нибудь думал, что придется принимать дивизию вот так — с боями отходящую на новый оборонительный рубеж.

За долгую службу в академиях и крупных штабах у генерала Воробьева выработалось педантичное, подчеркнуто уважительное отношение к принципам и требованиям воинской организации. Человек такого склада должен был особенно страдать от того, что тяжелое начало войны заставляло многое делать не так, как полагалось бы в классическом случае, «по науке».

Василию Фроловичу нелегко было отступать от усвоенных в академиях правил. И со стороны порой казалось, особенно в первые наши одесские дни, будто он чувствует себя на войне, как на маневрах. Воробьев не уставал возмущаться отсутствием сведений о частях, с которыми оборвалась связь. Его коробило от нечетких формулировок в поступавших из вышестоящих инстанций приказах. Приказы, готовившиеся им, отличались продуманностью каждой фразы, но часто получались очень длинными. А потом исполнителям приходилось излагать самую суть по телефону в нескольких словах...

Но Воробьев был до мозга костей кадровым военным и не мог стремиться к тому, чтобы самое трудное на войне его миновало. О том, чтобы ему доверили командную должность непосредственно на фронте, он просил не раз. И если волновался теперь, то, вероятно, из опасения, что его практический военный опыт, ограниченный сферой армейского и фронтового штабов, может оказаться недостаточным, чтобы уверенно войти в новую должность в столь сложной обстановке.

Конечно же, генерал Воробьев сознавал, какую школу прошла за полтора месяца войны 95-я дивизия и ее командные кадры. Кстати, полковник М. С. Соколов, временно командовавший дивизией, был учеником Василия Фроловича по Академии Генерального штаба.

Я от всего сердца пожелал своему начальнику и старому сослуживцу боевого счастья. В ту же ночь В. Ф. Воробьев отбыл в дивизию вместе с майором И. И. Чинновым, назначенным начальником ее штаба.

За Одессой часть прорвавшихся на восток неприятельских сил повернула, как и следовало ожидать, к морю. И еще до того, как советским войскам пришлось оставить Николаев и Очаков, приморцы оказались полностью отрезанными на суше от остальных сил Южного фронта, от всей Красной Армии. Практически это произошло уже 10 августа, а окончательно — 13-го, когда враг вышел на побережье в районе Аджиаски.

Я принес командарму карту, на которой наш плацдарм напоминал очертаниями подкову, врезанную своим полукругом в берег, а пяткой упиравшуюся в море. «Подкова» была несимметричной — вогнутой с правой стороны.

Софронов долго стоял над картой в раздумье. Потом, отложив ее, принял, как обычно, спокойно и негромко отдавать текущие распоряжения.

К этой «подкове» на карте, к тому, что окажемся на изолированном плацдарме, мы были готовы.

## ЗАКЛАДЫВАЯ ОСНОВЫ ОБОРОНЫ

О том, что Одесса осталась за линией основного фронта и отрезана на суше от всей страны, никто населению специально не объявлял. Не спешило официально сообщать об этом Совинформбюро. Коменданту не требовалось издавать новых приказов — осадное положение и так уже действовало.

Но, разумеется, одесситы знали, что город в окружении, на «пятачке». Они начали привыкать к этому, собственно, еще до того, как оказался окончательно перерезанным приморский тракт и оборвалась последняя ниточка проводной связи, тянувшаяся через флотские береговые посты к Очакову. Ведь гораздо раньше перестали приходить и уходить поезда. А некоторые ушедшие вернулись...

Все чаще произносились входившие в быт слова «Большая земля». Они становились собирательным обозначением всего, что находилось за двумя линиями фронта — ближней, «одесской», и другой, главной, продолжавшей от нас удаляться.

С Большой землей соединяло город и нашу армию лишь море (существовал, конечно, еще воздушный путь, но пользоваться им можно было очень ограниченно). Причем морская дорога к Крыму и Кавказу сделалась далеко не безопасной: там существовал свой фронт.

Блокады Одесского порта в прямом смысле наши моряки не опасались: у противника — во всяком случае пока — было слишком мало для этого боевых кораблей. Но в море, да и в порту суда атакывала вражеская авиация. Транспорты с любым грузом надо было охранять, сводить в сопровождаемые боевыми кораблями караваны. В Одесской базе, как и на всем флоте, потребовалось организовать специальную конвойную службу, у которой день ото дня прибавлялось забот.

Порт, показавшийся мне весной полупустым, работал теперь интенсивно, с большой нагрузкой. Из Одессы продолжало эвакуироваться в тыл ненужное для обороны города заводское оборудование. На морские суда перегружалось все, что погрузили раньше в не успевшие проскочить на восток железнодорожные эшелоны.

На запасных путях одесского узла скопились сотни паровозов, оставшихся тут без дела, но очень нужных стране. Моряки нашли способ отправить на Большую землю и их: паровозы загоняли в плавучие доки, которые уводились на буксире. Морем эвакуировали также и прибывшие к нам при прорыве врагом фронта тылы соседних армий, их госпитали.

Между Одессой и портами Крыма и Кавказа курсировало до двадцати пяти транспортов. Чтобы предельно сократить их стоянку у причалов, портовые краны нередко работали под бомбежками. А конвойная служба, изучая повадки фашистской авиации, постоянно меняла время выхода транспортов из порта. И хотя отдельные суда получали повреждения, морские перевозки обходились вначале без существенных потерь. Первой тяжелой потерей на морском фронте была гибель теплохода «Ленин». На нем следовали в Новороссийск эвакуируемые жители Одессы, в том числе много детей...

Вторая декада августа начиналась в обстановке, когда враг уже не

только стоял у ворот города, но и все яростнее ломился в них. Бои шли и на западе — под Беляевкой, и севернее Одессы — по обе стороны железной дороги на Тирасполь, и у Аджалыкского лимана.

Натиск на фронте сопровождался провокациями фашистских лазутчиков. В ночь на 12 августа неожиданно начали поступать сбивчивые телефонные доклады о высадке в разных местах парашютных десантов. Кто докладывает — не поймешь. Были приняты меры, подняты истребительные батальоны. Но парашютистов нигде не обнаружили — вражеские агенты, подключившиеся к линиям связи, пытались вызвать панику...

И все же общая атмосфера сделалась как-то спокойнее: великое дело — ясность и определенность. Теперь мы уже твердо знали, что оборона у нас хоть и не ахти какая плотная, в основном в одну линию, но все-таки сплошная, без разрывов и брешей. Связь с новыми КП соединений работала сносно. О событиях на переднем крае штаб армии, как правило, узнавал своевременно. А если в армейском организме все становится на свое место, то даже окружение, изолированный плацдарм быстро перестают казаться людям чем-то особенным. Мало ли в какие условия приходится попадать на войне!..

Генерал Воробьев доложил командарму, что удовлетворен состоянием принятой им 95-й дивизии (один ее полк, отошедший сперва не туда, куда следует, скоро нашелся). Командный пункт 95-й стрелковой был теперь вблизи станции Выгода. Заняв двадцатипятикилометровую полосу обороны на самом ответственном направлении — противник мог считать его наиболее удобным для прорыва к городу, — дивизия одновременно и закреплялась там, и отбивала начавшиеся со следующего дня вражеские атаки.

Стойко обороняли свою полосу и чапаевцы. За 12 августа они уничтожили под Беляевкой семь фашистских танков. Об обеих дивизиях — 25-й и 95-й — нельзя было думать без чувства особой гордости. После семи недель непрерывных боев — на Пруте, в Молдавии, на Днестре, откуда обе ушли последними, — они встали на рубежи Одесской обороны не измотанные, а закаленные огнем, надежно прикрывая город.

Позади остались и тревоги за нашу кавалерийскую дивизию. С помощью ее мы долго надеялись восстановить контакт с 9-й армией, а потом пришлось опасаться, как бы конница, углублявшаяся в степь вплоть до района к северу от Очакова, не оказалась отрезанной подобно 30-й дивизии.

Разгромив с налета немецкое подразделение, вышедшее уже к морю и устроившееся на ночь в одном селе, последним прорвался к Одессе с востока 5-й кавполк Ф. С. Блинова — сабельные эскадроны впереди, пулеметные тачанки в прикрытии... Генерал Петров ждал полк в Свердлове. Выслушав доклад о том, что через дамбу Тилигульского лимана прорвались в полном составе, Иван Ефимович расцеловал соскочившего с коня капитана Блинова.

Двумя днями раньше кавалеристы этого полка имели дело с фашистскими танками, введя в бой свою сорокапятимиллиметровую батарею. Два танка подбили. Их экипажи, просидев в неподвижных танках ночь и уразумев, что свои уже не выручат, сдались конникам. Это были первые вражеские танкисты, попавшие в плен под Одессой, и притом не румыны, а немцы.

По такому случаю командир устроил нечто вроде митинга: собрал полк, поставил перед ним пленных и обратился к конникам с речью. Такую картину застал приехавший в полк генерал Петров. Потом он рассказывал у нас в штабе:

— Немцы обалдели от страха. Ждут небось, что их сейчас на части разорвут. А комполка все тычет и тычет на них пальцем: глядите, мол, на этих фашистских сморчков, глядите хорошенько — нам ли таких не одолеть!.. Он у нас оказался речист, этот Федор Сергеевич Блинов, старый буденновский орел. В гражданскую воевал в четвертой кавдивизии, у Оки Ивановича Городовикова.

Тринадцатого августа штаб представил Военному совету армии предложения об образовании трех секторов: Восточного, Западного и Южного. В тот же день командарм подписал соответствующий приказ, и деление плацдарма на сектора вступило в силу. Приказ обязывал войска оборудовать занимаемые позиции в инженерном отношении, подготовить их к длительной и упорной обороне.

Восточный сектор включал в себя наш правый фланг до Хаджибейского лимана. Возглавил его комбриг С. Ф. Монахов, фактически уже командовавший всеми частями на этом направлении.

Передний край Западного сектора проходил по дуге от Хаджибейского лимана до Секретаревки, совпадая с полосой обороны 95-й стрелковой дивизии. Ее командир В. Ф. Воробьев становился начальником сектора.

Войскам Южного сектора, замыкавшего на левом фланге полукольцо нашего сухопутного фронта, поручалось держать оборону до Каролино-Бугаза в устье Днестровского лимана. За это направление отвечал командир 25-й Чапаевской дивизии полковник А. С. Захарченко, имевший в своем распоряжении два ее стрелковых полка. Как и другие части армии, они были усилены подразделениями пулеметчиков из Тираспольского УРа.

Кавалерийскую дивизию при образовании секторов вывели в армейский резерв вместе с понтонным батальоном. Военно-морская база имела собственный небольшой резерв в виде 2-го морского полка, который, впрочем, скоро пошел на пополнение 1-го.

Подвижным резервом армии стал также первый одесский бронепоезд (официально — бронепоезд № 22), вступивший в строй в эти дни. Он был детищем знаменитой «Январки» — завода имени Январского восстания, известного в городе своими революционными традициями.

Вспомнив, как делалось это в гражданскую войну, рабочие обшили обыкновенный товарный паровоз и платформы листами корабельной брони. Руководить работами взялся старый мастер Г. Г. Колягин. Говорили, что некогда он участвовал в оснащении бронепоезда легендарного матроса Железняка. И чуть ли не в том самом тупичке заводских путей, откуда вышел теперь первый бронепоезд Одесской обороны.

Большую часть экипажа январцы укомплектовали своими добровольцами. Комиссаром поезда стал секретарь Котовского райкома партии В. Р. Вышинский. А в боевых заданиях недостатка не было.

Организация секторов придавала обороне Одессы стройную систему, рассчитанную на то, чтобы удерживать приморский плацдарм долго и прочно — столько, сколько понадобится.

Важное значение имело также решение о создании в тылу армии ряда новых укрепленных позиций. В окончательном виде принятая схема предусматривала восьмидесятикилометровый передовой рубеж, второй и дополнительный передовые рубежи на западном и южном направлениях, а затем пятидесятикилометровый главный рубеж, имевший также вторую линию, и, наконец, рубеж прикрытия города, за которым следовали укрепления в городской черте.

Передовой рубеж опирался на Большой Аджалыкский и Днестровский лиманы, проходя между ними на расстоянии двадцати—двадцати

пяти километров от окраин Одессы. Главный рубеж отстоял от города на восемь—четырнадцать километров, а вторая линия — на шесть — восемь.

Непосредственное руководство сооружением новых оборонительных линий взял на себя прибывший в Одессу в начале августа начальник инженерных войск Южного фронта генерал-майор А. Ф. Хренов. В его распоряжение перешли девять инженерных и тринадцать строительных батальонов. В создании укреплений продолжали участвовать тысячи жителей города. Часто на фортификационные работы, особенно в пределах Одессы и вблизи нее, выходили в полном составе коллективы предприятий и учреждений во главе с директорами, секретарями парторганизаций.

А часть сформированных в городе истребительных батальонов была уже на фронте. Запомнилось первое поступившее в штаб донесение об их участии в боях. Оно гласило, что 11 августа батальон Ильичевского района, занимавший оборону у железной дороги на Вознесенск, выбил из окопов подразделение противника. Приводились некоторые подробности: бойцы подползли к неприятельским позициям по неубранному пшеничному полю и, внезапно появившись перед окопами, забросали врагов гранатами. Так принимали боевое крещение, становились солдатами вчерашние мирные жители веселого южного города, который теперь все теснее и неразрывнее сливался в одно целое с фронтом. В августе — пока не начали прибывать маршевые батальоны с Большой земли — одесские ополченцы, постепенно зачислявшиеся в регулярные части, были основным пополнением Приморской армии.

В городе формировались из добровольцев новые подразделения, в том числе команды МПВО, резервные боевые дружины предприятий. В них вступало много женщин. Работницы, студентки вступали и в ряды армии — сперва медсестрами, связистками, но потом немало их стало снайперами, пулеметчицами. Об отважных одесских девушках, отличившихся в боях за свой город, еще будет речь дальше.

Бюро обкома партии мобилизовало и направило в распоряжение политотделов Приморской армии и военно-морской базы сотни партийных активистов — для использования на политработе. Набрать в городе эти кадры было сейчас нелегко. Две трети одесской парторганизации ушло на фронт еще до начала осады, а специалистов, необходимых эвакуируемым предприятиям, отправили с ними в тыл.

Чтобы понять, как дороги были испытанные партийные вожаки в войсках, надо вспомнить, какую роль играли в то трудное время комиссар, политрук, парторг.

Вот уж у кого не могло быть на фронте иного места, кроме как в передовом окопе, в первой шеренге поднявшихся навстречу врагу бойцов. Сколько раз натиск противника то на одном, то на другом участке обороны отбивался благодаря тому, что в решающий момент комиссар, замполитрука или просто красноармеец-партиец своим зажигательным примером подымал людей в контратаку, нередко жертвуя жизнью!

На войне очень многое решает убежденность солдат, что они способны одолеть врага — сломить его сопротивление в обороне, остановить, если он наступает. Не вообще, не когда-нибудь, а вот сейчас, на данном конкретном рубеже. Когда отходить, собственно, уже некуда, такая убежденность делается необходимой, как воздух.

Еще до того, как бои перенеслись на подступы к Одессе, Военный совет Приморской армии обсуждал вопрос о том, как до конца изжить в войсках танкобоязнь. Чувство беспомощности перед массой фашистских танков, охватывавшее не подготовленных к этому бойцов в первые



недели войны, далеко еще не исчезло и в августе. Между тем следовало ожидать танковых атак и под Одессой, и надо было, чтобы они не вызвали растерянности, никакого подобия паники. Но достаточно ли для этого даже самых настойчивых разъяснений, что не так страшен черт, как его малюют? Нет, решили на Военном совете, нужно также позаботиться, чтобы хоть часть бойцов, еще не встречавшихся с танками в бою, увидела своими глазами, как можно их уничтожить.

Пошли на такую меру: из тех частей, откуда это было возможно по обстановке, отозвали на несколько дней группу красноармейцев и младших командиров, стараясь брать людей из всех рот. И отдел боевой подготовки штарма организовал для них сугубо практические занятия по борьбе с танками на учебном полигоне.

Тогда еще не поступили на вооружение противотанковые ружья, не было у нас и специальных противотанковых гранат. Однако в Одессе начали изготавливать ручные гранаты с увеличенным зарядом, годившиеся для борьбы против танков. Стали появляться и бутылки с горючей смесью. Правда, пока без запалов. Прежде чем бросить такую бутылку в цель, следовало заменить пробку смоченной в бензине паклей и поджечь ее, а это требовало известной сноровки. Тем важнее было показать, на что пригодно новое боевое средство.

На полигоне «курсанты» метали гранаты и бутылки в доставленные туда подбитые танки. Какое там бывало воодушевление, когда «неуязвимые» танки загорались у всех на глазах, а метко брошенные из окопчика гранаты перебивали их гусеницы! Участники занятий посидели также в траншее, через которую, оглушая их и засыпая землей, переползал грохочущий танк. Такая «обкатка», конечно, не особенно приятна, зато после нее уже не так страшно пропустить через свой окоп вражеский танк, с тем чтобы потом постараться поразить его сзади.

Люди, возвращавшиеся с полигона в свои части, становились одновременно и инструкторами, и заправскими агитаторами. Они уже знали, что фашиста можно уничтожить, даже если он прет на тебя в танке, и помогали поверить в это товарищам. Весьма кстати в войска подоспела и выпущенная поармом памятка, где доходчиво описывались приемы борьбы с танками.

Основной нашей силой против танков оставалась артиллерия. Но никакие батареи не помогут удержать рубеж, если перед танковой атакой дрогнет, начнет откатываться назад пехота. В наших условиях, при небольшой глубине обороны, это было бы особенно опасно. «Предупреждаю весь личный состав, что при появлении танков никто из окопов не выходит,— говорилось в первом приказе В. Ф. Воробьева по 95-й стрелковой дивизии.— Все остаются на своих местах, уничтожая идущие танки связками гранат и бутылками с горючей жидкостью».

К тому времени на стекольном заводе наладили выпуск бутылок уже с запалами, и пользоваться ими стало проще. На упаковочной обертке бойцы читали обращенные к ним слова: «Товарищ! Запал и бутылка изготовлены в Одессе. Не пускай врага в наш город, подожги танк!»

До середины августа вражеские танки появлялись под Одессой еще небольшими группами: очевидно, у противника их было тут пока не очень много. Прорваться через наши позиции им не удавалось нигде.

Не прекращая атак, в центре обороны, в полосе 95-й дивизии, противник усиливал нажим на наши фланги, особенно на правый. 1-й полк морской пехоты снова поддерживала стовосьмидесятимиллиметровая 412-я батарея (в береговой обороне с боеприпасами было пока хорошо). Но этого оказалось уже недостаточно, и полковник Рыжи, вызвав по

штабному коммутатору майора Богданова, в первый раз подключил на поддержку правого фланга и две его батареи.

Гул орудийных залпов доносился и со стороны моря: из Одесского залива вели огонь по берегу эскадренные миноносцы «Шаумян» и «Незаможник», канонерская лодка «Красный Аджаристан». Для черноморцев это был знаменательный факт: впервые с начала войны (если не считать действий военной флотилии на Дунае) корабли вели огонь по наземным целям, непосредственно помогая сухопутным войскам.

Трижды-четырежды в день в Одессе объявлялись воздушные тревоги. Группы фашистских бомбардировщиков прорывались к порту, к жилым кварталам. Но и мы наносили врагу удары с воздуха, причем уже не только истребителями единственного авиаполка Приморской армии, которые все чаще действовали как штурмовики. 13 августа над позициями неприятельских войск под Одессой, над их тылами появились три десятка «Пе-2», прилетевших из Крыма.

Главный итог первых дней обороны изолированного плацдарма состоял в том, что атаки противника отражались все увереннее. Особое удовлетворение вызывала стойкость 95-й дивизии: ведь против нее, по всем данным, сосредоточивались наиболее крупные вражеские силы.

Противник был остановлен, его планы прорваться в Одессу с хода сорваны. Оборона города, оставшегося советским островком во вражеском тылу, выдержала первые испытания.

Нам никак не удавалось напрямую связаться со штабом Южного фронта, передать туда боевые донесения: его радисты почему-то нас не слышали. Донесения отправлялись кружным путем — через радиостанцию Одесской военно-морской базы в Севастополь, а оттуда дальше. Собственно говоря, мы не знали точно, где теперь штаб фронта. Николаев, куда он переехал несколько дней назад из Вознесенска, находился по сведениям моряков, под обстрелом немецкой артиллерии.

Пятнадцатого августа, тоже кружным путем, поступила телеграмма командующего фронтом генерала армии И. В. Тюленева, в которой он просил объявить от его имени благодарность героическим защитникам Одессы.

Телеграмма дала командарму и Военному совету повод обратиться к Приморской армии с несколько необычным для тех суровых дней приказом — приподнято-торжественным по своему содержанию и духу. В нем говорилось, что войска, обороняющие вместе с Черноморским флотом жемчужину нашего Юга — Одессу, с честью выполняют свою боевую задачу, прочно удерживая занимаемые рубежи и нанося противнику тяжелые потери. Приказ напомнил о славных традициях Красной Армии, подчеркивал огромную ответственность приморцев перед большевистской партией и советским народом.

«Ни одного шага назад. Ни при каких условиях не отступать!» — призывал Военный совет красноармейцев, командиров и политработников.

Это были не просто слова. Военный совет знал, как окрепла за последние дни в войсках уверенность, что, несмотря на неблагоприятное соотношение сил и все трудности, мы действительно в состоянии не пустить врага в Одессу.

Не помню уж, кто из работников оперативного отдела в какой-то спокойный час мечтательно и не слишком уверенно произнес:

— А ведь теперь, наверно, можно даже в баню сходить... Как вы думаете, товарищ полковник?

— Вот это бы здорово! — обрадованно откликнулся капитан Харлашкин. И уже совсем другим тоном добавил: — Пока воды еще zvolю...

Да, тут было не до шуток. Беляевка, где находится насосная станция, питающая Одессу днестровской водой, уже давно у самого фронта. Всякое ухудшение положения на этом участке может иметь тяжелые последствия. Еще в июле в местной газете был опубликован приказ начальника гарнизона о порядке нормированного снабжения жителей водой через дворовые колонки. В действие этот порядок не вводился, но его объявили заранее, чтобы люди знали, как им быть, если в подаче воды возникнут перебои.

А предложение насчет бани было дельным. Мы давно уже обходились холодным штабным душем. Много дней обстановка не допускала и мысли о том, чтобы отлучиться куда-нибудь по личным делам.

— Что ж, теперь, пожалуй, и в самом деле можно, — ответил я товарищам. — Только не всем сразу, конечно.

Я совместил баню с поездкой в порт. Вблизи него бросались в глаза следы последних бомбежек — оторванный край дома, изрешеченная осколками стена, не убранные еще обломки... А за одним углом — просто грома желтого камня, песка и железных конструкций: фугасная бомба попала в здание из легкого одесского известняка, не рассчитанного природой на такие встряски...

Остановив машину, я подошел к стоявшим в соседних воротах женщинам.

— Много тут народу погибло?

— В этом-то доме? — неторопливо переспросила одна, кивнув на развалины. — Говорят, десять человек. Остальные в убежище были... Рядом тоже есть убитые. И ниже — почти так в каждом доме. Тут порт близко, вот и достается...

Подошли еще женщины со двора, меня обступили, и завязался разговор.

— Мы-то ладно, а как там на фронте, товарищ командир? — напрямик спросила самая бойкая. — Что-то сегодня уж очень тихо...

— Фронт держим, — ответил я.

— А Беляевку не сдадите? — спросила, протискиваясь вперед, другая.

Во дворе виднелась колонка, к ней подходили люди с ведрами, слышно было, как журчит вода, льющаяся из крана. Страшно представить себе южный город в такой жаркий день без воды. Но заверить, что Беляевка ни в коем случае не будет сдана, я не мог — этим женщинам надо было говорить правду. И я сказал то, что думал:

— Сделаем все, чтобы ее не сдать.

— Ну, а если все-таки возьмут, что тогда?

Так могло случиться, и, очевидно, они понимали это не хуже меня.

— Тогда станем бурить колодцы и скважины, и вода все равно будет. Пусть по талонам, но всем хватит.

— Ой, мамоньки! — вырвалось у женщины, до сих пор молчавшей. — Сколько ж треба колодцев, шоб напоить нашу Одессу!

— Сколько требуется, столько и сделаем.

Я был рад, что могу сказать и это, не кривя душой. Армейские инженеры вместе с городскими уже произвели подготовительные расчеты, мы не сомневались, что сумеем, если это станет необходимым, быстро пробурить достаточное количество скважин.

Меня ждали в порту. Попрошавшись, я повернул к машине. Самая бойкая и прямая из моих собеседниц — та, что спрашивала о положении на фронте, — звонко сказала вслед:

— Нам, товарищ командир, в своем городе ничего не страшно. И никуда из Одессы не уедем — тут родились... Только уж и вы нас не оставляйте!

Случайная встреча на улице, короткий разговор... А забыть его нельзя. Думали ли, гадали ли эти одесские женщины еще два месяца назад, что окажутся в городе, осажденном врагом?

Много жителей удалось эвакуировать из Одессы. Но почти половина шестисоттысячного населения города осталась. Как же велика наша, военных людей, ответственность перед ними!

### ВРАГ ПОЛУЧАЕТ ОТПОР

Нас все же беспокоил правый фланг: активность противника там возрастала. Представлялось весьма вероятным, что, встречая сильный отпор в полосе 95-й дивизии, он попытается прорваться к Одессе с северо-востока. Фронт здесь находился всего в пятнадцати километрах от мыса, обозначенного на картах буквой «Е», откуда виден как на ладони порт. Потеря этого мыса поставила бы Приморскую армию и город в тяжелейшее положение, дав врагу позицию для прицельного обстрела гаваней и причалов. Между тем оборона на этом направлении была пока менее слаженна, чем на других. Здесь явно недоставало крепкой, полнокровной дивизии. Фронт Восточного сектора держат (не считая мелких подразделений) три весьма различных по уровню подготовки полка. Участки полков и батальонов разделены лиманами и глубокими лощинами. Такая местность с характерными дефиле вообще-то более благоприятна для обороны, чем гладкая степь в Западном секторе. Но она разобщает соседей по фронту, а в этом таится немалая опасность, если сил немного и некоторые части еще не очень сколочены.

Пятнадцатого августа в Восточном секторе весь день шли ожесточенные бои. Из рук в руки переходила Булдинка — большое село у Аджалыкского лимана. Утром там оказался вклинившийся в нашу оборону противник, к вечеру село снова было у нас. С моря войска поддерживали одесские эсминцы и канонерские лодки, но восстановить положение удалось лишь ценою значительных потерь.

Ночью, когда генерал Шишенин и я были у командарма, Георгий Павлович Софронов, постояв в раздумье над картой, сказал:

— Поезжай-ка, Николай Иванович, с утра к Монахову, посмотри сам, что у него происходит. Как бы нам чего не проворонить. Там вон, — он кивнул на другую карту, только что принесенную штабными разведчиками, — еще одна дивизия во втором эшелоне выявляется. Притом немецкая. Надо полагать, неспроста... Поспи немного и езжай.

Вместе со мной отправились в Восточный сектор начштаба артиллерии майор Н. А. Васильев и заместитель начальника инженерных войск армии подполковник К. И. Грабарчук. Поехали сперва в Лузановку, ту самую, куда еще недавно одесситы ездили на знаменитый пляж. Теперь в этом курортном поселке — штаб начальника сектора комбрига С. Ф. Монахова.

На КП в Лузановке застали военкома сектора бригадного комиссара Г. М. Аксельрода и начальника штаба подполковника А. Н. Сыроева. Комбриг Монахов в войсках. Сыроев докладывает, что возобновились бои за Булдинку, причем новым атакам противника предшествовали более сильные, чем вчера, артподготовка и бомбежка с воздуха. Всего этого следовало ожидать. И, конечно, цель атак не только Булдинка — враг стремится продвинуться к морю.

Мы не собирались задерживаться на КП. Но обстановка требовала, чтобы майор Н. А. Васильев обсудил с начартом сектора, как усилить огневую поддержку войск на решающем участке. А мне хотелось, пусть накоротке, поговорить с Григорием Моисеевичем Аксельродом. Прежде

всего интересуюсь его мнением о положении дел в полках пограничном и морской пехоты.

— Народ в обоих полках геройский, — говорит бригадный комиссар. — И в том и в другом много коммунистов, почти все остальные — комсомольцы. Но разница между полками большая. У пограничников к мужеству, волевой закалке прибавляется неплохая тактическая подготовка. Ну, а моряки, те все хотят взять противника на ура... Иногда получается, иногда нет. Да и когда получается, несут лишние потери. Могли бы вовремя окопаться не хуже пограничников, да где там! Проявили к этому полное пренебрежение: им, видите, враг и так не страшен... Потом уж я сам привел к ним десять саперов из Разинского полка в качестве инструкторов по окапыванию. Предупредил: «Если не отроете за ночь настоящие окопы, пеняйте на себя!» Помогло — отрыли...

Григорий Моисеевич считает, что при первой возможности следовало бы укрепить средний комсостав полка морской пехоты опытными армейцами. Нынешние командиры рот за километр поднимают людей в контратаки, делают много других несуразностей. А многими взводами у моряков командуют корабельные старшины, которые и вовсе незнакомы с сухопутной тактикой.

Об этом в штаме знали. Но где взять других командиров?

Сутки назад штаб военно-морской базы по своей инициативе заменил командира 1-го полка морской пехоты майора В. П. Морозова. Вместо него назначен Я. И. Осипов, тоже моряк, а по званию интендант 1-го ранга, возглавлявший до сих пор в базе службу тыла. Об Осипове я знал пока немного.

— Ну, а как, на ваш взгляд, новый командир полка?

— Осипов? — оживился Аксельрод. — Надеюсь, с приходом Якова Ивановича многое станет на свое место. Он-то на суше повоевал и рядовым и начальником! Вчера, когда знакомился, рассказал, что в гражданскую командовал десантным отрядом на Волге, потом Бирским стрелковым полком. Был под Казанью, в Царицыне. Интересный вообще человек — из старых балтийцев, с крейсера «Рюрик»... Чувствуется, что характер железный. Образования военного, правда, не получил. Потому и звание интендантское. Теперь стоило бы переаттестовать, раз уж полк доверили. Думаю, — закончил Григорий Моисеевич, — по деловым качествам Осипов и его комиссар Митраков будут друг другу под стать. Тот тоже боевой, решительный, так что получается хорошая пара.

Вскоре я встретился с Осиповым и Митраковым в расположении полка морской пехоты.

Командир руководил боем с передового КП. Противник к тому времени опять завладел Булдинкой и рвался к деревне Шицли. Ничем вроде не примечательное селение, но стоит в широкой балке, по которой можно продвинуться в сторону Чебанки, где находится тяжелая береговая батарея... Не в расчете ли на прорыв туда появилась сегодня на этом участке неприятельская кавалерия?

Из батальонов прибежали к Осипову по кукурузняку запыхавшиеся связные. Телефон не действовал — где-то перебило провода. Не удивительно, если в подобной обстановке командир, тем более новый, как-то обнаруживает свое волнение. Однако Осипов выслушивал доклады, отдавал приказания совершенно спокойно. Настолько спокойно, что это могло быть лишь естественным, не напускным. Вспомнились слова Аксельрода о железном характере — видимо, Григорий Моисеевич был прав.

Осипову на вид лет пятьдесят. Голос глуховатый, лицо в резких, глубоких морщинах — конечно, не только от возраста, а и потому, что

позади жизнь, полная тревог и забот. Но фигура стройная, подобранная, никак не стариковская. Ладно сидит перехваченная ремнями защитная гимнастерка с тремя шпалами в петлицах.

Я не ожидал увидеть Якова Ивановича в армейской форме и отметил про себя: старый моряк, привержен, разумеется, ко всему флотскому, но все же переоделся. Знает, что на суше, в поле, так сподручнее. Бойцы полка были в морском обмундировании. Синие фланелевки и широкие черные брюки краснофлотцев посерели от степной пыли. Не худо бы переодеться в армейское и им: морская форма не для окопов. И, вероятно, есть напрасные потери также от этого: в темном каждый человек отчетливо виден издалека.

К штабру у Осипова была одна-единственная просьба — «побольше бы огоньку». Войска Восточного сектора поддерживались и береговыми батареями, и кораблями. Но полевой артиллерии, огонь которой всего ощутимее, потому что она ближе, здесь не хватало. К тому же приходилось экономить боеприпасы. Недостаток их ограничивал сейчас и маневр огнем между секторами. Гаубичные дивизионы богдановского полка уже два дня как отведены в тыл: стодвадцатидвухмиллиметровые снаряды кончились совсем.

Впрочем, объяснять это Осипову, который сам только что из штаба базы, не требовалось. Я заверил Якова Ивановича, что о положении со снарядами поставлены в известность высшие военные инстанции. По просьбу нарушилась нормальная связь со штабом фронта, командарм просил помочь боеприпасами командование Черноморского флота. Из Севастополя уже сообщили, что партия снарядов отправляется на самых быстроходных кораблях.

Бои у Булдинки шли с переменным успехом. Восстанавливая положение на одном участке, моряки загнали чуть не целый неприятельский батальон в лиман.

— Пусть покупаются! — сказал, услышав об этом, Осипов; он и на хорошие донесения реагировал сдержанно, немногословно, только глаза сразу повеселели.

Вскоре выяснилось, что вернуть прежние позиции на участке у лимана помогла инициатива краснофлотца Семена Клименко: он с ручным пулеметом прополз по кукурузе в расположение противника и, внезапно открыв огонь, перебил много вражеских солдат, а главное — вызвал панику. Моряки не упустили момент и, не дав фашистам опомниться, поднялись в контратаку.

Краснофлотец Клименко — он вернулся в роту невредимым, — бесспорно, заслуживал награды. Но все-таки создавалось впечатление, что тут порой еще слишком легко оставляют позиции, которые затем приходится отбивать. Подполковник Грабарчук нашел в этом полку вопиющие недостатки по своей инженерной части. Подтверждался печальный факт: окапываться моряки не умеют и не любят, делают это только под нажимом и кое-как.

Осипов, безусловно, понимал, насколько опасно такое отношение к азбучным основам обороны. За два неполных дня, прошедших в беспрерывных боях, у него, естественно, еще до многого в полку не дошли руки. Но в этого командира хотелось верить. При всей сложности положения на его участке, куда ломилась целая вражеская дивизия, я начинал проникаться убеждением, что скоро за этот полк можно будет уже не так беспокоиться — лишь бы успел Яков Иванович развернуться, пока противник не нажал еще сильнее.

В полку пограничников те, кто был не в касках, носили зеленые фуражки. Ими гордились не меньше, чем своей формой моряки. «Пусть

враг боится одного вида нашей фуражки!»— говорили они. Эта фраза пошла тут, кажется, от командира полка А. А. Маловского и нравилась бойцам.

Майор А. А. Маловский моложе Осипова чуть не на двадцать лет. И по складу характера другой — живой, веселый, задорный. За год до войны окончил Академию имени М. В. Фрунзе. Полк принял немногим больше недели назад, но уже вполне освоился. Помогли, очевидно, кипучая молодая энергия и то, что вокруг много людей, давно ему знакомых. Со своим начальником штаба М. Г. Кудряшовым, со всеми комбатами и командирами рот майор служил вместе на границе.

По тому, как докладывал Маловский о состоянии своего участка обороны, по зорко подмеченным деталям обстановки, нетрудно было понять: этот молодой майор — из тех командиров, которые успевают везде побывать, самолично за всем доглядеть.

Недалеко от блиндажа полкового командного пункта стоял замаскированный мотоцикл.

— Командирский конь,— пояснил, когда мы проходили мимо, начальник штаба Кудряшов и добавил: — Он и от нас требует, чтобы уметь водить. Сам обучает, если выдается время.

В целом полк НКВД оказался таким, каким я и рассчитывал его найти. Отношение к рубежу обороны здесь было как к государственной границе, которую положено держать на замке. Участок у пограничников немалый — четырнадцать километров по фронту. Зато и людей больше, чем в каком-либо другом полку армии, так что имелся и хороший резерв.

Мы с Васильевым и Грабарчуком побывали также в 54-м Разинском полку. Добрались до левого фланга сектора, где в силу природных условий — на узком перешейке между Куяльницким и Хаджибейским лиманами — образовался наиболее изолированный участок Одесской обороны.

На перешейке раскинулись виноградники пригородных колхозов, пахнет польню и мятой. Справа и слева — синие, как море, лиманы. Берег Хаджибейского — высокий, обрывистый, Куяльницкого — более отлогий. У воды, совсем как в мирные дни, лежат перевернутые плоскодонные лодки.

Лиманы, пересекая фронт, уходят далеко в расположение противника. Они удобны для заброски туда разведчиков, небольших диверсионных групп, и этим путем, конечно, следует пользоваться. Надо быть готовыми и к тому, что так же попытается использовать лиманы враг. Но главное — чего ждать от него на самом перешейке?

Сзади дымят заводские трубы Пересыпи, словно напоминая, как близок отсюда промышленный район Одессы. Сейчас неприятельские атаки с восточного направления рассчитаны в случае успеха на прорыв к городу между Куяльницким лиманом и морем. Тогда нам не осталось бы ничего иного, как взорвать дамбу и затопить Пересыпь (уровень воды в лимане выше), эвакуировав оттуда жителей. Но прорыв возможен также и в дефиле между лиманами, на этом вот стиснутом с двух сторон водой и пока довольно тихом участке...

Мы возвращались в штаб с убеждением, что бои за Булдинку и Шицли — начало более крупных событий на восточном направлении. Нельзя было поручиться за то, что оно не станет даже направлением главного удара на Одессу.

Немедленно по приезде я доложил о положении в Восточном секторе генерал-майору Шишенину. Слушая, начальник штаба, как обычно, делал короткие записи в рабочей тетради. Он умел слушать, не преры-

вая докладывающего ни вопросами, ни репликами. А когда поднимал голову от тетради, его взгляд как бы говорил: «Продолжайте, продолжайте, все это очень важно, а записать я успею»...

Гавриил Данилович стремился как можно больше знать о каждом участке фронта. Да и что еще, если не внимание к любой мало-мальски существенной детали обстановки, могло хоть в какой-то мере компенсировать недостаток сил, резервов, оградить штаб армии от непоправимых в одесских условиях просчетов.

Но в тот раз в обычной для него внимательности проявлялась также и выдержка начальника штаба. Дело в том, что, пока мы ездили в Восточный сектор, внезапно ухудшилось положение в Южном, точнее — на правом его фланге, у стыка с Западным.

Около полудня 16 августа противник атаковал пехотой и танками позиции 287-го полка Чапаевской дивизии, прорвал его оборону у деревни Кагарлык и пытался наступать дальше. А любое продвижение врага в этом районе означало непосредственную угрозу как Беляевке, так и тылам Западного сектора.

Прорыв был пока на узком участке, но рассчитывать на то, что чапаевцы ликвидируют его своими силами, не приходилось. По решению командарма создавалась ударная группа, куда включались стоявшая в резерве кавалерийская дивизия генерала Петрова, один полк Чапаевской и полк из 95-й дивизии. Ее командиру генералу Воробьеву командарм приказал возглавить группу и нанести утром 17 августа контрудар в направлении Кагарлыка.

Василий Фролович Воробьев, как он мне потом говорил, был несколько удивлен таким заданием, поскольку не его дивизия составляла основу группы, да и действовать предстояло в другом секторе. Объяснялось это, видимо, тем, что Софронов тогда еще мало знал Петрова, на Воробьева же очень надеялся.

Были уже спланированы действия артиллеристов и летчиков: истребители с утра начинали штурмовку прорвавшегося противника. Представители штаба и политотдела армии выехали в части. Однако обстановка на этом относительно отдаленном участке оставалась не особенно ясной.

Какие силы введет в бой утром противник? Сколько у него здесь танков? В одном донесении командира 25-й дивизии А. С. Захарченко говорилось, будто их до семидесяти. Это представлялось почти невероятным: мы знали, что танковая бригада противника сосредоточена на другом фланге — против нашего Восточного сектора. (Танков у Кагарлыка, как оказалось, было в несколько раз меньше.)

Вообще подвело то, что плохо велась разведка перед фронтом дивизии — сильного нажима в своей полосе Захарченко в этот день не предвидел.

Кроме новостей тревожных, получил и хорошую: эсминцы «Беспощадный» (командир Г. П. Негода) и «Безупречный» (командир П. М. Буряк), доставившие боеприпасы из Севастополя, уже разгружаются в порту.

— Эсминцы шли самым полным, — рассказал побывавший у нас на следующий день капитан 3-го ранга К. И. Деревянко из штаба базы. — Котлы форсировали так, что обгорели трубы...

Как ни беспокоил Южный сектор, той же ночью принимались меры по укреплению обороны в Восточном. Командарм согласился выдвинуть на приморский фланг, в поддержку полку Осипова, находившиеся пока в городе караульный батальон и батальон связи Тираспольского УРА (последний — в качестве стрелкового). Было также решено направить



туда группу одесских коммунистов, которую обком партии обещал прислать завтра по дополнительной партийной мобилизации, — больше ничем помочь комбригу Монахову мы пока не могли.

Весь день 17 августа Южный и Восточный сектора требовали внимания, пожалуй, в равной степени.

Контрудар группы Воробьева начался в назначенный час, но далеко не все шло по плану. Спешка, в которой удар готовился, давала себя знать. Снаряды, только что доставленные в Одессу, успели подвезти на огневые позиции батарей лишь частично, и артподготовка была слабее, чем следовало. А огонь отряда корабельной поддержки до этого участка не доставал. Два кавалерийских полка — они действовали в пешем строю — не успели к исходному рубежу в срок и включились в контрудар позже.

Встречая сильное сопротивление, части продвигались медленно. Восстановить прежние позиции не удалось. Во второй половине дня враг все же был выбит из деревни Кагарлык, но ненадолго: через несколько часов в наших руках оставалась лишь ее окраина. При этом противник вклинился в нашу оборону южнее, и там начались бои за Беляевку.

В тот день все атаки в направлении Беляевки были отбиты. Ее стойко защищали 287-й полк чапаевцев и подразделение пограничников (они были и в этом секторе). Контратаки наших бойцов поддерживал взвод танков.

Откуда они взялись? Ведь к началу обороны Одессы Приморская армия танков не имела. И после того они с Большой земли не поступали. Но все же у нас появилось несколько танков.

Сильно поврежденные еще в самом начале войны, эти танки были погружены где-то на железнодорожные платформы и отправлены в тыл — то ли для восстановления, то ли просто как ценный металл. В Одессу они попали, вероятно, потому, что путь к другим городам был отрезан. Несколько таких машин и удалось вернуть в строй нашим военным инженерам и рабочим того же завода имени Январского восстания, который дал приморцам первый бронепоезд. Танки хоть были и не особенно надежные, но уже одним своим видом они подымали у бойцов дух.

На «Январке» тем временем думали о боевой машине собственной конструкции, названной потом «одесским танком». Что это был за танк, я расскажу дальше. Пока же возвращусь к событиям, которыми мы жили 17 августа.

В Восточном секторе противник завладел-таки утром деревней Шицли, к которой рвался еще накануне. Но на поддержку отошедшим здесь морякам Осипова был переброшен на машинах резервный батальон пограничников. Вместе с моряками они окружили Шицли, а затем очистили деревню от противника, не выпустив из «мешка» ни одного неприятельского солдата.

В вечерней оперативной сводке штаб сектора сообщал, что позиции 1-го полка морской пехоты восстановлены, а в Шицли взято двести пленных и захвачены довольно значительные трофеи: восемнадцать орудий, три легких танка, броневик... Таким образом, тут итог дня был в нашу пользу.

Немного позже до штарма дошли некоторые подробности этих боев. У моряков прославился краснофлотец Дмитрий Воронко. Когда во время контратаки был убит командир роты и бойцы чуть не поддались опасному чувству растерянности, этот матрос вырвался вперед, крикнул: «Рота, слушай мою команду!» — и увлек за собой товарищей. Его трижды ранило пулями и осколками, а он все бежал впереди, пока не свалился замертво. Рота же и без командира ворвалась в Шицли.

Среди моряков много бесстрашных людей. И спайка у них крепкая: если один рванулсь вперед, другие не отстанут. Если бы к этому прибавить хоть немножко полевой выучки! Вспомнилось, как осиповский комиссар старший политрук Митраков сказал про самого себя:

— Жаль, не пришлось послужить в пехоте...

Выяснилось, что моряки опять подымались в контратаки за километр, неся из-за этого лишние потери. Видно, ни Осипов и никто другой не могли сразу сломить те представления о сухопутном бое, с которыми пришли матросы в окопы.

По обе стороны железной дороги на Тирасполь раскинулась до самого горизонта гладкая, ровная степь. Впрочем, ровная она не совсем. Если ехать на машине от Одессы, все кажется, что вот-вот очутишься на каком-то гребне, откуда откроются еще более широкие просторы. Но никакого гребня впереди нет — так ощущается плавный, постепенный подъем всей равнины в направлении с юга к северу, от моря в глубь суши. А повернешь обратно — и по тому, как отодвинулся вдаль горизонт, почувствуется уклон. И это было не в нашу пользу: противник тут имел лучший обзор. До первых боев под Одессой мне довелось проезжать здесь только раз или два. Но очень запомнилась эта слегка покатаая степь за станциями Выгода и Карпово, пересеченная кое-где темно-зелеными полосками лесопосадок. Она так и вставала перед глазами, когда я старался по нанесенной на карту обстановке представить себе, что происходит в тех местах.

Восемнадцатого августа продолжались упорные бои и в районе Кагарлыка — Беляевки, и в Восточном секторе. Однако главные события дня развернулись в Западном — в этой самой степи. После короткого, за неполных двое суток, затишья в полосе 95-й дивизии противник возобновил здесь наступление силами куда более крупными, чем вводил в бой где-либо на одесских рубежах до сих пор. Дивизия успела неплохо подготовиться к отражению нового натиска врага. Восемь дней назад, когда она заняла тут оборону, на этом участке был лишь противотанковый ров. Бойцам приходилось, отбивая неприятельские атаки, с вечера (ночных боев пока не было) рыть траншеи, сооружать блиндажи, командные пункты, огневые позиции.

В. Ф. Воробьев считал себя учеником известного генерала Д. М. Карбышева, теоретика полевой фортификации, и, конечно, старался, чтобы дивизионная полоса обороны была оборудована в соответствии с требованиями военно-инженерной науки. Василий Фролович признался потом, что ему не давали покоя воспоминания о новых траншейных машинах и окопокопателях, образцы которых он видел на каком-то полигоне под Москвой. Тут же надо было радоваться, что хватает лопат. Как крепезный материал и для перекрытий использовали шпалы и рельсы с железной дороги. Когда выяснилось, что у нас будет бронепоезд, разборку пути остановили. А чтобы враг не застал работающих бойцов врасплох, впереди окопов развешивали на натянутой проволоке консервные банки и куски жести: если кто сунется ночью, все это загремит...

Новому командиру дивизии повезло на командиров полков. 90-м стрелковым командовал уже упоминавшийся выше полковник М. С. Соколов, который начал войну начальником штаба этой же дивизии, а потом побывал и временным комдивом. Командиром 161-го стрелкового полка — он оборонялся на центральном участке сектора, по обе стороны железной дороги — был полковник С. И. Серебров, солдат первой мировой войны и активный участник гражданской, с тех пор непрерывно служивший в Красной Армии. Третий стрелковый полк дивизии,

241-й, возглавлял полковник П. Г. Новиков, имевший за плечами войну в Испании.

Для штаба Приморской армии все это были люди новые, а командарм тогда, пожалуй, еще не знал никого из них в лицо. Мы знакомились с командирами по делам их полков, по отзывам Воробьева, и впечатление обо всех трех складывалось очень хорошее. Да и каким еще могло оно быть, если эти три полка держали фронт теперь уже против пяти неприятельских дивизий! Противник имел здесь в первом эшелоне 3-ю, 5-ю и 7-ю пехотные и часть гвардейской, во втором — 11-ю пехотную. Еще две дивизии, как подтвердили потом неприятельские штабные карты, когда они оказались в наших руках, сосредоточивались в тыловом районе.

Неделю назад враг пытался с хода прорваться к Одессе вдоль железной дороги, не предполагая, очевидно, встретить прочную оборону в гладкой степи. В последующие четыре-пять дней он, безуспешно штурмуя наши позиции, потерял здесь до трех тысяч человек убитыми. Нельзя, конечно, ручаться за абсолютную точность цифр, приводившихся в донесениях штаба 95-й дивизии. Но перед ее окопами скопилось на некоторых участках столько неубранных трупов, что при стоявшей в те дни жаре бойцам становилось муторно.

— Прямо не знаю, как быть,— пожаловался Василий Фролович Воробьев, разговаривая по телефону с командармом.— Еще и ветер, как назло, тянет оттуда. У Сереброва в третьем батальоне людям уж и еда не идет в рот. Хоть отводи батальон с рубежа...

— А вы предложите противнику убрать трупы,— посоветовал Георгий Павлович Софронов.— Назначьте время, когда не будете стрелять.

Ночью в ничейной полосе были выставлены фанерные щиты с написанным крупными буквами кратким обращением к командиру 3-й румынской дивизии. Ему предлагалось с двенадцати до шестнадцати часов 16 августа организовать вынос с поля боя своих убитых солдат и гарантировалось, что в это время советские войска огня не откроют.

За четыре часа наши бойцы не сделали ни одного выстрела. Противник тоже молчал — в этот день он не предпринимал новых атак, и в Западном секторе наступило затишье. Однако воспользоваться предложением нашего командования командир румынской 3-й пехотной дивизии не захотел. К следующей ночи на передний край доставили гашеную известь и с помощью ее ликвидировали основные очаги зловония.

Как уже говорилось, в ночь на 17 августа один полк 95-й дивизии временно перебросили в Южный сектор, куда отправился и генерал Воробьев. Такое ослабление Западного сектора даже в момент затишья, которое не могло быть долгим, означало немалый риск: на двадцатипятикилометровом фронте шесть стрелковых батальонов с одним пулеметным (разумеется, их поддерживала артиллерия) оставались против пяти пехотных дивизий... Командарм пошел на это лишь потому, что вражеский прорыв у Кагарлыка грозил тяжелыми последствиями.

Но в течение дня стали накапливаться признаки подготовки противника к новым атакам в Западном секторе. Комбриг Катров примчался с аэродрома, чтобы сообщить, что воздушная разведка установила переброску с восточного направления в район Раздельной танковой бригады. Это были особенно важные сведения. Следовало ожидать, что завтра бригаду двинут на прорыв обороны нашей 95-й дивизии, скорее всего на участке, примыкающем к железной дороге. Между тем сложная обстановка у Кагарлыка и Беляевки не позволяла вернуть в дивизию полк Соколова, хотя он и был уже выведен из боя

в армейский резерв. На усиление Западного сектора мы смогли послать лишь семьсот бойцов, выписанных из госпиталей или только что призванных, и небольшой отряд моряков из резерва Одесской базы.

Поддерживать 95-ю дивизию по заявкам ее штаба с рассвета 18 августа было приказано авиационному полку. Артиллеристам дивизии выделили больше, чем обычно, снарядов (положение с ними оставалось трудным — того, что привезли эсминцы, не могло хватить надолго). Генерал Воробьев, засветло вернувшийся из Южного сектора на свой КП у Выгоды, успел самолично проверить подготовку к завтрашнему бою. В том, что завтра в Западном секторе предстоит тяжелый бой, вечером 17 августа уже не оставалось сомнений.

Событиям одного августовского дня в полосе одной дивизии я уделяю так много места вполне сознательно. Этот день показал защитникам Одессы, как можем мы громить врага, несмотря на его численный перевес. И хотя с рубежа, который отстояла 18 августа 95-я дивизия, ей впоследствии пришлось отойти, этот бой надолго стал для нас как бы символом прочности Одесской обороны.

Как и предполагалось, наступление началось вдоль железной дороги — на участке 161-го стрелкового полка.

В седьмом часу утра противник пробомбил передний край Западного сектора с воздуха и повел артподготовку. Было несколько минут восьмого, когда начальник штаба 95-й майор Чиннов, только что связавшийся с наблюдательным пунктом 161-го полка, доложил по телефону:

— У Сереброва началось. Наступают танки и пехота. Танков несколько десятков...

Подробности боя доходили до штаба армии, конечно, не сразу. Но ради связности рассказа я не буду сейчас отделять то, что мы узнавали немедленно, от сведений, поступивших позже.

Танки шли впереди, пехота за ними, густыми цепями. А дальше виднелись уже не цепи, а колонны. То ли румынское командование очень уж верило в свой успех, то ли просто не берегло своих солдат, которых у него тут было много. Вместе с танковой бригадой наступали, как потом выяснилось, полки двух пехотных дивизий — 3-й и 7-й.

Наши бойцы были строго предупреждены: огня не открывать до особого сигнала. И красноармейцы, видевшие, как танки и целая лавина вражеской пехоты, беспорядочно стреляющей на ходу, с каждой минутой приближаются к нашему переднему краю, проявили исключительную выдержку.

Полковник Серебров дал сигнал, когда головные танки подошли к первой траншее на четверть километра. Артиллерия ударила прямой наводкой по танкам, пулеметчики и стрелки — по шеренгам пехоты. В бой вступили истребители танков, сидевшие с зажигательными бутылками и гранатами в ячейках впереди траншей.

Эффект массированного огня с короткой дистанции получился большой. Подбитые танки останавливались, другие загорались от метко брошенных бутылок. Пехота, не дойдя до наших окопов, залегла. Однако поразить все танки — в атаке участвовало около шестидесяти — было невозможно. До тридцати машин прорвалось через наши траншеи. Обогнув наблюдательный пункт Сереброва и станцию Карпово, эта группа двинулась вдоль железной дороги в наши тылы.

Тридцать танков — не шутка, даже если они оторвались от своей пехоты. У штаба армии не было никакого подвижного противотанкового резерва. Да и вообще не оставалось под рукой ни одного запасного подразделения, чтобы выслать навстречу танкам хоть с бутылками.

Командарм и находившийся вместе с ним член Военного совета Ф. Н. Воронин быстро обменялись мнениями с начальником штаба. Было решено снять с огневых позиций ближайший к району прорыва дивизион 15-й бригады ПВО. Зенитчикам передали: любой ценой задержать танки!

Мера была правильной, но зенитный дивизион не понадобился. Танки далеко не прошли: их сумели перехватить артиллеристы 95-й дивизии. Три машины сразу же были подбиты. Остальные, не рискуя бродить без пехоты по нашим тылам и наткнуться на батареи, пошли через линию фронта обратно.

Это, однако, не означало, что бой окончен. Противник возобновлял атаки вновь и вновь, и на некоторых участках отбивать их становилось все труднее.

Уже несколько раз вылетали на штурмовку истребители. Из Восточного сектора был послан к станции Карпово бронепоезд (состояние пути позволило ему ворваться, ведя огонь на оба борта, в расположение противника). Но все-таки исход этого многочасового боя решили полевая артиллерия и пулеметчики, стойкость наших стрелковых подразделений, их героические контратаки.

Во второй половине дня генерал Воробьев соединился с командармом с наблюдательного пункта полковника Серебров. Командир дивизии доложил, что противник бежал с поля боя, оставив множество убитых и раненых, и что с НП он сам насчитал двадцать пять подбитых и сожженных танков.

— Говорит Фролович, что такого еще не видывал... Танки до сих пор горят, и все поле в дыму! — весело объявил Софронов, кладя трубку.— Поздравление надо ему сочинить официальное, от Военного совета. Особо отметить артиллеристов и истребителей танков. Не зря Воробьев о бутылках беспокоился — вот когда пригодились! Пусть представляет отличившихся к награде!

— Знаешь что, Георгий Павлович, — подхватил член Военного совета Воронин. — Если завтра там будет потише, давай-ка отправим туда делегатов от других частей — откуда можно. Пусть поглядят на подбитые танки и всем расскажут. Это же не только Воробьев, а, пожалуй, никто у нас такого побоища еще не видывал.

— Полезная будет экскурсия, — согласился командарм.

Он счастливо улыбался. Радостное возбуждение охватило всех на армейском КП. Как-никак приморцы отбили самую сильную атаку на одесские рубежи с начала обороны. Противник еще не бросал нигде в наступление одновременно на одном участке столько пехоты и танков. Западный сектор выдержал этот удар, и почти половина введенных в бой танков оказалась уничтоженной. Всего за 17 и 18 августа враг потерял под Одессой около сорока танков.

Отчаянная попытка прорвать нашу оборону на участке, где всего прямее и ровнее путь к городу, дорого обошлась и неприятельской пехоте. Воробьев считал, что только тираспольские пулеметчики — они прямо косили цепи атакующих — истребили не менее тысячи вражеских солдат. Как стало позже известно из трофейных документов, 7-я пехотная дивизия потеряла половину личного состава, участвовавшего в этот день в наступлении, а потери 3-й пехотной дивизии были лишь немногим меньше.

Я еще не сказал, что натиск в Западном секторе совпал — очевидно, не случайно — с массированными налетами на город и порт, в которых участвовало до сотни бомбардировщиков. Должно быть, им ставилась задача дезорганизовать наши тылы в часы, когда противник рассчитывал прорвать у станции Карпово фронт.

К прочим тревогам дня прибавилось донесение воздушной разведки флота о выходе из румынского порта Сулины группы транспортов, эскортируемых сторожевыми катерами и самолетами. Не исключалось, что они держат курс на Одессу... Не знаю, были ли на этих судах войска и входило ли тогда в планы неприятельского командования нанесение нам комбинированного удара, включавшего также и высадку у Одессы морского десанта, но считаться приходилось и с такой возможностью. Во всяком случае до тех пор, пока мы не узнали, что эту группу кораблей атаковали черноморские летчики и, потопив два транспорта, заставили остальные повернуть обратно.

Не могу не назвать командиров, особенно отличившихся в тот день. И прежде всего полковника Сергея Ивановича Сереброва. В конечном счете все зависело от того, выстоит ли его 161-й стрелковый полк, и Серебров, разумеется, сознавал, какая легла на него ответственность.

— Сегодня я в полной мере оценил и командирское умение, и личное мужество Сереброва, — отметил Василий Фролович Воробьев, докладывая о подробностях боя.

Труднее всего пришлось третьему батальону серебряровского полка. Именно на его участке прорвалась в тылы дивизии группа вражеских танков. Задержать их батальон не смог, но, пропустив танки через свои траншеи, бойцы продолжали отбивать атаки пехоты. Против батальона наступал целый полк, и был момент, когда одна рота дрогнула, начала отходить. Тут угрожала образоваться брешь, которая могла надломить нашу оборону, и Серебров приказал комбату восстановить положение любой ценой.

Комбат — двадцатидвухлетний лейтенант Бреус — принял батальон две недели назад, во время боев под Дубоссарами, где был убит прежний командир батальона. Лейтенант вскочил на коня (да, так воевали мы в то время — командиру стрелкового батальона полагался конь), прискакал под огнем на участок этой роты и сам повел ее в контратаку. Командир полка тем временем позаботился об усиленной артиллерийской поддержке, но вернуть прежние позиции помогли роте в первую очередь отвага и решительность молодого комбата.

В. Ф. Воробьев считал, что лейтенант совершил подвиг, заслуживающий высшей награды. Учитывая, как много значило не дать врагу вклиниться в нашу оборону, Военный совет поддержал представление лейтенанта Бреуса — первым из защитников Одессы — к званию Героя Советского Союза. (Он был удостоен этой награды в феврале 1942 года вместе с группой других одесских героев.) Я рад, что могу сообщить читателям: майор запаса Яков Григорьевич Бреус здравствует поныне и живет в Одессе.

Хочется вспомнить еще одного славного комбата — майора В. А. Вруцкого. Его батальон был единственным, который участвовал в бою 18 августа из 90-го стрелкового полка (два других оставались в резерве в Южном секторе) и, действуя слева от Сереброва, принял на себя значительную часть вражеского удара. Батальон отразил все атаки, причем на его участке оказалось к исходу дня больше всего подбитых и сожженных танков.

Вруцкий тоже водил своих бойцов в контратаки. В последней из них майор был ранен и выбыл из строя. Но через год с небольшим В. А. Вруцкий, уже в звании полковника, командовал на Северном Кавказе дивизией.

О начальнике артиллерии 95-й дивизии Д. И. Пискунове, очень предусмотрительно расставившем огневые средства, полковник Рыжи отозвался как-то:

— Дмитрий Иванович обо всем позаботится, все учтет и рассчитает!

Бой, где артиллерия сыграла важнейшую роль и использовалась весьма умело, вполне подтверждал такую характеристику.

С самой лучшей стороны показали себя и артиллерийские командиры А. В. Филиппович и В. И. Барковский. Имя Барковского вскоре сделалось очень популярным в Приморской армии: его «сорокапятки», способные быстро менять огневую позицию, часто на галопе (орудия имели конную тягу), появлялись там, где был возможен прорыв танков и требовалось поддержать пехоту.

На следующий день в поле у станции Карпово было тихо, и бойцы отличившихся накануне частей смогли показать свои трофеи группе солдат из других полков и дивизионов. Скольких-то подбитых танков даже перетащили ночью тягачами в более удобное для их осмотра место.

Организованная по инициативе дивизионного комиссара Ф. Н. Воронина экскурсия на поле успешного боя была как бы продолжением той «делегатской» учебы на полигоне, о которой упоминалось выше. У вражеских танков, выведенных накануне из строя, делились с товарищами самым свежим боевым опытом те, кто их сокрушил, — лучшие артиллеристы противотанкового дивизиона, пехотинцы, наиболее умело применявшие зажигательные бутылки и гранаты.

Танки попадались разные. Помню, как приехавший из Западного сектора капитан Шевцов рассказывал у нас в оперативном отделе:

— Понимаете, марка французская — «Рено». Сзади окрашен немецкий черный крест, а по бокам — эмблема с румынским флагом. Должно быть, немцы захватили во Франции, а потом передали румынам. Или это еще французы Румынию вооружали, а крест — чтоб немцам в своих союзниках не запутаться. И все перечеркнула наша советская отметка — сквозная пробоина от снаряда; и тут же артиллерист, который этот снаряд послал, стоит именинником, улыбается и дает пояснения, как на выставке...

*(Продолжение следует)*



---

---

# ПУБЛИЦИСТИКА

Н. ВЕРХОВСКИЙ

★

## В ОДНОМ ЦЕЛИННОМ РАЙОНЕ

**П**ринято говорить, что из земледелия, как из песни, «слова не выкинешь». Упустив одно, можешь потерять все. Но есть вопрос, который всегда главный,— это вопрос о кадрах. О них и речь.

Один из украинских писателей, побывавший на североказахстанской целине в период первой борозды и посмотревший на нее в 1966 богатом году, с радостным изумлением воскликнул: «Да это же теперь полностью обжитой край!»

Что «обжитой»— да. Что «полностью»— я бы, пожалуй, так не сказал. И дело в первую очередь в том, что прочной и достаточной (по масштабам осенних работ) заселенности здесь еще нет. Целина же, как мы знаем, бывает и очень щедрой, и очень скупой. Чтобы добиться ежегодной устойчивой и все растущей урожайности, прежде всего необходимы кадры работников— знающих, заинтересованных и, что не менее важно, постоянных.

— Нельзя ли нам поглубже забраться в этот вопрос?— высказал я пожелание первому секретарю Рузаевского райкома партии Василию Никаноровичу Загорскому, которого давно знаю как человека с широким кругозором и не любителя пустых заверений:

— Забраться-то мы заберемся, а как из него выберемся...

За шутивным ответом скрывалась серьезная озабоченность.

### 1

Прежде чем затронуть хотя бы отдельные грани большого вопроса— два слова о самом районе. Рузаевка— это юго-запад кокчетавской поднятой целины, район типичный для большой округи нового земледелия. Здесь в некоторых совхозах петухи поют сразу на три области. На северо-западе район примыкает к Северо-Казахстанской, на западе— к Кустанайской, на юге— к Целиноградской областям.

Раскинувшийся по обоим берегам Ишима Рузаевский район, занимающий полмиллиона гектаров пахотных земель (цифры округленные), принадлежит к числу североказахстанских «хлебных богатей». За двенадцать лет начиная с 1956 года в одном этом районе заготовлено для государства 187 миллионов пудов зерна. В среднем по 15,5 миллиона пудов ежегодно. В прошедшем, климатически сложном году рузаевцы опять же перевыполнили государственный план: вместо 14,9 плановых сдали 19 миллионов пудов зерна. Это больше, чем заготовил в этом году любой другой район Казахстана и Союза. Вот какая славная пшеничная житница этот Рузаевский целинный район!

Однако и здесь велики перепады в урожайности: если, например, в 1956 году совхозы одного этого района продали государству 34, в 1958 году— 22, в 1966— 24,6 миллиона пудов зерна, то в 1957 или 1963 годах на некоторых полях, как выражались сами земледельцы, «и воробьям поклевать было нечего».

Разговор о кадрах начну с проблемы не новой, но и по сей день сугубо злободневной, связанной с большим комплексом производственно-экономических и социально-бы-



товарных проблем,— с вопроса о сезонниках в период жатвы. С зимы рузаевцы обычно замахиваются: «Ну уж нынче-то будем убирать урожай только своими силами!» Но как только подходит жатва, так, «исходя из сложившихся условий», и раздается тревожное: «Осень у нас короткая и капризная, а от быстроты уборки во многом зависит размер и качество урожая — лучше уж помогите...»

Вот характерный эпизод осени 1966 года. В канун жатвы заместитель председателя райисполкома Сергей Захарович Малакей выезжал во Львов в роли «толкача». Нужно было попросить украинских товарищей, чтобы ускорили присылку в Рузаевку четырехсот комбайнеров. По его рассказу, зашел он к одному из руководящих областных работников, сослался на указание директивных организаций, а в ответ на просьбу услышал досадливое:

— Чоловчиче добрый, що вы хочэтэ, щоб мы без штанив остальсье? Виддай им чотыреста комбайнерив! У нас у самих хлиб па корню...

Замечу: с небольшим опозданием, но помощников львовцы все же прислали. Только какие это оказались механизаторы! Опытных комбайнеров они, конечно, оставили при своем деле, а чтобы выполнить директиву, набрали из учреждений и предприятий «исторических механизаторов», порой даже в глаза не видевших современную уборочную машину,— их и послали. Не хочу положить тень на всех львовских сезонников: большинство по своим силам помогло. Но многие из командированных из-за слабой квалификации сгодились только в помощники трактористов или в разнорабочие. Нашлись и такие, которые уехали, не приступив к делу...

Слов нет, не очень-то серьезно подошли львовские товарищи к подбору механизаторов на целинную страду. Но войдем и в их положение: жатва 1966 года на Западной Украине действительно запоздала, урожай был обильным, а кому хочется, как выразился их представитель, «самим без штанив остаться...».

Насколько же неудобно ежегодное передвижение механизаторов и для приглашаемых и для приглашенных! Да и начетисто. Ученый секретарь Всесоюзного (Шортландинского) научно-исследовательского института зернового хозяйства Владислав Брониславович Брезинский мне говорил, что, по его специальному исследованию, работы, выполненные приезжими, обходятся совхозам дороже на тридцать—сорок процентов.

А если добавить сюда то, что трудно поддается учету: убытки предприятий, выплачивающих командированным пятьдесят процентов среднего заработка, да еще и более быструю изнашиваемость машин от обезлички, потери на жатве, промахи в агротехнике от неприспособленности к местным условиям то и дело меняющихся работников! Местные остроловы недалеки от истины, когда они говорят, что самая худшая из всех систем земледелия — это чемоданная...

Когда же, наконец, будут у рузаевцев устойчивые местные кадры, которых будет достаточно и для периода «лик»? С этим вопросом осенью 1966 года пошел я в районное сельскохозяйственное управление.

Настроение у начальника управления Григория Илларионовича Степченко (он теперь в другом районе) было отличное. Еще бы! План хлебозаготовок резко перевыполнен, притом все совхозы закончили год с большими сверхплановыми прибылями. Улыбается:

— Нынче везде счастливые просчеты! Планировали сначала пригласить две тысячи восьмьсот сезонников, а обошлись половиной. Люди горячо работали. Да и осень, прямо скажу, идеальная. Хорошо помогли и уральские механизаторы...

— А львовские? — перебиваю его.— Стоило ли загонять малоопытных людей с Карпат почти до Алтая?

Отвечает смущенно:

— Уж если доведется еще когда-либо приглашать помощников на жатву — дай бог, чтобы этого никогда больше не было! — то только высококвалифицированных. И не путем всесоюзных мобилизаций,— добавляет он,— а в порядке более свободного набора: пусть наши и южные хозяйства сами между собой контактуются...

Об этом бегло брошенном «более свободном наборе» стоит сказать несколько слов. Почти у каждого целинного совхоза есть так называемые «породнившиеся», пока еще немногочисленные: речь идет о сезонниках, приезжающих на жатву по собственной

инициативе (конечно, с разрешения руководителей своих хозяйств). Помню, в общежитии совхоза «Победа» Красноармейского района моим соседом по койке оказался богатырского телосложения блондин, механизатор из Запорожья Алексей Иванович Пискун. Разбудил он меня: возвратился с подборки валков во втором часу ночи, а в половине шестого его кровать уже пустовала — вновь был на мостике комбайна. Он уже семь лет как «породнился» с совхозом: предварительно списавшись, он по окончании жатвы в своем колхозе ежегодно приезжает в одно и то же целинное хозяйство. Совхоз ему понравился, и он совхозу. Приезжает, конечно, подработать, но работает горячо и честно. Вот и в том году он прибыл сюда загодя, отлично отрегулировал свой комбайн и убрал на нем за сезон (при высоком качестве) больше, чем десять мобилизованных львовских. Выгодно и совхозу, и ему самому.

Итак, и в 1966 году, тринадцатом году после начала массового освоения целины, богатый пшеничный район не обошелся на жатве без помощи извне. А в истекшем году, несмотря на меньший валовой сбор зерна, вследствие худших погодных условий сезонников потребовалось даже больше, чем в предыдущем. Неужели это закономерно?

Правда, в сравнении с 1956 и 1958 годами прогресс все же имеется. Вот цифры по району в целом: в 1958 году был настоящий аврал — работали восемь тысяч приглашенных, в 1966-м — 1350, в 1967-м — около двух тысяч (разумеется, не считая шоферов, без помощи которых на вывозке зерна целине пока трудно обойтись). Вдобавок и жатва производилась на более высоком качественном уровне.

Как же распределялись эти 1350—2000 сезонников по различным работам уборочной кампании?

Тут парадокс, заставляющий задуматься. Оказывается, работали комбайнерами (все еще самая дефицитная профессия) только двести пятьдесят — триста сезонников, трактористами и помощниками — четыреста—пятьсот, а все остальные, то есть больше половины, — просто-напросто разнорабочими.

Как объяснить, тем более оправдать, что наибольшую часть сезонников, приехавших издалека, составляют «труженики лопаты и метлы»?

Приходится иногда читать: «Проблема очистки зерна на целине уже решена». За чем эти преувеличения? Разумеется, от того, что было в период «первого колышка», целина далеко ушла вперед. В том же Рузаевском районе возведены не только башни элеваторов, но и построено по одному, а кой-где и по два механизированных тока в самих совхозах. Однако переход к современной культурной обработке зерна далеко еще не завершен.

Мешает многое: и малая производительность установок, выпускаемых воронежским и другими заводами, и неувязки в экономических взаимоотношениях между производителями и заготовителями. Вот характерная картинка, которую мне приходилось наблюдать в совхозе «Шарыковский». Близ деревни Андреевки по правую руку от грейдера — совхозный ток, по левую на расстоянии всего в двести метров — хлебприемный пункт. В первом затор: явно не хватает механизмов (опять лопата и метла!), во втором механизмов предостаточно, и они простаивают.

— Почему бы не перевалить через грейдер и — прямо к заготовителям? — спрашиваю управляющего отделением.

— Невыгодно: дорого приходится платить за очистку. Да и отходы, нужные животноводству, остаются у них...

— А вы бы на договорных началах: оплата по себестоимости, обязательный возврат отходов?

Оказывается, противоречит инструкции, которой руководствуются заготовители. И получается, что каждый совхоз, даже в том случае, когда это по местным условиям не лезет, стремится перерабатывать зерно только своими силами. Не пора ли пересмотреть инструкцию, которая не согласуется с экономической целесообразностью, со здравым смыслом?

Таким образом, большая и сложная проблема механизации трудоемких процессов очистки (а тем более сушки) зерна решена еще далеко не полностью. А если ее правильно решить, то, помимо прочих выгод, потребность в сезонниках для целинной жатвы сократится почти вдвое.

Сложнее с механизаторами. Правда, на посевной помощь извне давно уже не нужна. Но сколько же требуется району еще механизаторов на ближайшие годы, чтобы и возделывать и убирать хлеб только постоянными кадрами?

Ставлю этот вопрос перед кадровиком Михаилом Ивановичем Касаткиным.

— Еще по сорок—пятьдесят в среднем на совхоз. Это в расчете на неблагоприятную осень. В такую, как в шестьдесят шестом году, меньше.

В районе шестнадцать совхозов. Речь, стало быть, идет о каких-то восьмистах дополнительных комбайнерах и трактористах. Казалось бы, как просто! Набрал людей, подучил их — и с приглашением сезонников покончено раз и навсегда. Ведь только в двух имеющихся в районе училищах механизации сельского хозяйства ежегодно обучается свыше тысячи человек!

Но дело в том, что в некоторых совхозах чем больше туда приток, тем больше оттуда и отток. Ежегодно в районе готовится до тысячи новых механизаторов, а положение с механизаторскими кадрами за последние четыре года таково: в 1964 году в районе имелось 2832 своих механизатора, в 1965-м их оставалось уже 2684, в 1966-м — 2222, в 1967 году — лишь 2033. За четыре года убыль на восемьсот человек!

К сожалению, хозяйственники и экономисты мало анализируют проблемы народонаселения, оставляя почему-то эти вопросы только демографам. Так и в Рузаевском районе. Спрашивал многих работников:

— А вообще-то растет ли теперь население района?

Обычно получал ответ:

— Конечно, растет.

А так ли это?

Почти два дня вместе с районным инспектором госстатистики Виктором Сергеевичем Маганковым мы перетряхивали запылывшие папки ежегодных отчетов. Некоторые показатели, на мой взгляд, интересны.

Да, население росло, и очень бурно. К 1953 году оно составляло около двадцати тысяч. К 1961 году возросло до 51 770 человек, то есть увеличилось в два с половиной раза. Но с тех пор общее количество жителей уже не возрастало. На 1 января 1966 года даже уменьшилось на 670 человек. Убыль населения продолжалась и в урожайном 1966 году, когда заработки земледельцев в среднем возросли на тридцать семь процентов: на 1 января 1967 года число жителей уменьшилось еще на несколько сотен.

Но в те же годы (1961—1966) в районе сформировался промышленный поселок Трудовой с населением, превышающим семь тысяч, появились железные дороги и узловая станция Пески-Целинные, многочисленные хлебоприемные пункты, увеличилась армия работников культурного фронта (одних учителей теперь свыше семисот человек), возросло и население районного центра...

Отсюда вытекает, что количество непосредственных производителей сельскохозяйственных продуктов (рабочих совхозов) в последние годы резко сократилось.

Чтобы судить о степени миграционной подвижности населения целинного района, приглядимся еще повнимательней к статистике. Здесь высокая рождаемость и относительно небольшая смертность. За годы с 1961 по 1967 в среднем рождалось по 1873, а умирало по 344 человека. Значит, ежегодный естественный прирост составляет свыше полутора тысяч человек. И в то же время общая численность населения стабильна. Разгадка простая: значительная часть населения уезжает из района, а отъезды компенсируются естественным приростом.

По возрастному составу населения район продолжает оставаться молодым: людей до двадцати пяти лет здесь пятьдесят семь процентов. И, конечно, подрастающая молодежь тоже ведь пополняет трудовую армию. Но это, как правило, лишь дети коренных жителей — из казахских или старопереселенческих семей. Уроженцы поднятой целины — дети молодых новоселов — пока еще учатся в начальных классах...

Итак, много детей и людей двадцати-, тридцатилетнего возраста, а подростков как раз маловато. Этим в известной мере объясняются и трудности с комплектованием местных училищ механизации сельского хозяйства. Заполнить контингент учащихся местными не удастся. Стали прибегать к объявлениям в печати с рассылкой их в сорок—пятьдесят областей Союза. Молодежь приезжала охотно: условия неплохие — бесплат-

ное питание, обмундирование и общежитие плюс к тому еще стипендия. Часть из приезжих потом закреплялась в районе, но большинство — как в гостях: выучился и — привет! — уезжает. Директор Рузаевского училища С. Ф. Охотников однажды на совещании заявил даже так:

— Не для района работаем — готовим механизаторов на весь Союз!

Из районов старого земледелия раздаются жалобы, что там очень интенсивен отток молодежи в город. Такое наблюдается и в Рузаевском районе. В какой-то степени это неизбежно. Но если говорить о местной молодежи, то здесь положение пока все же лучше, чем, скажем, у меня на родине — в Костромской области. И после службы в Советской Армии местные уроженцы чаще всего возвращаются домой и включаются в производство, где так много вакансий. Это самые надежные кадры!

Любопытно было посмотреть, насколько подвержены миграции выпускники средних школ. Очень внимательно следит за их судьбами Иван Григорьевич Бородавка — директор средней школы совхоза «Рузаевский», одной из лучших в районе. Он любезно предоставил в мое распоряжение подробные записи, которые ведутся с 1960 года. Из тетради узнаю, что за пять лет школа выпустила сто десять человек. Двадцать один выпускник пошел в местное производство и учреждения культуры. Бедно! Но и совсем выбыли из района только четырнадцать человек. Столько же в Советской Армии, из них пятеро в военных училищах. Наконец, шестьдесят один выпускник учится в вузах и техникумах. Некоторые уже закончили их и вернулись в район, пополнив кадры сельской интеллигенции. Но если нехватка учительских кадров в районе стала менее острой, то врачи продолжают оставаться самой дефицитной профессией: участковые больницы и медицинские пункты возглавляются фельдшерами, а иногда и просто опытными сестрами. Приезжие медики, даже если бытовые условия удовлетворительны, редко приживаются. Каждый совхоз стремится теперь выучить «своего доктора», выделяя для наиболее способных местных ребят и девиц совхозные стипендии. Но что иногда получается? Выучил, например, совхоз «Целинный» своего терапевта Римму Васильевну Каблову, но ее, жалуются в совхозе, «перехватил район — в районной больнице тоже недокомплект врачей».

Настойчиво и, по-моему, обоснованно выдвигают рузаевцы вопрос о том, чтобы иметь в крупнейшем зерновом районе хотя бы одно-два специальных средних учебных заведения. Речь прежде всего идет о технической, экономической и агрономической подготовке бригадиров. Нужны бы и курсы — например, счетоводов, медицинских сестер...

Возвратимся, однако, к вопросу о механизаторах. Применение более совершенных машин и орудий, позволяющих внедрять все более прогрессивную технологию обработки земель, в сочетании с научной организацией труда и улучшением производственно-технической подготовки кадров дает новый взлет производительности труда. Давно ли, вспомним, пшеничные нивы убирались исключительно прицепными комбайнами, а каждый такой агрегат обслуживался четырьмя рабочими. Теперь это уже «допотопия» на самоходках по одному комбайнеру. Так, может быть, благодаря техническому прогрессу и Рузаевский район в самой ближайшей перспективе обойдется без какого-либо пополнения трудовых ресурсов? Не примириться ли с тем, что общее число жителей района начинает сокращаться?

Это означало бы, что со временем среди бескрайних пшеничных полей — в царстве усовершенствованных машин — останутся малюсенькие, редкие-редкие, правда, хорошо благоустроенные, поселки. И возвратятся сюда те же тишина и безлюдье, что были и в «доцелинной» ковыльной степи.

Нет. Совсем не та перспектива! Правда, миграция сельского населения в города как естественный результат роста производительности труда в деревне — это процесс исторически закономерный. Но в целинных районах начавшаяся убыль рабочих рук и вообще населения — процесс явно преждевременный и нежелательный. Пополнение здесь нужно не только для периода «пик», но и для дальнейшего комплексного развития производительных сил: для такого повышения культуры земледелия, чтобы преодолеть (или хотя бы смягчить) губительные последствия засухливости, для мощного развития специализированного животноводства, строительной индустрии, перера-

батывающей промышленности, культуры, сферы обслуживания, переустройства быта... Все это как раз и сдерживается теперь (в ряду других причин) недостатком и повышенной текучестью кадров.

Насколько я знаком с совхозами Рузаевского района, могу утверждать, что в каждом из них можно встретить десятки, а то и сотню-две семей, что прибыли сюда к первой борозде и приросли прочно. На новых местах они стали такими же коренными жителями, что и уроженцы этих мест. Это ядро устойчивых жителей — агрономов, бригадиров, механизаторов — и является теперь ведущим в целинных хозяйствах. И если свирепые засухи последних лет отражаются на посевах менее губительно, то это прежде всего результат усилий постоянных и опытных кадров, хорошо подружившихся с наукой, познающих секреты своих земель.

Преображенная целина, конечно, еще не рай земной. Однако никогда не соглашусь с теми, кто, в сравнении с другими районами страны, видит здесь только одни минусы (побольше требуется топлива, потеплей нужна одежда и пр.) и никаких плюсов.

Случается, что люди, которые уезжают отсюда вроде бы «насовсем», да иногда еще хлопнув дверью, вскоре убеждаются, что поступили опрометчиво. Возвращаются, и теперь уже надолго, если не навсегда.

Уезжал из совхоза знатный тракторист, прибывший сюда по путевке комсомола.

— Чего не жилось человеку! — удивлялись в совхозе его земляки, бывшие полтавчане. — Пользовался почетом и славой. Жил в достатке. Приехал с женой на целину с одним чемоданом, а когда уезжали, нагроузили вещами целую автомашину. Просто задурили люди!..

Вскоре от бывшего первоцелинника пришло письмо к бригадиру. Написано в тоне робком и, можно сказать, извиняющемся: «Поспрашивай, пожалуйста, как там директор? Что скажет, если надумаю вернуться?»

Прощупывание продолжалось. Пришла весточка и от жены тракториста к своей приятельнице — супруге секретаря парткома: «Тоскуем с мужем по целине. Послушала сегодня по радио сообщение о новых успехах новоселов и даже поплакала...»

Затем опять письмо от главы семьи: «Работаю на заводе и получаю хорошо, но тянут к себе просторные поля. Правда, и здесь можно бы пойти в совхоз, но против целины степь очень маленькая, какие-то клинышки... И хочется именно в свой совхоз, где вложен и мой труд и где ценили мою работу. Но только по приезде прошу не прекать...» Возвратились.

— Да мы и не собирались насовсем уезжать! — пыталась сначала вроде бы оправдываться другая чета, когда я зашел в их новенький, отстроенный уже после возвращения домик. — Съездили только погулять да отдохнуть...

Но это было не так. Уезжали они всерьез и даже вещи продали. Больше того — прекрасному шоферу, бывшему моряку, оставалось совсем немного, чтобы довести пробег своего лесовоза до ста тысяч километров и получить за сохранность большую премию. И все-таки...

— Татьяна подбила, — раскрыл, разговорившись, семейный секрет мой новый знакомый. И с шутовой свирепостью, скашивая на супругу глаза, добавил: — Пусть еще раз попробует! Она у меня из Москвы, по столичной культуре соскучилась... Оплата везде почти одна, но рейсы здесь длиннее, шоферу выгоднее. А потом легче обзавестись подсобным хозяйством...

Совсем недавно столкнулся я и с таким — тоже характерным — случаем. Семья новоселов-южан в числе других неудобств, встреченных на новом месте, очень огорчилась недостатком фруктов: вишен даже нет, ребятишки не видят ни яблок, ни слив, даже и называют-то их не по-нашему. Уехали, но вскоре вернулись: вишни нашли, а работу по душе не подобрали.

Из рассказанного отнюдь не вытекает, что уезжающие, как правило, возвращаются обратно. Статистика — дело упрямое, а она, как видели, показывает, что отливы из района превышают приливы. То, что устраивает пока одних, не устраивает других.

Много сделано в Рузаевском районе для улучшения условий производства и

быта. Однако не нужно забывать, что после мартовских реформ и других мер, принятых партией и правительством, резко улучшается жизнь и в других местах.

— Приток населения к нам в последние годы резко сократился,— говорили мне директора совхозов.

Создалась, значит, новая обстановка. Прав кандидат экономических наук В. Переведенцев, когда он в «Литературной газете» пишет, что «условия жизни в местах, где испытывается нехватка рабочих рук, должны быть лучше, чем там, где этих рук избыток!» И если из района уезжает больше людей, чем приезжает, то это значит, что многие переселенцы чувствуют себя здесь не лучше, чем в местах, откуда приехали. Не отставать, а опережать старые земледельческие районы в развитии производительных сил, в реальном улучшении условий жизни, в переустройстве быта — вот как стоит теперь задача!

## 2

В районе славятся относительно молодые по возрасту, но уже старые по стажу директора исправных и прибыльных хозяйств. Кто-кто, а они-то крепко двинули вперед и культурно-бытовое строительство! Посмотришь на центральные усадьбы и задумаешься: чего из элементарно необходимого там еще нет? И средние школы с интернатами, и дворцы культуры, и детские комбинаты — все это, конечно, отстроено, да еще так, что позавидуют иные города. Во многих домах уже паровое отопление, всюду газ в баллонах, появились первые телевизоры. В совхозе «Рузаевский» организованы и бытовые мастерские, и даже филиал музыкальной школы. «Теперь бы еще ателье мод», — поговаривают в хозяйстве. По художественной самодеятельности коллектив совхоза «Берликский» занял на смотре первое, «Рузаевский» — второе место в области. Словом, быт начинает приближаться к городскому, хотя и сохраняет сельскую особенность. Если же говорить о совхозе «Целинный», то это такое хозяйство, где не только нет недостатка в жилье, а наблюдается якобы даже избыток квартир...

Ну, уж в этих-то хозяйствах, думалось мне, миграционная подвижность населения не должна быть высокой. Не полагаясь, однако, на приблизительные ответы и собственные впечатления, дознался до точных цифр. И ахнул от неожиданности. Ежегодная сменяемость механизаторских кадров в течение последних трех лет — на уровне сорока процентов и выше!

Так в чем же все-таки дело?

— Иван Антонович,— спросил я осенью, по окончании жатвы, директора совхоза Алимова (теперь он в Рузаевке начальник райсельхозуправления), — вам нынче помогали сто двадцать человек. Если бы они, предположим, решили остаться, смогли бы вы дать им хорошую работу и на зиму?

— По сегодняшнему развитию хозяйства, конечно, нет.— И озабоченно добавил: — Уже заканчиваем очистку семян. И своим-то двадцати женщинам, которые работали на складах, теперь делать нечего...

Как ни важен культурно-бытовой комплекс, но проблема закрепления кадров все же начинается с условий труда. Если для работника или вторых и третьих членов его семьи (о них никак нельзя забывать) нет подходящей работы и заработка, то какое же тут закрепление!

Сезонность присуща всему сельскохозяйственному производству, но тут она ощущается населением острее. Это не Юг. Здесь «несезон» длиннее сезона.

И хотя сезонность сельскохозяйственного производства неизбежна, сезонность сельского труда, если правильно спланировать и развить дополнительные отрасли, совсем не обязательна.

В большинстве совхозов района, особенно по правобережью Ишима, как и в хозяйстве Шортандинского института, много пастбищ и сенокосов, которые, если их улучшить, помогут двинуть дальше уже и теперь сравнительно развитое животноводство. Специализированное, с двухсменной работой животноводов, оно смягчит обстановку зимних «недоработок».

А как быть таким хозяйствам, как «Целинный», где ни лугов, ни пастбищ практически нет, где допахались, как говорится, до самого крылечка совхозной конторы?

Разумеется, немало экономически целесообразных работ, кроме ремонта техники, снегозадержания и прочего, можно и зимой производить в совхозах. Тут и зимнее строительство, и разработка карьеров, и производство кирпича и камышитовых плит, и правильное приготовление кормов — с постройкой по кустам совхозов комбикормовых заводиков или кормоприготовительных цехов, — и вывозка навоза, и парниковое хозяйство.

В конечном же счете сложности с трудовыми ресурсами, с которыми до сих пор приходится сталкиваться в районах нового земледелия, должны преодолевать не на путях превращения их из аграрных в аграрно-индустриальные. Рузаевский район уже идет к этому. В поселке Трудовой — четырехпрогонный завод железобетонных изделий, достраивается специальный завод по ремонту «кировцев», строится комбинат бытового обслуживания, запланирована постройка необходимого здесь мясокомбината. (Между прочим, во многих совхозах стихийно возникают кустарные колбасные цехи)

Учтем и такие еще обстоятельства. Через мощный элеватор, что на узловой станции Пески-Целинные, ежегодно проходят многие сотни тысяч тонн пшеницы. Невольно напрашивается мысль: не будет ли экономически целесообразным в крупнейшей зоне производства лучших пшениц создать крупную мукомольную промышленность с переработкой не только в муку, но и в крупы, в макароны? Пока что дело доходит до анекдотов. Заглянешь в чьи-то местные пекарни, а там мука с этикеткой «Витебский мелькомбинат». Зерно производим, а хлеб выпекаем из муки витебского или смоленского размола!

Все молоко, которое производится в районе, перерабатывается только на масло. А почему бы не организовать в районном центре или по кустам совхозов, скажем, сыроварение, изготовление разнообразных молочных продуктов? Оправдают себя здесь и предприятия легкой промышленности, особенно те, которые в горячий сезон можно было бы закрывать, — например, швейные или связанные с традиционными для здешних мест промыслами, скажем по изготовлению ковров, чем занимались раньше искусницы-казашки.

Местные ученые, с которыми мне приходилось говорить на эти темы, ставят вопрос еще шире.

— Промышленность нужно сознательно рассредоточивать, — утверждает Дмитрий Степанович Байда, заведующий отделом капитальных вложений Целиноградского филиала Казахского научно-исследовательского института экономики и организации сельского хозяйства. — Что происходит теперь? Глину берем в деревне, а почти все кирпичные заводы построены в городах, как будто городскому населению и без них не хватает пыли да копоти. Выгодней возить готовый кирпич. И дело не только в строительной индустрии. Если село расположено на железной дороге или хорошем асфальтированном шоссе, то сюда, по его мнению, целесообразно переносить даже отдельные цехи крупных городских предприятий...

Конечно, всякое конкретное решение требуется экономически обосновать. Но при этом нужно подсчитывать и другое: во что обходятся государству общественно неоправданная текучесть кадров и ежегодные мобилизации сезонников.

Каждый бросок вперед в области технического прогресса будет вытеснять из целинного хозяйства часть рабочей силы. Но и в этом случае избыточным или недогруженным зимой кадрам не обязательно искать себе работу в городах: они могли бы найти себе применение в местной промышленности, в сфере обслуживания и т. д. Комплексное развитие хозяйства в районах нового земледелия создаст условия для прочного многолюдья, будет способствовать изживанию существенных различий между городом и деревней.

Изживание сезонности поможет и нормальному воспроизводству трудовых ресурсов. Плохую «приживаемость» приезжей молодежи на новых землях принято объяснять так: стремятся-де к городской культуре, к танцам в клубе и т. д. Все это важно, но

в этом ли главное? Потанцевать и посмотреть кино можно теперь в любом совхозе, во многих появились и телевизоры. Исходная же причина повышенной миграции — в условиях труда и в его оплате.

Опытный механизатор широкого профиля и зимой без дела не остается. Что касается местных молодых людей, то они еще под родительским кровом. Сложнее приедем молодым механизаторам: они-то как раз чаще других и остаются без прочной зимней работы или получают такую, к которой не приспособлены.

Приглядимся и к заработкам. Средний месячный заработок механизатора в Рузаевском районе (вместе с премиальными надбавками) за 1966—1967 годы составляет 145—150 рублей. Но за средними цифрами нетрудно проглядеть реальное положение вещей. Наивысшие заработки в районе у людей не только высококвалифицированных, но и имеющих прочную круглогодичную занятость. Так, братья Степан и Владимир Градили из совхоза «Берликский» получили в 1966 году в среднем вместе с надбавками за урожайность по 480—520 рублей в месяц. Они в совершенстве овладели всеми современными сельхозмашинами, а зимой — один токарь, другой слесарь — кадровые ремонтники, притом на самых ответственных узлах. Лучший механизатор совхоза «Победа Ильича» Иван Михайлович Яковенко в среднем зарабатывает в месяц по 400—420 рублей. Зимой он — моторист электростанции.

А каковы средние заработки юных выпускников школ механизации? Преимущественно 60—70 рублей, а иногда и меньше.

Решением правительства Казахстана руководителям совхозов предоставлено право для начинающих механизаторов снижать нормы: в первые три месяца на сорок процентов, в последующие три — на двадцать процентов. Однако с оговоркой — «если это позволяет сделать установленный фонд зарплаты». А всегда ли он «позволяет»? Между тем, на первое время нужна, по-моему, целая система льгот. И, конечно, особое, отеческое внимание к начинающим со стороны совхозных организаций.

Причины миграции так же многообразны, как индивидуальные судьбы и запросы людей. Правильно говорится, что не только от умения заинтересовать материально и морально, но и от вежливости директора во многом зависит закрепление кадров. Если же брать культурно-бытовой комплекс, то на первое место все же нужно ставить жилищные условия.

Когда молодожены-новоселы переезжали из палатки в однокомнатную квартиру с маленькой прихожей-кухней, то эти условия им казались райскими. Когда у тех же новоселов двое или трое малышей, то это уже совсем не рай. Для многодетных такие квартиры уже тесны. В задачу теперь входит не только ликвидировать недостаток жилья, но и каждому многодетному дать или помочь самому построить подходящую большую квартиру. И по возможности с удобствами.

С жилищными условиями связано и восстановление искусственно разорванных семейных связей, условно выражаясь — «проблема бабушек и дедушек». В большинстве новых совхозов преобладают разъединенные семьи. Очень мало дедушек и бабушек среди новоселов. Многие новоселы пригласили бы сюда своих родителей, но куда же пригласить? Квартира не позволяет. А бабушки да дедушки нередко пишут: «Что же вы все нас покинули. Глаза закрыть будет некому. Лучше бы возвращались». В свою очередь «без родного голоса» многие новоселы чувствуют себя здесь пусть долговременными, но все же отходниками.

Наилучшие жилищные условия в совхозе «Рузаевский». Там уже нет семьи с дегишками, которая бы ютилась в одной—полтора комнатках. Правда, текучесть кадров и там еще немалая. Но при наличии хороших квартир больше и приток. Не случайно в совхозах теперь говорят: «Людей у нас столько, сколько хороших квартир». К этому обоснованно добавляют: «...и скольких можем обеспечить круглогодичной работой».

Есть такая пословица у земледельцев: «Мак семь лет не родился, а голода не было». Отличай, дескать, крестьянин, главное от несущественного.

Насчет мака это совершенно правильно. Но случилось мне быть свидетелем и такого разговора. Побывавшая на целине, но не прижившаяся там южанка отговаривала свою соседку от поездки в Северный Казахстан. Чем же она ее страшала?



— Там тебе не климат,— убеждала она.— По деревьям соскучаешь. Помидоры в валенке дозаривают. А картошка все больше привозная..

Это уже не мак! Для коренного местного жителя, а тем более для новосела, ставшегося с привычной обжитостью Юга и Центра Союза, вопрос о картофеле, овощах и фруктах, как всем понятно, весьма существен.

Правда, насчет недостатка картофеля старожил или давно уже преодолевший поначальную бытовую неустроенность семейный новосел только улыбается. «Посмотрите,— скажет,— за домом на мой огород — чего-чего, а уж картошки-то, какой-нибудь моркошки или свеклы всегда у меня вырастает в достатке». Он добавит к этому, что хорошо плодоносят у нас и вишни и яблони, если приложить руки к делу. Действительно, в садах «Западного», «Берликовского» и некоторых других совхозов превосходно вырастают не только различные мелкоплодные ранетки, но и крупные сорта яблок типа белого налива или антоновки. В совхозе «Ждановский» соседнего Чисгопольского района иногда вызревает даже алма-атинский апорт... Но крупного, специализированного общественного садоводства и овощеводства в Северном Казахстане еще нет, или находится оно в зачаточном состоянии.

Все это верно и для Рузаевского района. В том-то и дело, что районные руководители и директора совхозов столь же мало уделяли внимания овощеводству, сколько истый крестьянин уделял маку — этой никогда и ничего не решавшей у него культуре. Вот и в 1966 году отпраздновали рузаевцы блестящую победу на главном, пшеничном фронте, а за картофелем не только для поселка Трудовой, но и для некоторых совхозов поехали в Курганскую и Тюменскую области, капусту завозили из Талды-Кургана, лук из Кызыл-Орды, а помидоры и арбузы — отовсюду, где только сумели их закупить местные торгующие организации.

Впрочем, доказывать большие возможности садоводства и огородничества на целине — значит ломиться в открытую дверь. Поспрашивал я старожилы — изумляются тому, что произошло: раньше, говорят, рузаевские села как раз славились богатыми урожаями овощей. Складывалась и специализация. В поймах многочисленных рек района крестьяне получали высокие урожаи капусты. Поставщиками наилучшего картофеля выступали жители сел Березовка и Золотоноша. Лук лучше всего вырастал в Чернобаевке. Селение Стерлитамак, расположенное на Ишиме, отличалось высокими урожаями арбузов... Куда же девалась былая слава рузаевских овощеводов?

Главное, конечно, в том, что овощеводство в совхозах находилось на задворках земледелия. Отмахнулись от него. Не пшеница ведь — кто спросит за овощи, а тем более фрукты!

Особенно остро ощущает население почти полное отсутствие ранних овощей. Не будем исключать необходимость организованного завоза из южных областей — он очень нужен. Особенно фруктов. Может быть, стоит установить и прямые связи с производителями. Бывший директор Володарского совхоза Н. С. Свирид, списавшись со своими земляками-полтавчанами, ежегодно получал из колхоза по вагону яблок для населения.

Но нужно смелее «поправлять» и самое степную природу. Притом всесторонне. Теперь уже все убедились, что, например, «скучать по деревьям» новоселу совсем не обязательно: где «поболтели» над озеленением, там поднялись превосходные аллеи, полезательные полосы, парки. На бывших ковыльных просторах, как показал опыт, неплохо вырастают не только местные тополь, карагач или татарский клен, но и среднерусские березы или сосны.

Вопрос же об избытке овощей не просто разрешим, а легко разрешим. Биологического топлива (навоза) в каждом совхозе горы — девать его некуда. Если нелегко накопить снег на гигантских площадях для зерновых, то для овощей на каких-нибудь пятидесяти—ста гектарах сделать это вполне возможно в любом хозяйстве. К тому же почти все хозяйства Рузаевского района имеют возможности для орошения овощных участков.

Правда, себестоимость местного картофеля пока высокая. Однако специалисты, исследовавшие этот вопрос, с цифрами в руках доказали, что главное гут в том, что

совхозы, как правило, не имеют своего семенного материала и ежегодно весной закупают его по баснословным ценам. Ведрами собирают! Вопрос упирается в отсутствие овощехранилищ, которые пора наконец построить.

Объективности ради следует заметить, что рузаевцы над этими вопросами задумались. С прошлого года расширены овощные плантации в наиболее удобном для этого совхозе «Победа Ильича». Картофель хорошо выращен в совхозах «Шарыкский» и «Нежинский», тысячу тонн его даже продали в Караганду.

Но... старая проблема: кто же, скажем, в малолюдном совхозе «Нежинский» этот картофель копал? В том-то и беда, что опять сезонники, опять приезжие!

Главный агроном совхоза Николай Яковлевич Швец встретил меня словами:

— Совсем зарезали плановики! Какие мы картофелеводы — с зерном в пору справляться. Заступитесь, пожалуйста. Поговорите в области...

Я понимаю Николая Яковлевича: сам работал в овощеводстве; в совхозе пока ни одной картофелеуборочной машины, а убрать вручную, скажем, двести гектаров картофеля — это труднее, чем двадцать тысяч гектаров зерновых машинами.

Вот и получается: недостаток овощей и картофеля способствует миграции кадров, а выращивание этих трудоемких культур сдерживается малолюдьем и отсутствием механизации.

\* \* \*

В очередной свой заезд в Рузаевку (это было уже после посевной 1967 года) я нашел в кабинете первого секретаря райкома Загорского оживленное собеседование. Загорский — кстаги, по образованию он и агроном и педагог — ввел меня в курс дебатов:

— Хлопоты, хлопоты, приятные, но сложные хлопоты! Вот посмотрите.— Он показал на директора совхоза «Победа Ильича» Ивана Ивлевича Грошева.— Шутят про него, что попал, дескать, в положение Остапа Бендера.

— Как так?

— А помните, в каком положении оказался великий комбинатор, когда наконец-то оттяпал миллион: хотел было купить самолет, а передвигался с Турксиба на верблюдах, подгоняя их по плешивым задам саксауловой палкой.

Все рассмеялись. В том числе и новый начальник райсельхозуправления Алимов и сам Грошев, возглавляющий лучший совхоз района.

Существо же дела очень серьезно. Вырастив в 1966 году высокие урожаи сильных и твердых пшениц, не уступающих по качеству высшим мировым стандартам, совхозы района мало сказать окрепли — разбогатели. Такого еще никогда не бывало! Общая прибыль от продажи зерна в районе превысила двадцать четыре миллиона рублей. Притом наибольшая часть прибылей — сверхплановая. А по существующему положению значительная часть таких накоплений поступает в распоряжение самих совхозов и должна пойти на укрепление и расширение производства, жилищное строительство, поощрение лучших работников и т. д. Значит, появляются еще большие возможности для расширенного воспроизводства, переустройства быта, для ликвидации диспропорций, мешающих, помимо всего прочего, и закреплению кадров.

Однако вот беда: самими заработанные миллионы, но они сверхплановые. Попробуй-ка купить на них строительные материалы и необходимое оборудование! Говорят: «Нельзя, планом не предусмотрено».

Грошев приводит длинный перечень, по его мнению, «позарез неотложных строк» в его совхозе, как плановых, так и сверхплановых. Сюда входят и два новых механизированных тока, и достройка двух восьмилетних школ в Золотоноше и Чернобаевке, и постройка Дворца культуры «мест на шестьсот», и новое общежитие для холостежи, и современное жилье в старых деревнях Сарадыр и Березовка, и многое-многое другое.

Затруднение, в частности, в том, что нужно бы полмиллиона штук кирпича, а пока достали (да и то используя знакомства в Омске) всего сорок тысяч...

— А свой кирпичный завод? — спрашивает Алимов.

— Хотим построить. Но как купить пресс для формовки?

Что говорить. заботы от богатства приятней, чем заботы от нужды. Но при существующих пока условиях и они не так-то просты.

Уже после жатвы, глубокой осенью, вновь поинтересовался у Алимова: и как год закончили, и сколько всего построили, и как использовали дополнительные миллионы рублей?

— Итогами года шестьдесят седьмого,— ответил,— очень довольны: имеем новые десять миллионов рублей чистых прибылей. Построили всего много. Но,— добавил он огорченно,— гораздо меньше того, в чем нуждаемся и что могли бы сделать по средствам. Часть прибылей, как и прежде, переброшена на покрытие убытков других районов; часть — мертвая, на счетах, не отоварена материально-техническими средствами...

Рузаевские совхозы уже достигли такой степени экономической зрелости, что комплексную достройку своих хозяйств, обновление и перестройку совхозного быта вполне могли бы производить — в условиях действительно полного хозрасчета — в основном за счет собственных накоплений.

Проблема рабочих рук, проблема постоянных кадров на целине отнюдь не принадлежит к числу неразрешимых. И разрешить ее можно, на мой взгляд, посредством комплекса мероприятий, каждое из которых вполне посильно не только государству в целом, но и местным организациям. Все дело в том, чтобы об этой проблеме думать, разносторонне ее изучать, тщательно исследуя — и устраняя — социальные и бытовые причины, в силу которых эта проблема столь долгий срок остается актуальной и острой.



# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

М. ТУРОВСКАЯ

★

## «ПРЕСТУПЛЕНИЯ ВЕКА» И «МАССОВАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ»

1

**Д**вадцать второго ноября 1963 года в городе Далласе, штат Техас, выстрелом из винтовки с оптическим прицелом был убит один из самых популярных и охраняемых людей на планете — Джон Кеннеди. Вот уже пятый год мировая печать ломает голову над «преступлением века».

И так как тайное со временем обычно становится явным, то, возможно, мы еще доживем до того дня, когда в каком-нибудь секретном сейфе будет обнаружен секретный план с безвкусно-романтическим названием «Стрела прерий» или «Большой бизон», как в свое время были найдены документы нацистской операции «Тевтонский меч», пролившие свет на необъяснимое убийство югославского короля Александра и французского министра Баргу, а заодно и на другие не менее загадочные политические убийства.

Но речь не о политике.

Первого августа 1966 года в том же штате Техас, в городе Остин, двадцатипятилетний Чарльз Уитмен поднялся на площадку двадцать седьмого этажа университета с запасом оружия, продовольствия, воды и туалетной бумаги и тоже из винтовки с оптическим прицелом убил пятнадцать и ранил тридцать четыре человека, случайно находившихся в этот момент на Гваделупа-стрит. Перед этим он зарезал свою двадцатитрехлетнюю жену и мать, о чем записал в дневнике.

Это странное убийство не имело под собой ни политических, ни личных, ни каких-либо иных реальных мотивов.

После полуторачасовой осады Уитмен был застрелен полицией, но свидетельствующий

его незадолго до того университетский психиатр признал этого молодого человека атлетической комплекции вполне нормальным американцем. Опухоль в мозгу, обнаруженная при вскрытии, не оказывала, по мнению врачей, влияния на его психику.

Факт этот достаточно широко известен.

Об эпохе судят по-разному. Одни говорят о веке пара и о веке атома. Другие характеризуют ее как пору огнестрельного оружия и атомной бомбы. Определяют ее и по научной мысли, отмечая зрелость Ньютоновой или Эйнштейновой физики. И по болезням: когда-то бичом человечества была чума, ныне — рак.

Если в числе прочих данных эпоха может быть охарактеризована по преступлениям, то чудовищная эскапада техасского студента тоже должна быть названа «преступлением века».

Не только по количеству жертв. Не только по хладнокровной обдуманности действий. Не только по точности оптического прицела. Но главным образом по бросающейся в глаза безмотивности преступления. Ибо даже единственные из жертв, с которыми убийца был связан личными отношениями — жена и мать, — были убиты без всяких личных поводов. Скорее даже из какого-то извращенного милосердия. «Я не хочу, чтобы ей приходилось переживать все неприятности, связанные с моими будущими действиями», — записал заботливый муж, готовясь зарезать любимую жену, с которой он прожил четыре года...

Но речь, собственно, и не о криминалистике.

Речь об искусстве.

Кажется, нет другой проблемы на Западе, где взаимоотношения жизни и искусства были бы так запутаны, как в этом щекотливом пункте.

Статистика, официально сообщаемая федеральным бюро расследований, свидетельствует, что преступность в США с 1960 по 1965 год возросла на 46 процентов, в то время как население — на 8 процентов. Что в 1965 году убийство совершалось каждый час, изнасилование — каждые 23 минуты, что же до угонов автомобилей, то они приходились на каждую минуту суток. Наконец сам президент Джонсон в послании конгрессу в 1967 году говорил, что «зараза преступности неуклонно растет и захлестывает каждую улицу, каждый переулок в каждом населенном пункте».

...Недавно в результате обследования, произведенного в районах с высокой преступностью в двух крупнейших городах США, было установлено, что:

— 43 процента опрошенных с наступлением темноты опасаются выходить на улицу;

— 35 процентов боятся вступать в разговоры с незнакомыми людьми;

— 21 процент с наступлением темноты боится ходить пешком...

— 20 процентов хотели бы переменить местожительство

— и все это потому, что люди боятся преступников!»

«Первая из причин преступности среди несовершеннолетних — кино, телевидение, печать, — высказывает свое мнение по этому вопросу один из молодых людей, опрошенных итальянской газетой «Паэзе сера». — Кино спекулирует на низменных инстинктах».

Слов нет — эпидемия насилия все больше охватывает литературу, сцену, экран на Западе.

Убивают гангстеры и полицейские, шпионы и контршпионы, убивают прелестные девицы с модными прическами и юнцы с комплексом неполноценности. В добропорядочных детективах убивают по веским материальным причинам, в фильмах о молодежи — по причинам, так сказать, морального свойства (разлад в семье и проч.). В фильмах недавней кинематографической молодежи — бывшей «новой волны» — из-за аморальности окружающей действительности.

«Они убивают для вас» — красноречиво назвал один французский критик статью о современном кинематографе.

Несомненно, кино, телевидение и пресса, наводняющие мир зрелищами изобретательных насилий, изысканных способов убийства и захватывающих конвульсий жертв, могут снабдить дельными инструкциями тех, кого, подобно Чарльзу Уитмену, обуревают «позы к насилию».

Но тот же самый французский критик в той же статье восклицает: «Подло и лицемерно возлагать на кинематограф и литературу ответственность за потрясение наших нравственных устоев, умышленно закрывая глаза на несправедливость, бесчеловечность или несовершенство современных социальных условий. Если битник... совершит нападение на ближайшую бензоколонку, он это сделает вовсе не потому, что посмотрел последний фильм Хичкока или «Молодо-зелено» Лунца. Я читал де Сада, делая из него выписки... я в восторге от «Трансъевропейского экспресса» Роб-Грийе, и, однако, у меня никогда не возникало соблазна броситься на дочь моей консьержки и избить ее до потери сознания».

Когда Чарльз Уитмен совершил свое чудовищное убийство, выяснилось, что нечто подобное за несколько лет перед тем было уже описано в романе Форда Кларка «Открытая площадь». Однако ж нет никаких данных, что он хотя бы подозревал о существовании этой книги.

Зато в том же номере «Нью-Йорк таймс» от 6—7 августа 1966 года, где напечатан отчет о похоронах Чарльза Уитмена в Лэйк-Уорт, помещена краткая заметка о пятнадцатилетнем мальчике из Форт-Уорт, который убил ночного сторожа. На вопрос полицейского он ответил, что хотел поразвлечься, «как те парни в Чикаго<sup>1</sup> и Остине, которые развлекались, убивая людей».

Социальная психология, ныне усердно занимающаяся проблемами юношеской преступности, в свою очередь выдвигает в этом странном споре две прямо противоположные версии. И если согласно одной вину за угрожающий рост преступности следует возложить на экран и прессу, то другая парадоксальным образом утверждает, что зрелище насилий на экране служит как бы катарсисом, разрядкой агрессивных стремлений личности. Такова теория, выдвинутая после первой мировой войны Уильямом Хилли и Сирилом Бёртом.

<sup>1</sup> Речь идет о не менее нашумевшем деле Спска, убитого восемь молоденьких медсестер.

На этом основании один предприимчивый владелец кинотеатра криминальных фильмов за небольшую дополнительную плату даже снабжает зрителей игрушечным оружием. По ходу сеанса они имеют право кричать, палить и наполнять воздух запахом серы. Затея пользуется успехом.

Увы, тщательные статистические обследования пока не подтвердили сколько-нибудь убедительно ни ту, ни другую гипотезу.

И вот что примечательно: в странах, где кино- и телеэкран отнюдь не склонны демонстрировать сексуально-детективные соблазны и даже, напротив, склонны обходить эти стороны действительности, происходят процессы, в значительной степени сходные. Сошлюсь для примера на данные широких обследований юношеской преступности, проведенных ЮНЕСКО в 1960, 1963 и 1964 годах в таких странах, как Австрия, Дания, ФРГ, Израиль, Ливан, Польша, Швеция, Югославия<sup>1</sup>.

Взаимоотношения жизни и искусства во все не так просты, как может показаться на первый взгляд.

### Первое отступление в кино

Эта картина документальна и репортажна. Она лишена ухищрений моды. Она снята молодыми людьми, у которых было мало денег и много энтузиазма, — снята на добровольные пожертвования, на свой страх и риск. Это бесхитростный, подробный и патетический рассказ о марше студентов и профессоров университета в Бёркли против войны во Вьетнаме. Он начинается с наивного и откровенного наезда камеры на дом, за освещенными окнами которого нам достоверно открывается штаб-квартира «заговорщиков», где в данную минуту обсуждается организация этой массовой противоправительственной акции. Он продолжается в разногласии политических споров, в смене юношеских лиц, в страстности митинговых выступлений, в бесчисленности задорных плакатов: «Вьетнам для вьетнамцев!», «Пусть президент Джонсон запишется добровольцем во Вьетнам!», «Занимайтесь любовью, а не войной!»

<sup>1</sup> См. Т. К. Н. Гиббнс. «Основные тенденции в преступности несовершеннолетних» (1963. Женева. Всемирная организация здравоохранения) и «Курьер ЮНЕСКО» (май, июнь, сентябрь 1964 года, статьи У. Кварачеуса).

И он заканчивается учениями американской морской пехоты, опустошающую бездумность которых впервые открыл для кино несколько лет назад Франсуа Райшенбах, — зрелищем тотального и страшного оболванивания человеческой личности.

Создатели фильма Джерри Столл и Стивен Лайт-Хилл назвали его «Сыновья и дочери» и посвятили его не столько ужасам войны во Вьетнаме — хотя и включили в свою ленту потрясающие и уникальные военные кадры вроде тех, где американский солдат методично избивает ногами связанного пленника, — сколько воздействию этой войны на сыновей и дочерей Америки. Они бы могли назвать свой фильм «Далеко от Вьетнама», как сделали это маститые французские кинематографисты — Ален Рене, Крис Маркер, Аньес Варда, Жан-Люк Годар, Клод Лелюш. Ибо убивают ведь не только там, где падают бомбы и льется кровь. Убивают и там, где одинаково обритуе, с одинаково перекошенными лицами американские мальчики учатся без трепета убивать себе подобных в ближнем бою. Убивают не только тела, но и души. Убивают там, где одни молодые американцы, вооруженные лишь возмущением, плакатами и песнями под гитару, по собственному почину выходят на улицу, чтобы протестовать против войны, а другие молодые американцы во всеоружии ненависти добровольно выходят на ту же улицу, чтобы бить им морду. И все они — сыновья Америки.

Заключительный кадр — морской пехотинец, запутавшийся в витках колючей проволоки, — из документального становится символическим.

### 2

Американский писатель Трумэн Капоте, который успел составить себе имя как автор изяшных психологических новелл, принял единственный в своем роде труд. Прочитав в газете сообщение об одном чудовищном — но отнюдь не исключительном — убийстве целой семьи в маленьком американском городке Холкомбе, он пошел по следам преступления, проследив шаг за шагом все детали его зарождения, осуществления, распутывания и, наконец, наказания убийц вплоть до их конца «в углу», как на местном жаргоне именовалась виселица. В результате этого детальнейшего шестилетнего расследования появилась книга «In Cold Blood», что означает «Хладнокровно»

(она была опубликована в «Иностранной литературе» под названием «Обыкновенное убийство»).

Начав, как и многие, с заметки на газетной полосе, Трумэн Капоте и в дальнейшем не позволил себе выйти за жесткие границы подлинного «дела». Это не каприз и не литературное кокетство, а потребность времени.

«In Cold Blood» — роман на основе документов или документ в форме романа. Строго фактическая книга Трумэна Капоте содержит в себе больше для понимания того, что можно было бы назвать типическим преступлением нашего времени, чем содержат самые изобретательные вымыслы романистов, кино- и телефостановщиков современного общедоступного детектива.

*«...Но меня интересует при этом другое обстоятельство, целый, так сказать, вопрос. Не говорю уже о том, что преступления в низшем классе, в последние лет пять, увеличились; не говорю о повсеместных и беспрепятственных грабежах и пожарах; страннее всего то для меня, что преступления и в высших классах таким же образом увеличиваются, и, так сказать, параллельно. Там, слышно, бывший студент на большой дороге почти разбил; там передовые, по обществу своему своему положению, люди фальшивые бумажки делают; там, в Москве, ловят целую компанию поддельвателей билетов последнего займа с лотерей,— и в главных участниках один лектор всемирной истории... И если теперь эта старуха процентщица убита одним из общества более высшего... то чем же объяснить эту, с одной стороны, распущенность цивилизованной части нашего общества?*

*— Перемен экономических много...— отозвался Зосимов».*

(Ф. М. Достоевский. Собрание сочинений. М. 1956—1958, т. V, стр. 158—159)

На первый взгляд убийство семьи Клаттера — мужа, жены, дочери и сына — может напомнить своей бессмысленностью дело Уитмена, а жуткими подробностями — дело сексуального маньяка Спекса. Трофеи убийц составили сорок—пятьдесят долларов, транзисторный приемник и бинокль; жертвы бы-

ли найдены в разных концах дома со связанными руками, с заклеенным пластырем ртом, застреленными в упор — в затылок или в лицо, — с перерезанным горлом...

Но видимая безмотивность преступления — это только первая «версия», с которой писатель начинает строить свой сюжет.

Когда после семи недель неизвестности перед следствием предстали два молодых человека — Ричард Хикок и Перри Смит, — разгадка оказалась самой банальной: ограбление. По сведениям, случайно полученным Хиком от соседа по камере в тюрьме Лансинг, Клаттер, зажиточный фермер, мог держать в сейфе сумму порядка десяти тысяч долларов.

Сосед ошибся: у Клаттера вообще не было сейфа, он предпочитал расплачиваться чеками. Но Хик узнал об этом слишком поздно.

Итак, на втором витке сюжета возникает знакомый мотив «американской трагедии»: деньги.

Не так давно очеркист, рассказавший читателям «Недели» о деле Спекса, привычно подвел итог: «Рост нищеты и безработицы, перенаселенность городских трущоб и, наконец, мораль чистогана, поклонение желтому тельцу, которым охвачено американское общество, — вот то замусоренное поле, на котором стеной встает чертополох преступных устремлений».

Казалось бы, история Дика Хиккока и Перри Смита полностью укладывается в эту формулу.

Но привычное пояснение, сохранившееся от двадцатых — тридцатых годов, уже не покрывает всей сложности сегодняшней действительности. Статистика больше не обнаруживает прямых соответствий там, где мы привыкли их искать. Например, в Японии — стране последнего по времени экономического бума — по данным за 1965 год лишь 3,4 процента малолетних преступников — выходцы из очень бедных семей. 47,2 процента выросли в семьях, которые сводят концы с концами, прочие — в домах средней и выше средней обеспеченности.

Тот же Чарльз Уитмен, двадцати пяти лет от роду, жил вдвоем с женой Кетти в собственном каменном домике...

Да, кроме того, рост преступности — в особенности юношеской — явление широко распространенное, и множество стран, публикующих свою статистику, дают тому доказательство.

И сквозь историю Дика Хикока и Перри Смита с ее классическими мотивами «нищеты», «трусоб» и «морали чистогана» постепенно начинает просвечивать нечто другое.

«Если бы не долги! Если бы я мог зарабатывать побольше! Я старался»,— воскликнул Дик на одном из допросов.

Он вырос в небогатой, но и не нищей семье. Семья была то, что называется, хорошая, честная. «Школа? Он, пожалуй, смог бы стать одним из лучших учеников, если бы посвятил книгам то время, которое убивал на спорт

— Бейсбол Футбол. Я был членом всех сборных. Мог бы после окончания школы поступить в колледж на ту стипендию, которую получал бы, как отличный игрок. Хотел изучать инженерное дело, но на стипендию не проживешь. Короче говоря, я решил начать работать».

Дик сразу же женился на шестнадцатилетней красавице Кэрол, которая родила ему троих, и, побывав к двадцати двум годам путевым обходчиком, шофером, краильщиком машин и механиком, стал подделывать чеки. Потом мелкие кражи, а там и кража со взломом, за которую он угодил в Лансинг, где услышал о Клаттергах.

Впрочем, к этому времени он успел разойтись с Кэрол и жениться на другой шестнадцатилетней красотке, не говоря уж о прочих «кошечках-блондиночках».

Не стоит принимать чересчур всерьез горькую интонацию в духе «Отверженных»: «Я старался»... «На стипендию не проживешь»... Дорогие машины, шикарные курорты, женщины как предмет роскоши, не считая тех, которые, напротив, служили ему источником дохода...

Но, не принимая всерьез жалобы Дика, следует принять весьма всерьез нечто другое. А именно — стихийное бунтарство того типа социального поведения, которое свойственно Днку: стихийный протест против конформизма современного общества «массовой цивилизации».

И если конец Дика ужасен и исключителен, то биография его похожа на множество подобных же биографий, а его личный «бунт» так или иначе вливается в общий бунт поколения.

Социологи называют этот род бунтарства «агрессивностью на почве бессилия». В одной из статей, написанных на материалах обследования ЮНЕСКО, Уильям Кварацеус замечает: «Ребенок, живущий в непривиле-

гированных условиях, часто восстает против ограничений, накладываемых обществом. Чувствуя свое бессилие перед лицом окружающей среды и этих ограничений, ребенок может взбунтоваться. «Агрессивность на почве бессилия» означает, что «бунтарь» лишен законных средств к достижению желаемой цели.

...Быть может, он и не считает это своей заветной целью, но уже одно сознание неосуществимости стремления глубоко возмущает его».

Это бунтарство органически вырастает из условий существования в современном мире и таит в себе самые разные, порой прямо противоположные возможности.

«Мне хочется помочь всем этим людям. Я вижу себя сестрой в колонии для прокаженных, или собирающей деньги в помощь голодающим детям, или участницей движения за повышение пенсий престарелым.

А что я делаю? Сегодня вечер, завтра танцы, послезавтра свидание, и легче забыть об этом. Но совесть не дает забыть, мне по крайней мере. Мы, сумасшедшие, запутавшиеся дети, можем разгромить чужой дом за одну дикую вечеринку, но на следующее утро будем реветь, увидев на улице старуху или калеку или узнав, что где-то далеко от нас мучается голодающий арабский малыш.

Буря крайностей—любви и ненависти, насилия и пацифизма, добра и зла — не стихает в нас ни на минуту».

Так пишет о себе двадцатилетняя англичанка в анкете, или, если хотите, исповеди, одна из сотен опрошенных, чьи ответы были собраны Г. Хэмблетт и Д. Деверсон в книге с многозначительным заголовком «Поколение Икс».

Ну, разумеется, Дик Хикок не стал бы проливать слезы над старушкой, хотя о его товарище Перри Смита этого уже не скажешь. Да и вообще «высокие» порывы не свойственны его прагматической душе. Но со своим весьма ограниченным и вполне корыстным бунтарством он принадлежит к тому же «поколению Икс».

И если вину за преступления слишком часто приходится делить между преступником и обществом, то Дик Хикок не составляет исключения.

Герой повести Аллана Силлитоу «Одинокий бегун», попав за кражу в детскую исправительную колонию Борстал, яростно и до конца противится весьма гуманным по-



пыткам общества вернуть его в свое лоно благонамеренным гражданином. Он принципиальный и злостный мятежник из необеспеченного класса.

Между тем при ближайшем рассмотрении речь и тут идет не о «куске хлеба». Деньги, полученные семейством в качестве страховки за смерть отца на производстве, пошли на телевизор, ковры и прочее. То же и краденые деньги: они предназначались на развлечения.

Аллан Силлитоу ничего не приукрашивает в характере и биографии своего героя и его среды, он только делает ударение на мятежных его мотивах: коли общество богато, то пусть и раскошеляется. И пусть не ждет при этом капитуляции...

...Не есть ли в таком случае преступление Дика Хикока нечто «нормальное» для общества высоких жизненных стандартов?

Этот парадокс прогресса Норберт Винер, отец кибернетики, сравнивает с прочими новыми проблемами космического века — например, с состоянием невесомости. «Сила земного притяжения столь же дружественна нам, сколь и враждебна. Точно так же, когда люди не страдают от голода, серьезными проблемами могут стать перепроизводство продуктов питания, бесцельность существования и расточительство».

Ведь закономерность преступления Дика Хикока как раз и лежала на грани стихийного и яростного неконформизма, порожденного социальным неравенством, и столь же стихийного, яростного потребительства, возвращенного идеологией «равных возможностей». Слово «потребительство», затрепанное во множестве статей «на моральные темы», я употребляю в данном случае также в его терминологическом значении, принятом социологией, которая связывает явное «усиление потребительского отношения к жизни» «с механизацией обслуживания и стандартизацией товаров».

Впрочем, следующий из парадоксов состоит в том, что явления, характерные для высокого жизненного уровня, возникают и там, где такого уровня еще нет. Это, в частности, относится к типу молодого человека, стоящего на грани стихийного бунтарства и столь же стихийного потребительства или социального эгоизма.

«В наши дни почти во всех языках мира есть специальные слова или выражения, обозначающие подростков, поведение и вкусы которых настолько отклоняются от нор-

мы, что возбуждают подозрение, если не тревогу,— так начинает свою серию статей в «Курьере ЮНЕСКО» уже упоминавшийся У. Кварацеус.— Это «тедди бойз» в Англии, «нозем» в Нидерландах, «раггары» в Швеции. Французы называют их «блузон нуар», южноафриканцы «цоци», австралийцы «боджи». В Австрии и ФРГ это «хальб-штаркен», на Тайване — «тайпау», в Японии — «мамбо бойз» или «тайодзуку», в Югославии — «тапка-роши», в Италии — «дисколи», в Польше — «хулиганы», в Советском Союзе — «стиляги».

Однако нельзя полагать, что каждый «тедди бой» или «блузон нуар» действительно является правонарушителем... Было бы несправедливо думать, что всякий подросток, которому нравится рок-н-ролл или эксцентричная манера одеваться, находится на пути к тому, чтобы стать преступником или уже является таковым».

В лице Дика Хикока доведена до логического конца лишь одна, и притом самая редкая, из заложенных в нем возможностей. Но она есть, эта возможность,— она лишь доведена здесь до крайности, до последней и страшной черты.

### 3

Компаньон, которого выбрал для «мокрого дела» Дик Хикок, не принадлежал к той распространенной категории «сто процентного мужчины», к которой сам он и окружающие причисляли Дика.

Перри Смит таскал за собой, как единственное достояние, любимую гитару и целый сундук старых карт, писем, объявлений и книг. Он любил читать словари и выискивать замысловатые слова, а на деньги, добытые у Клаттеров, рассчитывал отправиться на поиски какого-нибудь зарытого клада или потопленных сокровищ.

В отличие от Дика Перри Смит был натурой мечтательной, непрактичной, отчасти даже артистической. В отличие от Дика он мог бы «заплакать над старушкой».

Литературные ассоциации всегда рискованны, но Перри Смит невольно приводит на память Вэла Зевьера — героя пьесы Теннесси Уильямса «Орфей спускается в ад» — с его гитарой и сказкой о голубой поднебесной птице: «у них совсем нет лапок, у этих маленьких птичек, вся жизнь на крыльях, и спят на ветре»... Вэл Зевьер хотел быть свободным — бродягой, но свободным, изгоем, но свободным,— он стал жертвой липша.

Перри Смит хотел только как-нибудь перебраться. Он не то чтобы мечтал о свободе — просто у него «не было лапок», чтобы приземлиться, чтобы хоть как-то укорениться в практической жизни. Он стал убийцей.

В отличие от Дика Перри Смит был в полном смысле жертвой социального и расового неравенства и собственной физической неполноценности.

В самом деле: бродячая, необеспеченная жизнь; смерть матери — индианки из племени чероки, бывшей чемпионки родео (она спилась и погибла, захлебнувшись в собственной блевотине); сиротство; унижения и истязания, пережитые мальчиком-метисом в детских приютах; наконец, физическое уродство Перри — полукарлика с торсом крупного мужчины и короткими ножками, обутыми в детские сапожки с серебряными пряжками... Все это, помноженное на непрактичную мечтательность натуры полуирландца-полуиндейца, склонной равно к самоуничтожению и самомнению, обрекало Перри на деклассированность и изгойство.

Так рождаются фанатики свободы. Так изредка создаются великие личности. Но Перри не был Вэлом Зевьером. Он не стал и Чарли Чаплином. Он попал в тюрьму Лансинг, где познакомился с Диком Хикокком.

Почему же Дик избрал столь странного компаньона для тщательно продуманного «мокрого дела»?

Суть в том, что в убийстве Клаттеров Дик отводил себе скорее организаторскую, так сказать, административную роль.

В Перри Смите «стопроцентный мужчина» Дик Хикок с его, в общем-то, прагматическим и трезвым отношением к предстоящему делу видел тип «прирожденного убийцы».

«Хикок сообщил, что вы прирожденный убийца. Убить кого-нибудь вам легче легкого. Он рассказал, как однажды в Лас-Вегасе вы напали с велосипедной цепью на негра. И забили его до смерти. Просто так».

В действительности Перри никого не убивал — это было одно из недоразумений, которых много в этом странном и страшном деле. Но недоразумение не случайное. Перри сам выдумал историю с «черномазым».

Все это сильно смахивает на «театр ужасов» Жана Женэ. И в то же время в этом извращении человеческой психики есть свой печальный житейский смысл.

«Какими бы путями правонарушитель ни пришел к преступлению, причины, толкнув-

шие его к этому, всегда сводятся к общему знаменателю, укладываемому в следующий порочный круг: неуверенность, беспокойство, агрессивность, чувство виновности и снова неуверенность».

Для мечтательной и инфантильной души, мало приспособленной к борьбе за существование, жестокость часто становится бессознательной попыткой изжить жестокие травмы действительности. В особенности детские травмы. Недаром дан был в утешение Перри ослепительный сон о желтом попугае, убивающем врагов. Сон-возмездие. Сон-отмщение.

Но все-таки только сон, и тогда Перри выдумал «черномазого».

Романтическая и чувствительная душа метиса изживала свой комплекс неполноценности — социальной и личной — в утешительных фантазиях. Здесь была и жажда славы — он охотно воображал себя знаменитым певцом или артистом. И страстный эскапизм — он мечтал бежать из общества в детский мир приключений. И мечта о мести — он хвастал несуществующим убийством, совершенным «просто так», «под настроение».

Жестокая ирония действительности в том, что из всех этих ребячливых мечтаний дано было осуществиться лишь одному: Перри стал убийцей.

Тут тоже есть своя «нормальность», ибо самоутверждение через жестокость, увы, столь же характерно для «преступлений века», как бунтарско-потребительская философия «стопроцентного мужчины»...

Так случилось, что в один прекрасный день два столь несхожих человека, как Дик и Перри, сели в машину и отправились за тридевять земель в незнакомый городишко к незнакомым людям, чтобы убить их и таким образом раздобыть весьма проблематичные десять тысяч долларов для весьма туманных надобностей. Поистине страшно сцепление общественных и личных закономерностей, рождающее столь противостественные извращения человеческой психики!

#### 4

*«— Я рассматривал, помнится, психологическое состояние преступника в продолжение всего хода преступления.»*

*— Да-с, и настаиваете, что акт исполнения преступления сопровож-*

*ждается всегда болезнью. Очень, очень оригинально...»*

(Достоевский, т. V, стр. 268)

Дик Хикок — изобретатель и инициатор операции — не тешил себя надеждой, что деньги они получат «на блюбочке с голубой каемочкой». А ргіогі он подсчитал, что «укокошнгъ» придется от четырех-пяти до десяти — двенадцати душ, включая случайных субботних гостей, буде те окажутся на ферме.

При этом, однако, главную роль практический убийца Дик отводил романтическому «прирожденному» убийце Перри.

Так оно и вышло на самом деле.

И хотя десяти тысяч на ферме не оказалось и в помине (впоследствии Перри вспоминал, как унизибельно искал он закатившийся под стол серебряный доллар), но оба они с какой-то странной податливостью стали убийцами, приведя в исполнение смутное видение стен, «залепленных волосами»...

Кто знает, не есть ли убийство, даже обдуманное заранее и приведенное в исполнение «in cold blood» — в состоянии вменяемости, по авторитетному заключению судебной экспертизы, — почти всегда, однако, патология?

Картина убийства Клаттеров, воспроизведенная писателем с подробной объективностью судебного протокола, — тому свидетельство.

Противоестественно все. Какая-то фатальная обреченность жертв, даже не пытающихся сопротивляться.

Противоестественно то, как просыпается насильник в обыкновенном, в общем-то даже не злом парне: «...Дик и слушать меня не хотел. Он увлекся своей ролью. Орал на мистера Клаттера, приказывая ему сделать то одно, то другое», — вспоминал впоследствии Перри.

Противоестественна взаимная злоба и подначка, вдруг возникшая между компаньонами: «Меня просто заложило, когда я подумал, что раньше восхищался им... я сказал: — Что ж, Дик, начнем.

Сказал это несерьезно, просто хотелось разозлить его, уязвить, доказать всю его трусость и фальшь. Некоторое время мы словно испытывали друг друга. Кто кого?!»

Противоестественна жалость Перри к жертвам — особенно к девушке — и то, что именно он из какого-то дурацкого бахвальства начал эту оргию бессмысленных

убийств. «Стыд. Отвращение... Я не понимал, что делаю, пока не услышал странный звук. Как будто кто-то тонул. Захлебывался под водой. Я протянул нож Дику. Сказал ему:

— Кончи его. Это придаст тебе бодрости».

Противоестественна легкость, с какой два молодых человека поддались соблазну уже бескорыстного насилия, мало отличного от безумных действий маньяка Спика.

В какую-то роковую минуту корыстный мотив утрачивает свою силу. Незначительные побочные мотивы вроде соперничества, страха или ощущения своей минутной власти запускают психический механизм, в котором практическая надобность уже не играет роли. Попытка ограбления превращается в простую расправу над безоружными.

Позже, когда Дик Хикок и Перри Смит будут ожидать казни в галерее смертников, писатель как бы попутно, почти что невзначай набрасывает портреты их соседей по этой «тюрьме в тюрьме». И тогда, на третьем витке сюжета, окажется, что вовсе бескорыстное преступление Чарльза Уитмена тоже в каком-то смысле «норма».

Лоуэлл Ли Эндрюз, «самый милый мальчик Уолкотта», «втайне воображал себя хладнокровнейшим преступником-профессионалом... Он хотел, чтобы в нем видели вовсе не очкастого книжного червя»... В один прекрасный день, вооружившись полуавтоматической винтовкой двадцать второго калибра и револьвером марки «рюгер», он в доме собственного отца — зажиточного фермера — в темноте, при голубоватом свечении телеэкрана перестрелял всю семью. Сестру он убил наповал одним выстрелом, мать — пятью, в отца выпустил в общей сложности семнадцать пуль. Никакой личной неприязни ни к кому из них он не питал.

«Рядовому Джорджу Рональду Йорку было 18 лет; его приятель Джеймс Дуглас Лэтам был на год старше... Хотя молодых людей приговорили к смерти за одно убийство, они хвастали, что во время своего краткого путешествия по стране отправили на тот свет семерых». Первый из них вырос в дружной семье, в зажиточном доме и был счастливым; другой, подобно Перри, пережил тяжелое детство. Когда их спросили, зачем они это сделали, «Йорк с самодвольной улыбкой ответил:

— Мы ненавидим весь мир».

Никаких практических целей они не преследовали...

Так, начав с мнимой безмотивности убийства Клаттерер и исследовав все его мотивы — прямые и косвенные, социальные, личные, сознательные и бессознательные, — писатель, показывая нам, как совершалось это преступление, снова ставит нас лицом к лицу с ошеломляющей безмотивностью. Убийство перестает быть средством достижения цели, актом мести, гнева или несчастной случайности. Оно перестает быть разумно детерминированной категорией, как бывает даже в самом плохом криминальном романе. Казалось, введенное беспристрастным и дошным исследованием в строгую логику причинности, оно снова ускользает в область смутных догадок и иррациональных психических сдвигов...

### Второе отступление в кино

Фильм начинается с хроники. Кажется, мы уже не раз видели эти трагические кадры: бомбежки, матери с перепуганными малышами на руках, мечущиеся в слепом ужасе толпы, расстрелы, обучение новобранцев, которым суждено стать не солдатами, а карателями.

Китай, Вьетнам, Африка...

Грубые кованые башмаки командос гудят по спинам связанных пленников, с хряском выбивают зубы, с тупым звуком ударяют в живот.

Такое редко найдешь даже в нацистской хронике. Пытки снимать не полагалось — они должны были остаться за кулисами истории. Фотографии погромов и казней по большей части принадлежат добровольцам «фотолюбителям», а ужасы лагерей смерти запечатлены на пленку задним числом как грозные улики обвинения.

Здесь пытки и казни отсняты добросовестно и подробно, с наездами камеры, с чередованием общих и крупных планов, панорамой (говорят, хроника частично инсценирована, но это не меняет дела).

Безумные от боли глаза, разбитые, кровотошные лица. И мухи...

Черно-белый ужас хроники сменяется элегантною простотой загородного отеля. Красная машина модной марки, очаровательная девушка, немолодой, усталый мужчина: «Комната на две ночи»...

Все объясняется очень просто: герой фильма, знаменитый журналист и телеобозреватель Робер, монтирует хронику. Робер из тех, кто вместе с оператором лезет в самое

пекло, пробирается и туда, куда пробраться, казалось, невозможно: в закрытый лагерь командос в Конго и уж, конечно, во Вьетнам, на передний край, где оба они даже попадают в плен Правда, ненадолго...

Из многих картин я выбираю последний фильм молодого, но уже знаменитого Клода Лелюша<sup>1</sup> «Жить ради жизни», потому что он во всех отношениях находится на острие моды: по проблематике, по монтажу, по образительной культуре, по сюжетосложению. Это ни в коем случае не «массовая продукция», но это некое «среднестатистическое» сегодняшнего экрана.

Кадры хроники, которые снимает или монтирует Робер, не имеют прямого касательства к сюжету, где дело идет о его семейной жизни, разведенной взаимным непониманием и изменами, о любви молоденькой экстравагантной американки к немолодому, усталому французу, о неловкой попытке его жены уйти от него, обрести самостоятельную жизнь и о возвращении.

Фильм снят красиво, очень красиво, изысканно.

Интерьеры парижских квартир, женские портреты — нарядные или элегические, — пейзажи Амстердама, преломленные «сквозь магический кристалл» живописи Ван-Гога, экзотика африканской охоты — сафари, воспетой некогда Хемингуэем... И как аккомпанемент, как фон — обучение командос, Гитлер, плывущий над рядами штурмовиков, пытки, казни, кровь. Насилие и смерть проходят фоном «сладкой жизни» с ее усталыми адюльтерами, дорогими курортами, ночными кабаками, новейшими машинами и туалетами от Сен-Лорана.

Сшибка черно-белого и цветного, игрового и документального, изысканного и натуралистического. Что это — трезвый анализ действительности, где все это несочетаемое противоположно сочетается, или уже привычка, вкус к насилию, без которого нюансы лишенных драматизма любовных связей покажутся пресными? Должны ли мы отдать должное чутью Лелюша, уловившего и связь торжествующего в мире насилия с нацистской доктриной, и нагнетение расовой ненависти? Или пришла уже пора задуматься об опасности этой неременной сенсационности, этой привычки к виду чужих страданий? Тревожит ли нашу совесть ху-

<sup>1</sup> Наш зритель знает его по фильму «Мужчина и женщина».

дожник? Или, напротив, заставляет ее при-терпеться?

Грань тонка, неуловима, стерта до почти полной неразличимости...

## 5

В апреле 1966 года редакция газеты «Санди телеграф» просила известную английскую писательницу Памелу Хэнсфорд Джонсон побывать в Честере на так называемом «Болотном процессе». Впечатление от чудовищного по своей фабуле дела Айана Бреди и Миры Хиндли было таково, что вместо простого отчета писательница села за книгу, которая недавно вышла в свет. Название ее «Op Iniquity» трудно поддается переводу на русский язык и означает что-то вроде «О пороках» или даже «О грехе». Книга документальна уже не только по материалу, но и по жанру и представляет собой «некоторые личные размышления» автора, как гласит ее подзаголовок, связанные с «Болотным процессом». Отрывки из книги были опубликованы в № 8 «Иностранной литературы» за 1967 год под названием «Кто виноват?».

*«Тут дело фантастическое, мрачное, дело современное, нашего времени случай-с, когда помутилось сердце человеческое; когда цитируется фраза, что кровь «освежает»; когда вся жизнь проповедуется в комфорте. Тут книжные мечты-с, тут теоретические раздраженное сердце».*

(Достоевский, т. V, стр. 475)

«Перл Байндер писала мне (цитирует автор личное письмо.— М. Т.): «Этот процесс — как задача, решенная счетно-вычислительной машиной... Вы закладываете данные и получаете нужное вам преступление, непрменные атрибуты процветающего общества (машины, транзистор, магнитофон, вино, фотоаппарат) сделали все еще более ужасным. Порнографические книги сыграли здесь не последнюю роль».

Если преступление Дика Хикока и Перри Смита хотя бы в исходном своем пункте может быть объяснено в привычных категориях, если понадобилась вся пронизательность писателя, чтобы за «уважительной» причиной социального неравенства разглядеть некие новые сдвиги в области морали, то садистские убийства двух детей и семнадцатилетнего юноши, совершенные Айаном Бреди и Мирой Хиндли без всяких видимых

причин, прямо вводят нас в сферу «безмотивности», в пугающий духовный вакуум.

Случай, позволивший полицейским нагрянуть врасплох в дом супружеской пары — Айана Бреди, двадцати семи лет от роду, и двадцатитрехлетней Миры Хиндли, — помог им обнаружить не только труп зарубленного топором семнадцатилетнего Эванса, но и доказательства других преступлений: пачку гнусных порнографических фотографий, сделанных с десятилетней Лесли Энн Доуни; запись на магнитофон ее предсмертных просьб и криков о помощи, в которые были игриво вмонтированы рождественские песенки; фото Айана Бреди в болотах, на том месте, где впоследствии был найден труп двенадцатилетнего Джона Килбрайда (отсюда «Болотный процесс» получил свое название). Кажется, при всем том супруг Миры Хиндли был гомосексуалистом...

«То, что случилось с Лесли Энн Доуни... я не могу перенести на бумагу. Я даже не могу позволить фактам принять реальный облик в моем сознании», — пишет Памела Джонсон. Поистине, есть вещи, непосильные для человеческого воображения.

Так, может быть, корреспондентка Памелы Джонсон права и действительно нет смысла углубляться в противоестественные склонности психопатов, которые были всегда и всегда составляли не более как болезненное исключение?

Есть ли в самом деле нечто новое в деле Айана Бреди и Миры Хиндли? История криминалистики знала и раньше детоубийц и сексуальных маньяков. Еще жива легенда о Дюссельдорфском вампире, по мотивам которой снято, кажется, целых три фильма...

Да, были и раньше маньяки, но не потому ли кинематографисты снова и снова обращаются к факту уголовной хроники конца двадцатых годов, что в нем, как гной из нарыва, прорвался наружу процесс вызревания нацизма? Не потому ли и французский режиссер Робер Оссейн включил во вполне «камерную» историю «Дюссельдорфского вампира» цитаты из нацистской хроники?

В «Болотный процесс» сама жизнь вмонтировала цитаты из времен нацизма. В личной библиотеке Бреди, составлявшей что-то около пятидесяти томов всякого рода порнографической литературы, был целый раздел, посвященный собственно нацистской истории, — «Нюрнбергский дневник», «Знак свастики» и, конечно, «Майн кампф». К это-

му можно добавить, что при первом же знакомстве Айан Бреди повел свою будущую супругу в кино на фильм о нюрнбергских парадах, а со временем дал ей ласкательное прозвище: Мира Гесс...

Итак, исторический адрес указан точно и недвусмысленно. Он не требует доводов и психологических изысканий. Но вот что кажется не менее существенным: садистски-порнографический контекст, в который сам подсудимый поставил свой интерес к нацизму, дав тем самым новое направление для размышлений.

Памела Джонсон отмечает три основных раздела в его библиотеке: собственно нацизм, садо-мазохистская литература и то, что она называет «titillatory» — эротическая шекотка. Здесь есть и «Удовольствия камеры пыток», и «История пыток всех веков», и «Сексуальные аномалии и извращения», и «Сексуальные преступления и преступники», и просто «Эротика».

Айана Бреди привлекал, видимо, в нацизме прежде всего тот отчетливый запах сексуального садизма, который без труда можно в нем различить: на раннем этапе движения — в пытках, применявшихся штурмовиками в подвалах Коричневого дома, на позднем — в патологических извращениях психики надзирателей и особенно надзирательниц концлагерей, подобных Ирме Грезе. чей портрет держала у себя в комнате Мира Хиндли. Те «нормальные» отклонения от нормы, которые порождает неограниченная власть над другими и собственный комплекс неполноценности...

Еще Фрейд отметил тесную связь агрессивных устремлений личности с сексуальной и сексуально-патологической сферой. Тот же «список книг» Бреди содержит опять-таки прямую ссылку на первоисточник: сочинения знаменитого маркиза де Сада. Но было бы неосторожно на этом основании обращаться к удобной версии «болезни» подсудимых. Недаром Памела Джонсон посвящает этому специальную главу. «Мы слишком легко успокаиваем себя, уповая, что такой вещи, как безнравственность, не существует: есть лишь болезнь, которая освобождает от ответственности. Я полагаю, что кое-кто из нас уже стал или может стать безнравственным; и я попробовала проанализировать, нет ли предпосылок, поощряющих в нас безнравственность или рушащих преграды, которые удерживали ее под спудом».

В самом деле, если действия подсудимых и были ненормальны, то в гораздо более широком смысле некоей социальной ненормальности, а не в смысле личной патологии, точно так же, как это было в деле Хикока и Смита. Кстати, биографии Айана Бреди и Миры Хиндли снова обнаруживают два прямо противоположных психологических типа. Если история Бреди — это классическая история правонарушителя, где нежное детство отмечено мучениями беззащитных кошек, отрочество — угрюмостью и первым «приводом» в полицию за хулиганство, то отзывы о Мире Хиндли рисуют веселую девочку с вполне обычной дозой смеха и проказ, потом девушку, делящую свое время между кино, танцами и кавалерами, и, наконец, отличную няню, которую охотно нанимали к младенцам.

Итак, дело, по-видимому, не в патологии личности.

Дело идет о болезни общества, в котором ссылка на «нищету» и «трусобы» уже мало что объясняет.

*«...И что такое смягчает в нас цивилизация? Цивилизация вырабатывает в человеке только многосторонность ощущений и... решительно ничего больше. А через развитие этой многосторонности человек еще, пожалуй, дойдет до того, что отыщет в крови наслаждение».*

(Достоевский, т. IV, стр. 151)

Как и все прочие, Памела Джонсон обращается к статистике. Она приводит данные о преступлениях против личности (на этот раз дело идет об Англии):

1945 год —	4743
1955 год —	7884
1965 год —	25 549

Насильственные действия против личности:

1954 год —	2459
1955 год —	4958
1965 год —	15 501

Между 1938 и 1965 годами число преступлений такого рода выросло больше чем в девять раз!

«Трудно сказать, когда это началось: возможно, плотина прорвалась лет десять назад», — замечает писательница.

Let через десять после окончания второй мировой войны — добавим мы. Таким образом, границы «нашего времени» очерчиваются довольно жестко. Писательница рассматривает главным образом то новое, что она связывает именно с этим десятилетием. Она выделяет в отдельные главы такие проблемы, как «Общество равнодушных», «Семьдесят пять видов порнографии», «Цензура и внутренняя цензура», «Что надо считать «левым»?», «Фактор имитации», «Агонизирующая романтика» и проч.

Памела Джонсон называет современное общество «обществом равнодушных» и одновременно «приплясывающим обществом» (определение, впервые употребленное в журнале «Тайм»). Тут нет противоречия, а есть взаимосвязь. Действительно, большинство хулиганских поступков в наше время не имеет под собой иных видимых мотивов, как только «для смеха» или «скуки ради». Писательница справедливо замечает, что очень немногие надзиратели в концлагерях действительно были садистами. У прочих всего-навсего исчезла способность видеть в тех, кого они истязали, человеческие существа. Попросту говоря, они больше не отождествляли их с собой. Да и в наше время большинство ужасов совершается скорее благодаря равнодушию (буквально «нечувствительности» — *affectlessness*), реженирует автор, нежели из патологической жестокости.

Она предостерегает от романтизации зла в деле Бреди и Хиндли и создания мифа неких «сверхчеловеков» или «недочеловеков». То и другое одинаково мало отвечает сути вопроса, где речь идет все о том же потребительском эгоизме, который привел на скамью подсудимых Дика Хиккока. Никто не любит, чтобы ему причиняли боль, зло или насилие. Но слишком многие разучились отождествлять себя с другими представителями рода человеческого...

Если этот разрыв нормальных человеческих связей, эта атрофия чувств действительно лежат где-то в самой сердцевине проблемы, то Памела Джонсон видит их причину в парадоксе «тогальной вседозволенности».

В сущности, главная проблема, поставленная в книге, возвращает нас к сакраментальному вопросу об отношениях общества и искусства. Точнее, об отношении общества и массовой культуры. Еще точнее, о том, что американцы называют *mass*

*media*, то есть средствами массовой информации.

Памела Джонсон рассматривает эту проблему во всей возможной полноте, не боясь даже прослыть старомодной.

Потоки порнографической, а иногда и просто специальной медицинской литературы, обрушивающиеся на голову малообразованного или — что еще хуже — полуобразованного читателя в любом киоске.

Оглушительная стрельба, все виды насилия и секса, заполняющие кино- и телеэкраны на Западе, начиная с передач для детей.

Культ безудержного насилия просто для развлечения, ради прихоти и наслаждения наряду с культом потребительства.

Начав рассуждение с того, что любой запрет, любая цензура означают гитлеризм, не приходим ли мы туда же с обратной стороны — со стороны тотальной вседозволенности? — задает вопрос писательница.

Но сколь ни убедителен ход размышлений Памелы Джонсон, все же остается по-прежнему открытым вопрос: порнографическая ли литература создает «общество равнодушных» или, напротив, равнодушие общества выплескивается на поверхность волной порнографии и садизма? Насилие на экране порождает насилие в жизни или просто — на экране отражает жизнь?

Ввиду очевидной и непрерывной обратности процесса вопрос мог бы показаться столь же схоластическим, как старый спор о курице и яйце. Если бы не одно обстоятельство.

Вынесем на минуту за скобки «тотальную вседозволенность» и установим взамен «тогальную недозволенность» — строжайшую цензуру нравов, — не покажется ли запретный плод еще более сладок? Представим себе вполне целомудренный экран и совершенно невинную литературу — изменит ли это существенно статистические кривые? Ликвидирует ли в недрах общества Равнодушие и Насилие — эти две составляющие «безмотивной» преступности или так называемых преступлений «из хулиганских побуждений»?

В Америке какой-то остроумный владелец оружейной лавки выставил в витрине плакат: «Ружья не убивают людей. Люди убивают людей».

Что и говорить, свободная торговля оружием способствует преступности. Но опыт показывает, что когда нельзя купить вин-

товку с оптическим прицелом — идет в ход самодельный нож. Между тем даже автоматическое оружие не стреляет само...

Эта нехитрая притча всего лишь иллюстрирует банальную мысль о том, что первопричина заключена все же не в экранных или печатных ужасах, сколь они ни ядовиты. Хотя само наличие всепроникающих mass media, сам факт их существования при этом, как мы увидим, вовсе не безразличен.

Американские и европейские социологи, исследующие пристально и вдумчиво рост юношеской преступности на Западе, отвергают ссылку на один какой-нибудь фактор, будь то фактор экономический (нищета и трущобы) или «фактор имитации» (порнография). Они выдвигают теорию «множественного фактора».

В частности, тщательное статистическое изучение вопроса о трущобах приводит к неожиданному выводу, что даже внутри этой частной проблемы речь идет отнюдь не о прямой зависимости от материальных условий.

«...Основное значение жилищного положения... состоит не в его материальных аспектах... но, главным образом и в основном, в его социальных аспектах как критерия или факторе социальной стабильности или аномии»<sup>1</sup>.

Термин «социальная аномия», предложенный американским социологом Мёртоном, возвращает нас к истории Дика Хиккока и многих, подобных ему.

Мёртон не только предлагает новый термин. Он выводит его из новой ситуации.

Причину наступающей «аномии» Мёртон видит в том соотношении целей и средств их достижения, какое складывается постепенно в цивилизованном обществе. Ибо с возрастанием тоталитарности гордая формула «каждый посыльный может стать президентом» из «эмпирической теоремы» все больше превращается в идеологический миф.

Когда общество выдвигает определенные символы успеха, общие для всех, а социальная структура фактически ограничивает доступ к ним для большинства его членов, правонарушения резко возрастают в числе.

Так возникают культурный хаос и дезорганизация общества на той грани, когда статистическое прогнозирование человеческого поведения становится уже невозможным. Такова в двух словах гипотеза Мёртона.

Социальная неустойчивость — вот где, как в фокусе, сходится множество обстоятельств.

Социальная неустойчивость для одних — это стремительная индустриализация, взрывающаяся устоявшийся патриархальный быт или окостеневшие формы старых, полufeодальных культур.

Социальная неустойчивость для других — это «малые» войны, военная истерия, охватившая мир, и существование аш-бомбы с ее тотальной угрозой.

Социальная неустойчивость для третьих — это те самые кино, пресса и телевидение, которые соперничают с ЛСД, марихуаной и прочими наркотиками. Для четвертых — сами наркотики.

Социальная неустойчивость для пятых — это распад семей, пресловутый «кризис брака», который еще недавно вызывал горячие дискуссии, а ныне находит молчаливое подтверждение в росте статистики разводов...

Социальная неустойчивость для шестых — это как раз улучшение условий, переселение в районы новой застройки, разрывающие старые связи. И прочее, и прочее, и прочее...

Вот странный на первый взгляд факт: в моменты обострения безработицы юношеская преступность не возрастает, как логично было бы предположить, а заметно падает. Социологи связывают это с тем, что в это время отец становится единственным кормильцем, авторитет его увеличивается, и семейные устои, так сказать, укрепляются. Между тем как во времена высокой конъюнктуры, когда дети начинают зарабатывать рано и много, они легко порывают не только с материальной зависимостью, но и с моралью «отцов».

Таковы парадоксы материального прогресса.

И тогда на гребне «социальной аномии», на гребне культурного хаоса и статистической непрогнозируемости дело Айана Бреди и Миры Хиндли становится вдруг логичным, как простая задача, вычисленная счетно-решающим устройством...

<sup>1</sup> См. сборник «Социология преступности» составленный из статей американских и европейских социологов. «Прогресс». М. 1966. стр. 252 — 253.



В самом деле, если продолжить линию, отмеченную выстрелами Уитмена, бессмысленной жестокостью Спика (кстати, имена их, как и имя Раскольникова, фигурируют в книге Памелы Джонсон), хвастливой ненавистью Лэтама и Йорка и даже «обыкновенным» преступлением Хикока и Смита, линию, на оси абсцисс которой отложены кровопролития двух войн, деловитый ад концлагерей, расовая вражда, а на оси ординат — экономические бумы, чудеса техники, невиданный расцвет средств массовой информации и еще многое другое, то где-то в следующей гочке мы неминуемо получим «Болотный процесс». Ибо нет более запрограммированных преступлений в наше время, чем преступления «безмотивные».

### Третье отступление в кино

Что питает опустошительную, злобную ненависть этого парня?

Казалось бы, Нильсу и его товарищам созданы сносные условия. Вместо тюрьмы или исправительных работ за ранее совершенные провинности — нечто вроде вполне приличного общежития, снисходительный наставник и необременительные обязанности: являться к инспектору и отвечать на вопросы, входящие в курс психологического обследования несовершеннолетних правонарушителей. Можно сказать, что Нильсу повезло, когда он попал в эту экспериментальную группу.

Почему же в таком случае под угрозой тюрьмы и без всякой практической необходимости он сначала крадет магнитофон у священника, пришедшего, чтобы прочитать проповедь, потом — пачку за пачкой — похищает книги безобидного и склонного покрывать своих «трудных» подопечных наставника, а под конец уж вовсе нагло вывозит всю его обстановку, в том числе рояль, оставшийся как память от покойной мамы?

Просто «дурные задатки»? Но Нильс отправляется на корабль за контрабандной водкой не для того, чтобы пьянствовать, а скорее ради спорта; и с портовой шлюхой, подобранной там же на корабле, живет не он, а другой; и если уж говорить о «дурных наклонностях», то это гомосексуалист-инспектор соблазняет и растлеивает еще наивного и даже на поверку «невинного» парнишку...

Здесь мы подходим к той неумолимой цепи причин и следствий, которая в конце

концов приводит Нильса на скамью подсудимых, хотел он того или нет. Ибо, увы, между социальной обусловленностью и личной ответственностью очень трудно провести границу.

Молодой шведский писатель Ларс Йорлинг назвал свой роман «491-й». Он заимствовал это число из евангелия, поставив в эпиграф слова: «Господи! Сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи ли раз?»

— Не говорю тебе: до семи, но до седмижды семидесяти раз».

491-й раз лежит за гранью даже этого поистине божественного долготерпения. Вильгот Шёман — шведский писатель и режиссер, экранизировавший роман, — сделал это роковое число одинаково сакраментальным для несовершеннолетних правонарушителей и для общества, казалось бы, столь снисходительного к ним.

Ну да, Нильс переходит все границы, когда с систематической и последовательной злобой, оскорбляя лучшие человеческие чувства своего покладистого учителя, продает рояль, завещанный тому покойной матерью. Ну, а сам этот весьма порядочный и благонамеренный наставник юношества, который идет к проститутке просить четыреста семьдесят крон, недостающие ему для выкупа рояля?

О, конечно, он не знает, что эта тоже повсюду покладистая девчонка в сопровождении Нильса отправится на промысел, чтобы за одну страшную ночь в подъездах, чужих машинах, на панели — в буквальном смысле этого слова — заработать ему четыреста девяносто (существенная поправка!) крон.

Не знает — а мог бы и догадаться, если бы не боялся видеть жизнь, какова она есть, если бы не привык закрывать глаза, как и все лицемерное, равнодушное, конформистское общество, которое он вполне достойно представлял в этом странном вертепе...

А жизнь жестока к своим пасынкам вроде Нильса, который за зло в свою очередь воздаст обществу злом. И столь же жесток фильм: его создатели не хотят оставить зрителю никаких иллюзий, ибо кто перед кем виноват в этой цепи зла? Общество, не давшее Нильсу никакого смысла, чтобы жить? Или Нильс, демонстративно продавший скупщику дорогое воспоминание учителя? Или учитель, пославший на панель

приблудную шлюху? Или шлюха, обозлившаяся на весь мир и доведшая Нильса и его друга до бешенства и омерзения? Или Нильс и его друг, связавшие разошедшуюся девку и спарившие ее с таким же приблудным псом? — одна из самых страшных сцен, которые видел экран...

...И только кто-то из ребят, более слабый, не выдержав всего этого ужаса, падает с крыши и разбивается насмерть...

## 6

«Для человека благонамеренного<sup>1</sup> насильник есть насильник. Наказать насильника, посадить его, бояться его или выбросить из головы — вот и вся игра. Но хипстер знает, что изнасилование — тоже часть жизни и даже в самом жестоком и непростительном изнасиловании может присутствовать аргументизм, а может и не присутствовать, может заключаться настоящее желание или холодное принуждение и два насильника, как и два насилия, никогда не одинаковы».

Эти столь вызывающие слова принадлежат перу одного из талантливых предста-

<sup>1</sup> Мейлер употребляет здесь жаргонное слово «square», не переводимое на русский язык, значение которого можно объяснить лишь по контрасту со словом «hip» «Хип» — жаргонное слово, получившее распространение в США в конце пятидесятых годов. Оно употребляется для обозначения особого отношения к действительности, характерными чертами которого является равнодушие ко всем социальным и человеческим проявлениям жизни, доходящее до полного отчуждения от окружающего общества. Американский хипстер не признает никаких социальных и моральных норм, не интересуется ни деловой жизнью, ни политикой, ни искусством, ценит наркотики, живет в одиночестве, вступая в кратковременные дружеские или любовные связи, основанные лишь на сексуальном влечении, а не на человеческой близости, и руководствуется в своем поведении только собственными инстинктами» (Harold Wentworth and Stuart Berg Flexner. Dictionary of American Slang. New York, 1960, p. 258). «Скуэр» («square») — жаргонное слово, противоположное по смыслу понятию «хип». Этим словом характеризуют людей, всегда и во всем придерживающихся стандартных, общепринятых мнений и взглядов, неспособных оценить новейшее искусство и потребляющих сентиментальную массовую зрелищную продукцию. «Скуэр» благоговеет перед всеми государственными, политическими и моральными установлениями и не способен ни к какому индивидуальному бунту (там же, стр. 512).

вителей молодой американской литературы Нормана Мейлера.

Десять лет назад он написал нашумевшее эссе под названием «Белый негр», в котором постарался формулировать то, что, по его собственному разумению, формулировке не подлежит и что без всяких формулировок в те же годы выразил на экране одним своим появлением первый и ныне уже легендарный кумир молодежи американский актер Джеймс Дин.

Джеймс Дин, успев сняться всего в трех картинах, разбился в автомобильной катастрофе, навеки запечатлев в своем странном лице образ «бунтаря без причин»; а эссе «Белый негр» обросло откликами, полемикой, комментариями и дополнениями и вошло в книгу Мейлера «Самореклама» как манифест «хипстеров», или «хиппи».

Аморализмом в наши дни уже никого не удивишь, и Норман Мейлер, при всей своей отвязанной склонности эпатировать «скуэр», претендует скорее на роль моралиста.

*«...Да осыпьте его всеми земными благами, утопите в счастье совсем с головой, так, чтоб только пузырьки вскакивали на поверхности счастья, как на воде, дайте ему такое экономическое доволство, чтоб ему совсем уж больше ничего не оставалось делать, кроме как спать, кушать пряники и хлопотать о непрерывающей всемирной истории,— так он вам и тут, человек-то, и тут, из одной неблагодарности, из одного пасквиля мерзость сделает. Рискнет даже пряникам и нарочно пожелает самого пагубного вздора, самой неэкономической бессмыслицы, единственно для того, чтобы... самому себе подтвердить... что люди все еще люди, а не фортепьянные клавиши...»*

*А в том случае, если средств у него не окажется,— выдумает разрушение и хаос, выдумает разные страдания и настоит-таки на своем!..*

*Я ведь тут собственно не за страдание стою, да и не за благоденствие. Стою я... за свой каприз и за то, чтобы он был мне гарантирован, когда понадобится».*

(Достоевский, т. IV, стр. 157—161)

До сих пор я говорила о книгах, документальных в прямом смысле, основанных

на фактах. Книга Нормана Мейлера тоже по-своему документальна, только она расмагнривает не факты, а психологическую ситуацию, из которой могут вырасти те или иные факты.

Какие именно факты — те или иные — взойдут на этой унавоженной историей почве, богатой самыми разными возможностями, зависит от многих привходящих причин (тут я снова отсылаю читателя к началу стагты). Но в отличие от Трумэна Капоте, как и от Памелы Джонсон, Мейлер рассматривает эту психологическую ситуацию изнутри, в ее «гоговносыях», до того, как они приняли неопровержимую форму фактов. С беспощадной интеллектуальной смелостью он не обходит даже крайние, предельные случаи, когда весь диапазон возможностей катастрофически сужается до лезвия ножа или рамки оптического прицела винтовки (при этом только надо иметь в виду, что теоретически «вычислить» убийство на бумаге — не то же, что совершить его в реальности).

Бернард Шоу делил свои пьесы на «приятные» и «неприятные». Жан Ануй — на «розовые» и «черные».

В критике тоже есть свои «розовые» и «черные», свои «приятные» и «неприятные» темы.

Я понимаю, что пытаться исследовать безмотивное убийство — самое страшное из возможных преступлений — дело черное, неблагоприятное и неприятное. Оно неприятно автору, редактору, читателю. Тем более, если убийцы на поверку оказываются не чудовищами, а обыкновенными людьми. Тем более, если за кажущейся случайностью проступают зловещие контуры закономерности. И дважды и трижды тем более, если оказывается, что закономерности эти берут начало не где-то в изолированных областях человеческой психики или человеческой жизни, а там же — в той же общественной, исторической, личной ситуации, где берут начало совсем иные, подчас прекрасные человеческие возможности.

Но кто же из нас не понимает, что деление пьес на «приятные» и «неприятные», на «розовые» и «черные» — не болсс как уловка, как авторская метафора, ибо материал в тех и других — та же реальная жизнь?..

...Свои «поверхностные размышления о «хип» Мейлер недаром озаглавил «Белый негр», ибо американский негр — это гот,

кто уже два столетия живет в пограничной области демократии и тоталитаризма, кто обречен опасностям с первого дня своего существования, для кого простейшие символы устойчивости — мать и дом, семья и работа — не более как насмешка, для кого жизнь — всегда война и ничего больше, кто не гарантирован от насилия даже на секунду вперед и присужден жить гипертрофированным Настоящим, примитивными, но реальными радостями плоти, выплескивая в музыке джаза свое горе и свое веселье...

«Хипстер усвоил экзистенциалистский кодекс негра и в практических целях может быть назван белым негром», — резюмирует Мейлер.

В изгойстве «хип», в его сознательном отклонении от общепринятых норм, в его демонстративном разрыве с моралью «скуэр» этот моралист навыворот пытается отыскать какие-то пути для человека к самому себе, какой-то прообраз будущего. Он ищет в этом возможность уклониться от мышеловки «отчуждения».

Норман Мейлер — и он не единственный на Западе — склонен видеть в «Капитале» Маркса ключ к современной социальной психологии. Речь идет, в частности, об отчуждении человеческой личности. Всем известно, что буржуазный человек уже на ранних этапах развития капитализма — человек неполный, частично отчужденный продажей своего времени и своего труда. «Сердитый» американский писатель с горечью констатирует, что в обществе, гордящемся своим самым высоким жизненным стандартом, человек отчужден уже не частично, а полностью, потому что к прежней «вертикальной» эксплуатации бедного богатым, прибавилась «горизонтальная» эксплуатация всей массы населения Государством и Монополиями. Два новых вида бизнеса стали особенно популярны на современной «ярмарке житейской суеты»: бизнес Комфорта и бизнес mass media

Здесь, со своей стороны, Мейлер подходит к той же проблеме, на которую натолкнулась в связи с «Болотным процессом» Памела Джонсон. Но если она задумалась о воздействии порнографической литературы и об опасностях экстремизма авангардистского толка для массы полуобразованной публики (не забудем, что книга английской писательницы вышла ровно через десять лет после «Белого негра»), то его внимание остановила самая обычная, широкая, пош-

ло-сентиментальная продукция, которая получила для своего распространения столь мощное орудие, как современные средства массовой информации: все то, что можно расширительно назвать «массовой цивилизацией». Вот ход рассуждений Мейлера.

Сначала человек дорого платит за комфорт, чтобы освободить себе максимум досуга; потом он платит еще дороже за то, чтобы убить этот досуг с помощью TV, комиксов, кино, радио, газет, детективов, мод, спорта и прочая и прочая. Он должен вернуть в оборот плату, полученную за Труд, уплатив за это своим Досугом. Таким образом, если раньше человек продавал лишь свой Труд, то теперь благодаря ухищрениям Комфорта и mass media, создающих множество новых и новейших материальных и психических потребностей, он продает также свой Досуг, а с ним и свою личность. Она уравнивается, стандартизуется, программируется, перестает существовать...

Как ни странно, но это дает себя знать даже в тех случаях, когда материальные возможности еще далеко отстают от диктата Моды, когда высокий жизненный стандарт есть лишь умозрительный образец (напомню термин «социальная аномия» Мёртона).

Спасение от столь тотального отчуждения Норман Мейлер видит в бегстве в область подсознательных импульсов, которые остаются единственной еще неотчужденной собственностью человеческого «я».

За примерами недалеко ходить — в пьесах сегодняшних классиков американской драмы Артура Миллера и в особенности Теннесси Уильямса судороги неумолимо стандартизуемой личности — эксцессы темных страстей, наивные, мучительные и самоубийственные порывы уже ненужной человечности — отметили многими драмами этот переход к торжеству практицизма и «массовой цивилизации». То, что героями Уильямса разыгрывается снова и снова как бессознательная и тем более безнадежная борьба человеческого «я» за право на существование, Мейлер полагает необходимым сделать сознательно и радикально. Выпасть вовсе из круговорота «продажа труда — покупка досуга — продажа досуга», стать изгоем, парией, «белым негром», загнанным в темные глубины своего «я», противопоставить тотальной власти общества не только над рабочим временем, но и над рассудком свой безрассудный, эгонстический и да-

же разрушительный, да, лучше разрушительный, но своевольный каприз, хотение, сиюминутную потребность — вот вкратце что такое «хип» и вот почему он выходит на страницы мейлеровского манифеста под развернутыми знаменами джаза, марихуаны, гомосексуализма, насилия и даже убийства, если это надо для «самоосуществления личности». Да, даже убийства.

Это страшно и даже гибельно, но дело здесь, право, не в легкомысленной безнравственности и не в священном моральном негодовании. Тут жест скорее отчаяния, скорее самообороны, чем агрессии. И если Мейлер говорит о мужестве, которое нужно, чтобы существовать в столь универсализованном обществе, то нужно иметь мужество взглянуть попристальнее в этот беспорядочный «сексуальный бунт» против социальных условий «общества всеобщего процветания».

## 7

*«...Для чего познавать это чертовое добро и зло, когда это столько стоит? Да весь мир познания не стоит тогда этих слезок ребеночка...*

*И если страдания детей пошли на пополение той суммы страданий, которая необходима была для покупки истины, то я утверждаю заранее, что вся истина не стоит такой цены».*

(Достоевский. т. IX, стр. 304—307)

Очень легко, констатируя дурное поведение статистических кривых, отделаться от них успокоительной формулой, гласящей, что наряду с неважной молодежью на Западе есть-де и хорошая и даже прекрасная. На самом деле, как я уже говорила, разрушительные тенденции берут свое начало из того же источника, что и граждански мятежные: и те и другие не выдуманы.

При всем стремлении к оригинальностям и эскападам Мейлер не стесняется добросовестно сослаться в опыте поколения на уроки крушения иллюзий в двадцатые годы, в пору экономической депрессии, и в послевоенную пору. «Вероятно, мы никогда не сможем вычислить меру психической травмы от концлагерей и атомной бомбы, бессознательно перенесенной каждым, кто только жил в это время». И спустя десять лет теми, кого еще не было тогда на свете, прибавим мы, теми, кто получил об этом информацию уже, так сказать, из вторых

рук — из книг, из кинофильмов, а может быть, каким-то образом уже закодированную природой в наследственных генах тех, кто жил в это время сам (прошу прощения у специалистов за смелую мегафору).

Впервые в истории Смерть, которая вечно мучала человечество как проблема личная, практическая, отвлеченная, философская, предстала в прозаическом облике бюрократической системы, обезличивающей, уравнивающей всех и вся, лишенной ореола героизма, печали или трагического, деловито и безмянно подсчитывающей зубы и волосы жертв: гения и труса, доброго человека и мерзавца; предстала как *deus ex machina*, поражающая не только в сегодняшнем существовании, но и в семени, в будущих поколениях; предстала как глобальная угроза всему живому, и навсегда...

И если уж суждено жить вечно со смертью, резюмирует Мейлер этот жестокий опыт своего героя, то из всех угроз — мгновенной атомной смерти, относительно быстрого уничтожения в газовой камере или медленного умирания личности в конформизме — не лучше ли добровольно избрать немедленную опасность, полный разрыв с обществом, существование без корней, подчиненное лишь мятежным порывам собственного «я»?..

Если обозначить суть дела в одной-единственной, всем известной, ставшей общим местом и тем не менее безнадежно правильной формуле, то надо будет сказать об утрате идеала.

Памела Джонсон между всем прочим недаром упоминает о Нагорной проповеди, втопанной в прах.

Может показаться странным, что «плотина прорвалась», по ее выражению, лет десять назад, иначе говоря, через десять лет после окончания войны. Кажется, было бы естественно искать корни насилия и жестокости в «родимых пятнах» военного времени: в привычке вчерашнего солдата бомбить, стрелять, взрывать. Однако ж «это» дало себя знать через десять лет после войны, когда поколение фронтовиков стало поколением «отцов». «Это» было бурной реакцией на несбывшиеся надежды послевоенного десятилетия, на несостоявшееся торжество разума и человечности в послевоенном мире.

Цинизм рассеивался в воздухе, как радиоактивные осадки эпохи холодной войны. Послевоенный экономический бум множил на духовный разброд. Он принес про-

цветание, но не принес счастья, ибо он доказал, что Иметь, при всех своих преимуществах перед Не Иметь и даже будучи возведенным всяческой рекламой в ранг божества, все же не имеет силы идеала. Взамен прежних экономических кризисов разразился духовный кризис невиданной силы, в котором наметившаяся стабилизация, однако ж, не обещает разрядки.

Усталость, страх, несбывшиеся надежды, неосвоенные скорости, неожиданные материальные возможности, нескончаемый поток информации создавали то «отчуждение» человека, о котором говорит Мейлер, то Общество Равнодушных, о котором говорит Памела Джонсон.

На этом фоне материального улучшения и морального опустошения возник «хип» с его экстатическим джазом, узаконенными наркотиками, браком втроем, с его разболтанной походкой (к которой потом по созвучию со словом «hip» — «бедро» — приурочили его название), с его собственной модой одеваться назло всеобщей моде и невнятным языком ассоциаций и намеков, составленным из немногих общепонятных слов, с его «антиморалью», выведенной, как антитеза, из всего, что исповедуют «скуэр». «Скуэр» — это благонамеренные люди, мешане, обыватели, это законопослушное общество и общество лицемерное, это посредственности, конформисты, Люди Как Люди и еще как угодно иначе.

«Хип» — это «хип».

Вот кое-что из весьма пространной сравнительной таблицы ценностей, составленной Мейлером на эту тему.

«Хип»	«Скуэр»
дикий	практичный
романтика	классика
инстинкт	логика
негр	белый
полночь	день
нигилистический	авторитарный
вопрос	ответ
кривая	прямая
я	общество
воры	полицейские
святой	священник
Хейдеггер	Сартр
секс	религия
тело	разум
дифференци-	аналитиче-
альное ис-	ская геоме-
числение	трия

настоящее	прошлое (запланированное будущее)
Пикассо	Мондриан
секс ради оргазма	секс для удовольствия
сомнение	вера
убийство	самоубийство
марихуана	алкоголь

и многое еще другое...

Разрыв между «хип» и «скуэр» произошёл со скандалом, который Мейлер назвал «сексуальной революцией». И здесь мы подходим к истокам того, что через десять лет Памела Джонсон назвала «тотальной вседозволенностью».

Секс был последней баррикадой, последней линией самообороны, занятой личностью «хип» в ее неравной борьбе с обществом.

Не любовь. Во всяком случае не любовь в том смысле, в каком мы привыкли ее понимать. Ибо, даже не увенчиваясь законным браком, она принадлежала уже к числу общепринятых и общепризнанных, так называемых «вечных» ценностей.

Даже когда она была вызовом предрасудкам, войне, властям, как у Хемингуэя, она тем более требовала гармонии душ.

Любовные истории Хемингуэя, при всей демонстративной вульгарности их лексикона, по большей части идиличны. Когда-то «Фиеста» казалась крайней точкой отчаяния и сексуального бунта. Теперь, в отдалении времени, она представляется едва ли не мысом Доброй Надежды...

Искусство всегда так много занималось любовью не только потому, что любовь — это любовь, что в ней «все высокое и все прекрасное». Любовь всегда была для человечества форпостом свободы в борьбе с тиранией общества.

Формы времени менялись, любовные отношения тоже. Но отношение <sup>любовь</sup> ни-общество когда в искусстве не приравнивалось к единице. Оно всегда питало духовное напряжение личности.

Для героев Хемингуэя секс был формой бунта против традиционного лицемерия, а гармония душ — «линией Мажино» против угрозы наступающего хаоса.

Схема! — возразят мне. Как можно втискивать живое чувство в... Быть может. Но, увы, гармония душ, как и иступление тел, входит составляющей в общую картину эпохи...

После второй мировой войны очередная баррикада традиционной морали была без особого труда взята искусством, поскольку добродетельный семейный идеал все больше терпел фиаско в самой действительности.

Понадобилось еще усиление духовного напряжения, чтобы молодежь в искусстве международно «новой волны» завоевала право на «свободную любовь». Не внебрачную, как понимали это слово после первой мировой войны, а именно «свободную» — от обязательств, от будущего, от родительских запретов, от ограничений пола, возраста, родственных отношений, от велений, так сказать, внутрисексуальной этики...

Стоит задуматься, почему в эпохи духовного кризиса искусство так настойчиво обращается к темам инцеста, однополой любви, любви троим, четвером, любви садистической, мазохистской и так далее. Не потому ли, что крушение общественного идеала образует духовный вакуум и тогда сексуальные проблемы приобретают абсолютное значение, а духовное напряжение ищет выхода в завоевании свободы морали?..

...Но вот наступил момент, когда кинематографические и литературные мятежи с их кровосмесительными связями, любовью гомосексуалистов и многолюдными оргиями в свою очередь вошли в быт: всячески свободная любовь получила общественные права, и желанная моральная свобода стала скучной свободой от морали; все сделалось можно и ничего не интересно. Духовное напряжение снова упало. Тогда-то Секс устремился на завоевание очередного препятствия: понятие о любви было сброшено, как последний балласт с неудержимо падающего воздушного шара. Тогда на очередь был поставлен Оргазм, Страсть не как чувство, а как прихоть, своевольный каприз, довольствующийся собой и глухой к эмоциям партнера; было поставлено Насилие как крайнее и одностороннее самовыражение личности, порвавшей с обществом.

Дело в том, что «хип» никто не выдумал. Его создала жизнь как искусство противостоять жизни или — правильнее — уходить от нее.

...Тот, кто захотел бы увидеть в кодексе «хип» только бытовую, физиологическую

распушенность, ошибся бы. Напротив. Это своего рода «мобилизация» ресурсов личности, как бывает в тотальной войне. «Никакое коммерческое процветание не восполнит недостаток в «героических добродетелях». Настоящим американцем был «охотник, ковбой, пограничник, солдат, моряк», а в перенаселенных трущобах — гангстер. Это был человек с пистолетом, добывавший личной доблестью то, в чем отказал ему сложнейший порядок статифицированного общества. И дуэль с законом разыгрывалась *rag excellence* в сфере морали» — так писал некогда Теодор Рузвельт.

Ныне граница продвинулась в глубь территории традиционной морали, и для Мейлера «хипстер» — тот же «пограничник на Дальнем Западе Американской Ночной Жизни». И то, что мы привыкли называть словом «пороки», стало для «хипстера» замещением героических добродетелей — «героическими пороками».

Порывая с обществом, «хипстер» может противопоставить его универсальной стандартизации лишь апокалиптический Оргазм — крайнюю степень самовывявления и самоудовлетворения личности. Вот почему марихуана — расширение границ подсознательных ощущений; вот почему гомосексуализм — своевольный возврат к подавленным влечениям детства; вот почему насилие — секс для себя одного. И как предельный случай самоутверждения — убийство.

Мейлер назвал своего героя «белым негром» — он также откровенно называет его «социальным психопатом», со своей стороны подходя к сакраментальной проблеме «безумия». Модель общественного поведения «хипстера» он видит в клинической форме поведения психопата, доводя свою мысль до логического и абсурдного конца.

Впрочем, еще в 1923 году В. Шкловский писал: «Говорят, что в психоз люди уходят сознательно, как в монастырь». За четверть века парадокс стал манифестом.

Психопат — это предельный случай «хипстера», это «мятежник без причин, агитатор без лозунгов», единственная цель которого — немедленное удовлетворение собственного каприза при полной чеспособности к какому-либо усилию во имя других. «Хипстер» — это социальный вариант психопата, для которого самовывявление во что бы то ни стало и любой ценой, судорога оргазма стали единственным и достаточно жестоким

божеством. «Психопат убивает, если ему достанет мужества, — из необходимости разрядить напряжение, ибо если он не опустошит свою ненависть, он не способен будет к любви, его существо заморожено неумолимой ненавистью к самому себе за свою трусость».

Так своевольный каприз превращается в деспота; так подсознательные импульсы личности становятся категорическими императивами. Декларированная в исходном пункте свобода превращается в истерическую необходимость.

И здесь мы вступаем в область неразрешимых и трагических противоречий этого слепого «мятежа без причин», в область вечной квадратуры круга всякой «антиморали»...

## 8

*«...Отличительные черты обоих разрядов довольно резкие: первый разряд, то есть материал, говоря вообще, люди по натуре своей консервативные, чинные, живут в послушании и любят быть послушными... Это их назначение, и тут решительно нет ничего для них унижительного. Вторым разряд, все преступают закон, разрушители или склонны к тому, судя по способностям. Преступления этих людей, разумеется, относительно и многообразны... Но если ему надо для своей идеи перешагнуть хотя бы и через труп, через кровь, то он внутри себя, по совести, может, по-моему дать себе разрешение перешагнуть через кровь...»*

*— Благодарю-с. Но вот что скажите. чем же бы отличить этих необыкновенных-то от обыкновенных?.. Я в том смысле, что тут надо бы по более точности, так сказать более наружной определенности: извините во мне естественное беспокойство практического и благонамеренного человека но нельзя ли тут одежду, например, особую завести, носить что-нибудь, клеймы там, что ли, какие?»*

(Достоевский, т. V. стр. 270—272)

Заметим себе, что «Белого негра» Мейлер написал не в форме романа, а в форме эссе. Он вставил его в книгу, где отрывки соб-

ственно художественные перемешаны с газетными столбцами, полемикой и автокомментариями. Заметим также, что из всех произведений этого достаточно шумно знаменитого писателя самым шумным остается по сей день теоретическое, социологическое, психологическое, публицистическое эссе «Белый негр».

Заметим еще, что Трумэн Капоте, как и Памела Джонсон, пожелал, напротив, «остаться при факте», по слову Достоевского.

Между этими двумя областями, пограничными с собственно искусством — публицистикой и документалистикой, — простирается действительность, которую никакая литература абсурда не в состоянии с достаточной точностью описать.

Я не думаю, чтобы каждый «хипстер» добросовестно выполнил всю программу, описанную Мейлером, от жаргона до убийства. Но само теоретическое обсуждение такой возможности не проходит даром.

Мы забудем, что Мейлер апеллирует к опыту двух послевоенных эпох. Он начинает с противопоставления программы «хипстера» фашизму и конформизму. Он искренне считает, что индивидуальный акт убийства всегда предпочтительнее массовых убийств, осуществляемых государством.

Более того — именно страшной памяти о нацистских концлагерях он противопоставляет свое абсолютное Настоящее с его абсолютным и беспредельным самовыявлением абсолютно суверенной Личности, вплоть до уничтожения другой Личности.

Мейлер, разворачивая парадоксальную логику своих рассуждений, приводит к случаю такой примерно пассаж: можно предположить, что не так уж много и храбрости надобно, коли два здоровых восемнадцатилетних молодца тянут по башке пятидесятилетнего продавца сладостей. Но дело, оказывается, не в старике, а в полиции и в новых отношениях с обществом. Парни держат на неизведанное, и поэтому как бы жестоко ни было совершенное убийство, оно не трусливо.

Такова самая общая формула «убийства без причин».

Но недаром же Трумэн Капоте, оставаясь «при факте», показывает, с какой пугающей податливостью современный Раскольников даже из прагматической деловитости соскальзывает в мерзкий соблазн насилия над беззащитным, в гадкое наслаждение

властью, хотя бы и минутной, и страхом тех, кто. может быть. лучше тебя и во всяком случае такой же, как ты, человек.

Недаром и Памела Джонсон, оставаясь «при фактах» «Болотного процесса», почти необъяснимых в границах психической нормы, апеллирует к опыту надзирателей концлагерей, которые насчитывались сотнями: стоит лишь освободить человека от химеры совести и отучить его отождествлять себя с прочими себе подобными. И тогда...

...Случилось так, что Раскольников отправился убивать вредную старуху процентщицу, а убил вдобавок кроткую Лизавету, о которой и не помышлял.

Итак, оставим на минуту полицию и новые отношения убийцы с обществом: а что же сам-то старик кондитер — эта вечная Лизавета всех Раскольниковых всех времен? Можно, конечно, не принимать его в расчет, как себе подобного, но тогда рушится вся эта система, и внутренняя свобода личности обнаруживает свое настоящее содержание: остается винтовка с оптическим прицелом и двадцать седьмой этаж, откуда все прохожие, будь они «хип» или «скуэр», одинаково кажутся муравьями. И — кто знает — не очутятся ли среди жертв такие же точно свободные Личности с их свободной волей и правом на самовыявление, не уравниваются ли они с благонамеренными конформистами, как уравнивались в лагерях смерти гении и дураки?

Кстати, среди убитых в Остине была женщина на последних месяцах беременности...

Впрочем, Мейлер и сам со свойственной ему трезвой беспощадностью различает контуры маячащей впереди угрозы. Он сам замечает, что вечно неустойчивый и экстремистский «хип» равно подвержен правому и левому радикализму, и скорее даже правому с его культом силы. Он имеет мужество предупредить: «Так как хипстер живет своею ненавистью, вполне возможно, что многие из них — материал для элиты штурмовых отрядов, готовые последовать за первым достаточно притягательным фюрером, который сформулирует идею массового убийства на языке, внятном для их чувств»...

Так жестокие травмы двух войн вновь прорастают жестокостью, как зубы дракона...

Так бунт против тоталитарной власти общества в формах индивидуалистического насилия возвращает семена будущей еще более страшной тоталитарности и еще более страшного насилия...



#### Четвертое отступление в кино

Все происходит случайно, почти бессознательно. Без цели, без смысла, без намерения, обдуманного хотя бы за секунду назад.

...Девушка и парень идут по дороге. Им весело. Они молоды и влюблены. Они заняты игрой, немножко странной, потому что в ней фигурирует пистолет. Впрочем, стрелять никто ни в кого, конечно, не собирается — просто они весело идут по дороге, развлекаясь на свой лад.

Ночью в квартире девушки раздается звонок. Ей не хочется открывать: она уже тщательно намазалась кремом, она легла, она спала. Звонок настаивает, входит ее возлюбленный. Ей не хочется заниматься любовью, возлюбленный настаивает. Так же, как утром, она поднимает пистолет, игра продолжается. И вдруг — выстрел! Он падает, как чучело, как кукла, как куль.

Картина молодого немецкого режиссера Шлэндорфа называется «Mord und Totschlag» — приблизительно так: «Убийство умышленное и неумышленное».

Впрочем, неумышленное убийство — даже еще не начало действия, это только сюжетный ход, пролог, предпосылка к началу действия. Дальше совершается второе, уже умышленное, убийство убитого.

Действие состоит в том, как девушка вывозит из дому труп.

Как она идет в бар и нанимает блатного парня. Как она дает ему деньги, спит с ним. Как он отказывается делать работу в одиночку и приглашает помощника. Как они нанимают машину, упаковывают труп в ковер и едут за город, на стройку. Как они закапывают его в рыхлую землю карьера. Как едут назад. Как между ними возникают зачатки отношений — симпатий, антипатий, влечений, ревности. Как на пороге ее квартиры все это обрывается. Как она остается одна — опустошенная и вновь возродившаяся к жизни. Как вечером она стоит за стойкой бара, выслушивая комплименты клиентов, а стрела экскаватора зацепляет в карьере наспех зарытый труп и возносит его высоко в небо...

Убийство неумышленное, убит возлюбленный. В картине есть момент, когда девушка плачет, рыдает. бьется в истерику, — лишь маленький эпизод; все остальное — ликвидация мертвого тела. Вопрос преступления и наказания вынесен за скобки сюжета. Тра-

гедия, угрызения совести, переживания вынесены за скобки психологии. Труп не психологическая, а вещественная проблема — чучело, кукла, куль, который надо удалить.

Девушка неплохая, скорее наоборот, и нанятые ею помощники — неплохие, нормальные ребята, но тот, кто умер, — мертв.

Убийство не трагедия, которую надо пережить, убийство — травма, которую надо изжить, вытеснить, как необходимо вынести из комнаты мертвое тело.

Еще один фильм-метафора? Да, метафора, но и житейская история, где ценность человеческой жизни не то чтобы поставлена под сомнение, но просто удалена, ампутирована, отрезана.

#### 9

Прошло десять лет со дня мейлеровского «Белого негра». Поколение бунтовщиков влилось так или иначе в круговорот действительности; одни преуспели, другие кое-как приспособились, третьи остались неудачниками, кое-кто — мятежниками. А из иных романтиков, по слову того же Достоевского, вышли «такие деловые шельмы, такое чутье действительности и знание положительного вдруг оказывают, что изумленное начальство и публика только языком на них в остолбенении пощелкивают». Буржуазное общество располагает столь совершенным аппаратом принуждения, столь мощными соблазнами, столь неутомимой силой инерции, что каждое следующее поколение незаметно вовлекается в игру «продажа труда — покупка досуга — продажа досуга», оставляя себе на память какое-нибудь доступное хобби, какой-нибудь невинный, вполне прирученный каприз вроде этикеток от мыла, бутылок от виски или путешествий по экзотическим местам. Кое-кто, конечно, попадает при этом в сумасшедший дом, в тюрьму, на виселицу, на Бауэри (квартал бродяг) или всерьез ставится наркоманом...

Но следующее поколение вновь встает перед теми же «проклятыми вопросами», и «проблема молодежи» не сходит с повестки дня. Она меняется, как неумолимо и очевидно меняется весь облик жизни.

Меняется и «хип», обращаясь от насилия к «ненасилью», ища опоры в зен-буддизме, в откровениях ЛСД и других галлюциногенов, в полигамии и просто во внешней экстравагантности, в отпадении от общества не

только индивидуально, но и массово-видном. И если десять лет назад речь шла о «сердитом молодом человеке», о «мятежном негерое пятидесятых годов», о «бунтаре без причин», то теперь говорят о «бунте без бунтарей», о мирном и незаинтересованном сосуществовании, а не о конфликте поколений. Довольно часто современные «хиппи» выступают застрельщиками в борьбе за мир, против войны во Вьетнаме, и их лозунг «Занимайтесь любовью, а не войной!» стал крылатым. Гораздо реже они склоняются к экстремизму правого толка, хотя и это случается.

Между тем именно за эти же десять лет юношеская преступность в мире стала расти в такой угрожающей прогрессии, что давно превысила все прогнозы. Через десять лет после «Белого негра» появилась книга Памелы Джонсон «On Iniquity». Убийство без причин перестало быть теоретической посылкой, обсуждаемой на страницах мятежных манифестов. Оно стало полицейским фактом.

Наивно искать причину роста преступности в порнографической литературе или кинематографе ужасов, которые, конечно же, больше отражают ситуацию в мире, нежели формируют ее. Поистине «ружья не убивают людей — люди убивают людей».

Однако ж если взглянуть на mass media не просто как на новейшие технические средства информации, а в том расширительном толковании, которое дает им Норман Мейлер<sup>1</sup>, то надо будет признать, что, по-видимому, само существование средств массовой информации не безразлично к происходящим процессам.

Отношения людей с ими же созданной могущественной империей средств информации — это одна из кардинальных, отнюдь не только технических, но и психологических и даже моральных проблем сегодняшнего дня. Американский профессор Мак-Луан, пророк телевизионной эры, замечает, что дело даже не только в том, каково содержание информации, — дело в самой ее тотальности, в ее массе, в том, как она окружает человека со всех сторон, оказывая на него непреодолимое воздействие.

Дело не в том в конце концов, что в кино показывают, как надо убивать. Дело в

том, что средства массовой информации в широком смысле продолжают свою работу отчуждения, не останавливаясь на стандартизации вкусов и морали в духе конформизма. Со временем могущественный аппарат информации и рекламы так же неумолимо отчуждает ему же противопоставленные мятежные порывы, бунты, «проклятые вопросы»...

Точно как же, как скачок в технике на глазах преобразил и унифицировал мир, наводнив его доступными синтетическими материалами, транзисторными приемниками, подчинив предметы обихода лаконичной функциональной форме, лишив жизнь старомодных, ненужных и милых излишеств, — точно так же попытка уклониться от общепринятого в сторону самобытного, благодаря средствам информации, сегодня снова клишируется, становясь предметом всеобщего потребления.

Погоня за синтетическими материалами сменяется погоней за натуральными; лаконичные современные формы взрываются бурным возвратом к старине; самобытность становится предметом стадного повторения; экстравагантные причуды модельеров вроде мини-юбок или платьев оп-арт выбрасываются на рынок в грандиозных масштабах серийной продукции. Хобби — это последнее прибежище интимного, личного каприза — становится повальной инфекцией...

То же самое происходит в области моды.

Книга Памелы Джонсон отразила в этом смысле последующий этап, когда волшебная палочка «отчуждения» коснулась святая святых неконформизма. Так случилось, что авангардистские дерзания породили смуту в умах той полуобразованной массы, которую писательница называет «взбесившимися клерками», ибо всякого рода авангардистские метафоры духовного гниения, принимающего облик физических зверств, часто приобретают для этой категории читателей и зрителей не переносный, а самый прямой смысл. И если кулы де Сада создается снобами и для снобов, отнюдь не принимающих всерьез описания изысканных пыток, то какой-нибудь полуграмотный Айан Бреди может понять их вполне буквально. «Весьма приятно шагать в лад популярной мелодии, даже если она кажется мелодией неконформизма. Но не худо и помнить, что в любом виде по самой своей природе мода вульгарна», — замечает писательница не без

<sup>1</sup> Недаром он назвал одну из своих статей «От прибавочной стоимости к средствам массовой информации».

ида. Вот еще один из парадоксов прогресса: даже нонконформизм, сведенный до вульгарного уровня Моды, становится шикарной приправой того же конформизма...

*«...Но что действительно оригинально во всем этом,— и действительно принадлежит одному тебе, к моему ужасу,— это то, что все-таки кровь по совести разрешаешь, и, извини меня, с таким фанатизмом даже... В этом, стало быть, и главная мысль твоей статьи заключается. Ведь это разрешение крови по совести, это.. это, по-моему, страшнее, чем бы официальное разрешение крови проливать, законное...»*

(Достоевский, т. V, стр. 273—274)

На отпевание Чарльза Уитмена в Лэйк-Уорт пришли четыреста человек, сообщает «Нью-Йорк таймс». Но пятнадцатилетний убийца, который всего-навсего «хотел позабавиться, как те парни из Чикаго и Остина, которые забавлялись, убивая людей», стал его еще более уродливой карикатурой.

Едва ли этот мальчик когда-нибудь в жизни читал Мейлера, едва ли даже подозревал о нем. Как Чарльз Уитмен не был знаком с книгой Форда Клерка «Открытая площадь». «Позыв к насилию», о котором говорил в своих письмах Уитмен, не вычитывается из книг.

Но в эпоху универсальных средств информации с их тотальным отчуждением рубежи морали, завоеванные огромным духовным напряжением бунта, очень скоро вытаптываются, перестают существовать, как нормальные рефлексы, как обычные сдерживающие центры. Мятежные крайности протеста теряют свое духовное наполнение, становятся вульгарным общим местом, простым стереотипом житейского поведения. Они идут в пищу, уже лишенные малейших признаков питательности, как снятое молоко, и, всасываясь в общественный организм где-то в Форт-Уорте, вдруг нарываю как-ким-нибудь бессмысленным и нелепым убийством...

Жестокость становится привычной приправой существования не голько в малых войнах, но и в мирной повседневноности.

Тогда изнасилование может превратиться в своего рода спорт: ведь все обычные отношения до того упростились, что не тре-

буют и малейшего усилия. Тогда гомосексуализм и наркомания из «тайных пороков» незаметно обращаются в явную моду просто оттого, что вносят некоторое разнообразие в ощущения.

Тогда убийство из бунта — слепого, стихийного, губельного, но все же бунта личности — становится просто острым ощущением: «Я хотел позабавиться...»

«Болотный процесс» с его атрибутами современной цивилизации — машинной, на которой выезжали на «пикники», фотоаппаратом, которым делали порнографические снимки с десятилетней Лесли Энн Доуни, магнитофоном, на который записывали ее предсмертные стоны и крики о помощи, — мерило духовного омертвения. Памела Джонсон права — не стоит делать из Айана Бреди и Миры Хиндли ни суперменов, ни унтерменшей. Несчастье в том, что они не более чем стандартная отливка. Они более мертвы, чем трупы, которые они зарывали на заболоченных пустырях возле Честера. «В известном смысле они — жертвы смертоносных осадков».

«Я думаю, что тот, кто исследует корни насилия, доберется до корней нашей эры», — говорит Джозеф Норт в одном из недавних номеров американского коммунистического журнала «Диалог».

«Насилие социально обусловлено и социально предотвратимо», — отвечает ему специалист по «насиловиологии» доктор Уертам. — Мы должны признать реальность этого. Психология и социология должны работать рука об руку. Наш главный враг — иллюзии».

Современный человек живет в мире, где война, жестокость, насилие, убийство стали фактом. В мире, где бунт против узаконенного насилия подчас осуществляется в формах личного насилия, протест против зла — в формах зла. Закрывать на это глаза было бы непростительной иллюзией.

Жестокий и практический экспериментом история еще раз доказывает, что на путях слепого индивидуалистического бунта, на путях личного насилия выхода нет и не может быть.

*«...Я не приму за венец желаний моих — капитальный дом, с квартирами для бедных жильцов по контракту на тысячу лет... Уничтожьте мои желания, сотрите мои идеалы,*

*покажите мне что-нибудь лучше, и я за вами пойду».*

(Достоевский, т. IV, стр. 163)

**P. S.** Когда статья была уже написана, раздались еще два выстрела, прозвучавшие на весь мир. Четвертого апреля 1968 года был убит Мартин Лютер Кинг. Пятого июня 1968 года был смертельно ранен сенатор Роберт Кеннеди. Эти выстрелы так же далеки от «безмотивной преступности», как и смерть Джона Кеннеди. Это выстрелы отчетливо политические.

И жизнь не разделена на отдельные клеточки, и сдвиги, происходящие в области психологии, морали, культуры, не безразличны к другим ее областям.

Все виды растущей расовой ненависти, холодная война и малые войны, насилие над личностью, моральное и физическое, авантюристичность и экстремизм — все это создает ту атмосферу, где рост кривых преступности и политический террор становятся одинаково закономерны.

Дело Уитмена не имеет отношения к убийству Кеннеди — оно имеет к нему отношение.



# КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ

★

### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**Л. Антопольский.** Борозда Онакия Карабуша.— **И. Виноградов.** Чужая беда.— **И. Травкина.** Конфликт или склона? — **А. Деметьев.** Книга о советской эстетике.— **О. Аладьин.** Плодотворный результат.— **Б. Рифтин.** Путешествие в страну китайской поэзии.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

**Н. Жданов.** Мужество Ленинграда.— **А. Стреляный.** Непоследовательность.— **А. Каждан.** Из истории северного соседа.— **В. Война.** Анатомия американского характера.— **В. Френкель.** «...наука самая занимательная».

## Литература и искусство

### БОРОЗДА ОНАКИЯ КАРАБУША

**Ион Друцэ.** Бремя нашей доброты. Роман. С молдавского. Перевод автора. «Дружба народов», № 1, 1968.

**М**ы познакомились с ним еще пять лет назад в «Степных балладах», когда бравого парня Онакия Карабуша доставил с первой большой войны румынский паровозик. Густой молдавской ночью, едва завидев очертания станции Памынтены, лихо выпрыгнул он из вагона и спас свою жизнь только тем, что «своевременно, с сердцем выругался. Да еще, пожалуй, помогла куча гравия и глубокая канава с вешней водой».

Он возвращается в свое село Чутуружить. И начинает жизнь с того, что добрым словом поддерживает надежду у погоревшей, разоренной горемыки-деревни. Потом он сбросит с плеч длинную шинель, выйдет в поле. Кинет семя в теплую черную землю и дождется дня, когда услышит запах хлеба, испеченного из выращенного им зерна. И пойдет его жизнь в этом мудром, от века установленном чередовании. Он передаст свою молодость, силу, ум, все обретенное — жизнестойкому поколению Карабушей. И проведет на родной земле семьдесят долгих, полных значения лет.

Но вот наступает осень жизни. Придавленный прожитым, слабый и старый человек

замер в пустом и холодном доме. Где-то веселится народ на крестинах внука, дирижирует хором гостей зять Мирчя Морару, Нуца, его дочь, прижимает к груди крошечное тельце. Только он, Онакий, здесь один. Самый короткий путь предстоит совершить Карабушу...

Но судьба подарит ему еще одну радость: он увидит в последний раз свою жизнь и жизнь всех от начала до конца. Он набьет пустую и холодную печь хворостом и тяжелыми поленьями. Пустит туда искру. И вот «розово-красная, все обжигающая суть огня», как в зеркале, представит ему ряд картин: «цепочки горячих причудливых змеек ручейком потекли под поленья», — это как сладкая и беспечная пора детства; потом, когда огонь дотронется до всего озорной «красной лапкой», придет юность, исполненная жадного любопытства, вырвется на простор молодость. Это время постака, время сознания своей силы и предназначения: пламя «горит вовсю, и все этому огню мало: мало любви, такой, чтобы испепелиться, мало ненависти, такой, чтобы сразу замертво сразить».

А потом? Если молодость высказалась с присущей ей полнотой? Тогда огонь все может. «Горы свали на него, он горы расплавит, в небо закинь его, он небо погубит».

А потом?.. Проскользнула вдруг в очаг черная бабочка. Карабуш шевелит кочергой, старается выволнить ее — ведь сгорит, погибнет. А тут другая. И разлетелось по нечи их бесчисленное потомство, сомкнулось, слилось крыльями, затмило огонь. Печь пуста и холодна, из зева ее рвется к человеку последняя его ночь...

Почти каждая новая вещь Иона Друцэ, переведенная на русский язык, обращала на себя внимание читателей и критики. Критика по большей части оказывалась и дружельюбной, и гонкой, и пронизательной. Но, по достоинству оценивая мастерство молдавского писателя, свободу и лиризм его прозы, кое-кто из писавших о нем вдруг замечал, что чего-то все же не хватает его произведениям. То ли конкретных примет времени, то ли «типических обстоятельств». А в другой раз искреннее недоумение вызывал и весь этот «странный мир оживших неодушевленностей».

Что верно, то верно: проза Друцэ так своеобразно одухотворена, что разобрать ее чисто рассудочно — значит попросту разъять на части. Но и поэтичность ее как-то неуловима, особенна. И дом у него улыбается и хмурится, и паровоз устало чихает, предвкусывая отдых. А Чутура, это родное село, заявляет о себе как одно живое существо — и не из желания писателя начертать какой-то условно символический знак. Конечно, во всем этом есть элемент игры. Но по большей части той естественной игры таланта, без которой не существует искусства. Вне художественного чувства Иона Друцэ нет его самого. И огонь в романе — образ точный по своей сути: он становится экраном человеческой жизни.

Что же, однако, дает сознание такой живой цельности всего материально сущего, коль скоро речь идет о художественном исследовании самой обыденной крестьянской жизни? Не слишком ли все это отвлеченно?

Нет, Ион Друцэ никогда не живет «над» действительностью — он не «около» нее, а в ней самой. Он крепкими корнями связан с землей родной Молдавии, он, как свои собственные, переживает радость и горе ее людей, он любит ее любовью, ненавидит ее ненавистью. Он загорюет, как любой чутурянин, услышав страшный запах сохнувшей

до наступления зимних холодов полыни — горький предвестник крестьянской беды — засухи 1946 года. Пшеница тогда не уродила, а «кукурузу нужно было сдать государству, сдать все до зернышка...». И Друцэ, сострадав горю односельчан, навсегда запомнил их изможденные, опухшие лица: он видел, как шли к обществу котлу истощенные люди, «часто, мучительно глядя на ходу и огромные кадки на их тонких шеях то, вздрагивая, ползли вверх, то, сорвавшись, беспомощно катились вниз...». Он так же, как все они, болезненно запрокинув голову, следит за небом, ожидая дождя как спасения. И правда для него сейчас в одном: Чутура должна выжить.

Но вот миновала лихая година Село вздохнуло, оправилось, повеселело. И настроение писателя незаметно меняется. Он уже не погружен полностью в дела и мысли Чутуры, он смотрит на нее иначе, чуть-чуть со стороны. И обратив внимание на то, что Чутура по-прежнему усиленно хлопочет о своем здоровье, он меняет позицию наблюдения; теперь его сочувственная мысль сливается с Онакием Карабушем. Автор доверяет его чутью более всего, судит Чутуру строже, упуская, может быть, в эту минуту полноту ее интересов. Теперь истина Чутуры исследуется через истину Онакия Карабуша.

Нет, конечно, никакой абстрактной истины Онакия Карабуша. По жизни его ведет безыскусственное радостное чувство полноты бытия. Но это чувство человека, который не может строить свое счастье изолированно от других. Карабуш наделен способностью к глубокому состраданию.

Молодой парень в длинной шинели, вернувшись с войны, узнает, что его родная деревня осталась весной без семян, и, припустившись потихоньку среди погорельцев, плачет, сам того не замечая. Но он не был бы Онакием Карабушем, если бы не подумал о том, как вернуть улыбки на суровые лица односельчан.

Сердечная сила Карабуша в том, что он осуществляет идею труда — идею сопротивления случайностям жизни. В нем закваска грузеника, который выходит в поле с мыслью о борьбе. Он крестьянин, но какой-то чудаковатый, с необычными грезами. Он никогда «не сходил с ума» по своим гектарам, которые отошли к колхозу. Но фантазер Карабуш тоскует о пырее, что рос на

его полях. Мечтал Онакий когда-нибудь вывезти пырей и спалить его ночью таким ярким огнем, чтоб степь залюбовалась. Теперь это ни к чему. Трактор все сделал за Онакия. Но Мирче Морару, который торжествует эту победу, Карабуш растолковывает: «Понимаешь, я посидел из-за того пырея, и я должен был вывезти его. Он у меня полжизни отнял, и я должен был его вывезти и спалить. Я и никто другой».

Человек должен выполнить свою задачу на земле сам — свободно, страстно, до конца. Если он пахарь, то должен провести свою борозду в Сорокской степи с такой душевной отдачей, чтобы и это семя взшло, и тот навик проводить борозду крепким ростком взшел в дочери, в четвертом внуке.

Так у людей получается не всегда. И Друцэ, которому правда Онакия Карабуша в эту минуту необычайно близка, точно разгадывает самое сокровенное желание своего героя — всегда оставаться самим собой.

Чутура это, однако, далеко не всегда понимает. Она знает, почему ей Карабуш нужен: нужна его жизнедеятельная, веселая и сильная натура, его удачливые руки землепашца. Но она рассматривает иногда личность просто как материал, укрепляющий ее органическую целостность. Она судит, заглядывая во все уголки с таким рвением, что ее невозможно унять. Она страдает плохой памятью, забывая тех, кто не может быть ей сейчас полезен; она торжественно клянется удержать в сердце «молодых и красивых, недоживших, недолюбивших», похороненных во время голода, но не выполняет клятвы. Карабуш (а вслед за ним и автор) не намерен терять дистанцию между собой и такой Чутурой. Он вовсе не отщепенец, внутренняя склонность к коллективным нормам жизни ему не изменяет; напротив, он их чувствует живее и полнее, чем любой «средний чутурянин», слепой исполнитель общей воли. Онакий Карабуш верно угадывает время, когда во имя блага той же Чутуры надо отдалиться от этих слишком тесно сдвинувшихся между собой беленьких домиков с «их железной неукротимостью, с их законами, с их ханжеством». Понятия «быть для Чутуры» не существует для него помимо желания «быть самим собой». И коль скоро Чутура уж слишком бесцеремонна, то есть смысл подчеркнуть свою независимость, чувство личной свободы.

И все-таки из-под доброго и вредного влияния Чутуры полностью не так легко уйти. Было время после смерти жены, когда Карабуш, поддавшись приливу равнодушия Чутуры, начинает вслед за всеми потихоньку забывать свою Тинкуцу. Простая и чистая во всех своих помыслах крестьянка, его подруга, сходит в мир «желтой глины», а он подозрительно быстро начинает хорохориться, с помощью какой-то таинственной молодухи перекраивает старый дом на новый лад. И тут Ион Друцэ как-то охладевает к Карабушу — подмечает в нем неприятные черты, отодвигается в сторону, наблюдает за ним, как за посторонним, и находит себе опору, нравственное утешение уже в Нуце.

А дочь Онакия Карабуша может подчас встать выше отца. Узнав о посещениях молодухи и о ремонте, она является к нему гневная и карающая. Она берется мазать печь по-своему, отстаивая память и традицию; она покидает смущенного Онакия, сухо рекомендуя ему беречь дом таким, «каким он остался от мамы...».

Плавное и неторопливо разворачивается рассказ о жизни труженников Сорокской степи: весна и осень, голод и сытость, свадьбы, крестины, похороны... Но внутренне он полон напряжения. Друцэ серьезно заботит судьба его героев. Наиболее острую неприязнь вызывают у писателя те обстоятельства жизни, которые искажают саму природу человека, губят его физическое и нравственное здоровье. Но беда, если свое несчастье человек пытается преодолеть (пусть и не задумываясь о том) в обход или в ущерб другим; губительно для него, если он идет навстречу угнетающим обстоятельствам, смыкаясь с ними, принимая их «в себя» как должное; если он свое бессильное делает вредной силой.

Так случилось с Мирчей Морару после того, как он вернулся из армии и выучился на тракториста. Шла его жизнь без особых событий до болезни. Но вдруг стал он сохнуть, таять, как свечка. Из-за того, наверное, что бывал по целым дням в поле один, в грохочущем тракторе, окутанный пылью, в промасленном комбинезоне — в такой одежде уж «ничего не захочется». Онакий Карабуш, явившись к зятю в Хыртопы, видит, что трактор полностью завладел мыслью и волей Мирчи: не отпускает от себя, когда тому хочется прилечь

и отдохнуть, не дает поесть вкусной домашней Нуциной стряпни...

Карабуш выключает Мирчу, и тому брезжит новая жизнь. Он вглядывается в свой внутренний мир. Память Мирчи хранит многое, благодарно восстанавливает то, что было пережито, впитано... Но в каком же там все смешении, в каком беспорядке!.. Всегда Мирча «любил делать как раз то, что его заставляли делать», прожил до сорока лет, всегда кому-то подражая — то сметливому соседскому пареньку, то отцу и дяде. Ныне его первое желание — быть «как все» удачливые, ловкие, заметные сограждане Чутуры. В этой мягкой, эклектической душе идея карьеры берет теперь верх.

Характер Мирчи Друцэ освещает в излюбленной им системе образов, задумываясь о железе...

С юношеских лет, оказывается, Мирчу Морару непреодолимо тянуло к себе железу. Всегда оно «завораживало его своей тяжестью, отточенностью, какой-то дьявольской неподатливостью». Этот твердый металл в образе трактора окончательно сокрушил его. Но почему Мирча пошел к железу? Не из внутренней ли затаенной зависти к его монолитной властности? Сейчас-то Мирча стряхнет железо и сумеет обратить свою слабость в силу. Здоровья у него теперь хватит, чтобы справиться с ролью казенного человека. Теперь, смекает он, пришла пора стать на одну ногу с теми, кто ухитрился засунуть его самого в промасленный комбинезон, так что и вздохнуть нельзя, и присесть нельзя...

Мирча Морару приступает к внимательному исследованию механизма административной власти в Чутуре. Он начинает ходить на ежевечерние заседания правления колхоза, куда вход был открыт для всех желающих. Мирча не сплеховал, не лез, как в былые годы, со своим мнением, которое могло оказаться совершенно ненужным. Он чутко вслушивался в дебаты, быстро раскусил, где реакция идет энергичнее, какие молекулы группируются, какие рассеиваются, примкнул к первым. Он делает удачную карьеру. И расцветает по-своему, весь светится тупым воловьим довольством; он наверху блаженства, когда крестины его сына осчастливил прибытием на черной «Волге» сам Василий Андреевич.

Однако секрет успеха нового Морару довольно быстро раскрывают. Прежде всего

Чутура, с которой Мирча по существу порвал. Она не хочет подарить ему бескорыстную радость содружества, она холодна, ибо ощущает в нем нечто противное самому своему существу, что-то тяжелое, давящее, чужое. Назревает нравственный конфликт и между Мирчей и Онакием. В это же время отошла, «отхлынула» душой от преуспевающего мужа и Нуца — дочь своего отца..

Воссоздавая все эти линии, переплетения, узлы, Ион Друцэ открывает конкретные и богатые связи человека с человеком, с народной жизнью, с природой. Он исследует эти связи, как бы вживаясь в действительность, почти растворяясь на время в какой-то ее клеточке. Он упорно всматривается в один какой-либо образ, пока не уяснит себе всего его значения. Позиция наблюдения меняется, как только исчерпана та симпатия или антипатия, которая движет исследованием, и вот новый предмет, новые размышления...

Правда, иной раз привязанность писателя может показаться случайной, а исследование остается все таким же кропотливым. В первой части Друцэ настойчиво показывает нам неприязнь Карабуша к макам. Но красные маки оказываются двузначным символом: сон — смерть, враждебный человеку пожар. Напряженно вглядываясь в один предмет, решая его загадку, художник может перегрузить свою картину ассоциациями и в то же время обделить вниманием целое. Нам бы, например, совершенно достало такого предварительного объяснения характера Мирчи, которое было бы созвучно образу «железа». Но писатель берет личность героя в нескольких ракурсах. Он исподволь готовит к встрече с ним еще в первой части, рассказывая о гордых, сильных, самоуверенных, но не поэтичных отце и дяде героя (своего рода генетический код). Во второй части появляются какие-то другие Морару, бестолковые «гончие», измельчавшие потомки древних молдавских воинов (еще генетический код). Но первое объяснение никак не смыкается со вторым, а оба они и вовсе не поясняют Мирчу. Возникает ощущение фрагментарности повествования. Автор сам, вероятно, чувствует это. И вводит в роман сквозную тему старика Булгаре. Этот святой или помешанный молится за всех, ищет правого суда, шагает по вечным дорогам жизни. Но образ Булгаре — чистая функция композиционного замысла.



Известная уязвимость такой манеры обнаруживается и во взгляде автора на Чутуру. Друга глубоко сострадает крестьянам в несчастье. Но его все время беспокоит забытость Чутуры. И это беспокойство порой заслоняет от него мысль о том, что обновление нужно миру не меньше, чем память. Обида на эту холодную память словно бы вызывает у писателя «обратную реакцию»: Чутура в романе редко-редко улыбнется, ее протестующего и утверждающего смеха вовсе не слышно. Даже в прошлом она грустна и меланхолична. Чистым речитативом выпеваются куплеты колядок в памяти Нуцы — детская радость, бесхитрое народное веселье. Но не случайно в этом у лирическому голосу дано заявить о былом — и здесь печаль утраты сильнее не-

посредственного ощущения жизни. У грустного, часто мрачного рассказчика пасечника Рудого Панька та же самая ночь перед рождением звенит откровенным бурным весельем — всю заявляет о себе смелая народная жизнь...

К счастью, чутье талантливого художника подсказывает Друцэ, что нельзя забывать о животворящей силе возрождения, о законе вечного обновления жизни. Торжественный медный звон степных колоколов оповещает о кончине Онакия Карабуша и приходе в мир нового человека, огонь начинает свою работу снова и снова... Внук Онакия Карабуша будет жить и продолжать жизнь, прожитую до него дедом и матерью.

Л. АНТОПОЛЬСКИЙ.

★

## ЧУЖАЯ БЕДА

Валентин Распутин. Деньги для Марии. Повесть. «Сибирские огни», № 9, 1967.

«Деньги для Марии» — так, несколько интригуя, назвал свою первую повесть молодой сибирский писатель Валентин Распутин. Загадочное название это расшифровывается, однако, просто и, увы, драматично: у Марии, продавщицы сельского магазина, обнаружена крупная недостача — тысяча рублей новыми деньгами. Как это получилось, ни она, ни ее муж Кузьма, колхозный шофер, понять не могут — скорее всего по неопытности и доверчивости Марии: оба они — хорошие, честные люди, и вся деревня знает, что не попользовались из магазина ни крупинкой. Ревизор, обнаруживший недостачу, тоже понимает, что Мария стала жертвой собственной неосмотрительности — товары часто получала не сама, а с кем придется, да и учета в магазине, хотя Мария не раз просила об этом, не было целый год. Но самое большее, что может ревизор сделать для Марии, — дать ей пять дней отсрочки, пока он объездит с ревизией соседние деревни. За эти пять дней нужно покрыть недостачу, иначе Марии грозит тюрьма. А у них с Кузьмой четверо ребятшек...

Так приходит в дом Кузьмы и Марии беда — нежданная и страшная. Тысяча рублей!.. Мария настолько потрясена происшедшим, что ее хватает только на отчаяние и слезы, у Кузьмы, на плечи которого ло-

жится вся тяжесть свалившейся заботы, случившееся не уместается в сознании; тысяча рублей — это такие сумасшедшие для него деньги, что он все путает их со старыми и каждый раз, спохватываясь, холодеет от безнадежности. Откуда ее взять, эту громадную сумму? В доме — ни копейки: жили они всегда с Марией неплохо, хлеба Кузьма зарабатывал вдоволь даже в неурожайные годы, мясо и молоко шли со своего двора, но деньги?.. Денег всегда не хватало — в их таежном колхозе, где земли разбросаны то там, то здесь, никто больше полтинника на трудовень еще ни разу не получал, а последние три года, с тех пор, как Кузьма взял ссуду на постройку дома, при зимних, годовых расчетах он и вовсе получал копейки. Продать корову и сено — ребяткишки останутся без молока, да, кроме того, корову лучше оставить на последний случай, когда выхода не будет. Занять? Но у кого? Как можно занять такую уйму денег в их деревне, где все у него на виду — у всех ребяткишки, своя нужда, для всех деньги — такие же, как и для него, заплатки, которые ставят на дырки — необходимость для необходимости.

Такова несколько необычная для нашей «деревенской» прозы исходная ситуация, которую предлагает нам В. Распутин. Из нее вырастает и сюжетное построение повести:

надо срочно что-то предпринимать, и Кузьма решает все-таки попытаться счастья — пойти по односельчанам и попробовать собрать нужную сумму в долг, под залог той новой ссуды, которую ему обещает председатель через несколько месяцев, по окончании отчетного года. Он надеется, что деньги в деревне все-таки есть — пусть немного, но есть. Есть у специалистов, которые получают твердую зарплату, есть и у колхозников — иной мужик будет в опорках ходить, а рубль припрятет, чтобы скопить на мотоцикл или мотор. «На мотоцикл или на мотор их еще не хватает и они пока лежат без пользы и без движения, никому не дела добра. Так неужели люди откажутся на время дать их Кузьме, чтобы он мог отстоять Марию? Не может быть!»...

«Обход» Кузьмой деревни, разговоры с односельчанами, к которым обращается он со своей нелегкой докукой, их реакция на его просьбу и т. п. — все это и составляет основное содержание повести.

Как видим, деревенская тема взята у В. Распутина действительно в несколько ином ракурсе, чем у таких, например, писателей, как В. Тендряков, Г. Тропольский, Е. Дорощ или Б. Можаяев, занятых прежде всего проблемами социального плана, художественным исследованием тех характеристик современной деревни, которые непосредственно связаны с ее общественно-экономическим положением. В. Распутин и не ставит перед собой подобных задач — его интересует не столько социально-экономическая сторона деревенской жизни, сколько ее нравственная атмосфера, мир тех отношений и связей между людьми, которые образуют непосредственное наполнение повседневной жизни людей, их общения, их привязанностей, их представлений о нравственных требованиях человеческого общежития. В этом отношении он ближе к таким писателям, как В. Белов, В. Лихонос, Ю. Казаков, но в отличие от некоторых представителей так называемой «новой волны» деревенской литературы, размывающих порой резкие и грубые контуры деревенской реальности в эмоциональной дымке «лирической прозы», В. Распутин тяготеет к крепкому и трезвому реалистическому рисунку. Так, бесспорно, одна из сильных сторон повести — ее портретная живопись, очерки характеров тех деревенских жителей, которых обходит Кузьма со своей заботой. Точ-

ные, уместно поданные подробности обстановки, одежды, внешности персонажа, характерные бытовые сцены, в которых застаёт Кузьма своих предполагаемых кредиторов, живой, натуральный склад их речи — все это часто позволяет В. Распутину на немногих страницах создать емкий, запоминающийся образ. Председатель колхоза — резкий, жестко прямолинейный, но, в общем-то, добрый, сердечный человек, сам намыкавшийся в недавнем прошлом в заключении и знающий, почему фунт лиха; дед Гордей, за традиционным стариковским шутовством которого угадывается цепкий, живой ум, устойчивая мудрость человека, прожившего долгую, многому научившую его жизнь; елейный ханжа и расчетливый деревенский «политик» — директор местной школы, любующийся собственным благородством, когда вручает Кузьме обещанные сто рублей; сельская кумушка Степанида, вздорная, взбалмошная, но твердо блюдущая свой «интерес» и готовая, кажется скорее съесть свои деньги, чем выпустить их на минуту из рук, — все это живые, непохожие друг на друга люди, каждый со своим особым, не слишком открытым для других внутренним миром, заботами и притязаниями. Зато для нас они открыты — В. Распутин пишет их рельефно, четко, объемно, и чувствуется, что эта работа над лепкой образа доставляет ему непосредственное, чисто художническое удовольствие.

Впрочем, это вовсе не значит, что он относится к своим персонажам с отстраненностью беспристрастного наблюдателя. Художническая позиция В. Распутина — скорее пристрастная, требовательная нравственная оценка: развертывая перед нами свойства своего характера, персонажи В. Распутина демонстрируют не только свою душевную «анатомию», но и проходят своеобразную проверку на человеческую прочность, обнаруживая в своей реакции на просьбу Кузьмы, чего они стоят. Писатель как бы верши над ними некий нравственный суд, внимательно следя за тем, как поведут они себя в ситуации, когда другому человеку, живущему рядом с ними и попавшему в беду, нужна помощь; какими окажутся они перед лицом того нравственного долга, который зовут человеческой солидарностью.

Вряд ли нужно доказывать, насколько важна такая постановка проблемы уже

и сама по себе — вопреки тем, недавно еще весьма популярным в нашей критике суждениям, что подобное «сужение кругозора» ведет к абстрактному морализированию. Повесть В. Распутина тем, между прочим, и интересна, что доказывает обратное: мы видим, насколько поучительным и серьезным может оказаться не только с чисто нравственной стороны, но даже, если хотите, и в социально-психологическом отношении анализ характеров, проведённый под подобным углом зрения. Нетрудно заметить, что в ответах, которые дает В. Распутин, показывая, кто те люди, для которых беда Кузьмы становится их собственной бедой, и кто те, для кого она — досадная неприятность, которую лучше как-то обойти, умыв руки, — в ответах этих явно обнаруживается некая поучительная закономерность. Ведь не вполне же это случайно, не так ли, что помогают Кузьме — часто из последних сил, даже через силу — именно такие люди, как дед Гордей, председатель, тетка Наталья, отдающая Кузьме сбереженные на собственные похороны деньги, — люди, научившиеся ценить участие, взаимовыручку, — люди, жизнь и труд которых основаны не на использовании какой-либо индивидуальной служебной конъюнктуры, не колеблющейся от того, что делают и как живут вокруг них другие, а на участии в таком трудовом процессе, где от всех вместе в достаточно ощутимой степени зависит и общая судьба всех, и судьба каждого в отдельности. И не вполне, следовательно, случайно (хотя никакой прямолинейной закономерности здесь, разумеется, нет и быть не может), что совсем иначе проявляют себя те, «хата» которых с краю, те, которые избрали для себя путь личного преуспевания, жизнь которых не находится ни в какой ощутимой связи с тем, как живет рядом с ними другим...

Уже это одно дает, как видим, достаточно серьезный повод для размышлений вовсе не абстрактно-морального свойства. Но, может быть, еще важнее то, что В. Распутин не приносит в жертву этой подмеченной им психологической характеристике реальную сложность жизни. Он смотрит на деревню достаточно трезвым взглядом и вовсе не склонен идеализировать масштаб и характер тех коллективистских навыков, которые хотя и стимулируются общностью трудового процесса, но, как мы знаем, в не меньшей

степени зависят и от реальных условий, в которых протекает этот процесс. Уровень хозяйственной самостоятельности деревни, мера реальной ответственности каждого крестьянина за дела в колхозе и мера его реальных возможностей в этом — вещи немаловажные, и они-то как раз и определяют, разовьется ли в колхозном коллективе действительное чувство коллективизма, вырабатается ли привычка к общественному обсуждению и решению всех общих дел, будут ли чувствовать себя люди в колхозе связанными не просто общностью работы «на производстве», но той единой человеческой семьей, где каждый за всех и все за каждого.

И здесь наблюдения В. Распутина, всматривающегося в жизнь деревни со своей особой, как будто бы далекой от всех этих проблем «чисто моральной» точки зрения, тоже весьма поучительны. Достаточно вспомнить, например, ту главку, одну из самых выразительных в повести, где Кузьма, измученный своей заботой, думами о завтрашнем дне, засыпает и видит странный, но как бы концентрирующий в себе все пережитое сон. Ему представляется, что он сидит с Марией в президиуме общего колхозного собрания, на котором обсуждается вопрос о деньгах для Марии. И вот выходит председатель и говорит: «Товарищи колхозники!.. Есть предложение помочь Марии», — и собрание встречает эти слова аплодисментами. «Мы тут между собой обсуждали этот вопрос, — продолжает председатель, — и решили так: надо сейчас всех пересчитать, выяснить, сколько тут нас есть, а потом, зная, сколько Марии требуется денег и сколько нас здесь присутствует, мы будем иметь понятие, по сколько рублей сбрасываться. Есть другие предложения?» Других предложений нет, все единодушно поддерживают председателя, после пересчета оказывается, что с каждого дома нужно внести по четыре рубля и сорок копеек («Чего там — по пять рублей на брата», — сразу округляют несколько голосов), и вот стол, за которым сидят Кузьма и Мария, — уже не стол, а ларь, и в него со всех сторон, из многих-многих рук падают деньги...

Как все похоже на реальность, вернее — возможно в реальности!.. И правда — чего, казалось бы, проще и нормальнее: деревня большая, все знают, какая с Марией приключилась беда и что сама она ни копейки денег из магазина не брала, — собрались бы

ради такого дела, «сбросились» по пять рублей (не такие уж невозможные это деньги!), и — человек спасен...

Но вот почему-то никому и в голову не приходит такая простая мысль — настолько, видно, это «не в обычае» всем вместе думать и об общих делах, и о заботах каждого... И даже председатель, который хочет помочь Кузьме и Марии и которому, казалось бы, и карты в руки во всякого рода общественных начинаниях и мероприятиях, предпочитает почему-то иной путь — не такой безболезненный для жертвователей, но, видно, более практичный. Он приглашает к себе специалистов, работающих в колхозе на твердой зарплате (этот эпизод и послужил, судя по всему, реальным толчком к фантастической утопии сна Кузьмы), и без долгих разговоров, в добровольно-принудительном, так сказать, порядке, предлагает отдать завтрашнюю зарплату в долг Кузьме: и раньше бывало, что банк задерживал деньги, выкручивались как-то, выкрутятся и теперь.

В отличие от собрания во сне никто предложение председателя аплодисментами не встречает, но никто как будто бы и не возражает — дело решено. И председатель объясняет позднее Кузьме, которому неловко и стыдно перед людьми, рассчитывавшими на эти деньги, почему: «Ничего, обойдутся,— говорит он.— Ну, пришел бы ты завтра к агроному, а ему, если разобраться, и правда деньги самому нужны. Может, он бы тебе и дал — да немного, для тебя это не выход. А ветеринар, тот совсем бы не дал. По отдельности-то легче отказывать. А я их вместе всех.— Председатель усмехнулся.— Я знаю: когда вместе — так просто не откажешь, никому неохота перед другими себя не с той стороны открывать, а когда один — больше свое на уме, и никто не видит, что хитришь, разговор без свидетелей. Это уже давно замечено...» Психологически замысел, как видим, верный, и председатель, понаблюдавший жизнь и знающий людей в своей деревне, вероятно, прав, делая ставку на подобного рода психологический нажим, — хотя, казалось бы, по пятерке с брата было бы легче для всех. Но как горька, если вдуматься, эта его трезвая правда...

К тому же В. Распутин ставит, как любил говорить неунывающий Федор Кузькин, герой известной повести Б. Можая, и еще одну «запятую». Когда председатель оглу-

шает специалистов, далеко не все они ведут себя так, как он рассчитывал: собрание — это все-таки одно, а жизнь, быт — другое. Механик отзывает Кузьму в сторонку и, отводя глаза, просит вернуть часть зарплаты, ветеринар подсылает к Кузьме на дом жену, и та, стыдя Кузьму, сразу же, разумеется, получает свои деньги обратно, а бухгалтер, воспользовавшись тем, что не был на собрании, со злорадством объявляет Кузьме, что ничего не знал и уже успел истратить всю зарплату в магазине — купил жене тужурку на зиму. Словом, полутора или двух сотен как не бывало, и снова Кузьме остается добывать уйму денег...

Удача повести в большой степени связана и с образом главного ее героя. Этого хорошего, совестливого, немногословного человека нельзя не полюбить, — и тем сильнее наше сочувствие ему, тем напряженнее тревога за него. Особенно подкупает то, что даже в столь трудные для него минуты он остается открытым и доверчивым к людям. Как ни мучительно обращаться ему к односельчанам — он трудовой человек, знает, как достается копейка, да и достаток своих земляков не переоценивает. — Он все же верит, что те, с которыми прошла в деревне его жизнь, не оставят его в беде. Это доверие — важный психологический фактор и для читателя: В. Распутин сумел построить свое повествование так, что каждый раз, когда Кузьма переступает порог очередного дома, мы с волнением ожидаем, чем кончится его попытка — неужели не помогут? — и наша надежда, что человеческое в людях победит, наша жажда, чтобы оно победило, тоже принадлежат к числу тех важных нравственных итогов, которых достигает В. Распутин своей повестью. Вот почему так существенна в повести сама ее «незавершенность»: Кузьма, которому остается добрать триста рублей, решает ехать в город к брату — правда, тот давно уехал из деревни, связи с ним у Кузьмы почти оборвались, но на него последняя надежда — все-таки родной брат, не может не помочь, а деньги у него должны быть.

«Он находит дом брата, останавливается перед ним, чтобы передохнуть, и прячет в карман мокрый от снега конверт с адресом. Потом вытирает ладонью лицо, делает последние до двери шаги и стучит. Вот он и приехал — молись, Мария!

Сейчас ему откроют».

Этими словами кончается повесть, почти

символически: помни, читатель, беда не миновала, все зависит от людей — что ждет нас за этой дверью, которая сейчас откроется? За другими дверьми, за тысячами и миллионами других человеческих дверей, в которые стучится чужая беда? За твоей собственной?..

К сожалению, не все в повести равно удачно, на уровне ее лучших страниц. Очень бледна Мария — фигура чисто «страдательная», и все попытки В. Распутина как-то оживить этот образ, рассказав читателю о том, как работала Мария в магазине, как хорошо относились к ней односельчане, тоже отдают заданностью, схематизмом. Чувствуется, что образ этот скорее от голы, от композиционного замысла. Есть некоторая нарочитость и в многократных возвращениях В. Распутина к описанию душевного состояния Кузьмы, его тоски, растерянности, подавленности, подчеркнутых к тому же назойливо повторяющимся пейзажным аккомпанементом. Вообще нетрудно заметить, что, при явном тяготении к трезвому и строгому реалистическому рисунку, В. Распутин страдает часто как бы недоверием к его эмоциональным возможностям, стремится воздействовать на чувство читателя дополнительными, «специальными» приемами, а порой жертвует для этого и реалистической достоверностью изображения, срываясь в идеали-

зацию и даже в явную сентиментальность. Так, например, слишком умильно, порой просто сусально выписана «идеальная» супружеская пара стариков попутчиков, с которыми едет Кузьма в поезде к брату, да и вообще дорожные сцены очень растянуты. Все это приводит к тому, что прозе В. Распутина не хватает строгости, простоты, сдержанности — она обрастает ненужной, неорганичной для ее основного строя «выразительностью» чисто литературного происхождения. Не вполне удачным с этой точки зрения кажется мне и слишком дробное, «обратное» построение повести — она развертывается ретроспективно, как бы через воспоминания Кузьмы о происшедшем за эти последние три дня, пока он едет в поезде к брату в город. Эта дробная разбивка основного сюжета повести на цепь фрагментов-воспоминаний обязывает В. Распутина как-то заполнять промежутки между ними, и вот гут-то и появляются не слишком интересные, явно «проходные» дорожные сцены со стариками супругами, с парнем-попутчиком из леспромхоза и т. д.

Можно надеяться, однако, что все эти недостатки — просто от неопытности молодого писателя, еще не сумевшего до конца поверить в свой талант и потому прибегающего порой к ненужным ему литературным подпоркам.

**И. ВИНОГРАДОВ.**

★

## КОНФЛИКТ ИЛИ СКЛОКА?

**В. Дягилев. Минстура Инс. Повесть. Лениздат. 1967. 231 стр.**

**В** основе новой повести В. Дягилева лежит событие, которое на чей-либо непросвещенный взгляд может показаться незначительным. На самом деле это не так. Ведь оно взволнует весь город, втянет в ожесточенную схватку все медицинские учреждения города (заводскую поликлинику, больницу, медицинский институт, райздрав, горздрав), вовлечет в борьбу редакцию городской газеты, райисполком, райком партии, побудит к титанической деятельности два десятка людей разных чинов и рангов.

Что же случилось в городе, что взбудоражило его мирных жителей и лишило их на два месяца покоя?

Все началось просто и не предвещало бурной бури. Некая Зоя Петровна, кандидат медицинских наук, обольстительная и неза-

мужняя женщина, но, увы, плохой врач («На кафедре Зоя Петровна влюбила в себя профессора, оставшегося одиноким после войны. А он помог ей: по сути, сделал за нее диссертацию»), осматривая в клинике спортсмена Петра Макеева, обнаружила у него повышенное давление и поставила слишком поспешный, как выяснилось позже, диагноз — гипертония. Слишком усердный заводской фельдшер по прозвищу Тыква стал с тех пор мерить давление нашему герою чаще, чем следовало бы. Герой оказался человеком слишком впечатлительным, почувствовал себя плохо и попал в больницу. Там врачи сразу поняли, что перед ними типичный случай ятрогенип (внушенная болезн), что гипертонии у большого нет...

Эта история и есть заповедь повести, ее, так сказать, пролог.

Теперь сделаем минутную паузу и подумаем: что должны были бы сделать врачи больницы, руководствуясь здравым смыслом? Вероятно, внушить столь легко внушаемому больному обратную, так сказать, мысль, что он здоров, посоветовать кандидату наук впредь осторожнее ставить диагнозы, прочитать фельдшеру Тыкве, человеку усердному, но, видимо, недостаточно образованному, несколько лекций о роли психотерапии в медицине — и считать на этом конфликт исчерпанным.

Но тогда мы не имели бы остросюжетной, как говорится в аннотации, повести. Поэтому повествование будет долго длиться, пока не выльется в некую фантазмагорию, которая представляет собой, согласно все той же аннотации, столкновение двух сил, двух групп людей. «Одна отстаивает справедливость, правду. Вторая — престиж, ложно понятый авторитет». Но... по порядку.

Врачи больницы поступили почти так, как мы мысленно им рекомендовали, только пошли чуть дальше. Начальник медицинской части Вахтанг Степанович Григорян рассказал о вопиющем случае ятрогении на совещании в горздраве.

Тут-то к барьеру и выходят главные участники «столкновения» — партия «отстаивающих престиж» во главе с Зоей Петровной и партия борцов «за справедливость, правду» из больницы.

Главной шпагой «партии престижа» стал Сергей Сергеевич Петухов, который «работал заместителем председателя райисполкома. Очень гордился своей должностью и всех депутатов называл любовно и уважительно «моими» (?). Сергей Сергеевич действовал небескорыстно. Он был влюблен в Зою Петровну, он ей покровительствовал, он был «протезе» (как говорит автор, думая, очевидно, сказать прямо противоположное) этой расчетливой женщины, которая уже давно «стала относиться к мужчинам, как к лекарствам (?), используя их при надобности по-своему, и только по своему (!) назначению». На совместном заседании райкома партии и райисполкома Сергей Сергеевич рассказал о склоке, которую затеяли врачи больницы. «Можно ли, — сказал он, — при таких взаимоотношениях полезно (!) работать? Можно ли с врачами спрашивать чуткости, если они друг к другу так сключно (!) относятся?»

Это выступление вызвало сенсацию. К врачам больницы «начали подходить знакомые и малознакомые люди», «слух об активе прошел по городу», «к тому, что было, каждый добавлял свои домыслы и догадки». Честь больницы оказалась под угрозой. Врачи больницы защищали ее, как львы. «Шум вокруг неправого дела бесил Вахтанга Степановича. Неправда была связана с мелким самолюбием, и на покрытѣ (?) этой неправды, этого мелкого самолюбия было брошено все».

В разгорающуюся битву вводятся дополнительные резервы. На горизонте появляется множество новых действующих лиц (мы едва успеваем их рассмотреть), в том числе академик Протасов и секретарь райкома партии Влас Дмитриевич Колесов. Военные действия распространяются и вширь и вглубь: представители обеих партий совещаются, ездят на разведку и на переговоры в стан врага («И она пошла к дверям с таким видом, с каким уходят в опасную разведку»), почти не спят ночами, вербуют сторонников; выступает пресса, созываются комиссии («Появление в отделении сразу двух комиссий взволновало и Вассу Елизаровну. Она не знала, как ей быть. Самой не разорваться. История болезни одна. Больной один»).

Очень скоро побудительные мотивы непрерывно и энергично производящихся действий окончательно «отпочковываются» от их первопричины — заболевшего спортсмена Петра Макеева, который тем временем благополучно выздоравливает. Продолжающееся в городе сражение лишь изредка доносится до него неким весьма отдаленным гулом. Его, например, выписывают из больницы, а потом, по стратегическим соображениям, снова задерживают там. Мнительный спортсмен, весьма трагически воспринимающий свою болезнь (автор так описывает его переживания: «Он с силой, до боли, сжал зубы», «Упругий комок подступил к горлу», «упругий комок с силой вырвался наружу. Петр зарыдал», «Он рыдал и все повторял: «Лечить надо. Лечите», «Но ч во сне вздрагивал и всхлипывал на всю палату»), едва снова не заболел.

Мысль о нелепости происходящего время от времени мелькает в голове то у одного, то у другого из героев, но они успешно гонят ее от себя. Секретарь райкома Колесов был человек добрый («Вахтанг Степанович... удивился улыбке — она бросалась в глаза

особенно потому, что была контрастом неподвижному лицу секретарши. Вахтанг Степанович подумал, что Колесов специально выбрал себе такую секретаршу, чтобы подчеркнуть свою светлую улыбку») и в то же время серьезный: он знал, что и в мирное время «борьба продолжается. Пусть не стреляют, не убивают сотнями (?), но напряжение не спадает, потери есть, обстановка борьбы сохранилась... В последнее время его волновал конфликт между врачами и Сергеем Сергеевичем Пегуховым». Правда, секретаря райкома мучают кое-какие сомнения, и он справляется у пришедших к нему больничных врачей: «Не выглядит ли ваш конфликт склокой? Не создан ли он из ничего?» Но Вахтанг Степанович его успокаивает: «Ха, дорогой товарищ! Кто создавал и почему склока? Мы из лучших соображений. Нельзя врачу делать здорового человека больным».

Следишь за всеми перипетиями этой борьбы, и то и дело хочется перевести дух и во-скликнуть:

— Позвольте! Что это за необыкновенный город такой, где случай ятрогении вызвал столь неслыханный переполох!

— В литературе, — могут нам возразить, — допустимы всякие условности. Надо, как известно, судить автора по законам, им самим над собой поставленным...

— Конечно, конечно! — тотчас же согласимся мы. — Именно исходя из законов этой повести, мы и представляем себе, что стало бы с городом, если бы случай оказался более серьезным — скажем, не болезнь была бы обнаружена там, где ее нет, а не заметили бы опасности там, где она действительно есть? Если бы в этом городе кто-нибудь — страшно подумать! — и на самом деле заболел? Желтухой там какой-нибудь или не дай бог раком? В действие, видимо, неминуемо были бы вовлечены Министерство здравоохранения, Академия медицинских наук и... может быть, даже Всемирная организация здравоохранения.

Но вернемся еще раз к повествованию. Его кульминационным моментом стало заседание райкома, на котором собрались обе воюющие стороны. Секретарь райкома «персонально решил подготовиться к бюро... Он сам должен иметь хоть элементарное (?) представление о сути дела. Он привык докапываться до корешков (?) вопроса». Колесов съездил к академику Протасову и открыл заседание бюро райкома во всеору-

жин. Страсти закипели вновь, но в это время вызвали одного из врачей больницы, который, вернувшись «бледный, растерянный», сообщил: «Больной... Макеев сбежал». «Желает ли кто-нибудь выступить?» — спросил Колесов. «Никто не отвечал. Было бы глупо теперь отвечать, спорить, горячиться и что-то доказывать. Исчез предмет спора. (На наш взгляд, он исчез значительно раньше, вернее, его просто не было.—И.Т.) Отпала необходимость доказывать. Всем было неловко. Люди старались не смотреть в глаза друг другу».

Под занавес Колесов сказал примиряющую речь, из которой выяснилось, что все участники событий «действовали от чистого сердца, от добра», выяснилось, что люди увлеклись борьбой за неправильно понятую «честь мундира» — отчего, дескать, и пристекли все беды, — но теперь, надо полагать, они все поняли и будут умнее...

А что думает по этому поводу сам автор? Быть может, он стоит «над схваткой», а его «сверхзадача» была в том, чтобы обличить имеющиеся у нас отдельные, как говорится, нетипичные недостатки... ну хотя бы по части деловитости некоторых наших учреждений? Не скроем, последнее предположение было бы нам по душе.

К сожалению, тщательный анализ текста заставляет нас отместить его. Автор не стоит «над схваткой»: он участвует в ней, как говорится, всей душой; он искренне полагает, что живописует борьбу справедливости против несправедливости; он точно знает, где в этой истории силы зла, а где добра, кто — положительные герои, а кто — отрицательные. Сам он принадлежит к партии больницы, которая и отстаивает, по его мнению, эту самую справедливость. Описанная им ситуация, при которой чуть ли не весь город бурлит два с лишним месяца неизвестно из-за чего, не кажется ему противоестественной. Он не может посмотреть на нее со стороны, он в ней, она для него норма. Как бы подводя итоги повествованию, автор рисует в конце его символическую картину торжества справедливости — ночной непогоды, побежденной в конечном итоге ясным днем.

«Штормовой ветер с моря бушевал всю ночь... Он сбивал с ног запоздавших прохожих, с угрожающим уканьем стучался в окна... Но к утру ветер внезапно утих, будто его и не было, будто все ночные звуки, подъем воды, угрожающее положение—все

это было страшным сном, который исчез с рассветом... первые смельчаки появились на панелях (?), заполнили трамваи, забили автобусы, направляющиеся к вокзалам... Залив блестел все ослепительнее. Золотистая дорожка расширялась к горизонту и сужалась к берегу. Яхты вдаль походили на стаи бабочек (!). Как будто они сложили крылья и отдыхают перед взлетом.

Петр подумал так, потому что у него бы-

ло подобное состояние: отдых перед большими делами. Он чувствовал в себе силы, он был здоров, счастлив, молод, и перед ним лежала вся жизнь, как вот эта сверкающая гладь, не всегда спокойная и не всегда тихая».

Этой роскошной символической картиной, отчетливо передающей особенности художественной манеры автора, закончим и мы.

**И. ТРАВКИНА.**



## КНИГА О СОВЕТСКОЙ ЭСТЕТИКЕ

**Из истории советской эстетической мысли. Сборник статей.  
«Искусство». М. 1967. 523 стр.**

История советской эстетической мысли — как и советской литературной критики — до сих пор остается почти совсем неизученной. Между тем настоятельная необходимость и актуальность такого изучения совершенно очевидны. Становление эстетики и критики на основе марксизма-ленинизма, выступления В. И. Ленина по вопросам искусства и литературы, эстетические взгляды Луначарского и Горького, борьба советской эстетики и критики с формализмом, интуитивизмом, фрейдизмом, преодоление вульгарного социологизма — все это имеет не только историческое, но и современное значение. Не случайно к истории советской эстетики и критики проявляют большой интерес наши идейные противники. Сошлемся на появление в США работ В. Эрлиха, Г. Ермолаева, Эд. Брауна, Х. Маклина о русском формализме, о Воронском, «Перевале» и РАПП, о советских литературных теориях двадцатых годов.

В связи с этим выпущенный издательством «Искусство» сборник «Из истории советской эстетической мысли», несомненно, вызовет интерес читателей. И интерес этот не будет обманут. Сборник содержателен, составлен продуманно и включает в себя серьезные и дельные статьи. Посвящен сборник изучению эстетических исканий периода 1917—1930 годов.

Книга открывается (если не считать краткого введения о дореволюционной марксистской эстетике в России) статьей «Советская эстетическая мысль в 20-е годы». Автор ее, один из старейших представителей советского искусствознания И. Маца, живо и с

отличной осведомленностью рассказывает о том, как советской эстетике первых лет революции приходилось защищать и растолковывать азы материалистического понимания искусства, как шла борьба с идеалистическими теориями и постепенно формировалось изучение искусства на базе марксизма.

Об узловых вопросах советской эстетической мысли идет речь и в двух следующих статьях сборника: В. Роговина — о проблемах культуры в идейно-эстетических спорах двадцатых годов и С. Машинского — о борьбе советского литературоведения с формализмом и вульгарным социологизмом. Обе статьи отличаются тщательностью и основательностью исследования и освещения материала. К ним по своему содержанию и типу примыкает статья Л. Денисовой о проблемах диалектики в советской эстетике двадцатых годов.

Затем идут статьи более специальные — об эстетических исканиях в области живописи (В. Полевого), драматургии и театра (А. Богуславского, В. Диева и А. Старкова), музыки (И. Рыжкина) — и статьи, так сказать, персонального характера: Фадеев и РАПП (Л. Киселевой), «Луначарский о художественном образе» (П. Малышева), «Горький о социалистическом реализме» (В. Келдыша). В каждой из них читатель, несомненно, найдет для себя много полезного. К тому же почти все они обращаются к материалу, исследуемому едва ли не впервые. Отметим еще, что в конце сборника помещен (составленный В. Роговиным) ценный указатель литературы об идейно-эстетических дискуссиях двадцатых годов.



Разумеется, в рецензии нет никакой возможности охватить все многообразное содержание сборника. Можно лишь привести некоторые суждения его участников, заслуживающие внимания читателей.

В. Роговин много пишет о Пролеткульте. Вопрос, казалось бы, изученный. Но автор выделяет в теориях Пролеткульта такие аспекты, которые до сих пор как бы оставались в тени. Так, он указывает, что сектантские идеи классово обособленной пролетарской культуры, противостоящей всему культурному развитию человечества, соединились у теоретиков Пролеткульта с крайне агрессивным отношением к интеллигенции как якобы проводнику вредоносных буржуазных влияний. «Об интеллигенции писалось,— говорит Роговин, ссылаясь на одну из статей Ф. Калининна,— не иначе как в следующих выражениях: «Наш критический нож классового чутья необходимо обострить неподкупной непримиримостью. Мы должны знать, что в самых ничтожных дозах буржуазное искусство крайне ядовито и разлагающе действует на нашу волю и чувство. Но мы должны знать также и другое, что добровольным агентом и весьма искусным проводником буржуазного искусства является интеллигенция. За ней необходимо установить контроль и подчинить нашим стремлениям». Естественно, заключает Роговин, что подобные идеи пришли в противоречие с линией Ленина и партии в вопросах строительства социалистической культуры.

О Пролеткульте говорится и в статье Л. Денисовой. Но она подходит к делу с другой стороны и обращает внимание на то, что эстетические идеи Богданова тесно связаны с его концепцией «всеобщей организационной науки», с выдвижением на место принципа отражения принципа организации. «Отказавшись от материалистической теории отражения и положив в основу художественного творчества «организационный принцип», Богданов «освободил» искусство от его объективного содержания, от объективной истины, то есть от основы реализма в искусстве. как правдивого отражения действительности»,— пишет Денисова.

В связи с этим она обращается к высказываниям В. И. Ленина о значении правды, истинного познания для борьбы за коммунизм. «Нам нужна *полная и правдивая* информация. А правда не должна за-

висеть от того, кому она должна служить»,— писал Ленин Варге 1 сентября 1921 года. «Несколько позже, на XI съезде партии,— отмечает Л. Денисова,— Ленин развил эту мысль, показав на примере, как надо использовать правду в интересах коммунизма, даже если она высказана классовым врагом (в данном случае Устряловым). А ложь, если она высказана даже коммунистами и является «комвраньем» (Ленин употребляет созданное им самим слово), то она, хотя и предназначалась для служения революции, идет ей во вред. «Нам очень много приходится слышать, мне особенно по должности, сладенького коммунистического вранья, «комвранья», кажинный день, и тошнехонько от этого бывает иногда убийственно».

Большое место уделено в сборнике изучению полемики, развернувшейся в первой половине двадцатых годов по вопросу о пролетарской культуре и о пролетарском искусстве и «попутчиках». Авторы сборника подвергают критике капитулянтские позиции Троцкого и убедительно показывают сильные и слабые стороны напостовцев и Воронского. В частности, В. Роговин справедливо пишет, что Воронский на практике, в своих статьях о писателях-коммунистах (например, об Аросеве и Либединском), делает выводы, противоречащие его суждениям о невозможности пролетарской литературы, а в мае 1924 года в докладе на совещании в ЦК РКП(б) подвергает такого рода суждения уже и частичному пересмотру.

Через все статьи сборника проходит критика формализма и вульгарного социологизма. Как уже говорилось, специальную (самую большую в сборнике) работу посвятил этой теме С. Машинский. Убедительно показывая, что формализм сыграл отрицательную роль в истории советской эстетической мысли и причинил существенный урон советской литературе, он решительно отмечает попытки В. Эрлиха и других «советологов» США выдать формализм за чуть ли не высшее достижение советского литературоведения. В то же время С. Машинский отмечает, что нельзя недооценивать стремление формалистов уяснить специфическую природу художественного творчества, что «в отдельных работах сторонников «формального метода» — наиболее одаренных и обладавших серьезными знаниями — можно найти содержательные и глубокие наблюдения в области поэтики, в изучении различных

элементов художественной формы, писательского мастерства».

С исторической точки зрения подходит С. Машинский и к вульгарному социологизму. Говоря с В. Фриче и В. Переверзеве, он не упускает из виду их положительной роли в борьбе с различными идеалистическими антимарксистскими теориями в области искусствознания и литературоведения, но категорически отвергает их позитивные концепции.

Главное направление советской эстетической мысли участники сборника связывают со взглядами В. И. Ленина на литературу и искусство, с деятельностью и эстетическими позициями А. В. Луначарского и А. М. Горького. К Ленину и его пониманию проблем искусства часто обращаются все авторы статей, помещенных в книге, Луначарскому и Горькому посвящены специальные статьи. Работа В. Келдыша «Горький о социалистическом реализме» особенно актуальна. Дело в том, что высказывания Горького о социалистическом реализме нередко пытались истолковать в духе приукрашивания, романтизации и односторонне утверждающего изображения действительности. Всесторонне исследовав материал, Келдыш приходит к выводам, что общему направлению и целям эстетической концепции Горького чужды субъективистское приукрашивание действительности, «слова казенного, холодного восхитения», что Горький «решительно возвышает творчество, достоверно воссоздающее «внешнюю» действительность, над художественным миром, творимым самим автором», что цель искусства, по Горькому, — «не искусственное вычленение положительных сторон жизни (хотя и главных), а уяснение истины во всем ее объеме. Но истины не только той, которая есть, но и которая будет».

Достоинства книги «Из истории советской эстетической мысли» очевидны. Но есть в ней и недостатки и положения, с которыми можно спорить.

Некоторые статьи сборника я бы упрекнул в том, что история советской эстетической мысли рассматривается в них почти в полном отрыве от истории советского искусства и лигеагуры, от истории советской критики и журналистики. Думаю, что это едва ли плодотворно, хотя, разумеется, у истории эстетической мысли есть свой особый предмет исследования. Но отсутствие живой и органической связи с кон-

кретными фактами и событиями литературной жизни придает изложению несколько отвлеченный, а иногда и не столь убедительный характер.

Возьмем, к примеру, немаловажный вопрос об эстетических позициях А. Воронского и журнала «Красная новь».

И. Маца пишет: «В начале 20-х годов в своих теоретических работах «Искусство как познание жизни и современность» (1923), «Искусство и жизнь» (1924) Воронский на словах еще защищал познавательное значение искусства, его классовую природу в классовом обществе, призывал овладевать марксизмом в вопросах литературной теории и критики». Но почему же «на словах»? Даже самые ярые противники Воронского не оперировали в полемике с ним этой пресловутой формулой: «на словах». Даже Л. Авербах говорил: «Мы уважаем заслуги Воронского».

В. Роговин утверждает, что Воронский «с некоторым даже спасением смотрел на эволюцию того или иного писателя в сторону коммунистических идей», а В. Полевой полагает, что «позиции «Красной нови» привлекли к себе тех, кто склонялся к безыдейному отражательству». Но достаточно было, не полагаясь на расхожие мнения, основательно ознакомиться с литературно-критической деятельностью Воронского и журналом «Красная новь», чтобы убедиться в противном. «Примерно до 1926 года «Красная новь» выполняла все заказы партии. Несомненно, что она соединяла художников с Октябрьской революцией и Советской властью», — заявил в апреле 1927 года на обсуждении журнала «Красная новь» в ЦК ВКП(б) заведующий Отделом печати ЦК С. И. Гусев; «Вами создан самый лучший журнал, какой возможно было создать...» — писал Воронскому в марте 1927 года Горький.

Не столь давно в «Очерках истории русской советской журналистики» (М. 1966) «Красной нови» и Воронскому посвятил специальную работу М. Кузнецов. По его мнению, «Красная новь» «стала центром формирования талантливых сил молодой советской литературы. Читатель впервые со страниц «Красной нови» узнал «Мои университеты», «Дело Артамоновых», «Жизнь Клима Самгина», «Партизан» и «Бронепоезд 14-69», «Барсуков» и «Вора», «Виринею» и большую часть «Конармии», «Аэлигу» и «Голубые города», «Цемент» и «Перемену». В поэти-

ческом отделе журнала были опубликованы «Анна Снегина», «Русь Советская» и вообще большая часть стихов Есенина, «Дума про Опанаса», «Сами», стихи Маяковского и Асеева, Пастернака и Сельвинского, Инбер и Казина. Наконец, критический отдел журнала был одним из наиболее интересных в литературной журналистике двадцатых годов. Литературные портреты, написанные Воронским и часто появлявшиеся на страницах журнала, читались наравне с прозой и стихами». Можно, разумеется, не соглашаться с М. Кузнецовым, но, вероятно, в интересах дела нельзя было обходить его работу (и упомянутые «Очерки» в целом) молчанием, как это сделали участники рецензируемого сборника.

Недостаточное внимание к истории критики дает себя знать и в других случаях.

На страницах 166—169 сборника С. Машинский пишет о борьбе советского литературоведения с вульгарно-социологической методологией В. Перверзева. Дискуссию о концепции Перверзева он правильно ставит в связь с обострением идеологической борьбы в конце двадцатых годов, с наступлением ленинизма в области философии, исторической науки, литературоведения. Упоминает он и о «немалых издержках» дискуссии о Перверзеве, но почему-то связывает их лишь с лозунгом «за плехановскую ортодоксию» и говорит о них «под сурдинку», более в сноске и словами, к делу не идущими и едва ли точными. Критика Перверзева на пленуме правления РАПП сопровождалась, по его выражению, «характерными для тех времен крепкими выражениями», а резолюция Комакадемии, «написанная в духе и стиле своего времени, была далеко не безгрешна и заключала в себе немало вульгаризаций». Но разве дело было лишь в крепких выражениях и в прегрешениях? И причем тут «дух и стиль времени»? Не вернее ли говорить о «духе и стиле» напостовцев, литфронтовцев, рапповцев, допускаявших в годы, предшествовавшие постановлению ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций», разного рода «перегибы» в литературном движении? Критики РАПП со свойственной им энергией выискивали тогда правые и левые уклоны в литературе и искусстве и выдвинули устрашающий лозунг «союзник или враг». Группа «Настоящее» и Сибирская АПП подняли клеветническую кампанию против Горького и заявили, что «обойдемся

и без попутчиков». Некоторые литераторы выступили с предложением пересмотреть резолюцию ЦК ВКП(б) «О политике партии в области художественной литературы» как якобы устаревшую и не учитывающую обострения классовой борьбы в литературе. Даже в детской литературе были найдены классово враждебные элементы в лице С. Маршака и К. Чуковского. До каких «крепких выражений» доходили тогда некоторые критики и литературоведы, можно судить по докладу С. Динамова «О задачах на фронте искусства в связи с письмом тов. Сталина в журнал «Пролетарская революция», который он сделал в Комакадемии в декабре 1931 года. Динамов нашел гротескизм у Горбачева, Лелевича, Майзеля, правооппортунистические взгляды у Маца, Нусинова, Полонского, идеологию Второго Интернационала у Воронского и Горбова, меньшевистские ошибки у Ермилова, Афиногенова, Либединского, Лузгина, Сутырина, Селивановского. «Надо заострить внимание и на немарксистских, неленинских теориях Луначарского», — сказал Динамов. И в заключение, говорится в отчете, Динамов останавливается и на своих ошибках, вскрывая в ряде своих статей влияние меньшевизма, деборинщины, Перверзева и т. д. («Вечерняя Москва», 30 декабря 1931 г.).

Партия неоднократно выступала против «перегибов» в литературном движении. Решительно возражал против групповщины, проработок и применения «дубинки» в литературе Горький.

На странице 185 С. Машинский пишет об идейной жизни советского общества в тридцатые годы и утверждает, что «она становится более интенсивной, широкой по своему духу, более восприимчивой к общенародным интересам». В подтверждение он ссылается на празднования юбилеев Пушкина (1937 год) и других классиков многонациональной литературы Советского Союза, на выступления партийной печати, в особенности «Правды», против вульгарного социологизма. Все это верно. Ссылки Машинского убедительны, но общая характеристика идейной жизни явно не учитывает всей полноты фактов и событий. И опять-таки уже обращение к истории критики помогло бы исследователю взглянуть на действительность более широко и всесторонне. В принятом ЦК ВКП(б) в 1940 году постановлении «О литературной критике и библиографии» говорилось, что литературная критика и биб-

лиогрaфия «находятся в крайне запущенном состоянии», что «в большинстве газет и журналов за последнее время почти исчезли литературно-критические материалы», что «большинство критиков не занимается вопросами советской литературы и не влияет на ее формирование», что «писатели в свою очередь не принимают участия в разборе и оценке литературных произведений и не выступают в печати с литературно-критическими статьями».

Кстати сказать, не слишком ли торопится С. Машинский похоронить вульгарный социологизм? Читая страницы 185—186, можно подумать, что в тридцатые годы вульгарный социологизм был ликвидирован, что в атмосфере того времени он «утрачивал какие бы то ни было питательные корни». Но несколько не преуменьшая ни силы, ни значения той критики, которой вульгарный социологизм подвергся в тридцатые годы, я все же думаю, что исследователь допускает здесь преувеличения. Проходят годы, появляется в 1950 году статья А. Белика «О некоторых ошибках в литературоведении», и С. Машинский вынужден констатировать, что хотя вульгарный социологизм «уже давно изжит, однако же различные его рецидивы на протяжении многих последующих лет давали еще себя знать в той или иной статье, а то и книге». Проходит еще лет десять, и исследователь снова должен сетовать, что мы до сих пор встречаемся с «отрыжками» вульгарной социологии, что «пережитки вульгарного социологизма чрезвычайно живучи». На этот раз он имеет в виду книгу П. Мезенцева «Эстетические взгляды В. И. Ленина», вышедшую в 1959 году в Кишиневе, и книгу М. Мальцева «Проблема социально-политических воззрений А. С. Пушкина», вышедшую в 1960 году в Чебоксарах. Но, несомненно, «рецидивы», «отрыжки» и «пережитки» не сводятся только к названным работам. Их, наверное, можно найти и поближе. Особенно если обратиться к критике и вспомнить о некоторых литературно-критических набегах.

Так мы вслед за авторами сборника подошли к важному и сложному вопросу о корнях и причинах живучести вульгарного социологизма. Каковы истоки вульгарного социологизма? Почему он захватил столь широкий круг литературоведов и критиков? — спрашивает С. Машинский. Возникновение вульгарного социологизма он трак-

тует как реакцию на крайний субъективизм буржуазной социологии: «одна крайность порождала другую», «то была своеобразная «детская болезнь» левизны». После Октябрьской революции, которая (по словам исследователя) «взвихрила общественное бытие и сознание людей», закономерно было, что на смену «абстрактным, хилым и безликим построениям старого либерального литературоведения» рождалась новая методология, основанная на представлении о том, что история — это борьба классов. «Отсюда, — пишет С. Машинский, — возникал соблазн перехлестов, бескомпромиссных приговоров, не учитывающих, однако, сложности и противоречивости явления. Вульгарная социология и была таким перехлестом».

Но едва ли можно удовлетвориться таким объяснением. Оно имеет скорее психологический характер и, в сущности, не дает ответа на поставленные вопросы. «Крайности», «перехлесты», «детские болезни»? Но они сами нуждаются в социально-историческом объяснении. И неужели всегда и везде «закономерны» «перехлесты» и «крайности»? Или только в особых условиях? В каких же?

Можно понять С. Машинского: ответить на эти вопросы трудно. Но надо бы попытаться. Вот, говоря о вульгарном социологизме, он упомянул о «детской болезни левизны». А может быть, именно в этом направлении и надо искать ответ на вопрос о корнях вульгарного социологизма? Иначе говоря, не является ли вульгарный социологизм одной из разновидностей мелкобуржуазной фальсификации марксизма-ленинизма в духе псевдореволюционности, левой фразы и соблазнительного упрощения и схематизма? В известном письме «О пролеткультах» ЦК РКП обращал внимание на то, что руководство пролеткультами захватывают в свои руки мелкобуржуазные элементы; В. И. Ленин писал по поводу статьи В. Плетнева «На идеологическом фронте»: «Это же *фальсификация* исторического материализма! Игра в исторический материализм!»

Что же касается живучести вульгарного социологизма, то, вероятно, здесь следовало бы обратить особое внимание на воздействие литературной критики на теорию литературы, эстетику, методологию. О том, что вульгарно-социологические теории оказывали влияние на критику, на лозунги и

декларации литературного движения, на практическую деятельность определенных литературных групп,— об этом хорошо известно. Об этом много говорится и в рецензируемом сборнике. Вульгарная социология подводит теоретические основания под литературные проработки и «разоблачения», под злоупотребления критической дубинкой. Но обычно не учитывается обратное воздействие псевдореволюционной литературной критики и распространяемой ею атмосферы на литературоведение, на укрепление в нем позиций вульгарного социологизма. А между тем такое воздействие несомненно. Проработки и обличение классиков (о чем выразительно пишет С. Машинский) не связаны ли с проработкой и обличениями «попутчиков» и такими идеями и лозунгами, как «союзник или враг» или «задача строительства проле-

тарской культуры может быть разрешена только силами самого пролетариата»? Напомним, что В. И. Ленин назвал последнюю идею «архифальшью». Подобного рода «левые» «установки» были явным искажением учения Ленина о культурной революции, ленинской политики в области искусства и литературы, но зато как нельзя более соответствовали мелкобуржуазному радикализму и упрощенчеству вульгарной социологии. Выходит, что вульгарная социология питает ура-революционную фальсификацию марксизма-ленинизма в области художественной критики и литературной политики, а та в свою очередь питает вульгарную социологию. Так называемая «культурная революция» в Китае демонстрирует это с предельной наглядностью.

А. ДЕМЕНТЬЕВ.



## ПЛОДОТВОРНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

А. Бабореко. И. А. Бунин. Материалы для биографии (с 1870 по 1917). «Художественная литература». М. 1967. 303 стр.

Подзаголовок книги — «Материалы для биографии» — точно определяет своеобразие ее жанра, имеющего свои границы и возможности. Автор А. Бабореко в течение долгих лет кропотливо, целеустремленно собирал и систематизировал архивный и малоизвестный материал об Иване Алексеевиче Бунине. Книге предшествовали многочисленные публикации бунинских писем и биографических документов, хранящихся в архивах и музеях Москвы, Ленинграда, Орла, Ельца. Подспорьем в работе А. Бабореко была его переписка с ныне уже покойной женой Бунина В. Н. Муромцевой, с душеприказчиком писателя Л. Ф. Зуровым, близким бунинским другом поэтессой Г. Н. Кузнецовой, его бывшим литературным секретарем журналистом Андреем Седых и т. д., а также свидетельства мемуаристов, рассеянные по периодическим и труднодоступным изданиям.

Вышедшая одновременно с последним, девятым томом наиболее полного Собрания сочинений Бунина книга А. Бабореко вводит в обращение множество фактов и сведений о жизни писателя, знакомит нас с его высказываниями о литературе, о собственном творчестве. Собранные воедино, все эти факты, все эти драгоценные пылинки позволяют воссоздать облик живого Бунина без

«литературного грима», круг его интересов, его взаимоотношения со знаменитыми современниками: Л. Толстым, А. Чеховым, М. Горьким, А. Куприным, С. Рахманиновым.

Непрерывность потока фактов делает возможным проследить биографию Бунина (вплоть до 1917 года) в ее драматических поворотах, переменах и одновременно в ее единстве. Однако если широкому читателю, любителю литературы, книга А. Бабореко о Бунине будет ценна и полезна именно целостностью биографической канвы, то специалиста-литературоведа она больше привлечет обилием малоизвестных или просто неизвестных доселе частных, подробностей из жизни и работы выдающегося русского писателя. Здесь нужно сказать еще и о безукоризненной точности собранных фактов, дотошном знании автором предмета — достоинство первостатейное и не столь уж частое.

А. Бабореко приводит немало сведений о Бунине, которые позволяют уточнить, а в ряде случаев изменить некоторые сложившиеся представления и оценки. Особенно много дополнительных штрихов вносит он в облик молодого Бунина — говорится ли о романе «Увлечение», который был начат осенью 1886 года шестнадцатилетним юно-

шей, или о неизданной статье 1888 года «Поэзия и отвлеченное мышление» (оба автографа хранятся в Музее Тургенева в Орле), прослеживается ли по письмам Бунина его мучительное чувство к Варваре Пашенко или приводятся его позднейшие малоизвестные высказывания, в которых соотносится реальность и вымысел, автобиографическое и додуманное в романе «Жизнь Арсеньева», преобразованно воскрешающем юношеские впечатления писателя.

Расположенные по хронологическому принципу и отобранные с чувством меры и такта, биографические документы позволяют читателю даже в глубоко личных признаниях Бунина увидеть и нечто иное, большее.

Скажем, опровержение ходячего мнения о будто бы сухости и безмерной эгоистичности его натуры. В письмах к старшему брату Юлию Алексеевичу раскрывается в полной мере любовная драма Бунина, женившегося в 1898 году в Одессе на Анне Николаевне Цакни. «Мне самому трогательно вспомнить, — исповедовался он Ю. А. Бунину, — сколько раз я раскрывал ей душу, полную самой хорошей нежности — ничего не чувствует — это осиновый кол какой-то... Ни одного моего слова, ни одного моего мнения ни о чем — она не ставит даже в тринку». Но вот когда этот заведомо неудачный брак распался, как, оказывается, мучился этот «сухой» и «эгоистичный» человек! «Ты не поверишь, — писал он брату Юлию в конце 1899 года, — если бы не слабая надежда на что-то, рука бы не дрогнула убить себя... Описывать свои страдания отказываюсь, да и не к чему. Но я погиб — это факт совершившийся... Давеча я лежал часа три в степи и рыдал и кричал, ибо большей муки, большего отчаяния, оскорбления и внезапно потерянной любви, надежды, всего, может быть, не переживал ни один человек... Подумай обо мне и помни, что умираю, что я гибну — неотразимо... Как я люблю ее, тебе не представить... Дороже у меня нет никого». Напомню читателю, что строки эти принадлежат не романтическому юноше, но тридцатилетнему мужчине со сложившимся характером, с определившейся писательской судьбой.

Подобные штрихи существенно обогащают наше представление о Бунине. Но, понятно, главными, определяющими весь характер книги А. Бабореко оказываются сведения о напряженной литературной жизни

Бунина, об атмосфере творческого содружества, приятий и отталкиваний, о взаимоотношениях с писателями-современниками, причем многочисленными именами — А. Куприна, Н. Телешева, Л. Андреева, С. Найденова, Б. Зайцева и других — возникают всякий раз на скрещении принципиальных оценок, суждений о бунинском творчестве, знаменательных событий в его литературной биографии. Особенно интересными представляются факты, раскрывающие или, вернее, еще только приоткрывающие сложную картину взаимоотношений Бунина и Горького.

В специальной литературе на эту тему, уже довольно обширной, их отношения до сих пор заметно упрощались и — как бы это сказать точнее — «высветлялись», что ли. Чужая душа — всегда потемки, и ариадниной нитью в этом лабиринте служила обширная переписка Горького и Бунина, опубликованная с возможной полнотой в «Горьковских чтениях 1958—1959 гг.». От письма к письму было заметно нарастание обоюдной симпатии, сближение, особенно после наступления общественной реакции, когда многие прежние «знанцевцы» изменили демократическим заветам и когда оказалось, по словам М. Горького, что «только Бунин верен себе, все же остальные пришли в какой-то дикий раж» (письмо Е. Н. Чирикову, март 1907 года). Горький все более высоко оценивает новые бунинские произведения, а, скажем, в апреле 1917 года пишет на своей книге дарственную надпись: «Любимому писателю и другу...» В свою очередь и Бунин многократно восхищается талантом Горького, благодарит его за помощь и поддержку, дружески встречается с ним, бывая наездами на Капри, наконец месяцами оставаясь и проводя там время «в адской работе».

Разрыв отношений наступил сразу и необратимо. И позднее, за гранью революции, Бунин резко переосмысляет свою прежнюю близость к Горькому, судит ее поздним судом в известном своими антиреволюционными настроениями дневнике «Окаянные дни».

«Окаянные дни» писались в 1918—1919 годах, то есть немногим более года спустя после дружеского расставания Бунина с Горьким в Петрограде («И расстались мы с ним дружески, — вспоминал Бунин, — в Петербурге 17 г., — расцеловались на прощанье, — навсегда, как оказалось...»). Неужто Бунин разом переосмыслил все прежние отношения, опрокинул их? Нет. Все было

сложнее. Была дружеская близость, взаимные хвалы. И рядом с этим как бы вторым планом шло и иное: некоторая натуажная преувеличенность, театральность приятельства. По крупницам об этой сложности, надтреснутости дружбы можно догадаться, читая старые мемуары (например, А. Н. Себровова-Тихонова), и приведенное в книге А. Бабореко письмо самого Бунина 1911 года к Юлию Алексеевичу с Капри — о встречах с Горьким («...чувствовало мое сердце, что энтузиазму этой «дружбы» приходит конец, — так оно и оказалось, никогда еще не встречались мы с ним на Капри так сухо и фальшиво, как теперь»), и дневниковые заметки племянника Бунина Н. А. Пущешникова, также приводимые в книге.

В желчных бунинских отзывах (недаром домашним его прозвищем было Судорожный) о Горьком достойно внимания то, что все они предназначаются, так сказать, для «внутреннего пользования», рассчитаны только на «своих», семейных. Но это именно те оценки, которые потом, в эмиграции, Бунин перестанет таить. Речь идет в данном случае не о том, чтобы еще раз упрекнуть Бунина в резкой тенденциозности, сугубой пристрастности его оценки Горького. Это очевидно, и на это и пороха тратьте не надо. Важно, что дружба Бунина и Горького, обычно несколько наивно описываемая, на деле выглядела иначе.

Закономерно, что в книге, носящей подза-

головок «Материалы для биографии», немаловажное место занимают страницы воспоминаний о Бунине Веры Николаевны Муромцевой, ставшей в 1907 году женой писателя и с тех пор делившей с ним все радости и трудности, выпавшие на его пути. Нынче ее свидетельства ценны вдвойне — потому, что, во-первых, они касаются важнейших произведений Бунина, а во-вторых, потому, что вне рецензируемой книги они были бы просто-напросто недоступны исследователям, так как рассеяны в письмах В. Н. Муромцевой-Бунинной к А. Бабореко. Таково важное упоминание о начале работы Бунина над такой «тузовою» (выражение М. Горького) вещью, как «Деревня», еще в 1908 году.

Книга А. Бабореко, бесспорно, ценный вклад в изучение замечательного, богатого творчества И. А. Бунина, достойного премьера «классического» реализма. Жаль, однако, что она обрывается 1917 годом, за пределами которого осталось более тридцати лет творческой жизни Бунина («эмигрантские» страницы книги даны сокращенно, так сказать, «сверх программы»).

Удивляет и небольшой (15 тысяч) тираж этой книги, не соответствующий тому интересу, какой нынче наблюдается со стороны многомиллионного читателя к творчеству Бунина, к его жизни, к его личности.

О. АЛАДЬИН.



## ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ КИТАЙСКОЙ ПОЭЗИИ

Л. Эй д л и н. Тао Юань-мин и его стихотворения. «Наука». М. 1967. 494 стр.

Тысячу пятьсот пятьдесят лет тому назад начальник маленького уездного города Пэнцзэ на реке Янцзы по имени Тао Юань-мин узнал, что для проверки его правления из округа прибыл инспектор. Чиновники стали объяснять Тао, что следует надеть парадный пояс и выйти для встречи гостя. «Я не могу за пять доу риса гнуть спину перед местным ничтожеством», — ответил Тао Юань-мин и в тот же день покинул службу. Так рассказывает официальная «История династии ранняя Сун» о великом поэте Китая Тао Юань-мине, место которого в истории китайской литературы академик В. М. Алексеев сравнил в ролью Пушкина в развитии русской поэзии.

Тао Юань-мин (365—427) не был первым

поэтом в своей стране, но он приблизил поэзию к обыденной жизни, потому что приблизился к ней сам, уйдя с государственной службы и живя в деревне на лоне природы, под сенью пяти больших ив. Деревня, где жил и умер поэт, впоследствии стала местом поэтического паломничества. Через пятьсот лет после смерти Тао сюда приезжал великий Бо Цзюй-и, а через 800 лет — уже стариком — поэт и новеллист Юань Мэй. Они заставляли измененный и в то же время все тот же мир. Бо Цзюй-и писал, обращаясь к своему предшественнику:

Я уже не увидел  
под оградой твоих хризантем.  
Но еще задержался  
в деревнях расстилавшийся дым.

Автор книги о Тао Юань-мине — ученый и переводчик Л. Эйдлин. Он сам побывал в местах, где жил поэт, видел те же ущелья и горы, и даже, встретив девочку-школьницу и спросив ее фамилию, услышал в ответ — Тао. Личные впечатления автора чрезвычайно уместны в книге.

Когда исследователь стремится представить жизнь поэта, столь отдаленную во времени, то прежде всего он сталкивается с легендой, которая вытерлась в плоскопсихрохроматическом представлении о поэте. Тао Юань-мин, несмотря на огромную и благоговейную любовь к нему в Китае, этого тоже не избежал. Исследователю пришлось не только быть чрезвычайно осторожным в фактах (их было очень мало), но и дать свое понимание личности поэта и его нравственных идеалов.

Тао вошел в историю китайской литературы не только как поэт, но едва ли не более как личность. Китайская литература с древности уже ведет разговор о гражданской нравственности, о высокой доблести искреннего слова, она создала даже идеал мудреца-советника, состоящего на службе у князя или государя и пытающегося своим советом направить правителя на истинный путь человеколюбия. О древних мудрецах Тао Юань-мин говорит в стихах не раз. Но сам не следует их примеру. Не следует потому, что бесплодность осуществления этого пути советника при сильных мира сего он понял быстро. Вне службы Тао Юань-мин нашел свою простую жизнь — здесь и способ жить, питаясь плодами трудов своих, и жизнерадостная успокоенность, и сохраненная верность себе. Его примеру на протяжении веков следовали многие талантливые литераторы не только в Китае, но и в Корее, каждый раз вспоминая при этом Тао.

Обо всем этом рассказано в книге Л. Эйдлина, книге необычной для нашего литературоведения не столько по теме и сюжету, сколько по оригинальному замыслу. Мы привыкли к сборникам переводов и книгам о жизненном пути и творчестве иноземных поэтов. Книга Л. Эйдлина неожиданно сочетает в себе и то и другое. Это и исследование о творческом пути Тао Юань-мина, и одновременно книга переводов его поэтических циклов, таких, как «Наставляю сына», «Возвратился к садам и полям», «За вином» и др. Переводы составляют вторую часть книги, но и здесь они поданы необычно, а как бы вмонтированы в исследование. Автор

стремится создать перевод предельно точный и вместе с тем художественный и выразительный, определяемый им самим как «перевод-документ». Он подробно обосновывает в книге свои принципы перевода, которые будут интересны переводчикам поэзии разных стран и которые переводчики китайской поэзии давно уже и с успехом используют.

В книге представлена поэзия Тао Юань-мина во всех ее многосторонних связях. Вот образ мстителя Цзин Кэ, пытавшегося убить ненавистного тирана, из стихотворения «Воспеваю Цзин Кэ».

Человек благородный  
не колеблясь умрет за друга  
Взял свой меч драгоценный  
и покинул столицу Яня.  
Кони траурно-белы  
на широкой дороге ржали.  
Это в гордом волненьи  
не меня ль они провожают?  
Встали волосы дыбом,  
высоко поднимая шапки,  
Тою грозною силой  
разрывая шнуры завязок.  
Пьют прощальную чашу,  
где Ишуй-река протекает.  
И куда ни посмотришь —  
восседает толпой герои.

Л. Эйдлин прослеживает историю этой темы в древнекитайской прозе и поэзии до Тао и показывает, как Тао Юань-мин передал эту тему своим преемникам, ганским поэтам. Он умело вплетает в свое повествование (именно повествование, а не разбор стиха) мысли средневековых комментаторов — в данном случае Лю Ли (XIV век) и знаменитого философа Чжу Си (XII век). И здесь же, для подкрепления своих мыслей о поэзии Тао, — вдруг строки из прекрасного стиха А. Ахматовой «Данте», столь неожиданные и столь уместные в разговоре о древней поэзии Китая. Так интересно, с глубоким знанием творчества Тао Юань-мина, всех его предшественников, продолжателей, комментаторов и исследователей рассказывает Л. Эйдлин о поэтических циклах Тао. Читатель верит исследователю до конца, потому что перед его глазами не отдельные, вырванные из стихов строки, а целые стихи, данные не просто в точном переводе, но с пояснением, почему те или иные образы переведены именно так и почему в данном случае неверны английские или немецкие переводы этих стихов. Сделанные без должного учета старинных комментариев и понима-



ния традиционных поэтических метафор или выражений.

Все это вместе доносит до русского читателя целый мир старинной китайской поэзии во всей ее простоте и одновременно сложности, связанной с огромной традиционностью древней китайской культуры. Книга удивительно точна, в ней трудно найти ошибку или недочет, явление почти исключительное для исследования и перевода из китайской литературы.

Достигнуто это многолетним кропотливым трудом и бесчисленными проверками своих собственных выводов и переводов.

Книга Эйдлина — книга нюансов и мыслей. В ней разбросаны удивительно интересные замечания о китайской поэзии, будь то мысль о ее традиционности, которая часто тождественна народности, или о конфуцианской классике, на которой был воспитан поэт, многими учеными считавшийся далеким от конфуцианства. И можно только сожа-

леть, что не все мысли эти развиты, что не всегда подробно сказано автором о жанрах, в которых творил Тао Юань-мин, и о тех законах жанра, которые наложили свой отпечаток на поэзию и прозу Тао. Об этом можно сожалеть, но этого нельзя поставить в упрек автору, потому что нельзя в одной, даже большой книге сказать все о крупном поэте, ставшем образцом для десятков и сотен поколений поэтов стран Дальнего Востока.

Книга «Тао Юань-мин и его стихотворения» принесет радость каждому любителю поэзии, если попадет к нему (тираж ее до смешного мал — 1900 экземпляров), а ведь написана она далеко не для одних востоковедов. Ее приятно взять в руки, она со вкусом оформлена художником Евг. Коганом, и ее украшает гравюра М. Пикова, изображающая поэта в саду, у куста столь любимых им хризантем.

**Б. РИФТИН.**

★

### Политика и наука

## МУЖЕСТВО ЛЕНИНГРАДА

**Д. В. Павлов. Ленинград в блокаде. Воениздат. М. 1967. 206 стр.**

Книга Д. В. Павлова обладает достоинством высокой правды. Очень деловая, серьезная, отличающаяся редким знанием всех подробностей страшных дней осажденного Ленинграда, книга эта заметно выделяется в ряду родственных ей по теме. Описаниям страданий, боли и горя ленинградцев автор предпочитает документы борьбы, цифры, таблицы и сводки, характеризующие положение города. Но именно эта спокойная деловитость обладает особой впечатляющей силой.

В самые трудные дни Ленинграда, от сентября 1941-го по февраль 1942-го, автор был непосредственным свидетелем и участником описываемых им событий в качестве уполномоченного Государственного Комитета Оборона по продовольственному снабжению города. Он много видел, знал, к нему по ходу дела стекались различные сведения. Все это придает неоспоримую достоверность материалу книги. А скромность и простота изложения, ясность и строгость стиля хорошо соответствуют драматическому содержанию.

Книга дает общий очерк ленинградской

эпопеи от первых ее тревожных дней до победы. Многие страницы посвящены стратегии и тактике ленинградской обороны, характеристике главнейших военных операций, связанных с прорывом вражеской блокады. Это позволяет полнее оценить ленинградскую эпопею на фоне общей картины второй мировой войны.

И все-таки главное в книге Д. В. Павлова, особая ее ценность — это страницы и главы, посвященные продовольственному положению города в дни его роковых испытаний. Именно недостаток продовольствия и разразившийся вследствие этого голод вызвали наибольшие потери и привели к небывалым по своим масштабам бедствиям. Важно отметить, что многие страницы книги Д. В. Павлова носят не только описательный, но и аналитический характер. Автор не скрывает ни трудностей, ни просчетов, усугубивших трагическое положение осажденного Ленинграда. Так, он констатирует: «С большими трудностями за июль—август в глубь страны было вывезено не более 400 тысяч человек, тогда как необходимо было вывезти в два-три раза больше». В городе

осталось до четырехсот тысяч одних только детей, не говоря уже о большом количестве престарелых мужчин и женщин. Понятно, что это создавало множество дополнительных трудностей и в обороне и в снабжении.

Причиной медлительности в осуществлении эвакуации была «глубокая убежденность населения, а также городских партийных и советских организаций в том, что врагу не удастся близко подойти к Ленинграду». Представители местных органов власти, пишет Д. В. Павлов, «рассматривали отказ граждан от эвакуации как патриотическое чувство и гордились этим, тем самым невольно поощряя людей к невыезду». В результате иные из ленинградцев не могли не думать, что уезжающий поневоле оказывается в положении маловера. Между тем «нужны были крутые административные меры, чтобы люди покинули город, как повелевал ход развивающихся событий», — справедливо отмечает автор.

К тому времени, как фашистские войска, захватив Шлиссельбург, отрезали последнюю железнодорожную магистраль, ведущую в глубь страны, и замкнули кольцо блокады, в Ленинграде оказалось около трех миллионов человек гражданского населения, считая жителей ближайших пригородов, а также около ста тысяч беженцев.

В тот же день, 8 сентября 1941 года (с этой даты исчисляется срок ленинградской блокады), противником был осуществлен массированный налет на город и, кроме фугасных, сброшено большое количество зажигательных бомб. Возникшие в жилых районах пожары были быстро ликвидированы самим населением. Но, к сожалению, слабым звеном оказалась охрана жизненно важных для последующей судьбы города складов. «Снабжение населения, хранение продуктов, их учет и тем более расход не отвечали требованиям создавшейся обстановки, — пишет автор. — Зерно, мука, сахар непредусмотрительно хранились в двух-трех местах, и за эту оплошность пришлось частично поплатиться». Так получилось, например, с Бадаевскими складами, где мука, сахар и другие продукты содержались в старых деревянных постройках, которые «быстро воспламенились, а так как пожарные разрывы между складами были небольшие (10 метров), то огонь одного горящего склада сливался с другим, образуя большое пламя, что крайне затрудняло борьбу с ним».

Во всем этом, видно, сказались получившие известное распространение упрощенные представления о том, что война с самого начала будет вестись на территории агрессора. С точки зрения таких представлений не было необходимости проводить оборонительные мероприятия в своем глубоком тылу.

Но как бы отчаянно тяжело ни было положение, сложившееся в Ленинграде, надо было продолжать борьбу, отстоять город от фашистского нашествия, выдержать осаду.

Примеры поразительного мужества и бесстрашия ленинградцы показали с первых дней исторической обороны родного города.

«В трамвайный парк на Сердобольской улице упала бомба. Провиб междуэтажные перекрытия и пол, она ушла в подвал и не взорвалась. Немедленно из опасной зоны вывели всех людей, участок оцепили и о случившемся сообщили районному штабу МПВО. Вскоре прибыл командир взвода одного из отрядов МПВО — молоденькая, худенькая, с черными живыми глазами девушка, Ковалева Анна Николаевна, не имевшая еще практического опыта по обезвреживанию бомб. Она осмотрела пробину в полу, по ней примерно определила размер бомбы, зажгла свечу и смело полезла в подвал выполнять страшную работу...

Добравшись до бомбы, Ковалева стала молотком сбивать зажимное кольцо. С трудом сняв его, она вынула взрыватель и вывернула капсулю детонатора. Теперь чудовище стало безопасным. Когда Ковалева выбралась из подвала, ее спросили, как она себя чувствовала. «Немного волновалась, боялась, что свеча сгорит раньше, чем я выверну взрыватель, но все обошлось хорошо», — ответила Анна Николаевна.

...Ковалева за время блокады обезвредила более 40 бомб. Судьба (если можно применить это слово) благоволила к ней, она осталась жива и невредима. В настоящее время Анна Николаевна работает инженером в Ленинграде.

Люди, подобные Анне Ковалевой, поддерживали тот высокий дух Ленинграда, о котором с волнением повествует автор.

Просты и суровы страницы книги, посвященной борьбе с голодом. О трагедии матерей, бессильных помочь гибнущим от истощения детям, о том, как падали люди у станка и на улице, чтобы никогда не податься, и как «кладбища и подъезды к ним были завалены мерзлыми телами» — обо

всем этом сказано словами самой правды. В то же время автор предостерегает от необоснованных преувеличений, убедительно борется против них с проверенными данными в руках. «Жизнь ленинградцев была столь сурова,— пишет он,— что нет нужды историкам, писателям прибегать при освещении событий тех лет к «усилению света или углублению гьмы».

Книга «Ленинград в блокаде» показывает, что было сделано все, что только можно было сделать в сложившихся условиях для того, чтобы облегчить муки ленинградцев. Мы видим, ценой каких громадных усилий, какой изобретательностью и настойчивостью обеспечивались каждому жителю города эти вошедшие в трагическую и героическую летопись Ленинграда

Сто двадцать пять блокадных грамм  
С огнем и кровью пополам.

Стоит хотя бы вкратце привести здесь несколько примеров того, как достигалось продление ничтожных запасов муки в те дни, когда доставка продуктов была невозможна даже в минимально необходимых размерах. Овес со складов интендангства, проросшее под водой зерно с затопленной в озере баржи, хлопковый жмых, предназначенный в мирное время для сжигания в толках пароходов, химически обработанная сложным путем целлюлоза — все шло в дело, использовалось в виде примесей к муке на хлебозаводах.

«На пивоваренных заводах в солодовнях вскрыли полы и собрали 110 тонн солода. На мельницах за многие годы мучная пыль выросла слоями на стенах и на полах. За несколько дней эту пыль бережно собрали, обработали и использовали в хлебопечении. Трясли и били каждый мешок, в котором когда-то была мука». «На складах кожевенных заводов нашли небольшое количество шкур опойков (молодых телят). Из мездры

этих шкур варили студень, вкус и запах блюда был отвратительный, но с этим недостатком не считались. Из водорослей — ламинарии и анфельции — приготавливались кисели».

В то же время сотни грузовиков пробивались к озеру по лесным дорогам, которые строились в объезд перерезанному противником железнодорожному пути; готовились и шли в бой целые армии, чтобы отбросить врага от Тихвина; по льду Ладоги прокладывалась и совершенствовалась «дорога жизни»...

И все-таки с 20 ноября по 25 декабря 1941 года две трети жителей города должны были держаться только на этой голодной норме в 125 граммов. В декабре умерло от голода около 53 тысяч человек, в январе и феврале — до 200 тысяч. Всего, по данным комиссии, расследовавшей злодеяния немецко-фашистских захватчиков, голод унес в могилы 632 тысячи человек.

К концу 1942 года в результате многих поистине героических усилий, о которых коротко и точно рассказано в книге, удалось добиться сравнительно стабильного подвоза продовольствия по ледовой дороге через Ладожское озеро. Затем началась задержавшаяся в свое время эвакуация гражданского населения.

В человеческой истории, знавшей немало черных дней, пожалуй, не найдется трагедий, которые могли бы по своим масштабам сравниться с той, что выпала на долю Ленинграда. Но в памяти народов трагедия эта навсегда останется в героическом ореоле, ибо над всем ужасом перенесенных бедствий сияет подвиг людей, не сдавшихся врагу, не вставших на колени перед фашизмом. Подвиг этот явился свидетельством беспримерного мужества и стал одним из слагаемых победы, давшей новые надежды миру.

Н. ЖДАНОВ.

★

## НЕПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

И. Ф. Сусл о в. Экономические проблемы развития колхозов (Темпы роста и условия расширенного воспроизводства). «Экономика». М. 1967. 245 стр.

Во вступлении к своей книге И. Ф. Сусл о в замечает, что от того, как обстоят дела в деревне, зависит благосостояние всего населения страны. «С 1949 по 1953 г. включительно колхозное производство топталось

почти на одном и том же уровне. В 1954—1958 гг. среднегодовой прирост продукции в колхозах составил около 12%, а в последующие годы он упал до 1,5—2%». (Автор рассматривает состояние нашего сельского хо-

зайства на 1 января 1965 года.) Главной причиной такого замедления темпов автор считает «резкое снижение эффективности функционирующих фондов», вызванное недостатками и ошибками в планировании капитальных вложений. Деньги, материалы и рабочая сила порой без всякой меры направлялись туда, где при тогдашних закупочных ценах они могли обернуться только убытками. «Вопреки всякой экономической логике,— пишет автор,— меньше средств инвестировалось в наиболее выгодные отрасли», хотя «колхозы как кооперативные предприятия заинтересованы в расширении наиболее экономически выгодных отраслей и формально имели право это делать».

Хозяйства, по существу, были лишены возможности распоряжаться своими ресурсами, кредиты и фонды материалов получали в основном на цели, указываемые сверху, а они в те годы, как известно, обычно носили «кампанейский» характер. Естественно, что уровень эффективности капиталовложений в конце концов оказался на том пределе, за которым они становятся невыгодными «как для государства, так и для колхозов».

Подробный анализ проблем эффективности капитальных затрат И. Ф. Суслов начинает с рассмотрения ряда статистических данных, которые приводят его к отрицанию довольно распространенной концепции «вторичности потребления». Она гласит, что фонды накопления в колхозах должны расти быстрее, чем фонды потребления. Примерный Устав сельхозартели, действующий до сих пор, требует, чтобы фонд оплаты формировался из остатков, в последнюю очередь, после того как сделаны отчисления в неделимый фонд и все другие. Вполне разделяешь горечь автора, когда он видит панегирик этому порядку, помещенный в учебном пособии «Экономика социалистического сельского хозяйства» (оно вышло в 1965 году в издательстве «Экономика»). Оплата «из остатков», оказывается, обеспечивает «преимущественное соблюдение общественных интересов», «обеспечение... расширенного воспроизводства» и после всего этого — «распределение... по количеству и качеству вложенного труда». На самом деле, доказывает И. Ф. Суслов, все наоборот: не учитывается закон возмещения затрат рабочей силой.

Эту мысль автор подкрепляет и анализом соотношения темпов роста оплаты труда

колхозников и его производительности. Сноска напоминает: по контрольным цифрам семилетки производительность должна была вырасти вдвое, а оплата — на 40 процентов. Жизнь пошла другим путем. Производительность труда увеличилась всего на 38 процентов, а оплата — на 81. Дело в том, что уровень оплаты в колхозах «по-прежнему еще, — говорит И. Ф. Суслов,— отстает от уровня оплаты соответствующего по квалификации труда в совхозном производстве, а в последнем — все еще значительно ниже уровня оплаты труда в промышленности».

Значит, опережающий рост потребления в колхозах есть не что иное, как стремление общества восстановить справедливость по отношению к земледельцам. Вряд ли авторы учебника сознательно хотели узаконить положение в колхозах, противоречащее принципу равной оплаты за равный труд. Просто, видимо, артель они представляли себе как нечто абстрактно-идеальное, бесплотное и потому свой «закон» вывели без поправки на конкретную действительность. Кстати, в новом пятилетнем плане такая поправка есть: рост производительности труда в колхозах — 40—45 процентов, а оплаты — 35—40. Соглашаешься с И. Ф. Сусловым и в том, что распространенное мнение, будто «уровень оплаты труда в колхозах не должен превышать уровня оплаты труда в совхозах» противоречит природе колхозной формы собственности. Он справедливо одобряет «те колхозы, которые... оплачивают труд своих колхозников значительно выше... тем более, что колхозники из общественных доходов потребления (следовало бы сказать «фондов».— А. С.) получают реальных доходов значительно меньше, чем рабочие совхозов».

Ко всему этому примыкает и рассмотрение автором места личного подсобного хозяйства в колхозной экономике. И. Ф. Суслов вслед за другими нашими аграрниками опровергает примитивный тезис, согласно которому общественное хозяйство удовлетворяет общественные интересы колхозников, а личное — личные. Он обращает внимание на очевидный всем факт: и до сих пор потребность горожан в продуктах в значительной степени удовлетворяет колхозный рынок, помогая тем самым государству обеспечивать их питанием. В личном огороде и хлеву, по данным автора,

производится больше трети всей продукции сельского хозяйства, труда затрачивается примерно столько же. «Доход семьи колхозника в 1964 г. от личного подсобного хозяйства составлял 43,9%, а от... колхоза — 43,3% совокупного дохода».

Некоторым, пишет автор, очень хочется увидеть в подсобном хозяйстве хоть какую-нибудь возможность присвоения колхозником нетрудового дохода. Придумывается целая методика, чтобы выяснить, укладывается ли огородный доход в границы «общественно необходимой, а тем более нормальной (что такое «нормальная»? — А. С.) оплаты труда». Если, мол, превышает — значит, колхозник — спекулянт. И. Ф. Сулов утверждает: «Наоборот, доход от личного подсобного хозяйства должен содержать не только необходимый продукт, но и определенную часть прибавочного...» Обосновывая это, он предстает человеком, знающим реальную жизнь деревенской семьи. Ей, говорит автор, необходим определенный минимум основных и оборотных средств: постройки, скот, инвентарь, семена, фураж, в которых ошестествлен прибавочный труд, накапливаемый годами. Нужны сбережения для больших единовременных расходов на ремонт дома или строительство нового. А ведь до 1965 года от общественного хозяйства колхозник получал примерно в два раза меньше, чем промышленный рабочий. Да и из общественных фондов потребления он получает в три-четыре раза меньше горожанина. «Все эти социально-экономические различия хотя бы в частичной мере должны быть перекрыты получением прибавочного продукта от личного подсобного хозяйства». Правда, возникает вопрос: почему, собственно, перекрыты, а не просто полностью устранены? И не перспективнее ли все же другой путь к стиранию различий — через развитие самой формы коллективного хозяйства?

Принципиальное, решающее значение тут имеет социально-историческая сторона проблемы. На определенном этапе, пишет автор, «общественное хозяйство все в меньшей мере удовлетворяло нужды колхозников». В этих условиях личное хозяйство нередко переставало быть подсобным, и не только для колхозника, но и для государства: на огород и хлев распространились заготовки. И. Ф. Сулов приводит цифры: «В 1950 году обязательные поставки колхозников составляли по мясу 31%, моло-

ку — 43, яйцу — 61, шерсти — 15% общих государственных заготовок этих продуктов». Причем такие поставки «представляли собой разновидность натурального налога», поскольку «уровень заготовительных цен не превышал и 10% их действительной стоимости». В результате поголовье коров в личном хозяйстве «за пятилетие (1948—1953 гг.) сократилось на 4,5 млн.».

Невозможно согласиться с автором лишь в том, что такая трансформация заготовок произошла «в силу крайне низких темпов развития» артельного производства. Приводимые им факты говорят о другом: неэквивалентный обмен, чуждый природе колхоза, — именно он в те годы тормозил, а то и совсем останавливал развитие. Следы этого мы, наверное, еще долго будем обнаруживать и в социальной психологии хлебороба. В книге приводятся слова нынешнего министра сельского хозяйства РСФСР Л. Я. Флорентьева, сказанные на мартовском (1965) Пленуме: «...мы многое сделали, чтобы уменьшить любовь крестьянина к земле... Крестьянин перестал жалеть землю, забрасывает, запускает ее... И причина такого ненормального положения в том, что во многих районах эта земля плохо кормит его, крестьянина...» Не случайно за последние годы одновременно с вовлечением в оборот сорока миллионов гектаров целины и залежи в одних лишь лесных районах страны потеряно 15 процентов угодий.

Заключительные главы книги показывают, что как ни беспомощна попытка объяснить все «низкими темпами развития», она не была в устах И. Ф. Сулова оговоркой. Здесь, в этих главах, наблюдается явное смещение причинно-следственных связей. Сначала, как нечто само собой разумеющееся, делается общая посылка: мы, мол, имеем дело с отдельными недостатками и ошибками в планировании. Затем, предлагая свое понимание причин, «обусловивших (!) преимущественное применение административно-волевых методов руководства колхозным производством», автор перечисляет: обязательная сдача продуктов по низким ценам и плохая оплата, принудительное закрепление людей в колхозах, нехозрасчетные отношения внутри артели, экстенсивные показатели в планировании. Но очевидно же, что это не причины администрирования, а его следствия, точнее — расшифровка самого этого понятия, иллюстрация того, как оно выглядит на практике.

Завышенные задания колхозам навязывались, по И. Ф. Суслову, потому, что «потребность в продуктах сельского хозяйства в современных условиях не удовлетворена еще в значительной степени». Автор прямо говорит: «Это вызывало необходимость в доведении напряженных плановых заданий всем колхозам». Но ведь дело обстоит как раз наоборот! Именно потому, что стране был нужен хлеб, следовало строго блюсти реальность предлагаемых колхозу планов. Навязывание же, очевидно, вытекало из представления о всеисильности административных мер, в этом смысле причина администрирования была в нем самом. И потому: если навязывание невыполнимого было необходимо, то как в таком случае понять необходимость мартовских (1965) решений?

Сильная в критике некоторых старых схем, книга И. Ф. Суслова чрезвычайно слаба в утверждении положительной программы. Вся программа автора книги может быть выражена одним словом — «лучше». Лучше, обоснованнее планировать, больше учитывать то, другое. Короче, в виде положительной программы нам предлагается то же самое администрирование, но умеренное, с некоторым подобием обратной связи.

Предложения наполнить централизованное планирование новым содержанием, вложить в руки государства экономические рычаги кажутся автору отрицанием направляющей роли государства. С чувством некоторой неловкости обнаруживаешь, что под конец автору отказывают в подчинении даже элементарные экономические термины. Вот пример: «Дело не в том, что «природе колхозного производства наиболее соответствует порядок свободной реализации своей товарной продукции», как пытаются утверждать отдельные экономисты, а в уровне цены реализации. Природе же колхозного производства... наиболее соответствует... массовый сбыт, сбыт крупными партиями оптовому покупателю. Ему в наибольшей степени соответствует продажа своей продукции оптом, а не в розницу. И лишь низкие, оптовые, за-

купочные цены толкали колхоз на колхозный рынок».

Здесь явное смешение экономического понятия «рынок» и бытового «базар». И трудно понять, почему в представлении И. Ф. Суслова порядок свободной реализации товарной колхозной продукции, активно обсуждаемый экономистами после мартовского (1965) Пленума, означает ликвидацию торговли крупными партиями оптовому покупателю, прежде всего в лице государства.

Наконец последнее в книге теоретическое положение: «Несмотря на... большое влияние на колхозную экономику закона стоимости, последний не является регулятором развития колхозного производства». Влияет, но не регулирует — так еще, пожалуй, никто не говорил, ведь это то же самое, что сказать: дождь идет, но не мочит. (Другое дело, что это регулятор не единственный.) И никто, пожалуй, не использовал еще такого довода: «Если бы закон стоимости играл роль регулятора, то (в период низких закупочных цен.— А. С.) следовало бы ожидать... полной ликвидации отраслей животноводства как убыточных».

В четкий вывод оформляется к концу чтения книги и такое наблюдение, тревожившее с первых страниц: о колхозе автор рассуждает не «по-артельному», пишет так, будто колхоз у кого-то «в наймах», и на протяжении всей книги этого «кого-то» автор уговаривает: плати, мол, колхознику справедливее, командуй разумнее, ведь так выгоднее тебе самому.

Так сосуществует на страницах одной и той же книги новое и боязнь нового, трезвый подход к отдельным сторонам исторического опыта колхозной деревни и неспособность или нежелание охватить этот опыт в целом. Такая непоследовательность, половинчатость, промежуточность позиций, занимаемых автором, хотя и свидетельствуют о том, что взгляды его находятся в движении, сами по себе, понятно, все же не являются достоинством.

**А. СТРЕЛЯНЫЙ.**



## ИЗ ИСТОРИИ СЕВЕРНОГО СОСЕДА

А. Я. Гуревич. Свободное крестьянство феодальной Норвегии. «Наука». М. 1967. 285 стр.

Книгу А. Я. Гуревича, как и всякое серьезное историческое исследование, можно прочитать двояко.

Во-первых, из нее можно извлечь разнообразную информацию о положении крестьянства в Норвегии XI—XIII веков. Можно узнать, кто такие лейлендинги и почему крестьянское восстание биркебейнеров, по внешности победив, на самом деле потерпело поражение. Историческое знание не просто удовлетворяет естественное наше любопытство. Оно создает ощущение овладения временем: только благодаря истории (и тесно с ней связанной истории культуры) человек осознает свою связь с прошлым и будущим. Необходимость в историзме мировоззрения становится особенно отчетливой по мере кризиса религии, в результате которого исчезает иллюзорное представление о связи человека с бесконечностью и создается некий вакуум; потеря мифологического мышления, если не заместить его историзмом, может способствовать подмене высокого смысла жизни корыстными, прагматическими целями.

При этом нам дорого не только прошлое своего народа: уважение, интерес и любовь к истории всех народов, в том числе народов малых,—необходимое условие истинного интернационализма.

Во-вторых, книга А. Я. Гуревича заставляет задуматься над сложными закономерностями исторического процесса. Среди современных советских специалистов по средневековью А. Я. Гуревич — один из наиболее склонных к теоретическому мышлению, к постановке общих проблем. Его книга — не только о средневековой Норвегии, но и о ее месте в ряду средневековых государств. Можно было бы сказать, что это книга о типах средневековых обществ. Даже когда автор не говорит об этом прямо, норвежский материал, собранный в результате исследования труднейших источников (судебников и *sax* прежде всего), постоянно соотносится с фактами истории Западной и Центральной Европы эпохи феодализма.

Подобный подход, однако, заставляет поставить одну весьма существенную проблему — проблему критериев. А. Я. Гуревич выбирает в качестве основного критерия специфику общественных связей. В средне-

вековом обществе они носили по преимуществу личный, а не вещный (как в капиталистическом) характер: это могли быть связи семейно-родственные, вассальные, основанные на крепостной зависимости. При однородной в целом классовой структуре средневекового общества связи эти были особенными в разных типах государств.

Специфической особенностью Норвегии XI—XIII веков явилось, по А. Я. Гуревичу, сохранение основной массой крестьян личной свободы. Эта мысль, впрочем, не нова,—оригинальное в исследовании начинается там, где автор задается вопросом о характере свободы норвежского крестьянства. Действительно, свободные крестьяне-бонды оставались независимыми от крупных землевладельцев, не были включены в экономическую структуру крупного поместья, по-прежнему вступали в непосредственные отношения с государством, не исключались из официальной общественной жизни. Наиболее характерное из раннефеодальных учреждений — судебно-административный иммунитет, частная власть феодала над крестьянином — не нашло себе места в Норвегии. Но, спрашивает дальше исследователь, были ли при этом бонды свободными в общепринятом смысле слова? Впрочем, как раз оказывается, что «общепринятого» понятия свободы не существует, что свобода сородича-земледельца в доклассовом обществе и римского гражданина, свободного крестьянина в средневековой Фрисландии и норвежского бонда была различной.

Норвежские крестьяне не были устранены от участия в суде и в военных экспедициях, и, следовательно, разделение труда, характерное для феодального общества (между знатым рыцарем и зависимым земледельцем), осуществлено было в Норвегии непоследовательно, неполно. Однако этот признак свободы превращался к XI—XIII векам в свою противоположность. Участие в суде и в военных экспедициях сделалось повинностью, отрывавшей крестьянина от его непосредственных нужд, нередко разорявшей его. Норвежское крестьянство не знало серважа и барщины, не трудилось на господской запашке. Но оно эксплуатировалось государством и знатыми

ми лицами через государство. Государство не только взимало с крестьян разнообразные налоги, не только привлекало крестьян к выполнению публичных повинностей, но и раздавало служилой знати «кормления», то есть право на личное присвоение крестьянских повинностей и налогов.

Свобода норвежского крестьянина оборачивалась несвободой, только несвобода эта была не частноправовой, не от сеньора, а публичноправовой — от государства. Оказалась ли эта форма несвободы легче? Едва ли. Автор подчеркивает, что отличительной чертой средневековой экономики Норвегии была бедность. Хозяйство развивалось медленно, преимущественно благодаря освоению новых земель, но и эти расчистки приостановились в конце XIII века. Норвежская экономика тех лет была застойной.

Иногда говорят, что норвежский феодализм был «неполным», «недоразвитым». А. Я. Гуревич отвергает подобную характеристику. По его мнению, в Норвегии создан особый тип феодального развития, и характерной особенностью этого типа была эксплуатация свободного крестьянства при помощи государственных средств.

Таким образом, А. Я. Гуревич успешно выяснил особенности функционирования общественной системы в Норвегии. Но у исследования общественных связей есть и другой аспект, который можно было бы назвать генетическим. Как возникла норвежская система феодальных отношений? Каковы ее корни? На этот вопрос в книге А. Я. Гуревича нет ясного ответа. Он говорит о «борьбе с суровой и скупой на дары природой», которая «закаляла дух норвежского крестьянина», и о слабости «внешних импульсов», что задерживало распад «традиционной общественной системы», и о «многоукладности социального строя средневековой Норвегии».

Все эти аргументы не кажутся мне убедительными. Многоукладность никак не бы-

ла специфической особенностью Норвегии — любое средневековое государство, включая столь непохожую на скандинавский мир Италию, было многоукладным. Борьба с природой повсюду была нелегкой: неурожай и падеж скота, голод и моровая язва были постоянными гостями и в долине Дуная, и на побережье Адриатики. К тому же Норвегия практически не знала страшного бича иноземных нашествий, которым была открыта Центральная и особенно Восточная Европа. Остаются внешние импульсы, но, казалось бы, контакт варяжских племен с Римской империей должен был бы скорее способствовать восприятию римских традиций и упрочению публичноправовой формы организации власти, а вышло как раз наоборот.

Выяснение функциональных связей можно и нужно осуществлять на материале отдельно взятого общества. Для выяснения генетических связей этого, пожалуй, мало, даже если постоянно иметь в виду известные параллели и аналогии. И вот что самое поразительное: если норвежская феодальная система существенно отличается от франкской (которую в наших учебных пособиях и по сей день изображают как классический образец), то она обчаруживает близкое сходство с общественной системой далекой от Норвегии Византии: го же свободно-несвободное крестьянство, эксплуатируемое государством или через государство, то же отсутствие частной власти (судебного иммунитета) крупных собственников, та же система кормлений, только в Норвегии они назывались *вейцла*, а в Византии — *прония*. И это сходство — при коренном различии этноса, культурных традиций и путей формирования средневекового государства!

Две сходные общественные системы на двух концах пути «из варяг в греки». А не может ли это пролить какой-то свет на особенности общественного устройства Древней Руси?

А. КАЖДАН.



## АНАТОМИЯ АМЕРИКАНСКОГО ХАРАКТЕРА

**В. Э. Петровский. Суд Линча (Очерк истории терроризма и нетерпимости в США). «Международные отношения». М. 1967. 224 стр.**

В течение длительного времени в нашей научной и публицистической литературе не появлялось фундаментальных исследований о национальном характере и общественной психологии крупнейших народов мира. Трудность разработки этих проблем состоит в том, что для исследования национального характера нужно в каждом случае обрабатывать огромный фактический материал, решать сложные комплексные проблемы, которые стоят на стыке едва ли не всех общественных наук. В результате, говоря о какой-либо нации и ее особенностях, мы в научной литературе не найдем ничего более основательного, чем несколько ссылок на характерные отличия в пройденном ею историческом пути, а чаще всего встретимся с избитыми штампами. Каждая нация характеризуется лишь как «трудолюбивая», «свободолюбивая» и имеющая «богатые традиции». Этим, кажется, дело и ограничивается.

Вместе с тем каждая, даже самая малая, нация имеет своеобразие в своих политических и идеологических институтах, формах собственности и специфике организации производства, методах разрешения внутренних и внешних конфликтов, устройстве религиозных, военных и прочих учреждений, которое не всегда легко понять без знания национального характера и особенностей общественной психологии. И напротив, учет этих факторов гарантирует правильность политических и дипломатических решений, принимаемых в отношении другой страны; понимание национального характера полезно и журналисту, и путешественнику, и просто пытливому наблюдателю.

С этим предисловием представим читателю книгу В. Э. Петровского, названную им «Суд Линча». Правда, это название может ввести в некоторое заблуждение читателя, ожидающего найти под обложкой не более чем исторический очерк о происхождении и нынешней практике пресловутого суда Линча. Подзаголовок книги дает, однако, более расширительное толкование темы: «Очерк истории терроризма и нетерпимости в США». Но лишь по прочтении книги уясняешь замысел автора, для которого суд Линча является воплощением и символом

всех форм и видов общественного насилия над личностью в Америке.

Автор исследует генезис политической нетерпимости в США как одной из существенных форм так называемого американизма, то есть комплекса особенностей политической и общественной жизни современной Америки. Для этого ему пришлось привлечь не только новые материалы по истории США XIX—XX веков, но и призвать на помощь социологию, философию, экономику, этнографию, художественную литературу, публицистику,—серьезная работа над всеми этими источниками, проделанная автором, отражена в обширной библиографии в конце книги.

Изучение американского характера (то есть комплекса черт, в разной степени присущих значительной части представителей этой нации) имеет отнюдь не только научный интерес, но служит зачастую компасом для понимания тех многочисленных противоречий и парадоксов общественной жизни в США, с которыми постоянно сталкивается читатель газет. С одной стороны, по степени концентрации производства, численности и степени организованности рабочего класса Соединенные Штаты, как ни одна другая страна капиталистического мира, как будто бы созрели для перехода к созданию бесклассового общества. С другой стороны, с точки зрения идеологической, сегодня эта страна в наименьшей степени подготовлена к такому переходу. Ни одна страна не накопила таких богатств, как США. Однако мало какая другая развитая капиталистическая страна тратит столь незначительную долю общественного богатства на социальные нужды, бесплатную медицинскую помощь, высшее и среднее образование, помощь престарелым и инвалидам. Американская нация сложилась как пестрейший конгломерат национальностей, переселенцев из множества стран, в отличие от других крупнейших государств буржуазного мира, которые складывались на монолитной национальной основе. Казалось бы, сваренная в едином котле из столь разнородных элементов, эта нация должна была стать образцом национальной терпимости и расового единства.

Но нет, едва ли найдется в мире другая страна с такими жестокими формами национального и расового гнета.

В Америке функционируют десятки церквей и сотни различных сект. При такой чересполосице религий проблема веры, казалось бы, не должна играть существенной роли в политической жизни. Но нет, сто-процентный анки и в этом вопросе крайне нетерпим: например, в нашей прессе писали, что Джон Кеннеди, первый и пока последний президент-католик в истории США, с трудом получил перевес на выборах.

Американцу свойственны такие великолепные качества, как редкая практичность, деловая хватка (вспомним, как высоко ставил В. И. Ленин «американскую деловитость») и смекалка, чувство нового, рационализм, трезвость взгляда на вещи. Впрочем, «продолжением» этих качеств оказываются столь же типичные для американца черты, как меркантилизм, превращение доллара в мерило всех человеческих ценностей.

Американец любит и умеет работать, он сызмальства воспитан в духе уважения к любому человеку труда, независимо от его профессии, он никакой труд не сочтет унижительным, ззорным. И это не мешает ему презирать интеллектуалов, преподавателей, поэтов, мыслителей, прочих «высоколобых», особенно в том случае, когда те плохо «делают деньги».

Американца отличает самое непочтительное отношение к властям и закону (известны случаи, когда рядовые граждане США возбуждали в суде дела против президента, или госдепартамента, или, как это сделал недавно солдат Роберт Лафтиг, против министра обороны США за ведение войны во Вьетнаме!). Политический строй США допускает такую практику, разрешает чуть не анархическую свободу действий и мнений. И вместе с тем в Соединенных Штатах процветает ярая нетерпимость, общественная ненависть к тем, кто осмеливается взять под сомнение неприкосновенные принципы американизма.

В США официально исповедуется философия плюрализма, которая обосновывает необходимость множественности политических и общественных институтов, партий, организаций, мнений и идей в качестве двигателя прогресса. Но в той же Америке наблюдается поразительный общественный конформизм, интеллектуальный деспотизм,

редкое единообразие идеалов, принципов морали и мировоззрения...

Эти и другие противоречивые черты характера американской нации находят убедительное истолкование в рецензируемой книге, и многое здесь оказывается неожиданностью для читателя.

Так, он узнает, что суд Линча, позорно прославивший Америку, иначе выглядит в историческом разрезе. Зародившийся в эпоху пионеров колонизации Дальнего Запада, этот общественный институт был тогда формой самозащиты фермеров от грабителей и прочих уголовных преступников, против произвола властей и вмешательства в дела общины со стороны правительственных чиновников. Фермеры, самовольно захватывавшие земельные участки, десятилетиями воевали с центральной властью за право беспрепятственного освоения новых районов. В противодействии земельным спекулянтам и правительственным чиновникам стихийно рождались организованные формы борьбы, в том числе и суд Линча. То были органы власти мелкобуржуазного террора, орудия борьбы за землю. И лишь спустя десятилетия традиционное народное самоуправство, в том числе и самосуд Линча, выродилось в дикое и бессмысленное палачество погромщиков-расистов.

Рассматривая в различных аспектах историю и современную практику общественной нетерпимости в США, В. Э. Петровский много внимания уделяет заре формирования американского характера — эре колонизации американского Запада. Лишь самые сильные, смелые, независимые из пионеров могли выдержать бесчисленные труды и опасности, которыми была полна их жизнь. Мифология того времени не случайно сохранила столь привлекательную окраску для американцев, приобрела со временем налет романтики. Сегодня бесчисленные «вестерны», идеализированные саги о жизни на диком Западе, перенесенные из литературы в кинематограф, в музыкальный театр и другие сферы «массовой культуры», служат средством ухода от постылой обыденщины, той отдушиной, куда устремляется неистребимая тяга американца к сильным поступкам и чувствам — после окончания вполне прозаического дня в конторе или за магазинным прилавком.

Наши историки справедливо прослеживают в эпохе колонизации многие экономиче-

ские явления, положившие начало специфическому типу американского капитализма. Но эта эпоха породила также и совершенно особый тип личности, не скованной сословными предрассудками, отмеченной уверенностью в себе, деловой хваткой, инициативой, необычайной работоспособностью, ярким индивидуализмом. На просторах девственных прерий складывался новый тип буржуазной личности, предел того развития индивида, какое возможно в буржуазном обществе,— со всеми характерными достоинствами и пороками в крайнем их выражении. Этот социально-психологический феномен сыграл, с точки зрения автора, весьма существенную роль в формировании американского капитализма.

С воцарением власти монополий эпоха «неограниченных возможностей» и вольницы на Западе практически закончилась. Но колоссальная масса американцев сохранила как пережиток этой эпохи наивную веру в «исключительность» своей национальной судьбы. Эта вера, пишет В. Э. Петровский, «приобрела прочность окаменелого предрассудка». Именно она составляет основу устойчивого, хотя и мнимого, нравственно-политического единства довольно широких слоев американской нации.

В конце прошлого и особенно в нашем веке демократические традиции народного самоуправления и самочинства претерпели поразительную метаморфозу. Проследившая внутреннюю логику этого процесса, автор показывает эволюцию «комитетов граждан» и «комитетов бдительности» (некогда эти органы «тирании большинства» играли, как и суд Линча, иную, демократическую роль), исследует историю «Американского легиона», ку-клукс-клана и других орудий массового террора, изучает «таинственную силу арифметической философии массы, признающей только унифицированные характеры».

Американский обыватель считает себя вправе активно вмешиваться в жизнь своих сограждан и навязывать им свои идеи и вкусы, относящиеся ко всему — от литературных произведений (периодически проверяются школьные и прочие библиотеки) до политических симпатий. Не дожидаясь властей, он самолично расправится с неудобными: если же ему не понравится поведение представителей самой власти, он не остановится перед расправой над лю-

бым, кто, по его мнению, «предаст интересы Америки».

Как считает В. Э. Петровский, для американского политического порядка характерна двойственность, причина которой коренится в самом социально-политическом климате, в господствующей там характерной мелкобуржуазной психологии. Американское государство он называет «государством-оборотнем» и пишет, что в США тамашные фашисты «в сущности ломаются в открытую дверь». «Американский политический порядок похож на раздвижное кресло: в одно время он может быть террористической диктатурой, в другое — буржуазной демократией классического типа. Все зависит от обстоятельств» В отличие от Европы, где установление террористического режима требует обязательной ликвидации прежнего режима со всеми его буржуазно-демократическими институтами, в Америке для этого может быть приспособлен и официальный правопорядок, утверждает автор.

Автор обнаруживает новый подход к проблеме истребления индейцев в прошлом веке и к расовой проблеме в том виде, в каком она стоит на повестке дня американского общества сегодня. Он тщательно анатомирует социально-психологический тип американского негра, и это помогает ему глубже уяснить суть драматического конфликта, который разыгрался в условиях Америки.

Оригинален и непривычен сам жанр книги. С одной стороны, это серьезная монография, мимо этой книги вряд ли пройдет американист. С другой стороны, это вольное эссе, субъективный очерк, автор которого не претендует на всесторонность и исчерпывающий подход к теме. Он черпает свои аргументы в сфере разных наук, легко переходит от одной исторической эпохи к другой. Следить за ходом мысли автора увлекательно.

Но при многих выигрышах такой метод научного исследования влечет за собой и неизбежные потери. Классический, если можно так выразиться, жанр монографии в чем-то, вероятно, устарел. Однако глубина и законченность, точность формулировок, основательность аргументации, обилие фактического, даже цифрового, материала, подкрепляющего конечные выводы,— эти

черты классической монографии не устарели и не могут устареть. В разной степени их не хватает данной книге.

При всем том «Очерк истории терроризма и нетерпимости в США» может быть с

пользой прочитан всеми, кто интересуется проблемами национальной психологии, историей Америки и ее сегодняшними социальными конфликтами.

**В. ВОЙНА.**

★

### «...НАУКА САМАЯ ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ»

А л ь б е р т Э й н ш т е й н. *Собрание научных трудов. Тома I—IV. «Наука». М. 1965—1967.*

Выход в свет «Собрания научных трудов» Эйнштейна — примечательное событие в культурной жизни нашей страны. Четыре тома, опубликованные у нас, представляют начальный — и самый плодотворный — период творчества Эйнштейна в большем объеме, нежели японское издание 1922 года, остававшееся до сего времени наиболее капитальным, и дополняются позднейшими работами великого физика. К этому следует добавить, что советская Эйнштейниана не исчерпывается указанным собранием. Академия наук СССР, ее Эйнштейновский комитет ежегодно выпускают «Эйнштейновские сборники»; много раз огромными тиражами издавались биографии ученого — научные и художественные, советские и переводные, выходили сборники его работ.

Эйнштейн родился в 1879 году в Германии, жил и работал. помимо Германии, в Швейцарии, Чехословакии, США. И здесь уместно будет вспомнить его собственные слова, сказанные о Копернике: «Ни одна нация не должна гордиться одна, что такой человек вырос в ее среде. Национальная гордость — это скорее легкая слабость, которая не оправдана перед лицом человека с такой внутренней независимостью, как Коперник». И тем не менее, позволив себе эту «легкую слабость», мы с удовлетворением отметим, что родиной самого полного собрания его сочинений явилась наша страна, к которой, как и к ее ученым, сам он всегда относился с интересом и симпатией.

Представляется очень характерным, что выход собрания трудов Эйнштейна не приурочен к какой-либо круглой дате; его работы органически входят в современную физику, да и не только в физику, но и в технику: принцип действия фаворитов современной электроники — лазеров и лазеров — основывается на теоретической ра-

боте Эйнштейна, выполненной в 1916 году. Общеизвестно также, что использование внутриатомной энергии базируется на знаменитой формуле Эйнштейна, связывающей массу и энергию. На этом основании в западной прессе его часто называли «отцом атомной бомбы» (еще в 1927 году Эйнштейн ответил на это, говоря о Ньюtone: «Интеллектуальные средства, без которых было бы невозможно развитие современной техники, возникли в основном из наблюдения звезд. За злоупотребление этой техникой в наше время творческие умы, подобные Ньюtone, так же мало ответственны, как сами звезды, созерцание которых окрыляло их мысли»).

Другая причина актуальности издания трудов Эйнштейна заключается, вероятно, в том, что физика сейчас находится на пороге нового скачка, необходимость которого диктуется новыми фактами, накопленными за последние десятилетия и не укладывающимися в старые теории. Значит, настало время и для подведения итогов. Но переход на более высокую ступень наших знаний отнюдь не означает полного переосмысления прежних завоеваний. Основные же из них, полученные в XX веке — квантовая теория и теория относительности, — неразрывно связаны с именем Эйнштейна.

Изложение этих теорий можно сейчас найти в любом вузовском учебнике. Но это примерно то же самое, что и знакомство с музыкальным произведением по упрощенным переложениям: они передают основную мелодическую мысль, и только. Как обогащает наш духовный мир обращение к оригиналу! Прочитав собственные работы Эйнштейна, собранные вместе и образцово переведенные, физики не только получают возможность оценить оттенки и параллельные темы, но и проследить за избранной им логической схемой изложения материала.

Сам Эйнштейн в предисловии ко второму тому японского собрания своих сочинений писал: «...проследивание процесса становления теории по оригинальным работам само по себе является привлекательным, и нередко такое изучение источников позволяет глубже постичь существо дела, чем систематическое приглашенное изложение современного состояния теории в ее завершённом виде, которое можно найти в работах многих наших современников».

К этому следует добавить, что ознакомление с Эйнштейном по «первоисточнику» доставит читателям удовольствие, которое, как правило, не будет омрачено сознанием недоступности того, что он пишет. Не только в популярных статьях, но и в своих основных работах Эйнштейн всегда стремился к простоте и ясности изложения. Ему претила нарочитая наукообразность, и он иронически заметил однажды, что «большинство людей испытывает священный трепет именно перед теми словами, которые недоступны их пониманию, и считает поверхностным того автора, которого они могут понять. Трогательное проявление скромности». Было бы полезно помещать эти слова на обложках научных журналов, поскольку среди части научных работников простота изложения и по сей день считается чуть ли не плохим тоном, а оживление текста метафорами и аналогиями — и вовсе профанацией науки.

Содержание первых двух томов советского издания составляют статьи по теории относительности и единой теории поля; в третий том вошли работы по термодинамике, кинетической теории газов, теории излучения и квантовой механике. Наконец, около девяноста статей и заметок включено в четвертый том, о котором и будет идти речь в дальнейшем и который представляет интерес не только для специалистов, но и для гораздо более широких слоев читателей. Это определяется прежде всего кругом вопросов, охватываемых помещенными в него статьями. Вот сами за себя говорящие их названия: «Мотивы научного исследования», «Религия и наука», «Наука и счастье», «Наука и цивилизация», «Свобода и наука», «Мое (нравственное.— В. Ф.) кредо». Много места уделено людям науки — как современникам Эйнштейна, так и его великим предшественникам, прежде всего Ньютону. Опубликованы общественные выступления, рецензии, предисловия;

дано извлечение из переписки Эйнштейна с французским историком науки Морисом Соловиным, с которым его связывала полувековая дружба.

Книга завершается прекрасно выполненными и со вкусом подобранными фотографиями Эйнштейна — «биографией в снимках». Мы видим вначале маленького мальчика, пяти примерно лет, а на предпоследнем снимке глубокого старика, сфотографированного незадолго до смерти (1955). В промежутке — целая жизнь.

На большей части фотографий Эйнштейн — уже получивший всеобщее признание физик. Чаще всего он — в окружении коллег: вот групповая фотография, снятая в Голландии, в Лейдене, вероятно, в середине двадцатых годов. Лоренц, замечательный голландский ученый, которого Эйнштейн называл в ряду своих заочных учителей, Эддингтон, де Ситтер и Эренфест, имена которых прочно ассоциируются с теорией относительности и с ее творцом. 1926 год — он в США, пока что в качестве гостя, рядом с А. Майкельсоном, экспериментальные работы которого, относящиеся еще к концу прошлого века, послужили основой теории относительности. Снова США, Эйнштейн рядом с Нильсом Бором, Дж. Франком, И. Раби; Эйнштейн и Ирэн Жолио-Кюри.

Известность ученого такова, что с ним стремятся увидеться не только физики. 1930 год, вилла «Кáпут» под Берлином — дача Эйнштейна. Хозяин и Рабиндранат Тагор, спускающиеся по лестнице дачи (в четвертом томе воспроизведена беседа, состоявшаяся в тот день, 14 июля 1930 года, между ними); другая фотография: Эйнштейн пожимает руку Неру, пришедшему к нему со всей семьей, — это уже в Америке. Эйнштейн и Чарли Чаплин, Эйнштейн и Синклер Льюис, Эйнштейн и Илья Эренбург, Эйнштейн, беседующий с народным артистом СССР С. М. Михоэлсом и И. Феллером...

И самая последняя фотография: письменный стол Эйнштейна в его кабинете на втором этаже дома на Мерсер-стрит, 112, в Принстоне, США. Хозяин кабинета уже не вскроет конвертов с письмами, в беспорядке разбросанных по столу, не сядет в откидное кресло, не поднимется с него, чтобы, поясняя свою мысль собеседнику, написать что-либо на грифельной доске, ви-

сящей позади стола, между заставленных книгами полок... Вероятно, именно за этим столом в один из дней 1947 года Эйнштейн написал те простые, искренние слова, которыми начинаются его «Автобиографические заметки»: «Вот я здесь сижу и пишу на 68 году жизни что-то вроде собственного некролога. Делаю это не только потому, что меня уговорили: я и сам думаю, что показать своим ищущим собратьям, какими представляются, в исторической перспективе, собственные стремления и искания, — дело хорошее».

Читая Эйнштейна, убеждаешься в том, что он обладал ярким литературным дарованием. Статьи Эйнштейна о современниках-физиках — прежде всего об его «дорогом и незабвенном друге» Пауле Эренфесте, о Лоренце, Планке, Нернсте, Марии Кюри, Ланжевене — привлекают острым писательским зрением и мастерством: из двух-трех страничек создается образ человека, который благодаря метким психологическим деталям надолго остается в нашей памяти. Вот трагическая фигура Пауля Эренфеста, одареннейшего ученого, вошедшего в историю физики не только своими оригинальными работами, но и исключительной способностью к научной критике: «Он постоянно страдал от того, что у него способности критически опережали способности конструктивные. Критическое чувство обрадовывало, если можно так выразиться, любовь к творению своего собственного ума даже раньше, чем оно зарождалось».

Так повелось, что биографии ученых — наших современников мы узнаем, как правило, из некрологов, которые пишутся их коллегами. Большинство статей Эйнштейна о физиках — мемориальные. Но он никогда не впадает в панегирический тон, они написаны тепло и искренне. О Вальтере Нернсте Эйнштейн вспоминал: «Хотя мы часто добродушно посмеивались над его детским тщеславием и самодовольством, мы искренне восхищались им и любили его. Пока не затрагивалась его эгоистическая слабость, он проявлял редко встречающуюся объективность, умение безошибочно чувствовать и настоящую страсть к познанию глубоких взаимосвязей в природе».

Обращение к творчеству великого человека всегда сопряжено с некоторой предвзятостью. Ценность его высказываний нередко определяется для нас не столько их

собственным незаурядным содержанием, сколько тем, что они принадлежат гению. От такого самогипноза трудно отключиться, и часто сравнительно тривиальную мысль, принадлежащую выдающемуся человеку, мы склонны считать откровением. Но если, сделав над собой усилие, справиться с этим чувством, то нельзя не прийти к заключению, что подавляющее большинство подобных высказываний Эйнштейна интересны в первую очередь сами по себе.

«Наш век характеризуется развенчиванием целей и совершенствованием средств для их достижения».

В письме к Соловину (6 октября 1932 года): «Надеюсь, что Вы вскоре сумеете вновь обрести свойственную Вам бодрость духа, которая столь прочно основывалась на покорности судьбе».

Эти и многие другие мысли Эйнштейна, отшлифованные в изящные и вместе с тем естественно звучащие фразы, невольно напоминают нам Анатоля Франса — как по самому стилю, так и по заряду иронического скепсиса, в них заключенного.

Обсуждая в своих статьях фундаментальные проблемы физики, Эйнштейн часто, если воспользоваться его же выражением, ступал «на тонкий лед философии». Внимательное ознакомление с его суждениями общего характера не оставляет сомнения в материалистических позициях, им занимаемых. «Вера в существование внешнего мира, независимого от воспринимающего субъекта, лежит в основе всего естествознания», — говорил он. И в другом месте: «Ни один физик не верит, что внешний мир является производным от сознания, иначе он не был бы физиком». Вместе с тем Эйнштейн часто применял метафорические обороты. Выступая, например, против статистической интерпретации волновой функции, он любил говорить, что не верит в бога, играющего с ним в кости. Такого рода высказывания могли давать — в руках недобросовестных людей — возможность для всякого рода искажений и перекруток. Вот достаточно характерный пример (из афоризмов Эйнштейна о науке): «Основой всей научной работы служит убеждение, что мир представляет собой упорядоченную и познаваемую сущность». Оборвем здесь цитату: автор снова высказывает свое материалистическое кредо подобно тому, как это было сделано им

в двух приведенных выше случаях. Теперь продолжим цитату: «Это убеждение зиждется на религиозном чувстве». На этом месте ее с удовольствием прервали бы церковники, отметив, как прекрасно наука—в лице одного из своих самых ярких представителей—уживается с религией. Но закончим наконец цитирование: «Мое религиозное чувство—это почтительное восхищение тем порядком, который царит в небольшой части реальности, доступной нашему слабому разуму».

Много лет спустя Эйнштейн писал Соловину: «Мне вполне понятно Ваше упорное нежелание пользоваться словом «религия» в тех случаях, когда речь идет о некотором эмоционально-психическом складе, наиболее отчетливо проявившемся у Спинозы. Однако я не могу найти выражения лучше, чем «религия», для обозначения веры в рациональную природу реальности, по крайней мере, той ее части, которая доступна человеческому сознанию. Там, где отсутствует это чувство, наука вырождается в бесплодную эмпирию. Какого черта мне беспокоиться, что попы наживают капитал, играя на этом чувстве? Ведь беда от этого не слишком велика». Тут с Эйнштейном, конечно, можно спорить. Нам представляется, что опасения Соловина справедливы и что незачем для обозначения уверенности в единстве и познаваемости мира применять слово, столь отягощенное грузом слепой веры. Однако легко заметить и другое: то, что Эйнштейн, рассчитывая на непредвзятую настроенных читателей, называл этим словом, весьма далеко от того смысла, который вкладывают в него «попы».

Известны мысли Эйнштейна о гармонии, царящей в природе: чудесна не только познаваемость мира, но и простота и красота физических законов, которые им управляют, тогда как априорно следовало бы ожидать «хаотического мира». (Правда, на это можно было бы возразить, что простота и красота—понятия относительные: закон, который прост для Эйнштейна, безнадежно сложен для неуспевающего студента и достаточно труден для рядового физика; то, что кажется простым сейчас, было сложно в прошлом.) Обращаясь к примерам из математики, Эйнштейн не раз иллюстрировал свою уверенность в том, что красота и простота законов физики могут служить критерием их правильности. Особен-

но восхищало Эйнштейна то обстоятельство, что все свободно построенные математические конструкции и понятия рано или поздно находили свое воплощение в реальной природе. Так, эллипс был придуман древними математиками чисто умозрительно. Но именно по эллипсам, как много веков спустя показал в сформулированных им законах И. Кеплер, движутся вокруг Солнца планеты.

«Опыты быстротекущей жизни», непосредственные наблюдения над природой, данные физического эксперимента—все это, по мнению Эйнштейна, совершенно не ограничивает свободы при построении физических понятий и теорий. Правда, он сразу же оговаривается, как бы противореча себе, что эта свобода лимитируется необходимостью последующего подтверждения выводов теории данными эксперимента (на память приходит гегелевское определение свободы как «осознанной необходимости»).

Однако способность Эйнштейна подняться над уже завоеванным физикой опытом, способность, которая уводила его в области, казавшиеся поначалу совершенно абстрактными, нисколько не мешала ему проявлять живой и неослабевающий интерес к окружающей его «земной» природе. В гармоничной мозаике четвертого тома имеются две несколько необычные для Эйнштейна работы: «Элементарная теория полета и волн на воде» и «Причины образования извилин в руслах рек и так называемый закон Бэра». Автор занят здесь выяснением физических причин, обуславливающих «графику» речных русел, а также вопроса, почему у рек обычно размывается один берег: правый в северном полушарии и левый—в южном. Приступая к объяснению, Эйнштейн говорит: «Я начну с небольшого эксперимента, который каждый может легко повторить. Представим себе чашку с плоским дном, полную чая. Пусть на дне ее имеется несколько чайнок, которые остаются там, так как оказываются тяжелее вытесняемой ими жидкости. Если с помощью ложки привести во вращение жидкость в чашке, то чайники быстро соберутся в центре дна чашки». Далее дается объяснение этому явлению и, по аналогии, обсуждается интересовавший Эйнштейна эффект из области физической географии. Этот пример живо иллюстрирует недремлющую физическую мысль Эйнштейна. За

завтраком ли, устраивая «бурю в чашке чая», во время ли прогулки на яхте по волнуемому озеру — он ни на минуту не прекращает любоваться природой глазами физика. При этом эстетическое наслаждение, которое доставляло ему наблюдение динамического пейзажа, моря, заката, дополнялось радостным сознанием раскрытия физического механизма, физической подоплеки, ответственной за наблюдаемую картину. Такая «поверка алгеброй гармонии» не умертвляла для него природу, а, напротив, заставляла ее переливаться новыми красками.

Даже по тем немногим выдержкам, которые приведены были выше, читатель, вероятно, уже почувствовал, сколь зримо встает со страниц четырехгомяка глубоко привлекательный, исполненный обаяния человеческий облик Эйнштейна. «Это был лучший человек на свете», — восклицал его ученик, недавно скончавшийся польский физик-теоретик Леопольд Инфельд. Влияние Эйнштейна-человека, его нравственный пример неосцини не только для тех, кто непосредственно общался с великим физиком. «Моральные качества выдающейся личности имеют, возможно, большее значение для данного поколения и всего хода истории, чем чисто интеллектуальные достижения. Последние зависят от величия характера в значительно большей степени, чем это обычно принято считать». Эти слова, сказанные Эйнштейном применительно к характеристике Марии Кюри, в полной мере относятся и к нему самому, как, пожалуй, и ко всякой другой крупной исторической личности.

Эйнштейн не достиг сорока лет, когда сразу же после окончания первой мировой войны, имя его получило широчайшую известность и стало знакомо каждому грамотному человеку. Он не мог не знать, что возвышается над своими научными коллегами и что сами они придерживаются того же мнения. А это означало, что каждая его новая публикация всегда будет встречаться с особым вниманием. (Три статьи Эйнштейна, увидевшие свет в течение одного 1905 года — по теории относительности, по квантовой теории фотоэффекта и теории броуновского движения, — являлись в этом плане весьма неблагоприятным фоном для дальнейших его работ: трудность, с которой он справился по крайней мере дважды в своих работах по общей теории

относительности и по вынужденному излучению.) Как сам Эйнштейн переносил это искушение славой? И было ли это вообще искушением — в его случае? В уже цитированных заметках «О науке» он с горечью спрашивает: «Почему всеобщее любопытство избрало своим объектом меня, ученого, который занимается абстрактными вещами и счастлив, когда его оставляют в покое? Это одно из проявлений психологии масс, недоступных моему разумению. Ужасно, что так случилось. Я страдаю от этого больше, чем можно себе представить». В письме к Максу Борну он вспомнил сказку: все, к чему бы ни прикоснулся ее герой, превращалось в золото. «Так и все, чего я касаюсь, — писал Эйнштейн, — превращается в газетный шум».

К этому следует добавить, что особый интерес — о чем Эйнштейн тоже не мог не знать — должны были приобрести и все его личные письма и даже высказывания. Отразилось ли это на строе его писем? Те из них, что опубликованы (переписка с М. Соловиным), написаны совершенным по стилю языком. Однако чувствуется, что, обращаясь к своему адресату, Эйнштейн не думал о той многотысячной аудитории, достоянием которой станут его письма в будущем.

В 1967 году в США по инициативе профессора Т. Куна была издана книга, содержащая сведения о хранящихся в наиболее известных архивах Европы и Америки письмах крупнейших физиков XX века, имена которых связаны с возникновением квантовой механики. В ней имеется перечень десятков писем Эйнштейна — к Лоренцу, Борну, Эрэнфесту и к другим. Изданные вместе, они могли бы стать бесценным источником для понимания личности Эйнштейна и проникновения в его внутренний мир. Когда думаешь об этом эпистолярном наследстве, ожидающем своего опубликования, на память приходят письма Пушкина — одна из самых замечательных страниц его творчества, без знакомства с которой его образ не может быть полным.

Хотя об Эйнштейне написано уже очень много, все же несомненно, что мировая Эйнштейниана только начинается. Но, ожидая от будущих «эйнштейнистов» интереснейших и поучительных исследований, не будем забывать собственные слова Эйнштейна о том, что постижение внутреннего



мира выдающихся людей «лучше всего... достигается не чтением их биографий, а ознакомлением с их оригинальными работами, в которых запечатлен ход мысли этих великих личностей». Мы должны быть признательны коллективу ученых — редакторов (И. Е. Тамм, Я. А. Смородинский, Б. Г. Кузнецов) и переводчиков, огромная работа которых предоставила возможность советским читателям таким наиболее непосредственным и прямым способом познакомиться с миром идей и духовным миром величайшего физика нашего времени. Человеком, который может служить высоким нравственным образцом.

Хотелось бы только, чтобы круг этих читателей был расширен. Четырехтомное издание трудов Эйнштейна — подписное, и тираж его — около тридцати тысяч экземпляров — довольно скромно. Думается, что четвертый, «неспециальный» том этого «Собрания» следует выпустить еще и отдельно — уже массовым тиражом. Такая книга, несомненно, была бы с благодарностью встречена нашей общественностью, ибо, как говорил Пушкин, «следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная».

**В. ФРЕНКЕЛЬ,**

*кандидат технических наук.*



## КОРОТКО О КНИГАХ

★

**Е. ЛАГОВСКАЯ.** Ради тебя, человек. «Московский рабочий». М. 1967. 192 стр.

Июльским вечером 1934 года Москва проводила в последний путь Владимира Александровича Обуха. Во главе траурной процессии шли Надежда Константиновна Крупская и Мария Ильинична Ульянова.

Доктор Обух сделал за свою не очень долгую жизнь так много, оставил такое богатое наследие, что и сейчас он нам кажется живым современником, чей организаторский талант, глубочайшая преданность ленинским идеям ошутимы в советском здравоохранении, во всем том, что он создавал, чему посвятил пламень своей благородной души. Именно об этом рассказывает небольшая книга «Ради тебя, человек».

Мы знакомимся с озорным гимназистом Обухом, уже увлеченным бунтарскими идеями. Вот он же несколько позднее — «большой бородатый студент в красной рубашке навыпуск», поглощенный пропагандистской революционной деятельностью. Штрих за штрихом возникает портрет молодого русского революционера, однажды определившего свой путь и никогда на протяжении всей своей жизни не сходящего с него. Аресты. Тюрьма. Ссылка. Постоянное пребывание под слежкой. Конспирация, когда надо было быть не Владимиром Александровичем Обухом, а «товарищем Олегом». Ему долго приходится жить двойной жизнью: одной — открытой, жизнью образованного деятельного медика, и другой — тайной, скрытой от глаз жизнью революционера-подпольщика, пока революция не ввела оба эти потока в единое русло.

И вот перед нами Обух — коммунист, руководящий партийный работник, организатор медицинской науки и практики нового профиля, predeterminedного новым социальным устройством.

В. И. Ленин после первой же встречи с В. А. Обухом проникательно разглядел в нем отличнейшего человека, полюбил его, подружился с ним. Е. Лаговская приводит характерные эпизоды этой дружбы, очень живо воспроизведенные: совместную охоту на озере Сенеж, поездку на Павшинские дачи...

Книга Е. Лаговской ценна и интересна тем, что она показывает нам становление революционера, формировавшегося в ленинском окружении, под непосредственным

влиянием Ильича. Жаль только, что порою живая интонация повествования сменяется торопливо, словно на бегу брошенной информацией. В этом, вероятно, повинен слишком уж небольшой объем этой книги.

М. Мирлэ.

★

**НИКОЛАЙ ФОМИЧЕВ.** Годы — не птица. Рассказы. Южно-Уральское книжное издательство. Челябинск. 1967. 76 стр.

Это первая книга молодого прозаика.

Все четыре рассказа, представленные в книге, можно охарактеризовать так: они меньше привлекают внимание своими темами, проблематикой, больше — точностью авторских наблюдений, штрихами деревенских пейзажей, прелестью верно найденного слова.

Жаль, однако, что отдельные удачные детали не складываются в цельную художественную картину.

Отчего это? Здесь надо все-таки обратиться к тематической стороне рассказов. О чем они? О выпускнике-строителе, получившем от жизни первый урок за свою излишнюю самоуверенность и самонадеянность («Ранней весной»). Об инженере, неожиданно решившем уйти с научной работы и переключиться на практическую деятельность, чтобы принести больше пользы, — в этом автор видит особый подвиг героя («Годы — не птица»). В рассказе «Догони любовь» тема решена почти анекдотично: парень догоняет автобус, увозящий от него случайную попутчицу, к которой герой почувствовал сердечное влечение.

Как видит читатель, все это набор тех привычных и успешных статей штампами ситуаций, которые затрудняют понимание истинных «горестей и болей» нашей жизни, так же как и ее подлинных радостей. Отдельные точные детали, образные находки — в контрасте с ходом сюжета, ординарными поступками героев.

И все-таки книга Фомичева не оставляет безотрадного впечатления. Вопреки знаковой «заданности», он создал в своем наиболее интересном рассказе «Ящур» образы запоминающиеся. Это Захар Кузьмич, хлебоборок в истинном значении этого слова, человек, для которого борьба за хлеб — смысл жизни. Это «институтские», прибывшие в деревню на стройку, которых автор

не прогнаопоставляет крестьянам, а, напротив, находит объединяющие тех и других начала: любовь к настоящему, хорошо делаемому делу. Вообще этот рассказ характеризует самого прозаника как человека, знающего и чувствующего современную деревню. Думается, что именно на этом пути автора ждут подлинные удачи.

**Н. Владимиров.**

★

**ЛЕОНИД ЛИХОДЕЕВ.** Цена умиления. «Молодая гвардия». М. 1967. 200 стр.

Книжка фельетонов Леонида Лиходеева «Цена умиления» составлена из трех тематически автономных разделов, объединенных под заголовками: «Титаническое самоуважение», «Размышления у парадных подъездов», «Как быть с Бетховеном?».

Беспощадно развенчивает сатирик людей, наловчившихся прикрывать мусор в углах «демагогическим лопухом и прошлогодними листьями общей славы».

«Наша страна — родина межпланетных полетов,— строго конфиденциально сказал мне один чиновник, когда речь зашла о нечистых делишках его и его собратьев. Он твердо рассчитывал на то, что я испугаюсь...— Хотите снизить значение?»

Знакомая логика! Именно она безотказно срабатывает, когда редактор газеты возвращает автору фельетон о недостатках в работе автотранспорта области, поскольку область награждена орденом за успехи в сельском хозяйстве. Это на нее опирается критик, упрекающий фельетониста в подрыве обороноспособности страны на том основании, что он посмеялся над недостатками некоей супруги некоего отставного военного.

В острых и выразительных по форме произведениях Л. Лиходеев касается многих важных нравственных и социальных проблем нашей жизни. Герои «Овала», «Призрака казенного воробья», «Давления творческой атмосферы», «Похвального слова скуке», «Радикулита», «Персональной обиды» и многих других фельетонов противостоят нашей морали, и тут перо публициста-сатирика не знает пошлости.

А перо Лиходеева узнаешь обычно с первых же строчек. Если попытаться выразить стиль фельетониста одним словом, то слово это будет — «резкость». «Я — за скуку. Прекращение ее — чревато. Это же кошмар, что получится, если не будет скуки!.. Скучные фильмы интересно смотреть. Они вселяют гордость. Они еще раз подчеркивают, что скромность возможна не только в поведении, но и в чувствах, и в знаниях и во вкусе, и в представлении о жизни...»

Для фельетонов Лиходеева характерно широкое использование всех этих «чреватых», «пресечь на месте», «гнусное разложение», «отдельная часть молодежи», «мелкобуржуазный носитель», «перегибы на местах», — всех этих недалеких штампов, излюбленных «политически развитыми произво-

стами». Используются в фельетонах и публицистические отступления, которые, строго говоря, нельзя назвать отступлениями, так как они органично сливаются с повествованием.

Резкость и определенность лиходеевского стиля очень хорошо помогу выразить иллюстратор книжки — художник А. Блох.

**С. Норильский.**

Тула.

★

**В. Л. ИСРАЭЛЯН, Л. Н. КУТАКОВ.** Дипломатия агрессоров. Германско-итало-японский блок. История его возникновения и краха. «Наука». М. 1967. 436 стр.

«Через два дня после начала войны (речь идет о нападении фашистской Германии на Польшу.— В. Г.), 3 сентября, когда Гитлеру вручили английскую ноту Германии, фюрер гневно спросил своего министра иностранных дел Риббентропа: «Что же дальше?» Помолчав немного, тот ответил: «Я думаю, что в течение часа французы вручат нам аналогичный ультиматум». Так оно и произошло. Германия оказалась в состоянии войны с Англией и Францией. Дипломатия Риббентропа потерпела в некоторой степени фиаско». Так В. Л. Исраэлян и Л. Н. Кутаков начинают книгу, посвященную истории фашистской дипломатии в период второй мировой войны.

Как фашистские лидеры развязали мировую войну? Как случилось, что страны, выступившие в сороковых годах союзниками в общей борьбе с фашистской агрессией, не смогли ее предотвратить если не в середине, то хотя бы в самом конце тридцатых годов?

Материалы книги показывают, что такая возможность имела. Растерянность глазарей третьего рейха в связи со вступлением в войну Англии и Франции была не случайна. Предпринимая нападение на Польшу, фашисты рассчитывали, что великие державы «и на сей раз капитулируют перед германскими притязаниями». Ведь к успешному ведению большой войны Германия не была подготовлена. «К началу войны,— пишут авторы,— Германия располагала несколько больше чем 100 дивизиями, 4400 самолетами и примерно 100 крупными кораблями и подводными лодками, что было значительно меньше того, чем располагали в тот же период Англия, Франция, Польша вместе взятые». Масштабы военного производства были недостаточны. Так, в мае 1940 года в Германии «было произведено немногим больше 40 танков, тогда как в 1944 году... ежемесячно выпускалось до 2 тыс. танков... За первые 14 дней войны в Польшу немецкая бомбардировочная авиация истратила весь запас бомб». К моменту нападения на СССР положение значительно изменилось. К 22 июня 1941 года Германия уже имела в общей сложности 214 дивизий и 7 бригад, не считая войск своих союзников. ее военная промышленность выпускала в массовом количестве со-

вершенную по тому времени боевую технику, ее экономика, за счет использования ресурсов оккупированных в течение 1939—1941 годов стран Европы и за счет стран-сателлитов, была обеспечена всем необходимым.

В книге подробно, с привлечением большого числа как советских, так и зарубежных источников рассказывается о фашистской дипломатии в 1939—1941 годах, всецело подчиненной подготовке к большой войне. Это было время формирования германитало-японского фашистского блока, дипломатических маневров, направленных, с одной стороны, на присоединение к оси Берлин—Рим—Токио ряда фашистских государств Европы, а с другой — на нейтрализацию потенциальных противников.

В. Л. Исраэлян и Л. Н. Кутаков приводят много любопытных фактов закулисной дипломатической борьбы между Германией и ее союзниками и сателлитами. Гитлеровская дипломатия умышленно разжигала территориальные споры между тогдашними правителями Румынии, Болгарии и Венгрии, грубо их шантажируя и в то же время не допуская военного конфликта между этими странами, который мог бы нанести ущерб экономическим и политическим интересам Германии.

Беззащитно обманывала Германия и главного своего союзника — Италию. Даже о решении повернуть фронт агрессии с Запада на СССР — таком ответственном для всех участников фашистского блока, — которое Гитлер принял еще в мае—июне 1940 года, нацисты не сочли нужным своевременно сообщить итальянцам. Когда в мае 1941 года во время визита Риббентропа в Рим Муссолини спросил об отношениях Германии с Советским Союзом, Риббентроп ответил, что «Германия имеет договоры с Россией («Пакт о ненападении между СССР и Германией» от 23 августа и «Договор о дружбе и границе между СССР и Германией» от 28 сентября 1939 года.— В. Г.) и что отношения между двумя странами более или менее корректные». Не считалась фашистская Германия со своими союзниками и во время войны с СССР. Рассматривая эти страны как поставщиков живой силы и стратегического сырья, она выколачивала из них новые и новые дивизии, опустошала их экономику. Результатом подобной политики гитлеровской Германии явилось то, что фашистский блок уже к 1943 году фактически развалился.

Много интересных сведений почерпнет читатель и в разделах, посвященных германо-японским отношениям накануне войны и во время японской агрессии на Тихом океане, а также бесплодным попыткам гитлеровской дипломатии спасти положение в период кризиса фашистского блока и в самом конце войны. Весь этот материал позволит читателю яснее представить себе обстановку в те тяжелые для мира годы, поможет ответить на некоторые злободневные и в наше время вопросы.

**В. Глаголев.**

**В. С. НЕЧАЕВА. В. Г. Белинский. Жизнь и творчество. 1842—1848. «Наука». М. 1967. 526 стр.**

Книга В. С. Нечаевой о Белинском в «Отечественных записках» и «Современнике» является завершением его многолетнего труда о великом русском мыслителе и критике. Предыдущие три тома исследования (вышедшие в 1946, 1954 и 1961 годах) встретили вполне благожелательный прием у читателей. Высокой оценки заслуживает и последний том.

Нельзя сказать, чтобы жизнь и творчество Белинского были обойдены вниманием нашего литературоведения: Белинскому посвящено немало научных работ, в том числе и весьма солидных. Но в книге В. С. Нечаевой много нового, существенных находок и открытий частного и общего характера.

Прежде всего я отнес бы к ним главу «Путешествие Белинского по России». Известно, что в 1846 году Белинский вместе с М. С. Щепкиным (гастролировавшим по провинции) побывал в Калуге, Воронеже, Харькове, Николаеве, Одессе. Путешествие (на лошалях) длилось довольно долго — с мая по октябрь, изобиловало различными встречами и произвело на Белинского неизгладимое впечатление. Но о нем, в сущности, никто ничего не писал. Вероятно, потому, что изучение путешествия требовало больших усилий — обращения к местным газетам и архивам, к забытым мемуарам, к неопубликованной переписке и т. п. В. С. Нечаева не пожалела труда на такое исследование, и это дало важные результаты.

По своему подошла она и к известной поездке Белинского за границу — в Зальцбрунн и Париж.

Разговор о пребывании Белинского в Зальцбрунне заходил обычно в связи с написанным им там знаменитым письмом к Гоголю. Ссылались, как правило, на воспоминания П. В. Анненкова. В. С. Нечаева обратила внимание на другую сторону дела — на жизнь Германии и Силезии в то время (зрелая восстания силезских ткачей), на впечатления, которые вынес Белинский от жизни в Силезии, на его размышления в связи с этим. Опять-таки глава получилась и свежей и интересной. Разумеется, при этом исследователю пришлось освоить немецкую печать, обратиться к работам Маркса и Энгельса тех лет.

Поездки Белинского из Зальцбрунна в Париж тоже касались — в той или иной мере — многие ученые. Но никто не пытался серьезно проанализировать отношение Белинского к событиям, происходившим во Франции, и сопоставить его наблюдения и выводы со взглядами Герцена, Бакунина, Анненкова, а главное — с самой действительностью. Исследование В. С. Нечаевой и здесь подходит к вопросу с особой стороны. В результате оно открывает нечто новое не только в духовном развитии Белинского, но и в истории обществен-

ной и литературной жизни России сороковых годов.

Как видно, работа В. С. Нечаевой носит конкретно-исторический характер. Она создана как бы в противовес тому отвлеченному и внесторическому подходу к философскому, историческому, эстетическому взглядам Белинского (и других представителей общественной и философской мысли), который получил у нас довольно широкое распространение в недавнее время. Такой подход обычно выдавал себя за теоретический, но на деле был догматическим и начетническим, так как невозможно представить те или иные взгляды и теории вне истории, оторвав их от той почвы, на которой они выросли.

В. С. Нечаева старается не упустить из виду ни одного существенного факта из жизни и деятельности Белинского и привлекает самый широкий круг известных и неизвестных материалов, касающихся воззрений критика, его работы в журналах, отношений с друзьями, семейной жизни. (Кстати сказать, глава о семейной жизни Белинского тоже принадлежит к лучшим разделам книги.)

Конечно, исследованиям такого рода всегда угрожает опасность «за деревьями не увидеть леса». Но с данным исследованием этого не произошло, потому что характеристика философских, социальных, литературных взглядов критика составляет самую суть работы. Белинский выступает здесь не как некий представитель абсолютной идеи, вещающий отвлеченные истины, а как живой человек и деятель общественного и литературного движения, взгляды которого тесно связаны в своем развитии с окружающей его жизнью.

А. Д.

★

**И. И. БЕНЕДИКТОВ, В. И. ПЛОТНИКОВ.** *Философия и медицина. Средне-Уральское книжное издательство. Свердловск. 1967. 247 стр.*

Философская наука наряду с постоянным углублением в сущность исследуемых явлений обнаруживает и другую тенденцию — расширение сферы изучения, охват все новых и новых областей практической и теоретической деятельности людей, а также переход от обсуждения общих вопросов физики, биологии, химии к проблемам более частных наук, в том числе медицины. Но этот безусловно плодотворный процесс философского осмысления все более конкретных проблем имеет свои логические пределы. Упрощенно понятая связь с практикой порой не менее опасна, чем общая беспредметная «фразеология».

В книге «Философия и медицина» наиболее интересным нам представляется второй раздел — «Социально-биологическая проблема». Проблема, коротко говоря, состоит в том, что больной предстает перед врачом не только как организм с определенными нарушениями его жизнедеятельности, но

и как личность, в своей индивидуальной и одновременно общественной сущности. Особенности воспитания, уровень сознания, выдержка — эти собственно человеческие качества весьма значительно влияют на процесс лечения. С другой стороны, всякая переоценка социальных и психологических факторов неизбежно приводит к снижению качества лечебной помощи, к пустым разговорам о «мобилизации жизненных сил» там, где нужны радикальные медико-биологические решения. В соответствии с этим возникает практическая потребность теоретического анализа соотношения социального и биологического.

Нельзя сказать, что В. И. Плотникову (автору этого раздела) полностью удалось решить все возникающие в этой связи вопросы. Но автор помогает понять действительную сложность медицинского воздействия и огромную ответственность врача перед живым, думающим и чувствующим человеком.

Несколько слабее первый раздел «Взаимосвязь и соотношение философии и медицины как наук». Здесь вместе с интересными и содержательными суждениями встречаются порой общие фразы.

Что касается третьего раздела, написанного И. И. Бенедиктовым, — «Значение марксистской философии для формирования врачебного мышления», — то здесь вызывают решительное возражение попытки выводить из общих методологических принципов конкретные практические (лечебные!) рекомендации. Вот только один пример:

«...В принципе, — пишет И. И. Бенедиктов, — нельзя отвергать противомикробную терапию, как одну из важных форм борьбы с заболеваниями... Однако границы разумного употребления ее должны определяться основными методологическими положениями патогенетической терапии... Рассмотрение и изучение подобных частных вопросов медицинской науки в свете категорий материалистической диалектики должно являться обязательным (!) условием в процессе формирования глубокого врачебного мышления».

Упрощенно рассматривает автор и вопросы жизнестойкости организма, единства организма и среды. Здесь, как и в приведенной выдержке, сказался уровень представлений, уже преодоленный нашей наукой.

С. Михайлов.

★

**ПОЭТЫ РЕВОЛЮЦИОННОГО НАРОДНИЧЕСТВА.** «Художественная литература». Л. 1967. 264 стр.

Я пою для тех, чьи души юны,  
Кто болел, как за себя, за брата.  
Музой был мне сумрак каземата,  
Цель с веревкой — лиры были струны.  
Вам забота об искусстве строгом,  
Вам, певцы любви и ликованья!  
Я пою великие страданья  
Покольенья, проклятого богом.

Написанные в июле 1884 года поэтом-народником П. Ф. Якубовичем, строки эти могут вызвать упрек с точки зрения поэтической техники, но они остаются в памяти как поэтическое кредо того поколения, для которого революционные слово и дело слились воедино, для которого музой стал «сумрак каземата».

Известно, что около тридцати участников революционной борьбы семидесятых годов в той или иной мере отдали дань увлечению поэзией, хотя ни для кого из них поэтическое творчество не было профессиональной деятельностью. Это последнее обстоятельство не могло не наложить отпечаток на характер народнической поэзии. Но нельзя забывать об историческом периоде, в который она создавалась, и о своеобразии целей, которые она преследовала и которые в значительной мере определяли ее художественный облик. Подготовленный А. Бихтером сборник «Поэты революционного народничества» убеждает нас в этом.

Учитывая, что читатель не впервые встречается с творчеством поэтов-народников (вспомним хотя бы сборник «Вольная русская поэзия второй половины XIX века». Л. 1959), составитель справедливо ограничился именами крупнейших представителей революционной поэзии семидесятых—восьмидесятых годов. В небольшой по объему сборник вошли наиболее значительные стихотворения П. Л. Лаврова, Ф. В. Волховского, С. С. Синегуба, Н. А. Морозова, П. Ф. Якубовича, Г. А. Лопатина, В. Н. Фигнер. Это и широко известная «русская Марсельеза» П. Л. Лаврова «Отречемся от старого мира...», и «Песня гражданки» Ф. В. Волховского, и синегубовский «Волчонок», посвященный революционерке Вере Любатович, и многие другие произведения, прошедшие сквозь революционные десятилетия. Общность жизненных судеб поэтов роднит их тематически, близость идеологических верований и психологии рождает сходство идейное, объединяет интонационно. И из всего этого вырисовывается трагически мужественный облик героя эпохи — революционного борца, полного свободолобивых порывов, рвущегося к «делу» и с болезненной мучительностью переживающего рабское долготерпение народа.

Вступительная статья А. Бихтера в целом верно ориентирует читателя и в эпохе, в которую творили поэты-народники, и в идейно-художественных достоинствах их наследия. Жаль только, что А. Бихтер обошел молчанием уже существующие концепции их поэтического творчества. Квалификация же народнической поэзии как особого литературного направления (стр. 3) спорна, что едва ли желательно для подобного рода изданий.

Выход сборника «Поэты революционного народничества», несомненно, явление примечательное. Это еще одно свидетельство все возрастающего интереса к народнической литературе.

**В. Смирнов.**

Уфа.

**Е. ГЕРАСИМОВ. В родном лесу. Повесть. «Детская литература». М. 1967. 118 стр.**

«На географической карте вы не найдете ни Городка, ни Подужинского леса, где происходили события, о которых рассказывается в этой повести,— пишет Е. Герасимов в кратком авторском предисловии к своей повести.— А события в ней не выдуманные, взятые из жизни. Я только кое-что обобщил, соединив в одном лице нескольких людей...» И потому, хотя нет на карте действительно ни этого Городка, ни этого Леса, в повести открывается читателю тем не менее настоящий партизанский лес — он то, затаившись, грозно молчит, то взрывается навстречу осмелившимся вступить в него оккупантам.

К тому же автор действительно опирается в своем повествовании на реальные факты: летом 1942 года, в «углу», где сходятся границы трех советских республик — Российской Федерации, Украины и Белоруссии, — действовали значительные партизанские соединения. А в годы гражданской войны именно здесь формировали свои легендарные полки Щорс, Боженко, Черняк... Маленький герой повести Е. Герасимова — Ким — и вырос в атмосфере легенд о гражданской войне: его отец был в ту пору комиссаром бригады, сейчас он комиссарит в партизанском отряде Деда.

Мальчик еще не может до конца поверить и понять, что происходящее — не его фантазия, не игра, а грозная война, трагедия народа. Он с азартом выполняет любые задания командира отряда, ему неловко перед другими бойцами, когда мать или отец проявляют заботу и беспокойство о нем. Он способен играть, даже повесив на грудь настоящий автомат, он хвастается своей храбростью перед знакомыми девчатами, остается в занятию немцами Городке до тех пор, пока не уходят последние партизаны, а потом, рискуя на каждом шагу, выбирается из Городка, но натывается на идущих в атаку фашистов и остается в живых только чудом.

Такой вот он человек — живой, непосредственный мальчишка Ким. И потому сердце читателя сжимается от боли, когда игра оборачивается страшной реальностью, окруженные со всех сторон партизаны пытаются прорваться, и только строя всевозможные догадки, уже много лет спустя, побывав на местах этих боев, удается восстановить картину того, что и как здесь произошло.

Отец и сын — комиссар партизанского отряда Глеб Семенович Барудин и боец отряда Ким Барудин — похоронены вместе, на горе, над обрывом, сюда же, в одну братскую могилу, перенесены из разбросанных в лесу могил останки других партизан. Портрет Кима висит теперь в Доме пионеров Городка, рядом с портретом его товарища Петруся, которого Ким оставил в Городке налаживать подполье и который бесследно исчез в застенках гестапо. Там же, в Доме пионеров, и буденовка еще одного молодого партизана — Ивана Петровича...

В повести Е. Герасимова действительные факты и художественный домысел так тесно переплетены, что читателя не оставляет уверенность в том, что и Ким, и его отец, и Петрусь, и Дед, и Иван Петрович в своей старой буденовке существовали на самом деле, что если добраться до Городка, то можно над обрывом увидеть партизанскую братскую могилу, а в Доме пионеров — фотографии на стене и знаменитую буденовку...

Впрочем, все это и правда было на самом деле, и автор, по его же признанию, всего лишь кое-что обобщил.

### 3. Крахмальникова.

★

**ВЛАДИМИР ОГНЕВ. Легенда о Монтвиле, или Памятник Неизвестному поэту. «Детская литература». М. 1967. 135 стр.**

Критик Владимир Огнев немало писал о поэтах и поэзии: статьи, рецензии, критические разборы. Теперь он выступил с книгой для юношества, где конкретная история жизни и гибели замученного фашистами литовского поэта Витаутаса Монтвилы возведена в символ, в памятник не одному только Монтвиле. Недаром, умирая, Монтвила по воле автора книги «слышит» голоса Лорки, Джалиля, Фучика, Вапцарова, Эрнандеса.

Монтвила был поэтом-борцом. Из книги В. Огнева молодой читатель узнает, что жизненный подвиг поэта — в ежедневном преодолении антипоэтической действительности: зависти, страха, вражды, каторжной неволи.

«Университетами» Витаутаса Монтвилы была тюрьма, тень от тюремной решетки легла на страницы почти всех его рукописей. Он сидел в двадцатых годах, в начале тридцатых, привык к лязгу тюремных замков, к обыскам, допросам, протоколам, к лицам тюремщиков. Душное захолюстье полицейского государства, которым была старая Литва, само по себе являлось своего рода тюремной камерой.

В сороковом году, когда в Литве восстановилась советская власть, Монтвила принял ее всем сердцем. Это были месяцы серьезной нравственной проверки, результаты которой сказались несколько позже. Монтвила знал: революции не нужны поэты-чиновники, штатные рифмоплеты. Она требует от поэта не службы — с лужения. Когда пришли немецкие оккупанты, некоторые из «служащих» легко к ним приспособились, а Монтвила вновь оказался в тюрьме: на этот раз это был форт смерти под Каунасом...

В книге есть важное место — встреча арестованного Монтвилы с немецким капитаном, философствующим нацистом. Нацист излагает Монтвиле свою концепцию, «выстраивает» перед ним иерархию фашистского мироустройства, согласно которой «идеальный миропорядок» состоит из нескольких кругов и ступеней: на высшей ступени элита, чуть пониже «аппарат» — полиция,

армия, органы принуждения и подавления, затем «солдаты-исполнители» и — в самом низу — жертвы. Монтвиле предлагается выбор: из категории жертв перейти в разряд элиты.

Этот вымышленный разговор тем не менее не домысел. Фашизм попытался возложить на искусство новую, неведомую ему прежде функцию — роль «духовного организатора» палачества.

Мы знаем, какой выбор сделал Витаутас Монтвила.

Его последний автограф выведен осколком стекла на стене камеры: «Я, поэт бедноты... господам не продавший душу свою...»

А потом — очередь из фашистского автомата, в самое сердце...

Памятник Монтвиле автор возводит «на глазах у читателя», действуя открытым приемом: страницы биографии Монтвилы перемежаются документальным повествованием о поисках материала, о встречах с людьми, знавшими Монтвилу: с его вдовой, с его дочерью, с его друзьями. Эти «документальные отступления» придают книге особую достоверность и читаются с наибольшим интересом. Благодаря этому «монтажу» Монтвила предстает в книге не одинокой фигурой, а среди людей, среди друзей и единомышленников и прежде всего среди родной своей Литвы, поэтический образ которой хорошо удался Владимиру Огневу.

Надо сказать, что перед автором стояла еще одна, весьма трудная задача. Нередко изображения так называемого «творческого акта» в биографических повестях отдают примитивизмом и штампами. В. Огнев в большинстве случаев счастливо избежал многих опасностей, подстерегающих авторов биографических повестей: даже самого Монтвилу он цитирует скупно. Но, прочитав рассказ о поэте, читатель непременно потянется к стихам Витаутаса Монтвилы, и в этом — главное достоинство книги Владимира Огнева.

Лев Гинзбург.

★

**И. Д. ВОРОНИН. Достопримечательности Мордовии. Мордовское книжное издательство. Саранск. 1967. 384 стр.**

Как уроженец этих мест, я рад этой книге — она помогла вспомнить мир детства, восстановить отрадны ребячьи впечатления той далекой поры воскресных базаров и осенних ярмарок, когда и я и мои сверстники чувствовали себя на вершине блаженства, обретя конфету либо пару оладий («с пылу, с жару — пятак за пару») или оказавшись в числе крутильщиков карусели (напрягаешь все ребячьи силенки с мечтой о том близком миге, когда спустишься вниз и гордо и заслуженно усядешься на карусельного коня).

Несомненным достоинством книги является точное обоснование времени и порядка возникновения городов Мордовии: Саранска, Инсара, Арлатова. Темникова, Краснослободска, — что до этого не было сделано

ни в одной историко-краеведческой работе об этом крае.

Книга обильна достоверными сообщениями о пребывании и деятельности на территории Мордовии знаменитых людей России: Л. Н. Толстого, М. Е. Салтыкова-Щедрина, М. Н. Загоскина, Н. П. Огарева, А. И. Полежаева, А. Г. Малышкина, А. С. Новикова-Прибоя и других русских писателей.

Много нового рассказано о деятельности в Темникове знаменитого флотоводца Ф. Ф. Ушакова, о жизни в селе Чеберчино победителя Фридриха II — фельдмаршала П. А. Румянцева-Задунайского.

Обоснованно доказаны выводы о различных путях проникновения в Мордовский край московской цивилизации в XVI—XVII столетиях.

Впрочем, пытаться пересказать содержание книги И. Д. Воронина, столь фундаментальной и, при живости изложения, научно основательной, — дело заведомо безнадежное. Хочу в заключение сказать лишь одно: читаешь эту книгу и с радостью убеждаешься, что и нашему скромному краю, как и любому другому, есть чем погордиться, есть что вспомнить, есть что показать приезжему человеку.

А. Котлов.

Саранск.

★

**Д. МАК-ДОНАЛЬД. Фарадей, Максвелл и Кельвин. Перевод с английского. Атомиздат. М. 1967. 157 стр.**

Небольшую по объему работу канадского ученого-физика Мак-Дональда можно назвать сравнительными жизнеописаниями трех прославленных естествоиспытателей прошлого столетия. Двое из них — Фарадей и Максвелл — создали фундаментальную теорию, которая позволила человечеству вступить в век электричества.

Автор предупреждает, что он старался так показать «образы ученых», чтобы они, ученые, «выглядели несколько живее картонных фигур». Творческая деятельность героев книги представлена на фоне весьма квалифицированно описанного ученого мира викторианской Англии. Читатель ознакомится с вековыми традициями британской науки, историей ее важнейших корпораций — Лондонского королевского общества и Королевского института. Он будет благодарен Мак-Дональду, в частности, за литературный портрет такой оригинальной личности, как граф Румфорд, заботами которого в 1799 году был основан названный институт, гот самый, где под началом Дэви обрел свое призвание гениальный Майкл Фарадей. Интересны и новы для нас страницы, посвященные шотландским школам и университетам, питомцами которых были Максвелл и Уильям Томсон, будущий лорд Кельвин.

Прослеживая и сопоставляя жизненные пути трех английских физиков, автор не оставляет в тени и малоприметные на первый взгляд факты, не без воздействия которых наука обогащалась великими свершениями.

В очерке о Фарадее, например, читаем: «Когда Фарадею было около девятнадцати лет, некий м-р Дэнс, посещавший книжный магазин (где юный Фарадей работал переплетчиком — *Г. Ц.*), дал ему билеты на цикл лекций, которые должен был прочесть в Лондоне сэр Хэмфри Дэви. Если и бывает поворотный пункт в жизни человека, то именно посещение этих лекций явилось таковым для Фарадея».

Касаясь собственно научных аспектов своей темы, Мак-Дональд подчеркивает, что если разработанная Максвеллом теория, «описывающая все известные нам электромагнитные явления», основывалась на открытиях Фарадея, то последние в такой же мере явились плодом осмысления и углубления результатов всей предыдущей эволюции учения об электричестве и магнетизме. Далее автор разъясняет, каким образом созданные Максвеллом концепция поля и классическая электродинамика подготовили почву для открытия Эйнштейном специальной теории относительности.

Третья глава книжки повествует о Кельвине, хотя его имя в нужных местах встречается и в двух предыдущих очерках. Дана объективная оценка его термодинамическим исследованиям и трудам, способствовавшим успешной прокладке трансатлантического телеграфного кабеля.

Не со всеми суждениями автора можно согласиться. Пристрастно его утверждение, что «тремя самыми выдающимися физиками со времен Галилея были, вероятно, Исаак Ньютон, Джемс Кларк Максвелл и Альберт Эйнштейн». Пристрастие относится, разумеется, к Максвеллу, как ни велики его заслуги перед наукой. Вряд ли в развитии электротехники в XIX веке наиболее «волнующими событиями» были поимка убийцы «с помощью электрического телеграфа» или передача первой телеграммы через Атлантический океан. В анналах истории электротехники минувшего столетия вписаны гораздо более важные события.

Эти замечания ни в коей мере не умаляют достоинств подлинно научно-популярной книги Мак-Дональда. Наш же читатель должен быть еще признателен переводчикам А. В. Давыдову и В. А. Кузьмичевой за бережное отношение к своеобразию авторской речи.

Г. Церава.

Бокситогорск

★

**МАЙЯ ДАНИНИ. Живые деньги. Повесть и рассказы. «Советский писатель». Л. 1967. 224 стр.**

Лирические рассказы Майи Данини — результат многочисленных поездок по стране — печатались в ленинградских журналах «Костер», «Нева», в альманахе «Молодой Ленинград». «Живые деньги» — ее первая книга.

В центре внимания писательницы — судьба людей разных профессий, разных жизненных судеб.



Майя Данини стремится избежать прямолинейности. Характеры ее героев непросты, порой противоречивы. При этом чувствуется уважение к увиденному, понимание сложности жизненных явлений.

Природа в произведениях автора не существует обособленно, как хорошо написанный пейзаж. Скорее она — лирическая героиня, которая умеет и веселиться, и печалиться, и радовать вас, окружая «своим теплым, тихим миром».

Близость героини рассказа «Марусино лицо» к природе — органичная, так сказать, первозданная.

Но, восхищаясь своей героиней, Данини не идеализирует ее. Да, она привлекательна, полна сил, уверена в нужности своей нелегкой работы грузчицы и вместе с тем в чем-то ограничена. Маруся, привыкшая мерить ценность человека практической пользой его труда, старается, но так и не может постигнуть сущность дела, которому посвятила себя писательница: зачем вся эта «писанина», коль она, по словам «авторши», не столько кормит, сколько греет?

Героиня второго рассказа «Слава на мотороллере» — та же Маруся. Впрочем, она та и — не та.

Прежде ее жизнь текла, как в затаянном рясной пруду, пока не примчался неожиданно-негаданно этот паренек, Слава на мотороллере. В нем было что-то непривычное, непохожее на ее ладного, благополучного мужа. То ли готовность помочь всем и каждому, то ли улыбка — ясная, открытая. После встречи со Славой Маруся «оживла»: она впервые почувствовала, насколько вольней, глубже дышится рядом с такими людьми, насколько ярче раскрывается мир.

Порой в книжке чувствуется недостаточная профессиональная зрелость автора. Любящая краткость, лаконичность, Данини как бы забывает о них, рассказывая в повести «Дорога» о летнем путешествии семьи юной героини по городам и весям России. Повесть растянута, сюжетно рыхла. Композиционная рыхлость присуща и рассказу «Садострой».

Для Майи Данини не типичны авторские отступления. Тем более неуместными выглядят в ее произведениях рассуждения типа: «Да, я боюсь впасть в патетику, рассказывая о вас, уж вы-то этой патетики не потерпите, никак не потерпите, вы ее не простите мне, вы не примете мужественно этот маленький рассказ о вас, вы будете смеяться».

Несколько отнюдь не патетических слов хотелось бы сказать о рассказе «Живые деньги», который дал название сборнику.

Майя Данини на этот раз увлеклась натуралистическими описаниями, специфическими оборотами речи «базарной женщины» спекулянтки тети Паши: «Все чисто на себе порвал, все повкидал, такой чимпирь ему в голову ударил, такой чимпирь».

Но основное, что огорчает в рассказе, — это его конец. Данини, до сих пор бескомпромиссная в осуждении зла, корысти, лицемерия, смягчила под занавес образ тети Паши, в которой воплощены эти качества. Думается, что здесь автор изменяет себе.

О многом сумела сказать писательница в своей первой книжке. Рассказы эти не всегда веселые, чаще грустные, но продиктованы они тем, что Майя Данини хочет видеть мир и людей прекрасными и добрыми.

А. Данчич.

Ленинград.



# КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

## ПОЛИТИЗДАТ

**Венгерские интернационалисты в Октябрьской революции и гражданской войне в СССР.** Сборник документов. Том 2. Участие венгерских интернационалистов в защите Советской власти на фронтах гражданской войны в СССР. 516 стр. Цена 1 р. 57 к.

**С. Ильичева, Сергей Чекмарев.** 136 стр. Цена 14 к.

**Н. Королев.** Ленин и международное рабочее движение. 1914—1918. 296 стр. Цена 1 р. 29 к.

**Н. Лапин.** Молодой Маркс. 376 стр. Цена 73 к.

**Черни истории идейной борьбы вокруг «Капитала» К. Маркса.** 1867—1967. 296 стр. Цена 96 к.

## «МЫСЛЬ»

**О. Герасимов.** 10 000 километров по Месопотамии. 144 стр. Цена 41 к.

**А. Кондратов.** Погибшие цивилизации. 312 стр. Цена 61 к.

**В. Трухановский.** Уинстон Черчилль. Политическая биография. 480 стр. Цена 1 р. 71 к.

## «ЭКОНОМИКА»

**Г. Бланк.** Экономика советской кооперативной торговли. 494 стр. Цена 1 р. 28 к.

**Г. Лыч.** Экономическая эффективность осушительных мелиораций. 158 стр. Цена 33 к.

**А. Певзнер.** Хозрасчет в производственных объединениях. 56 стр. Цена 17 к.

**И. Пискуненко.** Хозрасчетные рычаги в колхозном производстве. 264 стр. Цена 1 р. 11 к.

## «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**Т. Джумагельдиев.** Жена младшего брата. Повести и рассказы. Перевод с туркменского. 248 стр. Цена 37 к.

**Г. Леонидзе.** Самгори. Поэма. Перевод с грузинского. 176 стр. Цена 63 к.

**Р. Парве.** Стихи. Перевод с эстонского. 90 стр. Цена 23 к.

**В. Тублин.** Тугая тетива. Повести. 310 стр. Цена 45 к.

**Р. Чейшвили.** Мой друг Нодари. Роман. Авторизованный перевод с грузинского. 272 стр. Цена 46 к.

**Н. Чертова.** В сибирской дальней стороне. Роман и повести. 320 стр. Цена 55 к.

## «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**В. Бонч-Бруевич.** Воспоминания. 207 стр. Цена 55 к.

**П. Радимов.** Стихи пешехода. Вступительная статья В. Солоухина. 270 стр. Цена 27 к.

**М. Салтыков-Щедрин.** Губернские очерки. Послесловие С. Макашина. 543 стр. Цена 1 р. 80 к.

**А. Филев.** Солнорот. Роман. 128 стр. Цена 33 к.

## «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**Ю. Друнина.** Избранная лирика. 32 стр. Цена 12 к.

**А. Западов.** Новиков («Жизнь замечательных людей»). 192 стр. Цена 58 к.

**М. Исаковский.** Избранная лирика. 30 стр. Цена 13 к.

**М. Рошин.** С утра до ночи. Повести и рассказы. 384 стр. Цена 54 к.

## «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**След в пустыне.** Туркменские народные песни и пословицы в переводе Н. Гребнева. 48 стр. Цена 9 к.

**Г. Цадаса.** Уроки жизни. Стихи. Перевод с аварского. 126 стр. Цена 32 к.

**К. Чуковский.** От двух до пяти. Издание 20-е, исправленное и дополненное.— Живой как жизнь. 816 стр. Цена 1 р. 19 к.

**В. Шинула.** Каникулы с дядюшкой Рафаэлем. Перевод со словацкого. 126 стр. Цена 32 к.

## «НАУКА»

**М. Ботвинник.** Алгоритм игры в шахматы. 96 стр. Цена 25 к.

**И. Бэла.** Шопен. 380 стр. Цена 1 р. 83 к.

**Древнерусское искусство.** Художественная культура Новгорода. Сборник статей. 366 стр. Цена 2 р. 69 к.

**Строительство национальной экономики в странах Африки.** 234 стр. Цена 96 к.

**В. Толубно, Н. Барышев.** От Видина до Белграда. Историко-мемуарный очерк. 240 стр. Цена 79 к.

## «ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**Е. Дворщан.** Защита по делам об автотранспортных происшествиях. 144 стр. Цена 43 к.

**История государства и права СССР.** Сборник документов. Часть 2. 598 стр. Цена 1 р. 8 к.

**Р. Рахунов.** Выездная сессия суда. 56 стр. Цена 14 к.

## «ПРОГРЕСС»

**А. Жабинская.** Джоли и ее друзья. Перевод с польского. 80 стр. Цена 23 к.

**М. Корнфорт.** Марксизм и лингвистическая философия. Перевод с английского. 456 стр. Цена 1 р. 75 к.

## МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

**Д. Абилев.** Мечта поэта. Роман. Авторизованный перевод с казахского. Алма-Ата «Жазушы». 380 стр. Цена 80 к.

**Б. Викторов.** Паром. Стихи. Кишинев «Карта молдовеняскэ». 102 стр. Цена 21 к.

**А. Иванов.** Время сгущается в образ. Стихотворения и поэмы. Ташкент. Издательство художественной литературы им. Гафура Гуляма. 144 стр. Цена 46 к.

**А. Мамаев.** Избранное. Стихи. Перевод с чеченского. Грозный. Чечено-Ингушское книжное издательство. 84 стр. Цена 55 к.

**А. Мандрин.** Рассвет над Сахалином. Стихи. Южно-Сахалинск. Дальневосточное книжное издательство. 35 стр. Цена 11 к.

**Л. Темин.** Снегопад. Книга лирики. Киев. «Радянський письменник». 111 стр. Цена 36 к.

**Т. Хадневич.** Даль полевая. Роман. Авторизованный перевод с белорусского. Минск. «Беларусь». 459 стр. Цена 89 к.




---

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

**Ч. Айтматов, И. И. Виноградов, Р. Г. Гамзатов, Е. Я. Дорош, А. И. Кондратович** (зам. главного редактора), **А. А. Кулешов, В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, И. А. Сац, К. А. Федин, М. Н. Хитров** (ответственный секретарь)

---

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77.  
Почтовый адрес: Москва, К-6. пл. Пушкина, д. 5.

---

Сдано в набор 15/V 1968 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 24/IX 1968 г.  
Формат бумаги 70×108<sup>1/16</sup>. 27,95 уч.-изд. л. 9 бум. л. (24,66 усл. печ. л.).  
А 09914. Заказ 1515. Тираж 119.900.

---

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»  
имени И. И. Скворцова Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.



## «НОВЫЙ МИР» В 1969 ГОДУ

В 1969 году редакция журнала «Новый мир» предполагает опубликовать следующие произведения:

повесть **Ч. Айтматова** «Долгая память»;  
 роман **А. Азольского** «Степан Сергеевич»;  
 роман **Г. Бакланова** «Друзья»;  
 «Мой Дагестан» **Р. Гамзатова** (книга вторая);  
 книгу **Е. Дороша** «Древнее рядом с нами»;  
 книгу о Чехове **С. Залыгина**;  
 автобиографическую прозу **М. Исаковского**;  
 повесть **Ф. Искандера** «Сандро из Чегема»;  
 рассказы **В. Некрасова** «Городские прогулки»;  
 «Из литературного наследия» **К. Паустовского**;  
 повесть **Е. Ржевской** «Февраль — кривые дороги»;  
 роман **Ю. Трифонова** «Исход».

Кроме того, будут опубликованы новые произведения: **Ф. Абрамова**, **В. Астафьева**, **А. Бека**, **В. Белова**, **В. Быкова**, **Г. Владимова**, **В. Войновича**, **Л. Волинского**, **Е. Герасимова**, **Д. Гранина**, **И. Грековой**, **Ю. Домбровского**, **Н. Дубова**, **Н. Ильиной**, **В. Каверина**, **В. Катаева**, **А. Кузнецова**, **В. Лихоносова**, **Н. Мельникова**, **Б. Можая**, **Е. Носова**, **А. Рыбакова**, **В. Семина**, **К. Симонова**, **С. Славича**, **И. Соколова-Микитова**, **Г. Троепольского**, **К. Федина**, **В. Фоменко**, **А. Шарова**, **В. Шукшина**.

В журнале будут также напечатаны воспоминания: Маршала Советского Союза **Н. И. Крылова** об обороне Севастополя; Героя Социалистического Труда, члена-корреспондента АН СССР **В. С. Емельянова** «Студенты 20-х годов»; маршала авиации **А. А. Новикова** «Рассказы о летчиках»; художницы **Вал. Ходасевич** «Портреты словами» (воспоминания о Маяковском, Ал. Толстом, Бабеле); **Цецилии Кин** «Годы тридцатые».

В поэтическом разделе журнала будут опубликованы новые стихи и поэмы: **И. Абашидзе**, **М. Алигер**, **М. Бажана**, **О. Берггольц**, **Д. Вааранди**, **О. Вацетиса**, **Р. Гамзатова**, **Е. Евтушенко**, **А. Жигулина**, **Р. Казаковой**, **М. Карима**, **Вл. Корнилова**, **А. Кулешова**, **Д. Кугультинова**, **К. Кулиева**, **С. Липкина**, **В. Лифшица**, **Ю. Марцинкявичюса**, **Н. Матвеевой**, **Э. Межелайтиса**, **С. Орлова**, **П. Панченко**, **Расула Рзы**, **Д. Самойлова**, **Я. Смелякова**, **М. Танка**, **А. Твардовского**, **В. Шефнера** и других.

### ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:

	12 мес.	6 мес.	3 мес.
Без переплета	8 р. 40 к.	4 р. 20 к.	2 р. 10 к.
В переплете	10 р. 80 к.	5 р. 40 к.	2 р. 70 к.

Подписка на «Новый мир» принимается во всех отделах и агентствах «Союзпечати», в отделениях связи и общественными распространителями печати без всяких ограничений.

О всех случаях отказа в оформлении подписки просим сообщать в редакцию журнала.